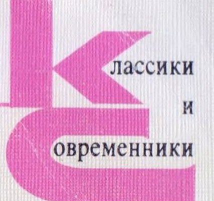
РУССКАЯ РОМАНТИЧЕСКАЯ НОВЕЛЛА



РУССКАЯ РОМАНТИЧЕСКАЯ НОВЕЛЛА



Москва
«Художественная литература»
1989

ББК 84Р1
Р 89

Классики и современники

Русская классическая литература



Составление, подготовка текста, вступительная статья и примечания
А. НЕМЗЕРА

Художник
Б. ТРЖЕМЕЦКИЙ

Р 89 Русская романтическая новелла./Сост., подгот. текста, вступ. статья и примеч. А. Немзера; Худ. Б. Тржемецкий.— М.: Худож. лит., 1989.—384 с., ил. (Классики и современники. Рус. классич. лит-ра)
ISBN 5-280-00755-2

В книге «Русская романтическая новелла» собраны яркие образцы беллетристики первой половины XIX века, произведения как известных, так и забытых писателей. Романтическая новелла представлена несколькими жанровыми разновидностями (историческая, светская, фантастическая, новелла о судьбе художника). Знакомясь с книгой, читатель не только будет увлечен яркими сюжетами, но и узнает о том, что читали наши предки полтора века назад.

Р $\frac{4702010101-112}{028(01)-89}$ КБ-46-52-88 ББК 84Р1

ISBN 5-280-00755-2

ТРИНАДЦАТЬ ТАИНСТВЕННЫХ ИСТОРИЙ

В рассказе А. А. Бестужева (Марлинского) «Латник» один из героев произносит слова, что могли бы послужить эпиграфом к нашему сборнику: «...Я беспрестанно волновался между рассудком и предрассудком, между заманчивою прелестью чудесного и строгими доказательствами истинного». Так чувствовали люди романтической эпохи — герои, авторы и читатели новелл, соединенных ныне под одной обложкой.

Рубеж XVIII—XIX веков — время крупнейших сдвигов в истории духовного сознания европейской культуры. История, новая страница которой была открыта Великой французской революцией, перестала быть чем-то посторонним для отдельного человека. Катастрофические события революционных и наполеоновских войн сломали более или менее устойчивый «старый мир» — политические бури сложным образом отразились в зеркалах философии, науки, словесности. Беспредельность и многосмысленность мира природного и мира исторического была осознана в то же время, что и ценность мира внутреннего, мира души человеческой. Идея свободной и творящей личности стала знамением эпохи: поединок с судьбой Наполеона заворожил поэтов, мыслителей, политиков и безмерное множество молодых честолюбцев; жизнь Байрона или Гофмана на глазах превращалась в высокую легенду.

Романтическую словесность мы мыслим как по преимуществу поэтическую — и в этом есть свой резон. Именно поэзия поведала миру о тайне души человеческой, запечатлела «поединок роковой» загадочного героя с целым светом, раскрыла дышащую в природе таинственность, привила вкус к старинным вымыслам. Слово «проза» у романтиков, даже и прозой пишущих, в почете не было. Не случайно иные из авторов, представленных на страницах этой книги, известны скорее как поэты, чем как повествователи (Е. А. Баратынский, Е. П. Ростопчина, Н. В. Кукольник, Бернет). Не случайно, что собственный (у А. А. Бестужева (Марлинского) или чужой (у Н. А. Полевого и М. П. Погодина) поэтический опыт оказался столь значимым при работе над прозой. Не случайно, наконец, и то, что эпоха

романтической прозы наступает в России в 1830-е годы, после поэтических открытий Жуковского и молодого Пушкина. Правда, уже Н. М. Карамзин написал повести «Остров Борнгольм» (1794) и «Сиерра-Морена» (1795), тем самым опробовав жанр таинственной истории, однако эти блестящие опыты не были для их автора делом принципиальным.

«Страшные рассказы», что «зимою в темноте ночей» пленяли пушкинскую Татьяну Ларину, существовали задолго до романтической эпохи и всегда находили увлеченных слушателей. Далеко не всегда их содержание становилось для рассказчиков и слушателей источником не просто удовольствия, но напряженной духовной работы, того колебания между «прелестью чудесного и строгими доказательствами истинного», о котором вспомнил герой Марлинского.

Завязкой пушкинской «Пиковой дамы» служит анекдот Томского о чудесном карточном выигрыше его бабушки. Выслушавшие историю офицеры предлагают краткие толкования этого загадочного события («случай», «сказка», «порошковые карты»), однако ни одно из них не звучит убедительно. Тайна сохраняется и порождает новые чудесные события (явление графини Германну, его выигрыши и проигрыш), так же ускользающие от «внятного» объяснения.

Пушкин, решавший в «Пиковой даме» множество задач, мастерски воспользовался сюжетной техникой романтической новеллы. Обычно описанные в ней странные события могут истолковываться по-разному: так, читатель не знает, действительно ли вмешивалась нечистая сила в жизнь героев «Лафертовской Маковницы» или то был ряд совпадений, случайностей, галлюцинаций; загадочна развязка «Латника»: неясно, предсказало ли явление возлюбленной смерть героя или он сам, уверовав в мнимо пророческий знак, нарвался на пули врагов; двояко видится и рассказ Н. В. Кукольника «Антонио» — его можно понять как фиксацию безумного бреда и как подлинную сокровенную правду о жизни художника.

Двойными (реальными и фантастическими) сюжетными мотивировками дело не исчерпывается. В некоторых из наших новелл чудесное действие развивается непротиворечиво, однако под занавес картина резко меняется. Так, вслед за страшной историей о демоническом Вашиадане («Кто же он?») ее автор Н. А. Мельгунов помещает иронический постскриптум, в котором разоблачает все имевшие место прежде чудеса. Так, в «Странном бале» В. Н. Олина фантастические приключения генерала, завлеченного на вечеринку к нечистому, объясняются его белой горячкой. Вполне реальное объяснение, к тому же с изрядной долей иронии, получают странные поступки Опаль-

ского в «Перстне» Баратынского. Может показаться, что рациональная точка зрения торжествует, что иронические финалы начисто уничтожают загадки бытия, превращают их в любопытные курьезы. Но это не так. Уже «прозревший», уяснивший себе реальную подоплеку событий герой Баратынского перед смертью говорит: «Преступления мои велики <...> Так! хотя воображение мое было расстроено, я ведал, что я делаю: я знаю, что я продал вечное блаженство за временное... Но и мечтательные страдания мои были велики!» В рассказе Бестужева (Марлинского) «Страшное гаданье» (1831) герой совершает ряд преступлений (похищение чужой жены, убийство), однако затем выясняется, что все это лишь привиделось ему во сне. По этому поводу герой замечает: «Сон? Но что же иное все былое наше, как не смутный сон? И ежели вы не пережили со мной этой ночи, если не чувствовали, что я чувствовал так живо, если не испытали мною испытанного в мечте,— это вина моего рассказа. Все это для меня существовало, страшно существовало, как на яву, как на деле».

Если события можно принять за наваждение, плод безумия, если исчезают их истинные свидетели, если гибнет самое место, связанное с чем-то странным (как сгорают уединенный домик на Васильевском в одноименном рассказе и замок в «Латнике»), то все это не расшатывает, но лишь укрепляет веру в таинственное. Ирония всегда готова обернуться на самое себя, за внешне простодушным объяснением мерцает недосказанность, которую не хочет и не может преодолеть играющий с читателем сочинитель.

Устанавливается своеобразная конвенция между автором и читателем: они готовы подтрунивать друг над другом, мистифицировать друг друга, но все же связаны некоторым единством — ощущением избранности, приобщенности к тайне. Писатель-романтик близок не только своему герою, но и своей аудитории, кружку «посвященных», к которым причисляет себя и читатель. Поэтому романтические новеллы легко циклизуются. «Вечер на Хопре» М. Н. Загоскина, «Рассказы на станции» В. Н. Олина — это циклы с «обрамлением»; собеседники, которых свело приятельство или случай, обмениваются чудесными историями, вместе разбираются в том, что, как сказал Гамлет и любили повторять в романтическую эпоху, «вашей философии не снилось». Первый же сборник романтических новелл «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» Антония Погорельского строился как диалог автора и... его двойника.

Если писатель и не создавал особой рамки для своих рассказов, а просто соединял их в сборник («Мечты и жизнь» Н. А. Полевого, «Рассказы о былом и небывалом» Н. А. Мель-

гунова), то и тогда диалогический мотив сохранялся. Рассказы вступали в сложное взаимодействие, их смыслы переливались, подсвечивали друг друга, контрастировали. И по-прежнему сохранялся образ понимающего слушателя или читателя, способного проникнуться чувствами героев и их творца. Примечательна реакция слушателей на рассказ Леонида в «Блаженстве безумия» Н. А. Полевого. Задумчивая голубоглазая девушка спрашивает героя с надеждой: «Вы не выдумали?» — «И не думал,— отвечал Леонид.— Неужели и вы скажете: *так не любят?»* — «О нет! Верю, чувствую, что так можно любить, но... Леонид?» — «Если иначе не смеешь любить, скажи, милый друг: не блаженство ли безумие Антиоха и смерть Адельгейды?»

Я не вслушался в ответ и не знаю, что́ отвечали Леониду». Финальная реплика словно приоткрывает дверь в новую историю — об ином (и все том же) блаженстве безумия, о таинствах всепоглощающей страсти, что способны постигнуть лишь духовные двойники героев.

Писатель-романтик верит, что его читатель оценит и поймет любовь Адели и Дмитрия, а потому достоин быть посвященным в дневники умершего героя — друга автора («Адель» М. П. Погодина); верит, что читатель не удовлетворится рациональными объяснениями загадочной жизни крестьянки-провидицы Энхен («Орлахская крестьянка» В. Ф. Одоевского); верит, что за маскарадными несуразицами будет усмотрена благодетельная воля, останавливающая светского льва на пороге падения («Черный гость» Бернета). Писатель верит, что читатель думает о тех же тайнах, с которыми сталкиваешься на каждом шагу — стоит лишь захотеть.

И расчет оправдывался. Таинственные повести читали, пересказывали, слушали. Представление о том, что душа человеческая — тайна, постепенно укреплялось в сознании. Устойчивые метафоры обретали новые смыслы: например, отождествление светского общества с адом, иронично намеченное в «Уединенном домике на Васильевском» и на редкость прямолинейно проведенное в «Странном бале» Олина, становится символическим подтекстом во многих повестях Одоевского, в «Поединке» Е. П. Ростопчиной (линия «темного героя» — Валевича, стремящегося погубить чистого энтузиаста Дольского). Традиционное противопоставление одинокого героя внешнему миру совмещалось с многообразием трактовок этого героя (демонический убийца, светлый энтузиаст, чудак, художник, безумец, одержимый искусством и т. п.). Как уже говорилось выше, романтические новеллы тяготели к циклизации, а читатель невольно расширял циклы, в его сознании персонажи Бестужева (Мар-

линского) и Одоевского, Ростопчиной и Загоскина, Полевого и Кукольника начинали сближаться. Каждый из них становился лишь гранью загадочного лица, тревожившего сон отроковиц и вызывающего зависть у юношей.

Точно так же начинали мерцать новыми смыслами, казалось бы, простые и извечные понятия: любовь становилась в ряд с безумием, страсть к искусству принимала черты демонической одержимости, а то и греха («Концерт бесов» М. Н. Загоскина, «Антонио» Н. В. Кукольника), героизм сливался с отчаянием. Тайны мира и тайны души человеческой оказывались неразделимыми. Романтическая новелла не разрешала «проклятых» вопросов, но умела доводить их до общего сведения, делать предметом невольных раздумий каждого, кто любопытствовал заглянуть в занимательную книгу. Исподволь мысль о сложности человека, о бездне его души была привита читателю. Исподволь читатель был приучен к двойным объяснениям событий, к свободной ассоциативности повествования, к тому, что порой неясность важнее ясности. Исподволь читателю было объяснено, что «страсти роковые» не есть достояние только поэзии, что обыденное существование чревато загадками и катастрофами, что сам он — кто бы он ни был — в любой момент может стать героем удивительной повести. Романтическая новелла, чьи положения могут показаться иному скептику натянутыми, герои — ходульными, а язык — риторичным и сухим одновременно, дала русскому читателю ключ к создававшимся параллельно с ней петербургским повестям Гоголя и «Герою нашего времени» Лермонтова, к романам Достоевского. Будем же благодарны ее авторам — литераторам, как говорят теперь, второго и третьего ряда — за то, что они сделали для отечественной культуры. Вслушаемся в их голоса, перебивающие друг друга, не сливающиеся, но близкие — тринадцать сочинителей (число, по народным поверьям, дурное) готовы рассказать свои таинственные истории. Если же читатель испугается дурного предзнаменования, то в утешение ему скажем: у одной из новелл два автора, «Уединенный домик на Васильевском» был записан В. П. Титовым со слов Пушкина. Так что «чертовой дюжины» бояться не стоит.

А. Немзер

АНТОНИЙ ПОГОРЕЛЬСКИЙ

ЛАФЕРТОВСКАЯ МАКОВНИЦА

Лет за пятнадцать пред сожжением Москвы недалеко от Проломной заставы стоял небольшой деревянный домик с пятью окошками в главном фасаде и с небольшою над средним окном светлицею. Посреди маленького дворика, окруженного ветхим забором, виден был колодезь. В двух углах стояли полуразвалившиеся анбары, из которых один служил пристанищем нескольким индейским и русским курам, в мирном согласии разделявшим укрепленную поперек анбара веху. Перед домом из-за низкого палисадника поднимались две или три рябины и, казалось, с пренебрежением смотрели на кусты черной смородины и малины, растущие у ног их. Подле самого крыльца выкопан был в земле небольшой погреб для хранения съестных припасов.

В сей-то убогий домик переехал жить отставной почтальон Онуфрич с женою Ивановною и с дочерью Марьею. Онуфрич, будучи еще молодым человеком, лет двадцать прослужил в поле и дослужился до ефрейторского чина; потом столько же лет верою и правдою продолжал службу в московском почтамте; никогда, или, по крайней мере, ни за какую вину, не бывал штрафован и наконец вышел в чистую отставку и на инвалидное содержание. Дом был его собственный, доставшийся ему по наследству от недавно скончавшейся престарелой его тетки. Сия старушка, при жизни своей, во всей Лафертовской части известна была под названием Лафертовской Маковницы, ибо промысел ее состоял в продаже медовых маковых лепешек, которые умела она печь с особенным искусством. Каждый день, какая бы ни была погода, старушка выходила рано поутру из своего домика и направляла путь к Проломной заставе, имея на голове корзинку, наполненную маковниками. Прибыв к заставе, она расстилала чистое полотенце, перевертывала вверх дном корзинку и в правильном порядке раскладывала свои маковники. Таким образом сидела она до вечера, не предлагая никому своего товара и продавая оный в глубоком молчании. Лишь только начинало смеркаться, старушка собирала лепешки свои в корзинку и отправлялась медленными

шагами домой. Солдаты, стоящие на карауле, любили ее, ибо она иногда потчевала их безденежно сладкими маковниками.

Но этот промысел старушки служил только личиною, прикрывавшею совсем иное ремесло. В глубокий вечер, когда в прочих частях города начинали зажигать фонари, а в окрестностях ее дома расстилалась ночная темнота, люди разного звания и состояния робко приближались к хижине и тихо стучались в калитку. Большая цепная собака Султан громким лаем провозглашала чужих. Старушка отворяла дверь, длинными костяными пальцами брала за руку посетителя и вводила его в низкие хоромы. Там, при мелькающем свете лампады, на шатком дубовом столе лежала колода карт, на которых от частого употребления едва можно было различить бубны от червей; на лежанке стоял кофейник из красной меди, а на стене висело решето. Старушка, предварительно приняв от гостя добровольное подаяние — смотря по обстоятельствам,— бралась за карты или прибегала к кофейнику и к решету. Из красноречивых ее уст изливались рекою пророчества о будущих благах, и упоенные сладкою надеждою посетители при выходе из дома нередко вознаграждали ее вдвое более, нежели при входе.

Таким образом жизнь ее протекала покойно в мирных сих занятиях. Правда, что завистливые соседи называли ее за глаза колдуньею и ведьмою; но зато в глаза ей низко кланялись, умильно улыбались и величали бабушкою. Такое к ней уважение отчасти произошло оттого, что когда-то один из соседей вздумал донести полиции, будто бы Лафертовская Маковница занимается непозволительным гаданием в карты и на кофе и даже знается с подозрительными людьми! На другой же день явился полицейский, вошел в дом, долго занимался строгим обыском и наконец при выходе объявил, что он не нашел ничего. Неизвестно, какие средства употребила почтенная старушка в доказательство своей невинности; да и не в том дело! Довольно того, что донос найден был неосновательным. Казалось, что сама судьба вступилась за бедную Маковницу, ибо скоро после того сын доносчика, резвый мальчик, бегая по двору, упал на гвоздь и выколол себе глаз; потом жена его нечаянно поскользнулась и вывихнула ногу; наконец, в довершение всех несчастий, лучшая корова их, не будучи прежде ничем больна, вдруг пала. Отчаян-

ный сосед насилу умилостивил старушку слезами и подарками,— и с того времени все соседство обходилось с нею с должным уважением. Те только, которые, переменяя квартиру, переселялись далеко от Лафертовской части, как например: на Пресненские пруды, в Хамовники или на Пятницкую,— те только осмеливались громко называть Маковницу ведьмою. Они уверяли, что сами видали, как в темные ночи налетал на дом старухи большой ворон с яркими, как раскаленный уголь, глазами; иные даже божились, что любимый черный кот, каждое утро провожающий старуху до ворот и каждый вечер ее встречающий, не кто иной, как сам нечистый дух.

Слухи эти наконец дошли и до Онуфрича, который, по должности своей, имел свободный доступ в передние многих домов. Онуфрич был человек набожный, и мысль, что родная тетка его свела короткое знакомство с нечистым, сильно потревожила его душу. Долго не знал он, на что решиться.

— Ивановна! — сказал он наконец в один вечер, подымая ногу и вступая на смиренное ложе,— Ивановна, дело решено! Завтра поутру пойду к тетке и постараюсь уговорить ее, чтоб она бросила проклятое ремесло свое. Вот она уже, слава богу, добивает девятой десяток; а в такие лета пора принесть покаяние, пора и о душе подумать!

Это намерение Онуфрича крайне не понравилось жене его. Лафертовскую Маковницу все считали богатою, и Онуфрич был единственный ее наследник.

— Голубчик! — отвечала она ему, поглаживая его по наморщенному лбу,— сделай милость, не мешайся в чужие дела. У нас и своих забот довольно: вот уже теперь и Маша подрастает; придет пора выдать ее замуж, а где нам взять женихов без приданого? Ты знаешь, что тетка твоя любит дочь нашу; она ей крестная мать, и когда дело дойдет до свадьбы, то не от кого иного, кроме ее, ожидать нам милостей. Итак, если ты жалеешь Машу, если любишь меня хоть немножко, то оставь добрую старушку в покое. Ты знаешь, душенька...

Ивановна хотела продолжать, как заметила, что Онуфрич храпит. Она печально на него взглянула, вспомнив, что в прежние годы он не так хладнокровно слушал ее речи; отвернулась в другую сторону и вскоре сама захрапела.

На другое утро, когда еще Ивановна покоилась в

объятиях глубокого сна, Онуфрич тихонько поднялся с постели, смиренно помолился иконе Николая-чудотворца, вытер суконкою блистающего на картузе орла и почтальонский свой знак и надел мундир. Потом, подкрепив сердце большою рюмкою ерофеича, вышел в сени. Там прицепил он тяжелую саблю свою, еще раз перекрестился и отправился к Проломной заставе.

Старушка приняла его ласково.

— Эй, эй! племянничек,— сказала она ему,— какая напасть выгнала тебя так рано из дому да еще в такую даль! Ну, ну, добро пожаловать: просим садиться.

Онуфрич сел подле нее на скамью, закашлял и не знал, с чего начать. В эту минуту дряхлая старушка показалась ему страшнее, нежели лет тридцать тому назад турецкая батарея. Наконец он вдруг собрался с духом.

— Тетушка! — сказал он ей твердым голосом,— я пришел поговорить с вами о важном деле.

— Говори, мой милой,— отвечала старушка,— а я послушаю.

— Тетушка! недолго уже вам остается жить на свете; пора покаяться, пора отказаться от сатаны и от наваждений его.

Старушка не дала ему продолжать. Губы ее посинели, глаза налились кровью, нос громко начал стукаться об бороду.

— Вон из моего дому! — закричала она задыхающимся от злости голосом.— Вон, окаянный!.. и чтоб проклятые ноги твои навсегда подкосились, когда опять ты ступишь на порог мой!

Она подняла сухую руку... Онуфрич перепугался до полусмерти; прежняя, давно потерянная гибкость вдруг возвратилась в его ноги: он одним махом соскочил с лестницы и добежал до дому, ни разу не оглянувшись.

С того времени все связи между старушкою и семейством Онуфрича совершенно прервались. Таким образом прошло несколько лет. Маша пришла в совершенный возраст и была прекрасна, как майский день; молодые люди за нею бегали; старики, глядя на нее, жалели о прошедшей своей молодости. Но Маша была бедна, и женихи не являлись. Ивановна чаще стала вспоминать о старой тетке и никак не могла утешиться.

— Отец твой,— часто говаривала она Марье,— тогда рехнулся в уме! Чего ему было соваться туда, где его не спрашивали? Теперь сидеть тебе в девках!

Лет двадцать тому назад, когда Ивановна была молода и хороша, она бы не отчаялась уговорить Онуфрича, чтоб он попросил прощения у тетушки и с нею примирился; но с тех пор как розы на ее ланитах стали уступать место морщинам, Онуфрич вспомнил, что муж есть глава жены своей,— и бедная Ивановна с горестью принуждена была отказаться от прежней власти. Онуфрич не только сам никогда не говорил о старушке, но строго запретил жене и дочери упоминать о ней. Несмотря на то, Ивановна вознамерилась сблизиться с теткою. Не смея действовать явно, она решилась тайно от мужа побывать у старушки и уверить ее, что ни она, ни дочь нимало не причастны дурачеству ее племянника.

Наконец случай поблагоприятствовал ее намерению: Онуфрича на время откомандировали на место заболевшего станционного смотрителя, и Ивановна с трудом при прощанье могла скрыть радость свою. Не успела она проводить дорогого мужа за заставу, не успела еще отереть глаз от слез, как схватила дочь свою под руку и поспешила с нею домой.

— Машенька! — сказала она ей,— скорей оденься получше; мы пойдем в гости.

— К кому, матушка? — спросила Маша с удивлением.

— К добрым людям,— отвечала мать.— Скорей, скорей, Машенька; не теряй времени; теперь уже смеркается, а нам идти далеко.

Маша подошла к висящему на стене в бумажной рамке зеркалу, гладко зачесала волосы за уши и утвердила длинную темно-русую косу роговою гребенкою; потом надела красное ситцевое платье и шелковый платочек на шею; еще раза два повернулась перед зеркалом и объявила матушке, что она готова.

Дорогою Ивановна открыла дочери, что они идут к тетке.

— Пока дойдем мы до ее дома,— сказала она,— сделается темно, и мы, верно, ее застанем. Смотри же, Маша, поцелуй у тетки ручку и скажи, что ты соскучилась, давно не видав ее. Она сначала будет сердиться, но я ее умилостивлю; ведь не мы виноваты, что мой старик спятил с ума.

В сих разговорах они приблизились к дому старушки. Сквозь закрытые ставни сверкал огонь.

— Смотри же, не забудь поцеловать ручку,— повто-

рила еще Ивановна, подходя к двери. Султан громко залаял. Калитка отворилась, старушка протянула руку и ввела их в комнату. Она приняла их за обыкновенных вечерних гостей своих.

— Милостивая государыня тетушка! — начала речь Ивановна.

— Убирайтесь к черту! — закричала старуха, узнав племянницу.— Зачем вы сюда пришли? Я вас не знаю и знать не хочу.

Ивановна начала рассказывать, бранить мужа и просить прощенья; но старуха была неумолима.

— Говорю вам, убирайтесь! — кричала она,— а не то!..— Она подняла на них руку.

Маша испугалась, вспомнила приказание матушки и, громко рыдая, бросилась целовать ее руки.

— Бабушка сударыня! — говорила она,— не гневайтесь на меня; я так рада, что опять вас увидела!

Слезы Машины наконец тронули старуху.

— Перестань плакать,— сказала она,— я на тебя не сердита: знаю, что ты ни в чем не виновата, мое дитятко! Не плачь же, Машенька! Как ты выросла, как похорошела!

Она потрепала ее по щеке.

— Садись подле меня,— продолжала она,— милости просим садиться, Марфа Ивановна! Каким образом вы обо мне вспомнили после столь долгого времени?

Ивановна обрадовалась этому вопросу и начала рассказывать: как она уговаривала мужа, как он ее не послушался, как запретил им ходить к тетушке, как они огорчались, и как, наконец, она воспользовалась отсутствием Онуфрича, чтоб засвидетельствовать тетушке нижайшее почтение.

Старушка с нетерпением выслушала рассказы Ивановны.

— Быть так,— сказала она ей,— я не злопамятна; но если вы искренно желаете, чтоб я забыла прошедшее, то обещайтесь, что во всем будете следовать моей воле! С этим условием я приму вас опять в свою милость и сделаю Машу счастливою.

Ивановна поклялась, что все ее приказания будут свято исполнены.

— Хорошо,— молвила старуха,— теперь идите с богом; а завтра ввечеру пускай Маша придет ко мне одна, не ранее, однако, половины двенадцатого часа. Слышишь ли, Маша? Приходи одна.

Ивановна хотела было отвечать, но старуха не дала ей выговорить ни слова. Она встала, выпроводила их из дому и захлопнула за ними дверь.

Ночь была темная. Долго шли они, взявшись за руки, не говоря ни слова. Наконец, подходя уже к зажженным фонарям, Маша робко оглянулась и прервала молчание.

— Матушка! — сказала она вполголоса,— неужели я завтра пойду одна к бабушке, ночью и в двенадцатом часу?..

— Ты слышала, что приказано тебе прийти одной. Впрочем, я могу проводить тебя до половины дороги.

Маша замолчала и предалась размышлениям. В то время, когда отец ее поссорился с своей теткой, Маше было не более тринадцати лет; она тогда не понимала причины этой ссоры и только жалела, что ее более не водили к доброй старушке, которая всегда ее ласкала и потчевала медовым маком. После того, хотя и пришла уже она в совершенный возраст, но Онуфрич никогда не говорил ни слова об этом предмете; а мать всегда отзывалась о старушке с хорошей стороны и всю вину слагала на Онуфрича. Таким образом, Маша в тот вечер с удовольствием последовала за матерью. Но когда старуха приняла их с бранью, когда Маша при дрожащем свете лампады взглянула на посиневшее от злости лицо ее, тогда сердце в ней содрогнулось от страха. В продолжение длинного рассказа Ивановны воображению ее представилось, как будто в густом тумане, все то, что в детстве своем она слышала о бабушке... и если б в это время старуха не держала ее за руку, то, может быть, она бросилась бы бежать из дому. Итак, можно вообразить, с каким чувством она помышляла о завтрашнем дне.

Возвратясь домой, Маша со слезами просила мать, чтоб она не посылала ее к бабушке; но просьбы ее были тщетны.— Какая же ты дура,— говорила ей Ивановна,— чего тут бояться? Я тихонько провожу тебя почти до дому, дорогой тебя никто не тронет, а беззубая бабушка тоже тебя не съест!

Следующий день Маша весь проплакала. Начало смеркаться — и ужас ее увеличился; но Ивановна как будто ничего не примечала,— она почти насильно ее нарядила.

— Чем более ты будешь плакать, тем для тебя хуже,— сказала она.— Что-то скажет бабушка, когда увидит красные твои глаза!

Между тем кукушка на стенных часах прокричала одиннадцать раз. Ивановна набрала в рот холодной воды, брызнула Маше в лицо и потащила ее за собою.

Маша следовала за матерью, как жертва, которую ведут на заклание. Сердце ее громко билось, ноги через силу двигались, и таким образом они прибыли в Лафертовскую часть. Еще несколько минут шли они вместе; но лишь только Ивановна увидела мелькающий вдали между ставней огонь, как пустила руку Машину.

— Теперь иди одна,— сказала она,— далее я не смею тебя провожать.

Маша в отчаянье бросилась к ней в ноги.

— Полно дурачиться! — вскричала мать строгим голосом.— Что тебе сделается? будь послушна и не вводи меня в сердце!

Бедная Маша собрала последние силы и тихими шагами удалилась от матери. Тогда был в исходе двенадцатый час; никто с нею не повстречался, и нигде, кроме старушкина дома, не видно было огня. Казалось, будто вымерли все жители той части города; мрачная тишина царствовала повсюду; один только глухой шум от собственных ее шагов отзывался у нее в ушах. Наконец пришла она к домику и трепещущею рукою дотронулась до калитки... Вдали на колокольне Никиты-мученика ударило двенадцать часов. Звуки колокола в тишине черной ночи дрожащим гулом расстилались по воздуху и доходили до ее слуха. Внутри домика кот громко промяукал двенадцать раз... Она сильно вздрогнула и хотела бежать... но вдруг раздался громкий лай цепной собаки, заскрипела калитка — и длинные пальцы старухи схватили ее за руку. Маша не помнила, как взошла на крылечко и как очутилась в бабушкиной комнате... Пришед немного в себя, она увидела, что сидит на скамье; перед ней стояла старуха и терла виски ее муравьиным спиртом.

— Как ты напугана, моя голубка! — говорила она ей.— Ну, ну! темнота на дворе самая прекрасная; но ты, мое дитятко, еще не узнала ее цены и потому боишься. Отдохни немного; пора нам приняться за дело!

Маша не отвечала ни слова; утомленные от слез глаза ее следовали за всеми движениями бабушки. Старуха подвинула стол на средину комнаты, из стенного шкафа вынула большую темно-алую свечку, зажгла ее и прикрепила к столу, а лампаду потушила. Комната осветилась розовым светом. Все пространство от полу

до потолка как будто наполнилось длинными нитками кровавого цвета, которые тянулись по воздуху в разных направлениях — то свертывались в клуб, то опять развивались, как змеи...

— Прекрасно! — сказала старушка и взяла Машу за руку.— Теперь иди за мною.

Маша дрожала всеми членами; она боялась идти за бабушкой, но еще более боялась ее рассердить. С трудом поднялась она на ноги.

— Держись крепко за полы мои,— прибавила старуха,— и следуй за мной... не бойся ничего!

Старуха начала ходить кругом стола и протяжным напевом произносила непонятные слова; перед нею плавно выступал черный кот с сверкающими глазами и с поднятым вверх хвостом. Маша крепко зажмурилась и трепещущими шагами шла за бабушкой. Трижды три раза старуха обошла вокруг стола, продолжая таинственный напев свой, сопровождаемый мурлыканьем кота. Вдруг она остановилась и замолчала... Маша невольно раскрыла глаза — те же кровавые нитки все еще растягивались по воздуху. Но, бросив нечаянно взгляд на черного кота, она увидела, что на нем зеленый мундирный сюртук; а на место прежней котовой круглой головки показалось ей человеческое лицо, которое, вытараща глаза, устремляло взоры прямо на нее. Она громко закричала и без чувств упала на землю...

Когда она опомнилась, дубовый стол стоял на старом месте, темно-алой свечки уже не было и на столе по-прежнему горела лампада; бабушка сидела подле нее и смотрела ей в глаза, усмехаясь с веселым видом.

— Какая же ты, Маша, трусиха! — говорила она ей.— Но до того нужды нет; я и без тебя кончила дело. Поздравляю тебя, родная,— поздравляю тебя с женихом! Он человек очень мне знакомый и должен тебе нравиться. Маша, я чувствую, что недолго мне осталось жить на белом свете; кровь моя уже слишком медленно течет по жилам и временем сердце останавливается... Мой верный друг,— продолжала старуха, взглянув на кота,— давно уже зовет меня туда, где остылая кровь моя опять согреется. Хотелось бы мне еще немного пожить под светлым солнышком, хотелось бы еще полюбоваться золотыми денежками... но последний час мой скоро стукнет. Что ж делать! чему быть, тому не миновать.

— Ты, моя Маша,— продолжала она, вялыми губа-

ми поцеловав ее в лоб,— ты после меня обладать будешь моими сокровищами; тебя я всегда любила и охотно уступаю тебе место! Но выслушай меня со вниманием: придет жених, назначенный тебе тою силою, которая управляет большею частию браков... Я для тебя выпросила этого жениха; будь послушна и выдь за него. Он научит тебя той науке, которая помогла мне накопить себе клад; общими вашими силами он нарастет еще вдвое,— и прах мой будет покоен. Вот тебе ключ; береги его пуще глаза своего. Мне не позволено сказать тебе, где спрятаны мои деньги; но как скоро ты выйдешь замуж, все тебе откроется!

Старуха сама повесила ей на шею маленький ключ, надетый на черный снурок. В эту минуту кот громко промяукал два раза.

— Вот уже настал третий час утра,— сказала бабушка.— Иди теперь домой, дорогое мое дитя! Прощай! может быть, мы уже не увидимся...— Она проводила Машу на улицу, вошла опять в дом и затворила за собой калитку.

При бледном свете луны Маша скорыми шагами поспешила домой. Она была рада, что ночное ее свидание с бабушкой кончилось, и с удовольствием помышляла о будущем своем богатстве. Долго Ивановна ожидала ее с нетерпением.

— Слава богу! — сказала она, увидев ее.— Я уже боялась, чтоб с тобою чего-нибудь не случилось. Рассказывай скорей, что ты делала у бабушки?

Маша готовилась повиноваться, но сильная усталость мешала ей говорить. Ивановна, заметив, что глаза ее невольно смыкаются, оставила до другого утра удовлетворение своего любопытства, сама раздела любезную дочку и уложила ее в постель, где она вскоре заснула глубоким сном.

Проснувшись на другой день, Маша насилу собралась с мыслями. Ей казалось, что все случившееся с нею накануне не что иное, как тяжелый сон; когда же взглянула нечаянно на висящий у нее на шее ключ, то удостоверилась в истине всего, ею виденного,— и обо всем с подробностью рассказала матери. Ивановна была вне себя от радости.

— Видишь ли теперь,— сказала она,— как хорошо я сделала, что не послушалась твоих слез?

Весь тот день мать с дочерью провели в сладких мечтах о будущем благополучии. Ивановна строго за-

претила Маше ни слова не говорить отцу о свидании своем с бабушкой.

— Он человек упрямый и вздорливый,— примолвила она,— и в состоянии все дело испортить.

Против всякого ожидания Онуфрич приехал на следующий день поздно ввечеру. Станционный смотритель, которого должность ему приказано было исправлять, нечаянно выздоровел, и он воспользовался первою едущею в Москву почтою, чтоб возвратиться домой.

Не успел он еще рассказать жене и дочери, по какому случаю он так скоро воротился, как вошел к ним в комнату прежний его товарищ, который тогда служил будочником в Лафертовской части, неподалеку от дома Маковницы.

— Тетушка приказала долго жить! — сказал он, не дав себе даже времени сперва поздороваться.

Маша и Ивановна взглянули друг на друга.

— Упокой господи ее душу! — воскликнул Онуфрич, смиренно сложив руки.— Помолимся за покойницу, она имеет нужду в наших молитвах!

Он начал читать молитву. Ивановна с дочерью крестились и клали земные поклоны; но на уме у них были сокровища, их ожидающие. Вдруг они обе вздрогнули в одно время... Им показалось, что покойница с улицы смотрит к ним в комнату и им кланяется! Онуфрич и будочник, молившиеся с усердием, ничего не заметили.

Несмотря на то что было уже поздно, Онуфрич отправился в дом покойной тетки. Дорогою прежний товарищ его рассказывал все, что ему известно было о ее смерти.

— Вчера,— говорил он,— тетка твоя в обыкновенное время пришла к себе; соседи видели, что у нее в доме светился огонь. Но сегодня она уже не являлась у Проломной, и из этого заключили, что она нездорова. Наконец под вечер решились войти к ней в комнату, но ее не застали уже в живых: — так иные рассказывают о смерти старухи. Другие утверждают, что в прошедшую ночь что-то необыкновенное происходило в ее доме. Сильная буря, говорят, бушевала около хижины, тогда как везде погода стояла тихая; собаки из всего околотка собрались перед ее окном и громко выли; мяуканье ее кота слышно было издалека... Что касается до меня, то я нынешнюю ночь спокойно проспал; но товарищ мой, стоявший на часах, уверяет, что он видел, как

с самого Введенского кладбища прыгающие по земле огоньки длинными рядами тянулись к ее дому и, доходя до калитки, один за другим, как будто проскакивая под нее, исчезали. Необыкновенный шум, свист, хохот и крик, говорят, слышен был в ее доме до самого рассвета. Странно, что до сих пор нигде не могли отыскать черного ее кота!

Онуфрич с горестию внимал рассказу будочника, не отвечая ему ни слова. Таким образом, пришли они в дом покойницы. Услужливые соседки, забыв страх, который внушала им старушка при жизни, успели ее уже омыть и одеть в праздничное платье. Когда Онуфрич вошел в комнату, старушка лежала на столе. В головах у ней сидел дьячок и читал псалтырь. Онуфрич, поблагодарив соседок, послал купить восковых свеч, заказал гроб, распорядился, чтоб было что попить и поесть желающим проводить ночь у покойницы, и отправился домой. Выходя из комнаты, он никак не мог решиться поцеловать у тетушки руку.

В следующий день назначено быть похоронам. Ивановна для себя и для дочери взяла напрокат черные платья, и обе явились в глубоком трауре. Сначала все шло надлежащим порядком. Одна только Ивановна, прощаясь с теткою, вдруг отскочила назад, побледнела и сильно задрожала. Она уверяла всех, что ей сделалось дурно; но после того тихонько призналась Маше, что ей показалось, будто покойница разинула рот и хотела схватить ее за нос. Когда же стали поднимать гроб, то он сделался так тяжел, как будто налитой свинцом, и шесть широкоплечих почтальонов насилу могли его вынесть и поставить на дроги. Лошади сильно храпели, и с трудом можно было их принудить двигаться вперед.

Эти обстоятельства и собственные замечания Маши подали ей повод к размышлениям. Она вспомнила, какими средствами сокровища покойницы были собраны, и обладание оными показалось ей не весьма лестным. В некоторые минуты ключ, висящий у нее на шее, как тяжелый камень давил ей грудь, и она неоднократно принимала намерение все открыть отцу и просить у него совета; но Ивановна строго за ней присматривала и беспрестанно твердила, что она всех их сделает несчастными, если не станет слушаться приказаний старушки. Демон корыстолюбия совершенно овладел душою Ивановны, и она не могла дождаться вре-

мени, когда явится суженый жених и откроет средство завладеть кладом. Хотя она и боялась думать о покойнице и хотя при воспоминании об ней холодный пот выступал у нее на лице, но в душе ее жадность к золоту была сильнее страха, и она беспрестанно докучала мужу, чтоб он переехал в Лафертовскую часть, укеряя, что всякий их осудит, если они жить будут на наемной квартире тогда, когда у них есть собственный дом.

Между тем Онуфрич, отслужив свои годы и получив отставку, начал помышлять о покое. Мысль о доме производила в нем неприятное впечатление, когда вспоминал он о той, от которой он ему достался. Он даже всякий раз невольно вздрагивал, когда случалось ему вступать в комнату, где прежде жила старуха. Но Онуфрич был набожен и благочестив и верил, что никакие нечистые силы не имеют власти над чистою совестью; и потому, рассудив, что ему выгоднее жить в своем доме, нежели нанимать квартиру, он решился превозмочь свое отвращение и переехать.

Ивановна сильно обрадовалась, когда Онуфрич велел переноситься в лафертовский дом.

— Увидишь, Маша,— сказала она дочери,— что теперь скоро явится жених. То-то мы заживем, когда у нас будет полна палата золота. Как удивятся прежние соседи наши, когда мы въедем к ним на двор в твоей карете, да еще, может быть, и четверней!..

Маша молча на нее смотрела и печально улыбалась. С некоторых пор у нее совсем иное было на уме.

За несколько дней перед их разговором (они еще жили на прежней квартире), Маша в одно утро задумавшись сидела у окна. Мимо ее прошел молодой хорошо одетый мужчина, взглянул на нее и учтиво снял шляпу. Маша ему тоже поклонилась и, сама не знала отчего, вдруг закраснелась! Немного погодя тот же молодой человек прошел назад, потом обернулся, прошел еще и опять воротился. Всякий раз он смотрел на нее, и у Маши всякий раз сильно билось сердце. Маше уже минуло семнадцать лет, но до сего времени никогда не случалось, чтоб у нее билось сердце, когда кто-нибудь проходил мимо окошек. Ей показалось это странным, и она после обеда села к окну — для того только, чтоб узнать, забьется ли сердце, когда опять пройдет молодой мужчина... Таким образом она просидела до вечера, однако никто не являлся. Наконец, когда подали

огонь, она отошла от окна и целый вечер была печальна и задумчива; она досадовала, что ей не удалось повторить опыта над своим сердцем.

На другой день Маша только что проснулась, тотчас вскочила с постели, поспешно умылась, оделась, помолилась богу и села к окну. Взоры ее устремлены были в ту сторону, откуда накануне шел незнакомец. Наконец она его увидела: глаза его еще издали ее искали, а когда подошел он ближе, взоры их как будто нечаянно встретились. Маша, забывшись, приложила руку к сердцу, чтоб узнать, бьется ли оно?.. Молодой человек, заметив сие движение и, вероятно, не понимая, что оно значит, тоже приложил руку к сердцу... Маша опомнилась, покраснела и отскочила назад. После того она целый день уже не подходила к окну, опасаясь увидеть молодого человека. Несмотря на то, он не выходил у нее из памяти; она старалась думать о других предметах, но усилия ее были напрасны.

Чтоб разбить мысли, она вздумала ввечеру идти в гости к одной вдове, жившей с ними в соседстве. Входя к ней в комнату, к крайнему удивлению, увидела она того самого незнакомца, которого тщетно забыть старалась. Маша испугалась, покраснела, потом побледнела и не знала, что сказать. Слезы заблистали у ней в глазах. Незнакомец опять ее не понял... он печально ей поклонился, вздохнул — и вышел вон. Она еще более смешалась и с досады заплакала. Встревоженная соседка посадила ее возле себя и с участием спросила о причине ее огорчения. Маша сама неясно понимала, о чем плакала, и потому не могла объявить причины; внутренно же она приняла твердое намерение сколько можно убегать незнакомца, который довел ее до слез. Эта мысль ее поуспокоила. Она вступила в разговор с соседкой и начала ей рассказывать о домашних своих делах и о том, что они, может быть, скоро переедут в Лафертовскую часть.

— Жаль мне,— сказала вдова,— очень жаль, что лишусь добрых соседей; и не я одна о том жалеть буду. Я знаю одного человека, который очень огорчится, когда узнает эту новость.

Маша опять покраснела; хотела спросить, кто этот человек, но не могла выговорить ни слова. Услужливая соседка, верно, угадала мысли ее, ибо она продолжала так:

— Вы не знаете молодого мужчины, который те-

перь вышел из комнаты? Может быть, вы даже и не заметили, что он вчера и сегодня проходил мимо вашего дома; но он вас видел и нарочно зашел ко мне, чтоб расспросить у меня об вас. Не знаю, ошибаюсь ли я или нет, а мне кажется, что вы крепко задели бедное его сердечко! Чего тут краснеть? — прибавила она, заметив, что у Маши разгорелись щеки.— Он человек молодой, пригожий и, если нравится Машеньке, то, может быть, скоро дойдет дело и до свадьбы.

При сих словах Машенька невольно вспомнила о бабушке. «Ах! — сказала она сама себе,— не это ли жених, мне назначенный?» Но вскоре мысль эта уступила место другой, не столь приятной. «Не может быть,— подумала она,— чтоб такой пригожий молодец имел короткую связь с покойницею. Он так мил, одет так щеголевато, что, верно, не умел бы удвоить бабушкина клада!» Между тем соседка продолжала ей рассказывать, что он хотя из мещанского состояния, но поведения хорошего и трезвого, и сидельцем в суконном ряду. Денег у него больших нет, зато жалованье получает изрядное, и кто знает? может быть, хозяин когда-нибудь примет его в товарищи!

— Итак,— прибавила она,— послушайся доброго совета: не отказывай молодцу. Деньги не делают счастья! Вот бабушка твоя,— прости, господи, мое согрешение! — денег у нее было неведь сколько; а теперь куда все это девалось?.. И черный кот, говорят, провалился сквозь землю — и деньги туда же!

Маша внутренно очень согласна была с мнением соседки; и ей также показалось, что лучше быть бедною и жить с любезным незнакомцем, нежели богатой и принадлежать — бог знает кому! Она чуть было не открылась во всем; но, вспомнив строгие приказания матери и опасаясь собственной своей слабости, поспешно встала и простилась. Выходя уже из комнаты, она, однако, не могла утерпеть, чтоб не спросить об имени незнакомца.

— Его зовут Улияном,— отвечала соседка.

С этого времени Улиян не выходил из мыслей у Маши: все в нем, даже имя, ей нравилось. Но чтоб принадлежать ему, надобно было отказаться от сокровищ, оставленных бабушкою. Улиян был не богат, и, «верно,— думала она,— ни батюшка, ни матушка не согласятся за него меня выдать!» В этом мнении еще более она уверилась тем, что Ивановна беспрестанно тверди-

ла о богатстве, их ожидающем, и о счастливой жизни, которая тогда начнется. Итак, страшась гнева матери, Маша решилась не думать больше об Улияне: она остерегалась подходить к окну, избегала всяких разговоров с соседкою и старалась казаться веселою; но черты Улияна твердо врезались в ее сердце.

Между тем настал день, в который должно было переехать в лафертовский дом. Онуфрич заранее туда отправился, приказав жене и дочери следовать за ним с пожитками, уложенными еще накануне. Подъехали двое роспусок; извозчики с помощию соседей вынесли сундуки и мебель. Ивановна и Маша, каждая взяла в руки по большому узлу, и маленький караван тихим шагом потянулся к Проломной заставе. Проходя мимо квартиры вдовы-соседки, Маша невольно подняла глаза: у открытого окошка стоял Улиян с поникшею головою; глубокая печаль изображалась во всех чертах его. Маша как будто его не заметила и отворотилась в противную сторону; но горькие слезы градом покатились по бледному ее лицу.

В доме давно уже ожидал их Онуфрич. Он подал мнение свое, куда поставить привезенную мебель, и объяснил им, каким образом он думает расположиться в новом жилище.

— В этом чулане,— сказал он Ивановне,— будет наша спальня; подле нее, в маленькой комнате, поставятся образа; а здесь будет и гостиная наша и столовая. Маша может спать наверху в светлице. Никогда,— продолжал он,— не случалось мне жить так на просторе; но не знаю, почему у меня сердце не на месте. Дай бог, чтоб мы здесь были так же счастливы, как в прежних тесных комнатах!

Ивановна невольно улыбнулась. «Дай срок! — подумала она,— в таких ли мы будем жить палатах!»

Радость Ивановны, однако, в тот же день гораздо поуменьшилась: лишь только настал вечер, как пронзительный свист раздался по комнатам и ставни застучали.

— Что это такое? — вскричала Ивановна.

— Это ветер,— хладнокровно отвечал Онуфрич,— видно, ставни неплотно запираются; завтра надобно будет починить.

Она замолчала и бросила значительный взгляд на Машу, ибо в свисте ветра находила она сходство с голосом старухи.

В это время Маша смиренно сидела в углу и не слыхала ни свисту ветра, ни стуку ставней — она думала об Улияне. Ивановне страшнее показалось то, что только ей одной послышался голос старухи. После ужина она вышла в сени, чтоб спрятать остатки от умеренного их стола; подошла к шкафу, поставила подле себя на пол свечку и начала устанавливать на полки блюда и тарелки. Вдруг услышала она подле себя шорох, и кто-то легонько ударил ее по плечу... Она оглянулась... за нею стояла покойница в том самом платье, в котором ее похоронили!.. Лицо ее было сердито; она подняла руку и грозила ей пальцем. Ивановна, в сильном ужасе, громко вскричала. Онуфрич и Маша бросились к ней в сени.

— Что с тобою делается? — закричал Онуфрич, увидя, что она была бледна как полотно и дрожала всеми членами.

— Тетушка! — сказала она трепещущим голосом... Она хотела продолжать, но тетушка опять явилась пред нею... лицо ее казалось еще сердитее — и она еще строже ей грозила. Слова замерли на устах Ивановны...

— Оставь мертвых в покое,— отвечал Онуфрич, взяв ее за руку и вводя обратно в комнату.— Помолись богу, и греза от тебя отстанет. Пойдем, ложись в постель: пора спать!

Ивановна легла, но покойница все представлялась ее глазам в том же сердитом виде. Онуфрич, спокойно раздевшись, громко начал молиться, и Ивановна заметила, что по мере того, как она вслушивалась в молитвы, вид покойницы становился бледнее, бледнее — и наконец совсем исчез.

И Маша тоже беспокойно провела эту ночь. При входе в светлицу ей представилось, будто тень бабушки мелькала перед нею,— но не в том грозном виде, в котором являлась она Ивановне. Лицо ее было весело, и она умильно ей улыбалась. Маша перекрестилась — и тень пропала. Сначала она сочла это игрою воображения, и мысль об Улияне помогла ей разогнать мысль о бабушке; она довольно спокойно легла спать и вскоре заснула. Вдруг, около полуночи, что-то ее разбудило. Ей показалось, что холодная рука гладила ее по лицу... она вскочила. Перед образом горела лампада, и в комнате не видно было ничего необыкновенного; но сердце в ней трепетало от страха: она внятно слышала, что

кто-то ходит по комнате и тяжело вздыхает... Потом как будто дверь отворилась и заскрипела... и кто-то сошел вниз по лестнице.

Маша дрожала как лист. Тщетно старалась она опять заснуть. Она встала с постели, поправила светильню лампады и подошла к окну. Ночь была темная. Сначала Маша ничего не видала; потом показалось ей, будто на дворе, подле самого колодца, вспыхнули два небольшие огонька. Огоньки эти попеременно то погасали, то опять вспыхивали; потом они как будто ярче загорели, и Маша ясно увидела, как подле колодца стояла покойная бабушка и манила ее к себе рукою... За нею на задних лапах сидел черный кот, и оба глаза его в густом мраке светились, как огни. Маша отошла прочь от окна, бросилась на постель и крепко закутала голову в одеяло. Долго казалось ей, будто бабушка ходит по комнате, шарит по углам и тихо зовет ее по имени. Один раз ей даже представилось, что старушка хотела сдернуть с нее одеяло; Маша еще крепче в него завернулась. Наконец все утихло, но Маша во всю ночь уже не могла сомкнуть глаз.

На другой день решилась она объявить матери, что откроет все отцу своему и отдаст ему ключ, полученный от бабушки. Ивановна во время вечернего страха и сама бы рада была отказаться от всех сокровищ; но когда поутру взошло красное солнышко и яркими лучами осветило комнату, то и страх исчез, как будто его никогда не бывало. Наместо того веселые картины будущей счастливой жизни опять заняли ее воображение. «Не вечно же будет пугать меня покойница,— думала она,— выйдет Маша замуж, и старуха успокоится. Да и чего теперь она хочет? Уж не за то ли она гневается, что я никак не намерена сберегать ее сокровища? Нет, тетушка! гневайся сколько угодно; а мы протрем глаза твоим рублевикам!»

Тщетно Маша упрашивала мать, чтоб она позволила ей открыть отцу их тайну.

— Ты насильно отталкиваешь от себя счастие,— отвечала Ивановна.— Погоди еще хотя дня два,— верно, скоро явится жених твой, и все пойдет на лад.

— Два дня! — повторила Маша,— я не переживу и одной такой ночи, какова была прошедшая.

— Пустое,— сказала ей мать,— может быть, и сегодня все дело придет к концу.

Маша не знала, что делать. С одной стороны, она

чувствовала необходимость рассказать все отцу; с другой — боялась рассердить мать, которая никогда бы ей этого не простила. Будучи в крайнем недоумении,— на что решиться, вышла она со двора и в задумчивости бродила долго по самым уединенным улицам Лафертовской части. Наконец, не придумав ничего, воротилась домой. Ивановна встретила ее в сенях.

— Маша! — сказала она ей,— скорей поди вверх и приоденься: уж более часу сидит с отцом жених твой и тебя ожидает.

У Маши сильно забилось сердце, и она пошла к себе. Тут слезы ручьем полились из глаз ее. Улиян представился ее воображению в том печальном виде, в котором она видела его в последний раз. Она забыла наряжаться. Наконец строгий голос матери прервал ее размышления.

— Маша! долго ли тебе прихорашиваться? — кричала Ивановна снизу.— Сойди сюда!

Маша поспешила вниз в том же платье, в котором вошла в свою светлицу. Она отворила дверь и оцепенела!.. На скамье, подле Онуфрича, сидел мужчина небольшого росту, в зеленом мундирном сюртуке; то самое лицо устремило на нее взор, которое некогда видела она у черного кота. Она остановилась в дверях и не могла идти далее.

— Подойди поближе,— сказал Онуфрич,— что с тобою сделалось?

— Батюшка! это бабушкин черный кот,— отвечала Маша, забывшись и указывая на гостя, который странным образом повертывал головою и умильно на нее поглядывал, почти совсем зажмурив глаза.

— С ума ты сошла! — вскричал Онуфрич с досадою.— Какой кот? Это господин титулярный советник Аристарх Фалелеич Мурлыкин, который делает тебе честь и просит твоей руки.

При сих словах Аристарх Фалелеич встал, плавно выступая, приблизился к ней и хотел поцеловать у нее руку. Маша громко закричала и подалась назад. Онуфрич с сердцем вскочил с скамейки.

— Что это значит? — закричал он.— Эдакая ты неучтивая, точно деревенская девка!

Однако ж Маша его не слушала.

— Батюшка! — сказала она ему вне себя,— воля ваша! это бабушкин черный кот! Велите ему скинуть перчатки; вы увидите, что у него есть когти.—

С сими словами она вышла из комнаты и убежала в светлицу.

Аристарх Фалелеич тихо что-то ворчал себе под нос. Онуфрич и Ивановна были в крайнем замешательстве, но Мурлыкин подошел к ним, все так же улыбаясь.

— Это ничего, сударь,— сказал он, сильно картавя,— ничего, сударыня, прошу не прогневаться! Завтра я опять приду, завтра дорогая невеста лучше меня примет.

После того он несколько раз им поклонился, с приятностию выгибая круглую свою спину, и вышел вон. Маша смотрела из окна и видела, как Аристарх Фалелеич сошел с лестницы и, тихо передвигая ноги, удалился; но, дошед до конца дома, он вдруг повернул за угол и пустился бежать, как стрела. Большая соседская собака с громким лаем во всю прыть кинулась за ним, однако не могла его догнать.

Ударило двенадцать часов; настало время обедать. В глубоком молчании все трое сели за стол, и никому не хотелось кушать. Ивановна от времени до времени сердито взглядывала на Машу, которая сидела с потупленными глазами. Онуфрич тоже был задумчив. В конце обеда принесли Онуфричу письмо; он распечатал — и на лице его изобразилась радость. Потом он встал изза стола, поспешно надел новый сюртук, взял в руки шляпу и трость и готовился идти со двора.

— Куда ты идешь, Онуфрич? — спросила Ивановна.

— Я скоро ворочусь,— отвечал он и вышел.

Лишь только он затворил за собой дверь, как Ивановна начала бранить Машу.

— Негодная! — сказала она ей,— так-то любишь и почитаешь ты мать свою? Так-то повинуешься ты родителям? Но я тебе говорю, что приму тебя в руки! Только смей опять подурачиться, когда пожалует к нам завтра Аристарх Фалелеич!

— Матушка! — отвечала Маша со слезами,— я во всем рада слушаться, только не выдавайте меня за бабушкина кота!

— Какую дичь ты опять запорола? — сказала Ивановна.— Стыдись, сударыня; все знают, что он титулярный советник.

— Может быть, и так, матушка,— отвечала бедная Маша, горько рыдая,— но он кот, право кот!

Сколько ни бранила ее Ивановна, сколько ее ни уговаривала, но она все твердила, что никак не согласится

выйти замуж за бабушкина кота; и наконец Ивановна в сердцах выгнала ее из комнаты. Маша пошла в свою светлицу и опять принялась горько плакать.

Спустя несколько времени она услышала, что отец ее воротился домой, и немного погодя ее кликнули. Она сошла вниз; Онуфрич взял ее за руку и обнял с нежностию.

— Маша! — сказал он ей,— ты всегда была добрая девушка и послушная дочь!

Маша заплакала и поцеловала у него руку.

— Теперь ты можешь доказать нам, что ты нас любишь! Слушай меня со вниманием. Ты, я думаю, помнишь о маркитанте, о котором я часто вам рассказывал и с которым свел я такую дружбу во время Турецкой войны: он тогда был человек бедный, и я имел случай оказать ему важные услуги. Мы принуждены были расстаться и поклялись вечно помнить друг друга. С того времени прошло более тридцати лет, и я совершенно потерял его из виду. Сегодня за обедом получил я от него письмо; он недавно приехал в Москву и узнал, где я живу. Я поспешил к нему; ты можешь себе представить, как мы обрадовались друг другу. Приятель мой имел случай вступить в подряды, разбогател и теперь приехал сюда жить на покое. Узнав, что у меня есть дочь, он обрадовался; мы ударили по рукам, и я просватал тебя за его единственного сына. Старики не любят терять времени — и сегодня ввечеру они оба у нас будут.

Маша еще горче заплакала; она вспомнила об Улияне.

— Послушай, Маша! — сказал Онуфрич,— сегодня поутру сватался за тебя Мурлыкин; он человек богатый, которого знают все в здешнем околотке. Ты за него выйти не захотела; и признаюсь,— хотя я очень знаю, что титулярный советник не может быть котом или кот титулярным советником,— однако мне самому он показался подозрительным. Но сын приятеля моего — человек молодой, хороший, и ты не имеешь никакой причины ему отказать. Итак, вот тебе мое последнее слово: если не хочешь отдать руку свою тому, которого я выбрал, то готовься завтра поутру согласиться на предложение Аристарха Фалелеича... Поди и одумайся.

Маша в сильном огорчении возвратилась в свою светлицу. Она давно решилась ни для чего в свете не

выходить за Мурлыкина; но принадлежать другому, а не Улияну,— вот что показалось ей жестоким! Немного погодя вошла к ней Ивановна.

— Милая Маша! — сказала она ей,— послушайся моего совета. Все равно, выходить тебе за Мурлыкина или за маркитанта: откажи последнему и ступай за первого. Отец хотя и говорил, что маркитант богат, но ведь я отца твоего знаю! У него всякой богат, у кого сотня рублей за пазухой. Маша! подумай, сколько у нас будет денег... а Мурлыкин, право, не противен. Хотя он уже не совсем молод, но зато как вежлив, как ласков! Он будет тебя носить на руках.

Маша плакала, не отвечая ни слова; а Ивановна, думая, что она согласилась, вышла вон, дабы муж не заметил, что она ее уговаривала. Между тем Маша, скрепя сердце, решилась принесть отцу на жертву любовь свою к Улияну. «Постараюсь его забыть,— сказала она сама себе,— пускай батюшка будет счастлив моим послушанием. Я и так перед ним виновата, что против его воли связалась с бабушкой!»

Лишь только смерклось, Маша тихонько сошла с лестницы и направила шаги прямо к колодезю. Едва вступила она на двор, как вдруг вихрь поднялся вокруг нее, и казалось, будто земля колеблется под ее ногами... Толстая жаба с отвратительным криком бросилась к ней прямо навстречу, но Маша перекрестилась и с твердостию пошла вперед. Подходя к колодезю, послышался ей жалостный вопль, как будто выходящий с самого дна. Черный кот печально сидел на срубе и мяукал унылым голосом. Маша отворотилась и подошла ближе; твердою рукою сняла она с шеи снурок и с ним ключ, полученный от бабушки.

— Возьми назад свой подарок! — сказала она.— Не надо мне ни жениха твоего, ни денег твоих; возьми и оставь нас в покое.

Она бросила ключ прямо в колодезь; черный кот завизжал и кинулся туда же; вода в колодезе сильно закипела... Маша пошла домой. С груди ее свалился тяжелый камень.

Подходя к дому, Маша услышала незнакомый голос, разговаривающий с ее отцом. Онуфрич встретил ее у дверей и взял за руку.

— Вот дочь моя! — сказал он, подводя ее к почтенному старику с седою бородою, который сидел на лавке. Маша поклонилась ему в пояс.

— Онуфрич! — сказал старик,— познакомь же ее с женихом.

Маша робко оглянулась — подле нее стоял Улиян! Она закричала и упала в его объятия...

Я не в силах описать восхищения обоих любовников. Онуфрич и старик узнали, что они уже давно познакомились,— и радость их удвоилась. Ивановна утешилась, узнав, что у будущего свата несколько сот тысяч чистых денег в ломбарде. Улиян тоже удивился этому известию, ибо он никогда не думал, чтоб отец его был так богат. Недели чрез две после того их обвенчали.

В день свадьбы, ввечеру, когда за ужином в доме Улияна веселые гости пили за здоровье молодых, вошел в комнату известный будочник и объявил Онуфричу, что в самое то время, когда венчали Машу, потолок в лафертовском доме провалился и весь дом разрушился.

— Я и так не намерен был долее в нем жить,— сказал Онуфрич.— Садись с нами, мой прежний товарищ, налей стакан цимлянского и пожелай молодым счастия и — многие лета!

В. П. ТИТОВ

УЕДИНЕННЫЙ ДОМИК НА ВАСИЛЬЕВСКОМ

Повесть

Кому случалось гулять кругом всего Васильевского острова, тот, без сомнения, заметил, что разные концы его весьма мало похожи друг на друга. Возьмите южный берег, уставленный пышным рядом каменных, огромных строений, и северную сторону, которая глядит на Петровский остров и вдается длинною косою в сонные воды залива. По мере приближения к этой оконечности, каменные здания, редея, уступают место деревянным хижинам; между сими хижинами проглядывают пустыри; наконец строение вовсе исчезает, и вы идете мимо ряда просторных огородов, который по левую сторону замыкается рощами; он приводит вас к последней возвышенности, украшенной одним или двумя сиротливыми домами и несколькими деревьями; ров, заросший высокою крапивой и репейником, отделяет возвышенность от вала, служащего оплотом от разлитий; а дальше лежит луг, вязкий, как болото, составляющий взморье. И летом печальны сии места пустынные, а еще более зимою, когда и луг, и море, и бор, осеняющий противоположные берега Петровского острова,— все погребено в серые сугробы, как будто в могилу.

Несколько десятков лет тому назад, когда сей околоток был еще уединеннее, в низком, но опрятном деревянном домике, около означенной возвышенности, жила старушка, вдова одного чиновника, служившего не помню в которой из коллегий. Оставляя службу, он купил этот домик вместе с огородом и намерен был завесть небольшое хозяйство; но кончина помешала исполнению дальних его замыслов; вдова вскоре нашла себя принужденною продать все, кроме дома, и жить малым денежным достатком, накопленным невинными, а может быть, отчасти и грешными трудами покойного. Все ее семейство составляли дочь и престарелая служанка, бывшая в должности горничной и вместе кухарки. Вдалеке от света, вела она тихую жизнь, которая при всем своем однообразии казалась бы счастливою.

тосковать о неведомых наслаждениях, и сытости меры нет.— Птица разве счастливее растения? — Только наблюдатель, созерцающий предвечные законы божии, указывает те наслаждения, которых человек вообще искать должен.— К сожалению, на свете не много еще Массильоновых избранных, не много людей, которые, по выражению Языкова, были бы достойны чести бытия, которые понимали бы, что такое человек, и старались достигать его высокой цели. Прочие — толпа, занята мелочью и так покорна обстоятельствам — земле, что не смеет и смотреть на небо.— И эти оглашенные презирают посвященных, смеются над ними, называют их безрассудными мечтателями. Голос их так шумит во всяком ухе, что даже я кажусь себе смешным, говоря вам это. Но наступит наконец блаженное время: род человеческий совершенствуется...» — «Ваша правда, ваша правда!» — воскликнула Адель и ушла от меня в сильном смятении духа.

Непременно, непременно я попрошу у ней позволение говорить ей *ты*. Сколько раз хотел я сделать это и всегда забываю. Мы друзья с нею; на что ж эти пустые приличия? Как приятно нам будет говорить так под окошком, в саду, украдкою от Аргусов.— «Ну что, Адель, ты прочла «Иваное»?» — «Прочла, благодарствуй, Дмитрий».— «А как тебе понравилась Ревекка?» — «Прелесть, прелесть! — Она вскочила на окошко.— И я испугалась, боялась продолжать, закрыла книгу». Вдруг кто-нибудь подходит, и мы опять по прежнему камертону. *Вы* — одно это слово, кажется, безделица, а как связывает: то ли, так ли скажется, так ли почувствуется с простым, милым дружественным *ты?* А пересылаться взглядами, говорить друг другу двусмысленности, которых никто понимать не будет!

Дружба! — Но почему ж мне... не жениться на ней. Я вздумал это только ныне поутру.— (Сердце у меня бьется, когда я пишу это.) — Она ведь мне самая дальняя родственница. Ей семнадцать лет. Мне двадцать пять.— Вот где совершенная дружба! Как бы я был счастлив с нею! А предрассудки ее родителей, их богатство, известное желание отца выдать ее за графа Н.— Это все вздор, лишь бы только она... надеялась найти во мне счастие.

В. П. ТИТОВ

УЕДИНЕННЫЙ ДОМИК НА ВАСИЛЬЕВСКОМ

Повесть

Кому случалось гулять кругом всего Васильевского острова, тот, без сомнения, заметил, что разные концы его весьма мало похожи друг на друга. Возьмите южный берег, уставленный пышным рядом каменных, огромных строений, и северную сторону, которая глядит на Петровский остров и вдается длинною косою в сонные воды залива. По мере приближения к этой оконечности, каменные здания, редея, уступают место деревянным хижинам; между сими хижинами проглядывают пустыри; наконец строение вовсе исчезает, и вы идете мимо ряда просторных огородов, который по левую сторону замыкается рощами; он приводит вас к последней возвышенности, украшенной одним или двумя сиротливыми домами и несколькими деревьями; ров, заросший высокою крапивой и репейником, отделяет возвышенность от вала, служащего оплотом от разлитий; а дальше лежит луг, вязкий, как болото, составляющий взморье. И летом печальны сии места пустынные, а еще более зимою, когда и луг, и море, и бор, осеняющий противоположные берега Петровского острова,— все погребено в серые сугробы, как будто в могилу.

Несколько десятков лет тому назад, когда сей околоток был еще уединеннее, в низком, но опрятном деревянном домике, около означенной возвышенности, жила старушка, вдова одного чиновника, служившего не помню в которой из коллегий. Оставляя службу, он купил этот домик вместе с огородом и намерен был завесть небольшое хозяйство; но кончина помешала исполнению дальних его замыслов; вдова вскоре нашла себя принужденною продать все, кроме дома, и жить малым денежным достатком, накопленным невинными, а может быть, отчасти и грешными трудами покойного. Все ее семейство составляли дочь и престарелая служанка, бывшая в должности горничной и вместе кухарки. Вдалеке от света, вела она тихую жизнь, которая при всем своем однообразии казалась бы счастливою.

быть...» Подумал и решился провести день на Васильевском. Лишь только, одевшись, он вышел со двора, откуда ни возьмись, Варфоломей навстречу. Неприятна была встреча для Павла; но свернуть было некуда.

— А я к тебе, товарищ! — закричал Варфоломей издали; — хотел звать тебя, где третьего дня были.

— Мне сегодня некогда,— сухо отвечал Павел.

— Вот хорошо, некогда! Ты, пожалуй, захочешь меня уверить, что у тебя может быть дело. Вздор! пойдем.

— Говорю тебе, некогда; я должен быть у одной родственницы,— сказал Павел, выпутывая руку свою из холодной руки Варфоломея.

— Да! да! я и забыл об твоей Васильевской ведьме. Кстати, я от тебя слышал, что твоя сестрица довольно мила; скажи, пожалуй, сколько лет ей?

— А мне почему знать? я не крестил ее!

— Я сам никого не крестил отроду, а знаю наперечет и твои лета и всех, кто со мной запанибрата.

— Тем для тебя лучше, однако...

— Однако не в том дело,— прервал Варфоломей,— я давно хотел туда забраться с твоею помощью. Нынче погода чудная; я рад погулять. Веди меня с собою.

— Ей-ей не могу,— отвечал Павел с неудовольствием,— они не любят незнакомцев. Прощай, мне нельзя терять времени.

— Послушай, Павел,— сказал Варфоломей, сердито останавливая его рукою и бросая на него тот взгляд, который всегда имел на слабого юношу неодолимое действие.— Я не узнаю тебя. Вчера ты скакал, как сорока, а теперь надулся, как индейский петух. Что это значит? Я не в одно место возил тебя из дружбы; потому и от тебя могу того же требовать.

— Так! — отвечал Павел в смущении,— но теперь не могу исполнить этого, ибо... ибо знаю, что тебе там будет скучно.

— Пустая отговорка: если хочу, стало, не скучно. Веди меня непременно; иначе ты не друг мне.

Павел замялся; наконец, собравшись с духом, сказал:

— Слушай, ты мне друг! но в этих случаях, я знаю, для тебя нет ничего святого. Вера хороша, непорочна как ангел, но сердце ее просто. Даешь ли ты мне честное слово не расставлять сетей ее невинности?

— Вот нашел присяжного волокиту,— прервал Вар-

фоломей с каким-то адским смехом.— И без нее, брат, много есть девчонок в городе. Да что толковать долго? честного слова я не дам: ты должен мне верить или со мной рассориться. Вези меня с собою или — давай левую.

Юноша взглянул на грозное лицо Варфоломея, вспомнил, что и честь его и самое имущество находятся во власти этого человека и ссора с ним есть гибель; сердце его содрогнулось; он употребил еще несколько слабых возражений — и согласился.

Старушка от всей души благодарила Павла за новое знакомство; степенный, тщательно одетый товарищ его крайне ей понравился; она, по своему обыкновению, видела в нем выгодного женишка для своей Веры. Впечатление, произведенное Варфоломеем на сию последнюю, было не столь выгодно: она робким приветствием отвечала на поклон его, и живые ланиты ее покрылись внезапною бледностию. Черты Варфоломея были знакомы Вере. Два раза, выходя из храма божия, с душою, полною смиренными набожными чувствами, она замечала его стоящим у каменного столпа притвора церковного и устремляющим на нее взор, который пресекал все набожные помыслы и, как рана, оставался у нее врезанным в душу. Но не любовной силою приковал этот взор бедную девушку, а каким-то страхом, неизъяснимым для нее самой. Варфоломей был статен, имел лицо правильное; но это лицо не отражало души, подобно зеркалу, а, подобно личине, скрывало все ее движение; и на его челе, видимо спокойном, Галль верно заметил бы орган высокомерия, порока отверженных.

Впрочем, Вера умела скрыть свое смущение, и едва ли кто заметил его, кроме Варфоломея. Он завел разговор общий, и был любезнее, умнее, чем когда-нибудь. Часы проходили неприметно; после обеда предложена прогулка на взморье, по окончании которой все воротились домой, и старушка принялась за любимое свое препровождение вечера — гадание в карты. Но сколько ни трудилась она раскладывать, как нарочно, ничего не выходило. Варфоломей подошел к ней, оставя в другом углу своего друга в разговоре с Верою. Видя досаду старухи, он заметил ей, что по ее способу раскладывания нельзя узнать будущего, и карты, как они теперь лежат, показывают прошедшее. «Ах, мой батюшка! да вы, я вижу, мастер; растолкуйте мне, что же они пока-

зывают?» — спросила старушка с видом сомнения.— «А вот что»,— отвечал он и, придвинув кресла, говорил долго и тихо. Что говорил? Бог весть, только кончилось тем, что она от него услышала такие тайны жизни и кончины покойного сожителя, которые почитала богу да ей одной известными. Холодный пот проступил на морщинах лица ее, седые волосы стали дыбиться под чепцом; она дрожа перекрестилась. Варфоломей поспешно отошел; он с прежней свободою вмешался в разговор молодежи; и беседа, верно, продлилась бы до полночи, если бы наши гости не поторопились, представляя, что скоро будут разводить мост и им придется ночевать на вольном воздухе.

Не станем описывать многих других свиданий, которые друзья наши имели вместе на Васильевском в продолжение лета. Для вас довольно знать, что в течение всего времени Варфоломей все более и более вкрадывался в доверенность вдовы; добродушная Вера, которая привыкла согласоваться слепо с чувствами своей матери, забыла понемногу неприятное впечатление, сперва произведенное незнакомцем; но Павел оставался для нее предметом предпочтения нескрытного, и, если сказать правду, так было за что: частые свидания с молодою родственницей возымели на юношу преблаготворное действие; он начал прилежнее заниматься службою, бросил многие беспутные знакомства, словом, захотел быть порядочным человеком; с другой стороны, беспечный его нрав покорялся влиянию привычки, и ему изредка казалось, что он может быть счастлив такою супругою, как Вера.

Предпочтение этой прелестной девушки к товарищу, казалось, должно бы оскорбить неукротимое самолюбие Варфоломея; однако он не только не изъявлял неудовольствия, но обращался с Павлом радушнее, ласковее прежнего; Павел, платя ему дружеством искренным, совершенно откинул все сомнения насчет замыслов Варфоломея, принимал все его советы, поверял ему все тайны души своей. Однажды зашла у них речь о своих взаимных достоинствах и слабостях — что весьма обыкновенно в дружеской беседе на четыре глаза. «Ты знаешь, я не люблю лести,— говорил Варфоломей,— но откровенно скажу, друг мой, что я замечаю в тебе с недавнего времени весьма выгодную перемену; и не один я, многие говорят, что в последние шесть месяцев ты созрел больше, чем другие созревают в шесть лет. Те-

перь недостает тебе только одного: навыка жить в свете. Не шути этим словом; я сам никогда не был охотником до света, я знаю, что он нуль; но этот нуль десятерит достоинство единицы. Предвижу твое возражение; ты думаешь жениться на Вере»... (при сих словах Варфоломей остановился на минуту, как будто забывшись)... «ты думаешь на ней жениться,— продолжал он,— и ничего не хочешь знать, кроме счастия семейного да любви будущей супруги. То-то и есть: вы, молодежь, воображаете, что обвенчался, так и бал кончен; ан только начинается. Помяни ты мое слово — поживешь с женою год, опять вспомнишь об людях; но тогда уж потруднее будет втереться в общество. Притом люди необходимы, особливо человеку семейному: у нас без покровителей и правды не добудешь. Может быть, еще тебя страшает громкое имя: большой свет! Успокойся: это манежная лошадь; она очень смирна, но кажется опасной потому, что у нее есть свои привычки, к котором надо примениться. Да к чему тратить слова по-пустому? Лучше поверь их истину на опыте. Послезавтра вечер у графини И...; ты имеешь случай туда ехать. Я вчера у нее был, говорили об тебе, и она сказала, что желает видеть твою бесценную особу».

Сии слова, подобно яду, имеющему силу переворотить внутренность, превратили все прежние замыслы и желания юноши; никогда не бывалый в большом свете, он решился пуститься в этот вихрь, и в условленный вечер его увидели в гостиной графини. Дом ее стоял в не очень шумной улице и снаружи не представлял ничего отличного; но внутри — богатое убранство, освещение. Варфоломей уже заранее уведомил Павла, что на первый взгляд иное покажется ему странным; ибо графиня недавно приехала из чужих краев, живет на тамошний лад и принимает к себе общество небольшое, но зато лучшее в городе. Они застали нескольких пожилых людей, которые отличались высокими париками, шароварами огромной ширины и не скидали перчаток во весь вечер. Это не совсем согласовалось с тогдашними модами среднего петербургского общества, которые одни были известны Павлу, но Павел уже положил себе за правило не удивляться ничему, да и когда ему было заметить сии мелочи? его вниманием овладела хозяйка совершенно. Вообразите себе женщину знатную, в пышном цвете юности, одаренную всеми прелестями, какими природа и искусство могут украсить

женский пол на пагубу потомков Адамовых, прибавьте, что она потеряла мужа и в обращенье с мужчинами может позволить себе ту смелость, которая более всего пленяет неопытного. При таких искушениях мог ли девственный образ Веры оставаться в сердце переменчивого Павла? Страсти загорелись в нем; он все употребил, чтобы снискать благоволение красавицы, и после повторенных посещений заметил, что она не равнодушна к его стараниям. Какое открытие для пламенного юноши! Павел не видал земли под собой, он уже мечтал... Но случилась неприятность, которая разрушила все его отважные воздушные замки. Однажды, будучи в довольно многолюдном обществе у графини, он увидел, что она в стороне говорит тихо с одним мужчиною; надобно заметить, что этот молодец щеголял непомерным образом и, несмотря на все старания, не мог, однако, скрыть телесного недостатка, за который Павел с Варфоломеем заочно ему дали прозванье косоногого; любопытство, ревность заставили Павла подойти ближе, и ему послышалось, что мужчина произносит его имя, шутит над его дурным французским выговором, а графиня изволит отвечать на это усмешками. Наш юноша взбесился, хотел тут же броситься и наказать насмешника, но удержался при мысли, что это подвергнет его новому, всеобщему посмеянию. Он тот же час оставил беседу, не говоря ни слова, и поклялся ввек не видеть графиню.

Растревоженный в душе, он опять вспомнил о давно покинутой им Вере, как грешник среди бездны разврата вспоминает о пути спасения. Но на этот раз он не нашел близ милой девушки желаемой отрады; Варфоломей хозяином господствовал в доме и того, кто ввел его туда за несколько месяцев, принимал уже, как гостя постороннего. Старуха была больна, и не на шутку. Вера казалась в страшных суетах и развлечении; Павла приняла она с необычайною холодностию и, занимаясь им, сколько необходимо требовало приличие, готовила лекарства, бегала за служанкою, ухаживала за больною и нередко призывала Варфоломея к себе на помощь. Все это, разумеется, было странно и досаждало Павлу, на которого теперь, как на бедного Макара, валилась одна неудача за другою. Он хотел было затеять объяснение, но побоялся растревожить больную старуху и Веру, без того уже расстроенную болезнию матери. Оставалось одно средство — объясниться с Вар-

фоломеем. Приняв такое решение, Павел, извиняясь головною болью, откланялся немного спустя после обеда и, не удержанный никем, уехал, намекнув Варфоломею с некоторою крутостию, что желает его видеть в завтрашнее утро.

Чтобы вообразить себе то состояние, в каком несчастный Павел ожидал на другой день своего бывшего друга и настоящего соперника, должно понять все различные страсти, которые в то время боролись в душе его и, как хищные птицы, словно хотели разорвать между собою свою жертву. Он поклялся забыть навеки графиню, и между тем в сердце пылал любовию к изменнице; привязанность его к Вере была не столь пламенна; но он любил ее любовью братскою, дорожил добрым ее мнением, а в нем почитал себя потерянным надолго, если не навеки. Кто же был виновник всех этих напастей? Коварный Варфоломей, этот человек, которого он некогда называл своим другом и который, по его мнению, так жестоко обманул его доверенность. С каким нетерпением ждал его к себе Павел, с какою досадою он смотрел на улицу, где бушевала точно такая же метель, как в душе его! «Бездельник,— думал он,— воспользуется непогодою, он избежит моей правдивой мести; он лишит меня последней отрады — сказать ему в бесстыдные глаза, до какой степени я его ненавижу!»

Но в то время как Павел мучился сомнением, отворилась дверь, и Варфоломей вошел с таким же мраморным спокойствием, с каким статуя Командора приходит на ужин к Дон-Жуану. Однако лицо его вскоре приняло выражение более человеческое; он приблизился к Павлу и сказал ему с видом сострадательной приязни: «Ты на себя не похож, друг мой; что причиною твоей горести? Открой мне свое сердце».

— Я тебе не друг! — закричал Павел, отскочив от него в другой угол комнаты, как от лютой змеи; дрожа всеми составами, с глазами, налитыми кровью и слезами, юноша опрометью высказал все чувства души, может быть и несправедливо разгневанной.

Варфоломей выслушал его с каким-то обидным равнодушием и потом сказал:

— Речь твоя дерзка, и была бы достойна наказания; но я тебе прощаю: ты молод и цены еще не знаешь ни словам, ни людям. Не так говорил ты со мной бывало, когда без моей помощи приходилось тебе хоть шею

совать в петлю. Но теперь все это забыто, потому что холодный прием девушки раздражил твою самолюбивую душонку. Изволит пропадать по целым месяцам, творит неведомо с кем неведомо какие проказы, а я за него терпи и не ходи, куда мне хочется. Нет, сударь; буду ходить к старухе, хоть бы тебе одному назло. Притом у меня есть и другие причины: не стану таить их — знай, Вера влюблена в меня.

— Лжешь, негодяй! — воскликнул Павел в исступлении.— Может ли ангел любить дьявола?

— Тебе простительно не верить,— отвечал Варфоломей с усмешкою; — природа меня не изукрасила наравне с тобою; зато ты и пленяешь знатных барынь, и пленяешь навеки, постоянно, неизменчиво.

Этой насмешки Павел не мог вынести, тем более что он давно подозревал Варфоломея в содействии к его разладу с графинею. Он в ярости кинулся на соперника, хотел убить его на месте; но в эту минуту он почувствовал себя ударенным под ложку; у него дух занялся, и удар, без всякой боли, на миг привел его в беспамятство. Очнувшись, он нашел себя у противной стены комнаты, дверь была затворена, Варфоломея не было, и, как будто из просонок, он вспоминал последние слова его: «Потише, молодой человек, ты *не с своим братом* связался».

Павел дрожал от ужаса и гнева; тысячи мыслей быстро сменялись в голове его. То решался он отыскать Варфоломея хоть на краю света и размозжить ему череп; то хотел идти к старухе и обнаружить ей и Вере все прежние проказы изменника; вспоминал об очаровательной графине, хотел то заколоть ее, то объясниться с нею, не изменяя прежнему решению: последнее согласить, конечно, было трудно. Грудь его стеснилась; он, как полуумный, выбежал во двор, чувствуя в себе признаки воспалительной горячки; бледный, в беспорядке, рыскал он по улицам и, верно, нашел бы развязку всем сомнениям в глубокой Неве, если б она, к счастию, не была закутана в то время ледяною своей шубою.

Утомилась ли судьба преследовать Павла или хотела только сильнее уязвить его минутным роздыхом в несчастиях, он, воротясь домой, был встречен неожиданным исполнением главного своего желания. В прихожей дожидал его богато одетый слуга графини И..., который вручил ему записку; Павел с трепетом развер-

тывает и читает следующие слова, начертанные слишком ему знакомою рукою графини:

«Злые люди хотели поссорить нас; я все знаю; если в вас осталась капля любви ко мне, капля сострадания, придите в таком-то часу вечером. Вечно твоя И.».

Как глупы любовники! Павел, пробежав сии магические строки, забыл и дружбу Веры, и неприязнь Варфоломея; весь мир настоящий, прошедший и грядущий стеснился для него в лоскутке бумаги; он прижимает к сердцу, целует его, подносит несколько раз к свету. «Нет! — восклицает он в восторге,— это не обман; я точно, точно счастлив; так не напишет, не может написать никто, кроме ее одной. Но не хочет ли плутовка зазвать и морочить меня, и издеваться надо мною попрежнему? Нет! клянусь, не бывать этому. «Твоя — вечно твоя», пусть растолкует мне на опыте, что значит это слово. Не то... добрая слава ее теперь в моих руках».

В урочный час наш Павел, пригожий и разряженный, уже на широкой лестнице графини; его без доклада провожают в гостиную, где, к его досаде, собралось уже несколько посетителей, между которыми, однако, не было косоногого. Хозяйка приветствует его сухо, едва говорит с ним; но она недаром на него уставила большие черные глаза свои и томно опустила их: мистическая азбука любящих, непонятная профанам. Гости принимаются за игру; хозяйка, отказываясь, уверяет, что ей приятно садиться близ каждого из игроков поочередно, ибо она надеется ему принести счастие. Все не надивятся ее тонкой вежливости. Немного спустя: «Вы у нас давно не были,— говорит графиня, оборачиваясь к юноше,— замечаете ли некоторые перемены в уборах этой комнаты? Вот, например, занавесы висели сперва на лавровых гирляндах; но мне лучше показалось заменить их стрелами».— «Недостает сердец»,— отвечает Павел полусухо, полувежливо. «Но не в одной гостиной,— продолжает графиня,— есть новые уборы», и вставая с кресел: «Не хотите ли,— говорит она,— заглянуть в диванную; там развешаны привезенные недавно гобелены отличного рисунка». Павел с поклоном идет за ней. Неизъяснимым чувством забилось его сердце, когда он вошел в эту очарованную комнату. Это была вместе зимняя оранжерея и диванная. Миртовые деревья, расставленные вдоль стен, укрощали яркость света канделябров, который, оставляя роскош-

ные диваны в тени за деревьями, тихо разливался на гобеленовые обои, где в лицах являлись, внушая сладострастие, подвиги любви богов баснословных. Против анфилады стояло трюмо, а возле на стене похищение Европы — доказательство власти красоты хоть из кого сделать скотину. У этого трюмо начинается роковое объяснение. Всякому просвещенному известно, что разговор любящих всегда есть самая жестокая амплификация: итак, перескажу только сущность его. Графиня уверяла, что насмешки ее над дурным французским выговором относились не к Павлу, а к одному его соименнику, что она долго не могла понять причины его отсутствия, что, наконец, Варфоломей ее наставил, и прочее, и прочее. Павел, хотя ему казались странными сведения Варфоломея в таком деле, о котором никто ему не сказал, и роль миротворца, которую он принял на себя при этом случае, поверил, разумеется, всему; однако упорно притворялся, что ничему не верит. «Какого же еще доказательства хотите вы?» — спросила наконец графиня с нежным нетерпением. Павел, как вежливый юноша, в ответ поцеловал жарко ее руку; она упрямилась, робела, спешила к гостям; он становился на колени и крепко держа руки ее, грозил, что не выпустит, да к этому вприбавок сию же минуту застрелится. Сия тактика имела вожделенный успех — и тихое, дрожащее рукопожатие, с тихим шепотом: «Завтра в 11 часов ночи, на заднее крыльцо», громче пороха и пушек возвестили счастливому Павлу торжество его.

Графиня весьма кстати воротилась в гостиную; между двумя из игроков только что не дошло до драки. «Смотрите,— сказал один графине, запыхавшись от гнева,— я даром проигрываю несколько сот душ, а он...» — «Вы хотите сказать — несколько сот рублей»,— прервала она с важностью. «Да, да... я виноват... я ошибся»,— отвечал спорщик, заикаясь и посматривая искоса на юношу. Игроки замяли спор, и всю суматоху как рукой сняло. Павел на сей раз пропустил все мимо ушей. Волнение души не позволило ему долго пробыть в обществе, он спешил домой предаться отдыху, но сон долго не опускался на его вежды; самая действительность была для него сладким сновиденьем. Распаленной его фантазии бессменно предстояли черные, большие, влажные очи красавицы. Они сопровождали его и во время сна; но сны, от предчувствия ли тайного, от

волнения ли крови, всегда кончались чем-то странным. То прогуливался он по зеленой траве; перед ним возвышались два цветка, дивные красками; но лишь только касался он стебля, желая сорвать их, вдруг взвивалась черная, черная змея и обливала цветки ядом. То смотрел он в зеркало прозрачного озера, на дне которого у берега играли две золотые рыбки; но едва опускал он к ним руку, земноводное чудовище, стращая, пробуждало его. То ходил он ночью под благоуханным летним небосклоном, и на высоте сияли неразлучно две яркие звездочки; но не успевал он налюбоваться ими, как зарождалось черное пятно на темном западе и, растянувшись в длинного облачного змея, пожирало звездочки.— Всякий раз, когда такое видение прерывало сон Павла, встревоженная мысль его невольно устремлялась на Варфоломея; но через несколько времени черные глаза снова одерживали верх, покуда новый ужас не прерывал мечты пленительной. Несмотря на все это, Павел, проспавши до полудня, встал веселее, чем когда-нибудь. Остальные 11 часов дня, как водится, показались ему вечностию. Не успело смеркнуться, как он уже бродил вокруг дома графини; не принимали никого, не зажигали огня в парадных комнатах, только в одном дальнем углу слабо мерцал свет: «Там ждет меня прелестная»,— думал про себя Павел, и заранее душа его утопала в наслаждении.

Протяжно пробило одиннадцать часов на Думской башне, и Павел, любовью окрыленный... Но здесь я прерву картину свою и, в подражание лучшим классическим и романтическим писателям древнего, среднего и новейшего времени, предоставлю вам дополнить ее собственным запасом воображения. Коротко и ясно: Павел думал уже вкусить блаженство... как вдруг постучались тихонько у двери кабинета; графиня в смущении отворяет; доверенная горничная входит с докладом, что на заднее крыльцо пришел человек, которому крайняя нужда видеть молодого господина. Павел сердится, велит сказать, что некогда, колеблется, выходит в прихожую, ему говорят, что незнакомый ушел сию минуту.— Он возвращается к любезной; «Ничто с тобой не разлучит меня»,— говорит он страстно. Но вот стучатся снова, и горничная входит с повторением прежнего.— «Пошлите к черту незнакомца,— кричит Павел, топнув ногою,— или я убью его»; выходит, слышит, что и тот вышел; сбегает по лестнице во двор, но там ничто не

колыхнется, и лишь только снег безмолвно валит хлопьями на землю. Павел бранит слуг, запрещает пускать кого бы то ни было, возвращается пламеннее прежнего к встревоженной графине; но прошло несколько минут, и стучатся в третий раз, еще сильнее, продолжительнее. «Нет, полно! — закричал он вне себя от ярости,— я доберусь, что тут за привидение; это какая-нибудь штука».— Вбегая в прихожую, он видит край плаща, который едва успел скрыться за затворяемою дверью; опрометью накидывает он шинель, хватает трость, бежит на двор, и слышит стук калитки, которая лишь только захлопнулась за кем-то. «Стой, стой, кто ты таков?» — кричит вслед ему Павел и, выскочив на улицу, издали видит высокого мужчину, который как будто останавливается, чтобы поманить его рукою, и скрывается в боковой переулок. Нетерпеливый Павел за ним следует, кажется, нагоняет его; тот снова останавливается у боковой улицы, манит и исчезает. Таким образом юноша следит за незнакомцем из улицы в улицу, из закоулка в закоулок, и наконец находит себя по колена в сугробе, между низенькими домами, на распутии, которого никогда отроду не видывал; а незнакомец пропал безо всякого следа. Павел остолбенел, и признаюсь, никому бы не завидно, пробежав несколько верст, очнуться в снегу в глухую полночь, у черта на куличках. Что делать? идти? — заплутаешься; стучаться у ближних ворот? — не добудишься. К неожиданной радости Павла, проезжают сани. «Ванька! — кричит он,— вези меня домой в такую-то улицу». Везет послушный Ванька невесть по каким местам, скрыпит снег под санями, луна во вкусе Жуковского неверно светит путникам сквозь облака летучие. Но едут долго, долго, все нет места знакомого; и наконец вовсе выезжают из города. Павлу пришли естественно на мысль все старые рассказы о мертвых телах, находимых на Волковом поле, об извозчиках, которые там режут седоков своих, и т. п. «Куда ты везешь меня?» — спросил он твердым голосом; не было ответа. Тут, при свете луны, он захотел всмотреться в жестяной билет извозчика и, к удивлению, заметил, что на этом билете не было означено ни части, ни квартала, но крупными цифрами странной формы и отлива написан был № 666, число Апокалипсиса, как он позднее вспомнил. Укрепившись в подозрении, что он попал в руки недобрые, наш юноша еще громче повторил прежний вопрос и, не получив отзыва, со всего раз-

маху ударил своей палкою по спине извозчика. Но каков был его ужас, когда этот удар произвел звон костей о кости, когда мнимый извозчик, оборотив голову, показал ему лицо мертвого остова, и когда это лицо, страшно оскалив челюсти, произнесло невнятным голосом: «Потише, молодой человек, ты *не с своим братом* связался». Несчастный юноша только имел силу сотворить знамение креста, от которого давно руки его отвыкли. Тут санки опрокинулись, раздался дикий хохот, пронесся страшный вихрь; экипаж, лошадь, ямщик — все сравнялось с снегом, и Павел остался один-одинехонек за городскою заставою, еле живой от страха.

На другой день юноша лежал изнеможенный на кровати в своей комнате. Подле него стоял добрый престарелый дядька и, одной рукой держа вялую руку господина, часто отворачивался, чтобы стереть другой слезу, украдкой навернувшуюся на подслепую зеницу его. «Барин, барин,— говорил он,— недаром докладывал я вашей милости, что не бывает добра от ночной гульбы. Где вы пропадали? что это с вами сделалось?» Павел не слыхал его: он то дикими глазами глядел по нескольку времени в угол, то впадал в дремоту, впросонках дрожал и смеялся, то вскакивал с постели как сумасшедший, звал имена женские, потом опять бросался лицом на подушки. «Бедный Павел Иванович! — думал про себя дядька.— Господь его помилуй, он верно ума лишился», и в порыве добросердечия, улучив первую удобную минуту, побежал за врачом. Врач покачал головою, увидя больного, не узнававшего окружающих, и ощупав лихорадочный пульс его. Наружные признаки противоречили один другому, и по ним ничего нельзя было заключить о болезни; все подавало повод думать, что ее причина крылась в душе, а не в теле. Больной почти ничего не вспоминал о прошедшем; душа его, казалось, была замучена каким-то ужасным предчувствием. Врач, убежденный верным дядькою, с ним вместе не отходил целый день от одра юноши; к вечеру состояние больного сделалось отчаянно: он метался, плакал, ломал себе руки, говорил о Вере, о Васильевском острове, звал на помощь, к кому и кого, бог весть, хватал шапку, рвался в дверь, и соединенные усилия врача и слуги едва смогли удержать его. Сей ужасный кризис продолжался за полночь; вдруг больной успокоился — ему стало легче; но силы душевные и телесные совершенно были убиты борьбою; он погру-

зился в мертвый сон, после коего прежний кризис возобновился.

Припадок одержал юношу полные трое суток с переменчивою силою; на третье утро, начиная чувствовать в себе более крепости, он вставал с постели, когда ему сказали, что в прихожей дожидается старая служанка вдовы. Сердце не предвещало ему доброго; он вышел; старушка плакала навзрыд. «Так! еще несчастие! — сказал Павел, подходя к ней,— не мучь меня, голубушка; все скорее выскажи».— «Барыня приказала долго жить,— отвечала старушка,— а барышне бог весть долго ли жить осталось».— «Как? Вера? что?» — «Не теряйте слов, молодой барин: барышне нужна помощь. Я прибрела пешком; коли у вас доброе сердце, едемте к ней сию минуту: она в доме священника церкви Андрея Первозванного».— «В доме священника? зачем?» — «Бога ради, одевайтесь, все после узнаете».— Павел окутался, и поскакали на Васильевский.

Когда он в последний раз видел Веру и мать ее, вдова уже давно страдала болезнию, которая при ее преклонных летах оставляла не много надежды на исцеление. Слишком бедная, чтобы звать врача, она пользовалась единственно советами Варфоломея, который, кроме других сведений, хвалился некоторым знакомством с медициною. Деятельность его была неутомима: он успевал утешать Веру, ходить за больною, помогать служанке, бегать за лекарствами, которые приносил иногда с такой скоростию, что Вера дивилась, где он мог найти такую близкую аптеку. Лекарства, доставленные им, хотя и не всегда помогали больной, но постоянно придавали ей веселости. И странно, что чем ближе подходила она к гробу, тем неотлучнее пребывали ее мысли прикованы к житейскому. Она спала и видела о своем выздоровлении; о том, как ее дети Варфоломей и Вера пойдут под венец и начнут жить да поживать благополучно, боялась, не будет ли этот домик тесен для будущей семьи, удастся ли найти другой, поближе к городу, и проч., и проч. Мутная невыразительность кончины была в ее глазах, когда она, подозвав будущих молодых к своей постели, с какой-то нелепою улыбкою говорила: «Не стыдись, моя Вера, поцелуйся с женихом своим; я боюсь ослепнуть, и тогда уже не удастся мне смотреть на ваше счастие». Между тем рука смерти все более и более тяготела над старухою; зрение и память час от часу тупели. В Варфо-

ломее не заметно было горести; может быть, самые хлопоты, беспрерывная беготня помогали ему рассеяться. Веру же тревожили размышления об матери, как и о самой себе. Какой невесте не бывает страшно перед браком? Однако она всячески старалась успокоить себя. «Я согрешила перед богом,— думала девица; — не знаю, почему я сперва почла Варфоломея за лукавого, за злого человека. Но он гораздо лучше Павла; посмотрите, как он старается о матушке: сам себя, бедный, не жалеет — стало, он не злой человек». Вдруг мысли ее туманились. «Он крутого нрава,— говорила она себе,— когда чего не хочет, и скажешь ему: Варфоломей, бога ради, это сделайте,— он задрожит и побледнеет. Но,— продолжала Вера, мизинцем стирая со щеки слезинку,— ведь я сама не ангел; у всякого свой крест и свои пороки: я буду исправлять его, а он меня».

Тут приходили ей на ум новые сомнения: «Он, кажется, богат; честными ли он средствами добыл себе деньги? но это я выспрошу, ведь он меня любит». Так утешала себя добрая, невинная Вера; а старухе между тем все хуже да хуже. Вера сообщила свой страх Варфоломею, спрашивала даже, не нужно ли призвать духовника; но он горячился и сурово отвечал: «Хотите ускорить кончину матушки? это лучший способ. Болезнь ее опасна, но еще не отчаянна. Что ее поддерживает? Надежда исцелиться. А призовем попа, так отнимем последнюю надежду». Робкая Вера соглашалась, побеждая тайный голос души; но в этот день,— и заметьте, это было на другой день рокового свидания Павла с прелестной графинею,— опасность слишком ясно поразила вещее сердце дочери. Отозвав Варфоломея, она ему сказала решительным голосом: «Царем небесным заклинаю вас, не оставьте матушку умереть без покаяния: бог знает, проживет ли она до завтра» — и упала на стул, заливаясь слезами. Что происходило тогда в Варфоломее? глаза его катались, на лбу проступал пот, он силился что-то сказать и не мог выговорить. «Девичье малодушие,— пробормотал он напоследок.— Ты ничему не веришь... вы, сударыня, не верите моему знанию медицины... Постойте... у меня есть знакомый врач, который больше меня знает... жаль, далеко живет он». Тут он схватил руку девицы и, подведя ее стремительно к окну, показал на небо, не поднимая глаз своих: «Смотрите: там еще не явится первая звезда, как я буду назад, и тогда решимся; обещаете ли только

не звать духовника до моего прихода?» — «Обещаю, обещаю». Тогда послышался протяжный вздох из спальней.— «Спешите,— закричала Вера, бросаясь к дверям ее, потом оборотилась, взглянула еще раз с умилением грусти неописанной на вкопанного и, махнув ему рукою, повторила: — Спешите, ради меня, ради бога».— Варфоломей скрылся.

Мало-помалу зимний небосклон окутывался тучами, а в больной жизнь и тление выступали впоследние на смертный поединок. Снег начинал падать; порывы летучего ветра заставляли трещать оконницы. При малейшем хрусте снега Вера подбегала к окну смотреть, не Варфоломей ли возвращается; но лишь кошка мяукала, галки клевались на воротах, и калитку ветер отворял и захлопывал. Ночь с своей черной пеленою приспела преждевременно; Варфоломея нет как нет, и на своде небесном не блещет ни одной звезды. Вера решилась послать по духовника старую служанку; долго не возвращалась она, и не мудрено, потому что не было ни одной церкви ближе Андрея Первозванного. Но хлопнула калитка, и вместо кухарки явился Варфоломей, бледный и расстроенный. «Что? надежды нет?» — прошептала Вера.— «Мало,— сказал он глухим голосом; — я был у врача; далеко живет он, много знает...» — «Да что же говорит он, бога ради?» — «Что до того нужды?.. за попом теперь посылать время. А! вижу; вы послали уже... туда и дорога!» — сказал он с какой-то сухостью, в которой обнаруживалось отчаяние.

Чрез несколько времени, уже в глухую ночь, старая служанка прибрела с вестью, что священника нет дома, но, когда воротится, ему скажут и он тотчас придет к умирающей. Об этом решились предварить ее. «С умом ли вы, дети,— сказала она слабо; — неужто я так хвора? Вера! что ты хныкаешь? Вынеси лампаду; сон меня поправит». Дочь лобызала руку матери, а Варфоломей во все время безмолвствовал поодаль, уставив на больную глаза, которые, когда лампада роняла на них свое мерцание, светились как уголья.

Вера с кухаркою стояли на коленях и молились. Варфоломей, ломая себе руки, беспрестанно выходил в сени, жалуясь на жар в голове. Чрез полчаса он вошел в спальню и как сумасшедший выбежал оттуда с вестью «Все кончено!». Не стану описывать, что в сию минуту почувствовала Вера! Однако сила ее духа была

необычайная. «Боже! это воля твоя!» — произнесла она, поднимая руки к небу; хотела идти; но телесные силы изменили, она полумертвая опустилась на кресла, и не стало бы несчастной, если б внезапный поток слез не облегчил ее стесненной груди. Между тем старуха, воя, обмыла труп, поставила свечу у изголовья и пошла за иконою; но тут же от усталости ли, от иной ли причины, забылась сном неодолимым. В эту минуту Варфоломей подошел к Вере. У самого беса растаяло бы сердце: так она была прелестна в своей горести. «Ты меня не любишь,— воскликнул он страстно; — я с твоею матерью потерял единственную опору в твоем сердце». Девицу испугало его отчаяние. «Нет, я тебя люблю»,— отвечала она боязливо. Он упал к ногам ее: «Клянись,— говорил он,— клянись, что ты моя, что любишь меня более души своей». Вера никогда не ожидала б такой страсти в этом холодном человеке: «Варфоломей, Варфоломей,— сказала она с робкою нежностию,— забудь грешные мысли в этот страшный час; я поклянусь, когда схороним матушку, когда священник в храме божием нас благословит...» Варфоломей не выслушал ее и, как исступленный, ну молоть околесную: уверял, что это все пустые обряды, что любящим не нужно их, звал ее с собой в какое-то дальнее отечество, обещал там осыпать блеском княжеским, обнимал ее колена со слезами. Он говорил с такою страстью, с таким жаром, что все чудеса, о которых рассказывал, в ту минуту казались вероятными. Вера уже чувствовала твердость свою скудеющей, опасность пробудила ее силу душевную; она вырвалась и побежала к дверям спальней, где думала найти служанку; Варфоломей заступил ей дорогу и сказал уже с притворною холодностью, с глазами свирепыми: «Послушай, Вера, не упрямься; тебе не добудиться ни служанки, ни матери: никакая сила не защитит тебя от моей власти».— «Бог защитник невинных»,— закричала бедняжка, в отчаянии бросаясь на колени пред распятием. Варфоломей остолбенел, его лицо изобразило бессильную злобу. «Если так,— возразил он, кусая себе губы,— если так... мне, разумеется, с тобою делать нечего; но я заставлю твою мать сделать тебя послушною».— «Разве она в твоей власти?» — спросила девица. «Посмотри»,— отвечал он, уставивши глаза на полурастворенную дверь спальней, и Вере привиделось, будто две струи огня текут из его глаз и будто покойница, при мерцании свечи нагорев-

шей, приподнимает голову с мукою неописанной и иссохшею рукою машет ей к Варфоломею.— Тут Вера увидела, с кем имеет дело. «Да воскреснет бог! и ты исчезни, окаянный»,— вскрикнула она, собрав всю силу духа, и упала без памяти.

В этот миг словно пушечный выстрел пробудил спящую служанку. Она очнулась и в страхе увидела двери отворенными настежь, комнату в дыму и синее пламя, разбегавшееся по зеркалу и гардинам, которые покойница получила в подарок от Варфоломея. Первое ее движение было схватить кувшин воды, в углу стоявший, и выплеснуть на поломя; но огонь заклокотал с удвоенною яростию и опалил седые волосы кухарки. Тут она без памяти вбежала в другую комнату с криком: «Пожар, пожар!» Увидя свою барышню на полу без чувства, схватила ее в охапку и, вероятно, получив от страха подкрепление своим дряхлым силам, вытащила ее на мост за ворота. Близкого жилья не было, помощи искать негде; пока она оттирала снегом виски полумертвой, пламя показалось из окон, из труб и над крышею. На зарево прискакала команда полицейская с ведрами, ухватами: ибо заливные трубы еще не были тогда в общем употреблении. Сбежалась толпа зрителей, и в числе их благочинный церкви Андрея Первозванного, который шел с дарами посетить умиравшую. Он не был в особенных ладах с покойницей и считал ее за дурную женщину; но он любил Веру, о которой слыхал много хорошего от дочери, и, соболезнуя несчастию, обещал деньги пожарным служителям, если успеют вытащить тело, чтобы доставить покойнице хоть погребение христианское. Но не тут-то было. Огонь, разносимый вьюгою, презирал все действие воды, все усилия человеческие; один полицейский капрал из молодцов задумал было ворваться в комнаты, дабы вынести труп, но пробыл минуту и выбежал в ужасе; он рассказывал, будто успел уже добраться до спальней и только что хотел подойти к одру умершей, как вдруг спрыгнула сверху образина сатанинская, часть потолка с ужасным треском провалилась, и он только особенною милостию Николы Чудотворца уберег на плечах свою головушку, за что обещал тут же поставить полтинную перед его образом. Между собою зрители толковали, что он трус и упавшее бревно показалось ему бесом; но капрал остался тверд в своем убеждении и до конца жизни проповедовал в шинках,

что на своем веку лицезрел во плоти нечистого со хвостом, рогами и большим горбатым носом, которым он раздувал поломя, как мехами в кузнице. «Нет, братцы, не приведи вас бог увидеть окаянного». Сим красноречивым обетом наш гений всегда заключал повесть свою, и хозяин, в награду его смелости и глубокого впечатления, произведенного рассказом на просвещенных слушателей, даром подносил ему полную стопу чистейшего пенника.

Итак, невзирая на все старания команды, которой деятельным усилиям в сем случае потомство должно, впрочем, отдать полную справедливость, уединенный домик Васильевского острова сгорел до основания, и место, где стоял он, не знаю почему, до сих пор остается незастроенным. Престарелая служанка, при пособии благочинного с причетом приходским, воскресив Веру из обморока, нашла с нею убежище в доме сего достойного пастыря. Пожар случился столь нечаянно и все обстоятельства оного были так странны, что́ полиция нашла нужным о причинах его учинить подробное исследование. Но как подозрение не могло падать на старую служанку, а еще менее на Веру, то зажигателем ясно оказался Варфоломей. Описали его приметы, искали его явным и тайным образом не только во всех кварталах, но и во всем уезде Петербургском; но все было напрасно: не нашли и следов его, что было тем более удивительно, что зимою нет судоходства, и, следственно, ему никакой не было возможности тихонько отплыть на иностранном корабле в чужие края. Неизвестно, до чего могло бы довести долгое исследование; но благочинный, любя Веру душевно и не зная, до какой глубины могли простираться ее связи с этим человеком, благоразумно употребил свое влияние, дабы потушить дело и не дать ему большей гласности.

Таким образом Павел, за которым послали на третий день, узнав от старухи дорогою, что было ей известно из цепи несчастных приключений, нашел юную свою родственницу больную в жилище отца Иоанна. Гостеприимное семейство пригласило его остаться там до ее выздоровления. Ветреный молодой человек испытал в короткое время столько душевных ударов, и сокровенные причины их оставались в таком ужасном мраке, что сие произвело действие неизгладимое на его воображение и характер. Он остепенился и нередко впадал в глубокую задумчивость. Он забывал и прелести

таинственной графини, и буйные веселия юности, сопряженные с такими погубными последствиями. Одно его моление к небу состояло в том, чтобы Вера исцелилась и он мог служить для нее образцом верного супруга. В минуты уединенного свидания он решался предлагать ей сии мысли; но она, впрочем оказывая ему сестрину доверчивость, с неизменной твердостью отвергала их. «Ты молод, Павел,— говорила она,— а я отцвела мой век; скоро примет меня могила, и там бог милосердный, может быть, пошлет мне прощение и спокойствие». Эта мысль ни на час не оставляла Веру; притом ее, кажется, мучило тайное убеждение, что она своею слабостью допустила злодея совершить погибель матери в сей, а может быть — кто знает? — и в будущей жизни. Никакое врачевство не могло возвратить ей ни веселости, ни здоровья. Поблекла свежесть ланит ее — небесные глаза, утратив прежнюю живость, еще пленяли томным выражением грусти, угнетавшей душу ее прекрасную. Весна не успела еще украсить луга новою зеленью, когда сей цветок, обещавший пышное развитие, сокрылся невозвратно в лоно природы всеприемлющей.

Надобно догадываться, что Вера пред кончиною, кроме духовного отца, поверила и Павлу те обстоятельства последнего года своей жизни, которые могли быть ей одной известными. Когда она скончалась, юноша не плакал, не обнаруживал печали. Но вскоре потом он оставил столицу и, сопровождаемый престарелым слугою, поселился в дальней вотчине. Там во всем околотке слыл он чудаком и в самом деле показывал признаки помешательства. Не только соседи, но самые крестьяне и слуги, после его приезда, ни разу не видали его. Он отрастил себе бороду и волосы, не выходил по три месяца из кабинета, большую часть приказаний отдавал письменно, и то еще, когда положат на его стол бумагу к подписанию, случалось, что он вместо своего имени возвратит ее с чужою, странною подписью. Женщин не мог он видеть, а при внезапном появлении высокого белокурого человека с серыми глазами приходил в судороги, в бешенство. Однажды, шагая по своему обыкновению по комнате, он подошел к двери в то самое время, как Лаврентий отворил ее неожиданно, чтоб доложить ему о чем-то. Павел задрожал: «Ты — не я уморил ее»,— сказал он отрывисто и через немного просил прощенья у старого дядьки, ибо вытолкнул его так не-

осторожно, что тот едва не проломил себе затылок о простенок. «После этого,— говорил Лаврентий,— я всегда прежде постучусь, а потом уже войду с докладом к его милости».

Павел умер, далеко не дожив до старости. Повесть его и Веры известна некоторым лицам среднего класса в Петербурге, чрез которых дошла и до меня по изустному преданию. Впрочем, почтенные читатели, вы лучше меня рассудите, можно ли ей поверить и откуда у чертей эта охота вмешиваться в людские дела, когда никто не просит их?

М. П. ПОГОДИН

АДЕЛЬ

Посвящается О. С. А<ксако>вой

У меня был друг, с которым я вырос, воспитывался, с которым рука об руку вышел на поприще жизни. Он умер в цвете лет, в прекраснейшую минуту бытия, когда оно достигло, кажется, до высшей степени своего совершенства. Смерть была для него счастием — и я не смею роптать на судьбу, которая так рано раскинула темную тень по излучистой дороге моего странствия. Одна звезда светит мне теперь — воспоминание. С удовольствием я думаю об утраченном, с удовольствием говорю об нем... Сколько любви кипело у него в сердце! Какими особенными, прекрасными свойствами отличался его ум! Он ясно видел священную цель, назначенную человечеству, и был убежден сердечно, что она будет достигнута. В восторге преклонял он колено пред теми помазанниками, коим провидение предоставляло славный жребий увлекать к ней толпы за собою. Он пламенно любил отечество и с гордостию находил в истории и настоящем времени залоги тех благодеяний, которые воздаст оно некогда роду человеческому. Науку ставил он выше всего, но не в мертвых буквах, а в живом умозрении, с сердечным участием; и в самом деле, знания составляли часть его тела, часть его бытия. Он радовался младенчески всякому благому успеху, общему и частному; любил людей и старался оправдывать их даже в самых предосудительных действиях. Кто знает, говорил он, какие впечатления, близкие или дальние, побудили несчастного к этому преступлению, и, может быть, оно есть математическое следствие прежних причин. При таком расположении духа личные враги, разумеется, не имели для него собственных имен. Самое зло он почитал только средством стеснительным, умножающим упругую силу добра; зла в природе, по его мнению, и не было; разве только добро отрицательное.

Этот молодой человек влюбился в одну девушку, достойную его священного жара. Читатели могут судить, какие чувства питал он к ней... Но всего лучше пусть познакомятся они с ним из собственных отрывков, ко-

торые нашел я в его бумагах и в которых, при всем беспорядке, небрежности, пропусках, ясно отражается прекрасная душа его.

«...Милая девушка! Как приятно мне разговаривать с нею, передавать ей свои мысли о святых предметах человеческого знания.— Она понимает меня, чувствует всякое слово.— Шиллер скорбел, что редко удается найти такого человека между современниками, даже между потомками. Я нашел его.— Разговор с нею мне наука: я сам яснее узнаю то, что хочу объяснить ей.— Это желание дает мне новую силу, раздвигает пределы моей мысли...

Какую доверенность имеет она ко мне! — Адель! Я не употреблю ее во зло. Я говорю тебе не то, что лепечут другие, часто противное — но да не смеет ни один несмысленный называть это ложью.— Чистый, священный огонь буду я раздувать на алтаре непорочной души твоей. Они, жалкие, хотя и добрые невежды, оскверняют его неумовенными руками своими. Прочь! Прочь! не прикасайтеся!

Я прочел ей свое рассуждение о просвещении как первой силе государства, без которой нет ни твердого благосостояния, ни могущества. Ни одна новая мысль, ни одно новое выражение не ускользнуло от ее внимания. Это дорого для автора. Все оценено по достоинству.— И какими взглядами выражались ее удовольствие и благодарность! Она слушала с таким участием, как будто б я читал ей пророчество о будущей ее жизни. Чистая, юная душа ее жаждет познаний; это умилительное зрелище, картина Рафаелева.

Прослушав все сочинение, она сказала мне тихо... с неизъяснимою прелестью: «Как сладостна должна быть для автора надежда, что целые веки голос его будет тревожить сердца людей достойных, очищать, в горняя возносить их дух...»

Друг мой! Я принимаю твое предвещание!

Вчера гуляли мы с нею по полю. Сбиралась гроза. Вдали глухо закатывался гром. Тучи быстро носились в воздухе, но, всякую минуту готовые столкнуться, разносил ветер. В природе была какая-то нерешительность. Мы поспешили домой и на балконе дожидались величественного явления. Вдруг молнии засверкали,

гром, приблизясь, загремел. «Таким временем должны бы только наслаждаться поэты»,— сказала Адель. «Они только и наслаждаются,— отвечал я,— толпа здесь слышит стук, от которого затыкает уши, и видит блеск, от которого щурит глаза».

Три года знаю я ее и чувствую, что стал лучше. Как жаль, что не знал ее прежде.— Я думаю только об том, как бы ей понравиться, а ей понравиться можно прекрасным, необыкновенным!

И собою она прелесть! — В ее темно-голубых глазах какая доброта, кротость! — Черные волосы, подобранные спереди в две кисти, как мило опускает она над бровями! Но всего больше мне нравится ее маленький ротик, подбородок. Ей-богу, на ее лице ясно видишь спокойствие,— этого мало, как бы объяснить,— чувствуешь, что эта душа, довольная собою, блаженствует и... Нет, не умею выговорить — предосадно! — А родимое пятнышко, а тонкий рубчик около губ, а белые щеки, особливо когда они зарумянятся на холоде под снежною пылью или в минуту сердечного чувства. Как тогда поднимается ее высокая грудь! Недавно мы читали с нею об энтузиазме у госпожи Сталь. Она задыхалась! О! она чувствует сильно, горячо.

В ее походке, в ее движениях — Поэзия. Голос мягкий, сладкий. Когда она говорит, так приятно отзывается в ушах моих.— Однако ж странно! Многие утверждают, что она не хороша собою. И нос широк, и лоб велик. Невежи! Только мне она показывает красоту свою. Я вижу ее, я один достоин поклоняться ей!

«В чем состоит счастие?» — спросила меня Адель, не помню, к чему-то, прохаживаясь со мною по зале после обеда.— «Я могу отвечать вам на это *одним* словом»,— сказал я, остановясь и взглянув на нее быстро. Этот взор, верно, был нескромен. Она покраснела и нарочно уронила кольцо, чтоб, наклонясь, скрыть свою краску.— «Нет,— отвечала лукавая, оправясь,— о таком любопытном предмете мне желалось бы услышать от вас больше».— «Извольте, я рад говорить сколько вам угодно, но не пеняйте: вы сами выбрали ответ темнее. Счастие состоит в наслаждениях».— «Эпикуреец... Что вы?» — «Извините — это общее место».— «Виновата, виновата. В каких же наслаждениях? Вы переменили только слово».— «В наслаждениях ума, сердца,

воли».— «Опять с своей системой. Я думала об ней. Ум наслаждается знаниями, сердце — чувствованиями, воля — действиями — так? Но я опровергну вас примерами: кто действовал больше Наполеона, чувствовал больше Руссо, знал больше Фауста — а разве они были счастливы?» — «Comparaison n'est pas raison» [1], но кто ж вам сказал, что Наполеон, завидев знамя Дезе при Маренго, или подписывая Кодекс, или возлагая на себя корону Карла Великого в соборе Нотрдамском, не был счастлив? А Руссо, поверьте, катаясь в лодке около острова Св. Петра, пишучи письма к Юлии, имел такие минуты, каких мало бывает на земле.— Фауста я терпеть не могу за его клевету на знание, и, верно, мы доживем до того времени, как новый поэт, воспитанник религии и философии, искупит это досадное для меня произведение славного Гете. Я поставлю вам в пример Архимеда, который бегал по улицам, крича: «Нашел, нашел!», Кеплера... и мало ли кого.— Но вы сами скажите, какое несравненное удовольствие вы ощущаете, уразумевая какую-нибудь глубокую мысль».— «Правда,— но это только минуты счастливые, а вся жизнь...» — «Иною минутою можно променяться на целую жизнь; примите еще в соображение, что этим людям мешали страсти».— «А как избавиться от страстей?» — «Читайте Евангелие. Средство есть, и если мы не умеем, не хотим пользоваться им, то должны винить себя, а не жизнь.— По тем минутам, которые нам, огрубелым, испорченным, развращенным людям доставляет чувство, знание, действие, можно судить, что бы они доставили нам в гармонической связи, если б мы были цели яко голуби. Это идеал, и расстоянием от него определяется мера настоящих наших участков».— «Вот вам еще возражение: к такому счастию способны очень немногие, а весь род человеческий — страшно подумать!» — «Не беспокойтесь, в природе все устроено премудро, и у крестьянской старухи так же трепещет сердце, когда она крестится на произведение суздальского иконописца, как и у Жуковского при взгляде на Мадонну. Деревенскому мальчишке резные вычуры на старостиной избе верно нравятся больше непонятных произведений Баженова или Михайлова. Линней десятью органами чувствует счастие, а рудокопатель двумя; но лишь бы они были удовлетворены, последний не будет

[1] Сравнение — не доказательство *(фр.)*.

тосковать о неведомых наслаждениях, и сытости меры нет.— Птица разве счастливее растения? — Только наблюдатель, созерцающий предвечные законы божии, указывает те наслаждения, которых человек вообще искать должен.— К сожалению, на свете не много еще Массильоновых избранных, не много людей, которые, по выражению Языкова, были бы достойны чести бытия, которые понимали бы, что такое человек, и старались достигать его высокой цели. Прочие — толпа, занята мелочью и так покорна обстоятельствам — земле, что не смеет и смотреть на небо.— И эти оглашенные презирают посвященных, смеются над ними, называют их безрассудными мечтателями. Голос их так шумит во всяком ухе, что даже я кажусь себе смешным, говоря вам это. Но наступит наконец блаженное время: род человеческий совершенствуется...» — «Ваша правда, ваша правда!» — воскликнула Адель и ушла от меня в сильном смятении духа.

Непременно, непременно я попрошу у ней позволение говорить ей *ты*. Сколько раз хотел я сделать это и всегда забываю. Мы друзья с нею; на что ж эти пустые приличия? Как приятно нам будет говорить так под окошком, в саду, украдкою от Аргусов.— «Ну что, Адель, ты прочла «Иваное»?» — «Прочла, благодарствуй, Дмитрий».— «А как тебе понравилась Ревекка?» — «Прелесть, прелесть! — Она вскочила на окошко.— И я испугалась, боялась продолжать, закрыла книгу». Вдруг кто-нибудь подходит, и мы опять по прежнему камертону. *Вы* — одно это слово, кажется, безделица, а как связывает: то ли, так ли скажется, так ли почувствуется с простым, милым дружественным *ты?* А пересылаться взглядами, говорить друг другу двусмысленности, которых никто понимать не будет!

Дружба! — Но почему ж мне... не жениться на ней. Я вздумал это только ныне поутру.— (Сердце у меня бьется, когда я пишу это.) — Она ведь мне самая дальняя родственница. Ей семнадцать лет. Мне двадцать пять.— Вот где совершенная дружба! Как бы я был счастлив с нею! А предрассудки ее родителей, их богатство, известное желание отца выдать ее за графа Н.— Это все вздор, лишь бы только она... надеялась найти во мне счастие.

Вчера она была очень мила, в сером шелковом платье с кисейною косынкою на шее.— Ведь это талант — так одеваться, чтоб всякий заглядывался. Просто, скромно, но как все пристало, какой вкус! Я неприметно вошел в комнату. Она сидела под окошком и смотрела на небо, усеянное звездами, как будто прислушиваясь к звукам Платоновой гармонии, под которые совершают они свое течение.— Задумчивость придавала новую прелесть ее лицу, и она казалась самою Элегиею. Никогда Жуковский в часы своей унылой мечтательности не производил во мне такого впечатления, как она в эту минуту. «Верно, вы думаете о той руке, по манию которой миры пустились в путь свой,— сказал я ей с благоговением,—...или выбираете, на который переселиться с нашего?» — «Точно вы меня угадали. И третьего дня также. Я выбирала; мы, верно, родились с вами под одним созвездием».— И мы начали говорить о таинствах симпатии, о магнетизме, о сродстве.— Многое, многое мог я растолковать в пользу себе.— Она любит меня.— Но в минуту самую занимательную нас перервали... и всегда так случается: только что разгорячится сердце, тотчас плеснут в него холодною водою.— Говорить о минутном вздоре: «Где были вчера, куда поедете завтра, водевиль очень смешон»,— я не могу, не хочу с нею — и оттого кажусь иногда холодным. Нужды нет. Пусть беседует об этом толпа.— Нет, мы должны говорить только о боге, душе, добродетели, поэзии, истории.— Часто, в досаде на помехи, решаюсь оставить ее в своем воображении. Если б можно было завести разговор душевный! — Условиться в такой-то час в разных местах думать о том-то. Что, если родятся соответственные мысли? — Испытать. Как приятно будет снестися после! Струны, настроенные на один лад, издают звук, когда прикоснешься только до одной из них; почему ж душам не иметь подобного сочувствия?

Вот что еще досадно мне: мне хочется знать все ее мысли о том, о другом человеке, все отношения, домашние тайны, а она как будто скрывает это.— Адель! говори мне все: не двое будут знать. Я желаю этого не из пустого любопытства; я хочу только, чтоб в душе твоей не осталось ничего для меня неизвестного! При взаимной доверенности всякая безделица будет драгоценна, как бумажная ассигнация в государстве. Впрочем, при-

знаться ли, и сам я говорю не все. Я как-то робею перед нею, и все еще в почтительном отдалении. Вчера мы остались одни, и что ж сказал я ей? ничего. А такого случая в другой раз не дождешься.

Целую неделю я почти не говорю с нею. Она как будто избегает моего присутствия; что значит эта холодность?

Я всякую ночь почти вижу теперь странные сны. Вчера, например, я очутился в каком-то глухом переулке. Кругом ни души не видать, не слыхать. Как будто б все живое здесь давно уж вымерло.— Спешу выбраться — передо мною пустырь и кучи, кучи деревянных развалин по всем сторонам. Здесь упавший забор, там дом без крыши, без окончин, разломанные ворота. Иду-иду. Опять все то же. Пустырь один другого больше, и нет им конца. Никакого цвета, никакого движения! Ужас напал на меня. Я хочу уж броситься на землю и умереть хоть с закрытыми глазами. Вдруг вижу, издали, под легким покрывалом, спешит ко мне девушка.— Я ожил. Радость, к ней — и проснулся. Как досадно мне было! Я не успел еще разглядеть ее.— Но это рост Адели...

Нет, она не чувствует ко мне этой пламенной дружбы, которой жаждет душа моя, она не любит меня. Любовь — дитя вдохновения.— Адель только что привыкла ко мне. Ей нравится мой образ мыслей; ей приятно говорить со мною — и только.— Правда, взор ее часто обращается на меня с нежностию. Вчера, как прочел я ей сцену из моего романа, она взглянула на меня очень убедительно.— А как схватила она меня за руку при монологе дон Карлоса! — Иногда радуется она моему явлению очень мило, прощается со мной очень нежно. «Приходите к нам завтра, да пораньше, приходите же!» — Когда-то я сказал ей, не помню к чему, что стена между нами поднимается выше и выше.— «Нет, это только застава,— отвечала она,— чрез которую мы проложим путь». А еще: подруга ее сказала однажды шутя, что можно узнать во сне судьбу свою, как-то впросонках оборотив свою подушку. Смеясь, мы согласились загадать при первом случае.— «Ну, что вы видели?» — спросила она меня, улыбаясь, на другой день. «Ах, я был в раю.— Если б это исполнилось!» — «Ска-

жите же, что такое?» — «Не могу». А после, будто проговорившись, я дал ей понять, что видел ее, и она — она была, кажется, не недовольна.

Я нашел ее в слезах.— Она обратила разговор на бессмертие души.— «Убедите меня, что душа бессмертна. От вас именно хочу я получить доказательство».— «Помните, мы говорили недавно о счастии.— Сии избранники, сии гении в минуты величайших своих откровений ощущали еще какую-то пустоту в своем сердце, которое уж ничем наполнить не могли. Они все еще желали, и это видно из их сочинений.— Это желание — что ж оно значит? тоску по отчизне. А этот последний вопрос, на который молчат и Шеллинги, знающие, *как* все происходит: откуда все и куда все? — Где же удовлетворение нашему сердцу и нашему уму?» — «Благодарю вас,— она прервала,— да стоит ли труда из двух-трех минут жить на этом свете без надежды на будущий?» — крепко пожала мне руку... право, я не ошибся, очень крепко, и ушла в другую комнату.

Друг мой! душа бессмертна. Там, там, на высоком небе, обниму я тебя торжественно. Там, забыв ничтожный мир с его презренными рабами, свергнув с себя иго грубой, тяжелой плоти, вразумимся мы в себя, сольемся чистыми душами своими, и ангелы позавидуют нашему счастию.

Я объяснюсь ей в любви. Как мне этого хочется! — Но все не смею.— Решительный у себя, я робею перед нею и как будто не влюблен, а только что люблю ее. Но могу ли я выразить свое чувство! На каком человеческом языке достанет слов для него? — Я его унижу.— Словами назначатся ему какие-то пределы; оно подведется под какую-то точку известную, объятную,— оно, бесконечное, беспредельное.— Нет, я не поверю его нашим словам. Ах, дайте, дайте мне другую, не земную азбуку.— Если б она узнала меня совершенно, совершенно!

Но не обманывает ли меня самолюбие! Может быть, случайные слова я растолковал в свою пользу; может быть, она питает ко мне только уважение и мое объяснение назовет сумасшествием? «Как вы смеете?» — скажет она... Клевета, клевета! Во всяком случае она почтет это для себя несчастием, пожалеет обо мне искренно.— Что тут безумного? Так может рассуждать какой-

нибудь ослепленный невежа, а не она.— Ну что ж! я буду терпеть.

Терпеть! Грубый человек. Пусть она не любит меня.— Я хочу этого. И вот будет самая чистая, совершенная любовь с моей стороны.— Сердце хочет любить. На что ж еще ответ ему? Что за меновая торговля? как будто оно может перестать? — Разве мало ему наслаждения — любить?

Вчера, после ужина вместе с гостями ходили мы в сад слушать соловья. Приятная минута! — Все было тихо; мы, впереди других, приближались к нему на цыпочках в темной аллее. Вот звуки! сладостно было дожидаться их, не смея перевести дыхание.— Вдруг раздадутся на всю рощу и вдруг опять благоговейное безмолвие.— Как мне хотелось поцеловать мою Адель!

На каждом шагу природа представляет удовольствия человеку, и как мало он пользуется ими, ожесточенный! — Ночь, синий свод, осыпанный сверкающими алмазами, полный светлый месяц, дробящийся между древесными ветвями, воздух благоухает, дорога покрыта тенью, тишина в природе, а душа всего — Адель.

Я поеду путешествовать с нею. Всем прекрасным мы насладимся. Всему великому мы поклонимся. Гробница Шиллера и Гердера, лекция Шеллинга, Мадонна Рафаелева, маститый старец — немецкая литература, французские палаты, спектакли, улица Победы, Лондонская гавань, мирное жилище Вальтер Скотта, чугунные дороги, Ланкастерские школы, восхождение солнца на Альпийских горах, вечерняя прогулка по Женевскому озеру, Венера Медицисская, вечный Рим, Этна, лавр Виргилиев, «Тайная вечеря» Леонарда Винчи, развалины Помпеи, храм святого Петра — сколько, сколько сладостных ощущений! — Мы перечувствуем всю историю, мы переживем всю жизнь; мы увидим все, чего достигнул человеческий гений в победоносной борьбе с нуждою, по всем путям, по которым он должен был стремиться к своей далекой цели. Религия, жизнь семейственная, жизнь гражданская, царство промышленности, царство изящного представятся удивленным взорам нашим по разным странам и климатам во всех возможных видоизменениях. А места благородных усилий, освященные кровавым потом, горючими слезами великих мыслителей: эта ива Шекспирова, этот чердак Рус-

со или темницы Лутера, Галилея, Данта! — А эти бесчисленные ступени образования, на коих горит еще глубоко протертый след труда человеческого,— и наконец та, с которой старший сын Адамов смотрит теперь на небесную свою отчизну...

Но разве мы ограничимся одною Европою! Благодаря успехам гражданственности расстояния сократились: в четырнадцать дней уж можно поспеть из Ливерпуля в Америку, чрез месяц в Ост-Индию, а из Одессы в неделю в Константинополь, Египет, Иерусалим; ныне стыдно уж образованному человеку умереть, не видав чудес, являющих на земле задняя славы божией. Так, мы увидим водопад Ниагарский, дремучие леса, многоводные реки, и недосягаемые горы юной природы американской, и степенный Египет с его гиероглифическими пирамидами и благодетельным Нилом, старшим возбудителем человеческой деятельности, и поэтическую Индию с ее древними, уже беспамятными развалинами и седовласыми браминами, которые в безмолвии, почти не принимая пищи, по целым годам погружаются в таинственные созерцания,— и памятник славного македонца, что первый указал сынам Иафета их преимущество пред прочими братьями, Александрию — и Аравийские пустыни, наполненные фантастическим духом магометанской религии,— и естественную столицу мира, по верному выбору Наполеона, седмихолмный Константинополь, средоточие Европы, Азии и Африки; — и остров, куда, за моря и земли, испуганная Европа сослала этого своенравного сына, где денно и нощно, едва переводя дыхание, стерегла всякое неумышленное его движение, где он, десятилетний рок мира, под плесканье пустынной волны размышлял о народах и царствах; где он, пловец испытанный, вспоминал прежние бури и в изумлении оглядывался на свою неожиданную пристань, не веря собственным глазам своим. Там, на могиле этого исполина, упавшего в пропасть, которой глубину можно сравнивать только с высотою его прежнего величия, мы скажем всего убедительнее с Соломоном: суета сует и всяческая суета!

. . . .

И наконец Вифлеем и Голгофа, святая святых, небо земли!

Куда увлекла меня послушная мечта! — Но что ж тут мечтательного? Разве это невозможно, разве это трудно?

Я говорил с Аделью о путешествии. Она слушала с восхищением. «Поедем вместе»,— сказал я. «Я рада,— ах, если б в этом слове была сила!» Что же это значит? Точно — она меня любит.

А потом, потом с богатым запасом впечатлений мы поселимся в деревне, на берегу Волги.— Признаться ли, мысль о сельской жизни даже приятнее путешествия моему воображению, и ни об чем еще не мечтал я так сладостно! Вдали от сует, недостойных человека, без тщетных замыслов и желаний, свободные от мелких условий и отношений, не смущаемые страстями, будем мы жить мирно и спокойно в нашем заповедном уединении, наслаждаться любовию и с благоговением созерцать истинное, благое и прекрасное в природе, науке и искусстве. Я буду набожно вопрошать всемирных оракулов, вникать в их многозначущие завещания и, может быть,— мечта сладостная — творческие думы созреют, по выражению поэта, в душевной глубине, и я сам, по священному следу, успею стереть какое-нибудь пятно на скрижалях ума человеческого или напечатлеть новую истину, в поучение современников и потомства.

Я воображаю: поутру, прогулявшись по рощам и долинам, освежась чистым воздухом, принимаюсь я за работу в своем кабинете, пишу, читаю целые часы без всякой помехи — с напряженным вниманием, сосредоточенным на один любимый предмет, погружаясь глубже и глубже в сладостные размышления...

Перед обедом ко мне приходит Адель с Эмилем на руках и рассказывает об его первой улыбке или обнаружении новой способности. Расцеловав их обоих, я показываю ей драгоценности, собранные на дне искания... Опять гуляем. После простого вкусного обеда, приготовленного ее руками, отдохнув, мы воспоминаем о нашем путешествии; или учимся языкам; или говорим о жизни Александров, Фридрихов, Петров, о тех препятствиях, чрез которые прорывались они торжественно, об их отважных замыслах и странных удачах; или читаем Руссо, Карамзина, Байрона, Окена, Клопштока... какие собеседники вместо дюжинных посетителей, призраков столицы! — Как живо будем мы чувствовать в нашей легкой Альпийской атмосфере красоту всякого выражения, глубину всякой мысли! Устами великих учителей я посвящу мою Адель в таинство науки; с верою и любовию мы будем вместе изучать природу от Пифа-

горовой монады до чудного, совершеннейшего творения — человека, наблюдая все ее удивительные аналогии; — потом я поведу ее в другой великий мир, мир истории, и расскажу ей жизнь человеческого рода по предвечным законам от первого пробуждения умственных способностей в существе географическом до полета Шлёцера, Наполеона, Шеллинга... до идеала, дарованного богочеловеком. Мы обозрим эту Иаковлеву лестницу и с благоговением преклоним колена пред мудрым промыслом, о нем же всяческая существует.

И всякая минута так наполнена, и ни одного противного впечатления!

А друзья, которые подчас приедут навестить нас с новыми звуками русской лиры, произведениями русского ума, новыми указами, залогами отечественного счастия.— Вот уж от души мы выпьем тогда по полному бокалу шампанского!

Да, непременно еще надобно завести у себя вернейшие портреты великих людей и копии с изящнейших произведений ваяния и живописи. Чтоб всяким взглядом в нашем доме изощрялся вкус, возвышалась душа! — Мы сумеем убрать наши комнаты!

Мне хочется иногда, чтоб занемогла она: я буду ходить за нею, страдать с нею,— и она все это будет видеть, чувствовать.— Мне хочется, чтоб она умерла: вот когда, в этих адских муках, почувствую я любовь свою во всей полноте.— Нет, я не буду мучиться: пусть тлеет ее тело; она останется в любви моей невредимая, живая, бессмертная.— Или — я оживлю мертвую моим духом, силою моей страсти.— Нет — лучше я буду сперва мучиться, потом оживлю. Я хочу перечувствовать все чувства.

Я умираю. Она приходит ко мне. Расстроенный мой ум тотчас устанавливается, из беспамятства я прихожу в себя.— Мне ль не узнать ее? Я возьму ее руку, приложу к своему сердцу, поцелую ее — друг мой! прости...

Ревность — вот еще прекрасное, сильное ощущение; термометр любви. Шекспир! как хорош твой Отелло!

Я видел ее у обедни в Симоновом монастыре. Всякое божественное слово выражалось ее ангельскими взорами: «Горé имеем сердцá — премудрость! прости — достойно есть яко воистину блажити тя богородицу».—

Благоговение, спокойствие, кротость, преданность.— Мой любезный Карло Дольче! изорви свои картины. Опять искусство стало ниже природы...

19 апреля — день, счастливейший в моей жизни. Я читал Евангелие с Аделью. Мы говорили о любимом предмете моих размышлений, земной жизни Иисус-Христовой, о разных словах его и действиях: как на известие, что его дожидается на дворе мать и братия, «простер руку свою на ученики своя и рече: «Иже бо аще сотворит волю отца моего, иже есть на небесах, той брат мой, и сестра и мати ми есть». Как на вопрос Петра, можно ли прощать брата до семи раз, отвечал: «Не глаголю тебе, до седмь крат, но до седмьдесят крат седмерицею»; как спас он несчастную грешницу от фарисеев, осуждавших ее на побиение каменьями, сказав им: «Иже есть без греха в вас, прежде верзи камень на ню», как на Фаворе «бысть, егда моляшеся, видение лица его ино, и одеяние его бело блистаяся»; как на горе Елеонской «быв в подвизе, прилежнее моляшеся, бысть же пот яко капли крове, каплющия на землю»; как, распятый на кресте, воскликнул он: «Отче, прости им, не ведят бо, что творят»; как произнеся «Совершишася», предал дух. В святом восторге, молча смотрели мы друг на друга, и глаза наши наполнились слезами умиления.

Один древний сказал: «Если я узнаю какого-нибудь человека, то узнаю себя».— В ней хочу я узнать себя. О, друг мой! ты получишь на меня новое право.— Но откуда ж будет взять мне любви! — Откуда! Я целые миры наполню ею, и все будет у меня оставаться больше — источник неиссякаемый.

Гордый юноша! ты думал, что тебе довольно себя,— и горько узнать тебе, что ты только половина; но утешься — ты можешь сделаться бесчисленностию.

Я позабыл все, все, как будто б ничего и не было. Везде, все — она и я. Я не дышу, не живу — я только люблю.

Какое действие в природе есть самое высокое, таинственное, священное?

Июля 20. Я был у ее брата; он увел меня с собою в ее кабинет. Ей в первый раз завивали волосы. Она сидела перед зеркалом.— Как я вздрогнул, когда ловкий француз прикоснулся ножницами к ее черным локонам. Ах! жертву ведут на заклание. В пылу своих мечтаний я позабыл об этом испытании, которое предстоит ей, в котором исчезло уже столько прекрасных надежд. Адель! если б ты узнала вдруг все ужасы большого света! Как мне описать его тебе и с чего начну я? Это... это гнездо разврата сердечного, невежества, слабоумия, низости! Спесь становится там на колени перед наглым случаем, целуя запыленную полу его одежды, и давит пятою скромное достоинство. Суетному тщеславию приносится в жертву и чужой труд, и будущая участь собственного семейства. Мелочное честолюбие составляет предмет утренней заботы и ночного бдения, лесть бессовестная управляет словами, гнусная корысть — поступками, и об добродетели сохраняется предание только притворством.— Ни одна высокая мысль не сверкнет в этой удушливой мгле, ни одно теплое чувство не разогреет этой ледяной коры. Люди не благоговеют там пред гением, не радуются успехам просвещения, не принимают участия в судьбе человечества, не верят истине, горния внушения называют мечтами,

И признак бога — вдохновенье
Для них и чуждо и смешно.

Смотри — вот друг человечества, который пишет проекты об уничтожении нищеты, пустив по миру тысячи родовых крестьян. Вот преобразователь государства, который своею рукою не умеет пяти слов написать связано и правильно. Вот гордый сановник, к которому приблизиться не смеют подчиненные и который наедине треплет по плечу камердинера или целует руку у любовницы сильного временщика. Вот патриот, который получает миллион доходу и жертвует отечеству крестьянские подушные деньги,— вот набожная старуха, которая по середам и пятницам ездит к обедне, кладя земные поклоны без счету, и которая, по своим видам, рада позволить родному сыну отвратительное распутство. Вот человек добродетельный, который из лишней тысячи уделяет грош на кусок хлеба бедному, и то еще за почетный диплом. Вот человек честный, который платит верно по заемным письмам из выигранных наверное денег. Вот жаркий либерал, у которого камерди-

нер не ходит без синих пятен на лице. Вот верная супруга, у которой пять домашних друзей; верный супруг, у которого на содержании оперная певица; любезный молодой человек, который испытал все Тиссотовы лекарства и заложил уж последний башмак из приданого будущей своей невесты; почтительный сын, которого тяжбу с матерью решает подкупленный суд. Вот покровитель просвещения, которого сын учится философии у французского модиста; вот испытатель путей господних, который за одно оскорбительное слово готов оклеветать брата пред уголовным судом, вот... Но мне уж отвратительно исчислять ненавистный легион...

Скажут, я увлекаюсь пристрастием, сужу слишком строго, вижу одну черную сторону,— согласен; но, Адель, подумай: не много ли ужасного и в четверти правды?..

Я начертал тебе характеристику действующих лиц, но что должно еще сказать об их употреблении времени, священного времени, которое искупать повелевает нам мудрый? Об этих визитах, где страдают гости и хозяева, об этих поздравлениях с именинами, праздниками, успехами; о прогулках, где хотят только показать себя и пощеголять, хоть напрокат, перед другими, об этих туалетах, званых обедах, балах, где несчастные девушки по целым часам кружатся без усталости, чтоб назавтра встать в полдень с больною головою и поблеклыми щеками, чтоб до срока расстроить здоровье своего тела и помрачить чистоту своей души.— Поверишь ли: у этих людей нет ни одной минуты, в которой бы они могли предаться свободно своему сердцу или уму. Вольные рабы и мученики, они вращаются в своей стихии — пустоте — по законам каких-то условных приличий; часто ненавидят их сами, но не имеют столько сил, чтобы освободиться из-под их тяготения: сначала, в молодости, бранят их, потом терпят, привыкают, наконец делаются их блюстителями, защитниками и, не имея никаких других достоинств, гордятся их познаниями. В обществе они сносны, даже забавны, когда с ловкостию и любезностию, рассыпая везде цветки светского остроумия, говорят о предметах, для себя близких: о городских сплетнях, французских водевилях, балах, гуляньях, модах, успешных и не успешных исканиях; но среди мелочей, легкомысленные, они осмеливаются

иногда произносить еще важные священные слова отечества, дружбы, поэзии, добра, воспитания, правительства, верховной власти... Ах, Адель, ты не можешь вообразить себе, что я чувствовал, когда, сидя в углу какой-нибудь великолепной гостиной, безмолвный и задумчивый, вслушивался я нечаянно в их нелепые восклицания! Кровь моя леденела, желчь поднималась, я бледнел и скрежетал зубами... Ах, Адель! ты не можешь себе вообразить, что я чувствовал еще, когда в эту минуту какой-нибудь знатный невежа подходил ко мне и с видом покровительства брал меня за руку или спрашивал насмешливым тоном: «Что делается хорошего в вашей литературе?» — насквозь пронзить хотел бы я его каким-нибудь словом презрения или взглядом диаволовой гордости — и только мысль: «что я сделал важного, чем оправдать, поддержать могу безвременное движение, подождем» — меня останавливала, и я удерживался и, трепещущий негодованием, отвечал ему тихо: «Чему у нас быть хорошему, ваше сиятельство... Ah, j'ai reçu «Les mémoires de la Contemporaine» lisez ça, c'est charmant!» [1]

Таков, Адель, тот большой свет, в который ты являешься.

Но неужели, спросишь ты меня, все это там наружи, пред взорами каждого.— Нет, мой друг, все под покровом нарядным, блестящим, почти непроницаемым; вот в чем и опасность для неопытной юности.— Яркими цветами усеяны пологие берега пропасти. На последнем шагу еще взор несчастного увеселяется очаровательными видами, а чрез минуту он летит стремглав на далекое, тинистое дно.— Не упади, не упади, Адель!

Вчера я встретился с нею на бале у министра. «Нравится ли вам ваша новая планета и ее жители?» — «Ах, как же! здесь все так светло, так живо! Я не могу еще опомниться от удовольствия. А вы отчего так печальны?» — «Я... признаюсь, оттого же, отчего вы веселы. Мне кажется, что вас убывает всякую минуту, что я теряю вас; что вы удаляетесь от меня тихо, неприметно, и тем опаснее для меня.— Адель! Если мы не станем слышать и понимать друг друга?» — «Перестань-

---

[1] Ах, я получил «Мемуары современницы», прочтите их, это прелестно! *(фр.)*

те, вы меня обижаете... Для вас нет никакой опасности. Я порезвлюсь, поиграю, pour avoir qelque chose á raconter[1] и ворочусь... в уединение».

Точно! точно! я виноват пред тобою. Моя робость излишняя. С твоим ли сердцем и умом преклонить колено пред скудельным кумиром? Тебе ли, рожденной для высших человеческих наслаждений, удовольствоваться сими жалкими празднествами, сими безумными плесками? Ты окинешь гордым взглядом ослепленных язычников, проникнешь в их тайну, одним словом удержишь их в почтительном отдалении и, победоносная, сквозь их неистовые толпы выйдешь торжественно из Ваалова храма, чтоб с большим пламенем броситься в объятия природы, науки и любви... любви моей... Адель! ко мне! ко мне!

Мне нужно ехать в Малороссию по делам батюшки.— Какая досада! О, зачем, зачем подчиняется человек этим обстоятельствам? — Мне нельзя будет следить ее впечатлений. Она не станет рассказывать мне о своих чувствованиях.— Сколько жизни я потеряю!

Как нарочно, она теперь в Подмосковной, а мне надо ехать немедленно и нельзя даже проститься с ней. Я не могу сказать ей несколько слов в предостережение.— Грустно, тошно.— Напишу к ней записку:

Прощайте, Адель! Мы расстаемся с вами, может быть, надолго, может быть, навсегда. Я надеюсь, что вы никогда не забудете меня. Если вы будете счастливы, как человеку должно и можно быть счастливу, то мое желание, самое пламенное, какое только может ощущать душа, исполнится. Тогда особенно, nei giorni felici ricordati di me[2]. А я, один, пойду тихо своей дорогою и, словами поэта, не стану говорить с ропотом: нет счастия, а с благодарностию: оно было.

Обстоятельства переменились. Я остаюсь еще на два дня в Москве. Перечитываю свою записку. Какой элегический вздор я написал к ней вчера! Съезжу к ней на минуту.

Простились. Она провожала меня с горестию, и слезы навертывались у ней на глазах. «Не позабудьте ме-

---

[1] чтобы было о чем рассказать *(фр.)*.
[2] в счастливые дни вспомни обо мне *(ит.)*.

ня»,— она сказала тихо, пожимая мою руку.— Позабуду ли я тебя, друг мой! Ты — я, ты присутствуешь тайно во всяком моем слове, мысли, чувстве, без тебя нет и меня... Мне было горько, даже до смерти. Скоро ль я увижу ее опять? Так ли она встретит меня, как теперь проводила?

Я беспрестанно удаляюсь от нее. Быстрая тройка мчит меня с горы на гору. Перед мною мелькают леса, поля, деревни.— Что делает теперь моя Адель? Может быть, она гуляет в саду по тем аллеям, где мы гуляли с нею вместе, и останавливается на тех местах, где мы встречались: у крайней березы над оврагом, за прудом под старою ивой, в липовой роще. Или — она перечитывает мои сочинения и находит в них свои мысли, вспоминает, когда они были сказаны, и, с улыбкой на устах, закрывши книгу, сладко задумывается.— А может быть, какая-нибудь светская приятельница изглаждает мои впечатления, возбуждает недоверчивость к моим мнениям, представляет ей вещи с другой стороны, умными софизмами разлучает меня с нею... Ах, Адель! зачем я не с тобою! — Или, еще ужаснее, какой-нибудь повеса под скромною личиною привлекает ее внимание; притворными чувствами, чужими мыслями вкрадывается к ней в сердце, коварными устами говорит ложь, которая ей нравится, и тускнеет мое чистое зеркало,— удалитесь, черные мысли... и она, не разобрав своих чувствований ко мне, обманывается новыми.

Наконец приехал я в деревню; дела все ужасно расстроены. Сажусь за счеты, складываю, вычитаю, поверяю.— Как бы кончить все скорее, и в Москву!

Месяц уж я работаю с утра до вечера, а все еще половина дела впереди.

От Адели давно нет никакого известия. Что это значит? Беспрестанно посылаю справляться в город, не отхожу от своего стола под окошком, ожидая ответа с почты.

Я не знаю, что сделалось бы со мною, если б бог не послал мне благодетельницы-соседки, которая живет подле нашего села, на другом берегу реки. С трех разговоров она открыла тайну моего сердца.— Всякий раз, как я приду к ней усталый и печальный, она находит

какое-нибудь средство оживить упавший дух мой, разрешает все мои сомнения, объясняет в мою пользу все обстоятельства, изобретает тысячу вероятностей, и опять в темной глубине моей души затепливается луч благодатной надежды, и, утешенное дитя, я возвращаюсь домой с новыми мечтами.— Никогда, никогда не позабуду я твоего участия, добрая душа!

Она начала мне гадать на картах и, странность, сказала мне многое, похожее на истину за прошедшее время. Правда, она говорит ныне то, а завтра другое, об одной и той же карте, но мне хочется обманываться, и я рад верить всякой небылице, которая обещает мне Адель.

Червонная семерка, осмерка, девятка вышли вместе, и к ним червонный туз. Я должен получить письмо чрез делового человека. Если она послала из Москвы в середу, оно придет в город к воскресенью 6-го числа. Ныне четверг. Три дня.— Что она напишет ко мне!

Оставлю все свои счеты, не стану ни об чем думать, кроме Адели, чтоб письмо застало меня готового, достойного, с свободным духом, чтоб мне не мешало никакое постороннее впечатление, чтоб вполне я мог насладиться всякою строкою...

Шестое число приходит. И седьмое. Письма нет. Мучусь. Тоска овладела мною. Я пугаюсь всякого шороха, боюсь говорить со всяким новым лицом, чтоб не услышать какого-нибудь рокового известия. В голове носятся мысли, одна другой печальнее, сердце ноет. Мрачные предчувствия. И сон оставил меня. Ах, как тягостна неизвестность!

Наконец я могу ехать. Дописав последнюю строчку, я кинулся в кибитку, напутствуемый благословениями и желаниями моей доброй утешительницы. Через три дня я увижу ее, узнаю все. Мы летим. Она должна быть теперь в деревне на моей дороге...

С каким трепетом поднимался я на ту гору, с которой видна вдали, верст за семь, их прелестная усадьба! Вот домик, в котором живет она.— Что она делает теперь? Думает ли, что друг ее так близко? — Вот поле, окруженное со всех сторон лесом, где она обыкновенно гуляет! — Вот березовая роща, где мы с ней отдыхали.— Куда не проникал мой острый взор! — Как билось

мое сердце, когда между деревьями показывалось что-нибудь белое, цветное. Не она ли, не она ли? Вот и деревня. Сердце выпрыгнуть хочет. Идет знакомая крестьянка... «Здесь ли твоя барышня?» — «Нет, сударь».— «Поворачивай скорей в Москву».

Она больна.

Вот причина ее молчания; предчувствие не обмануло.

К ней никого не пускают. Жар беспрерывный. Покойный С. занемог так же. Господи, умилосердись! Я не помню себя. Доктора, впрочем, обнадеживают. Что будет завтра? Какое ожидание, еще мучительнее неизвестности!

Нет, она не умрет. Этот ангел нужен для земли. Кто ж останется?

Ей хуже. Она не спала ночи. Хотя б раз взглянуть мне на нее, хотя б услышать один звук ее голоса. В доме смятение. Люди плачут. Отец и мать в отчаянии. Мне беспрестанно встречаются похороны, сны страшные. Неужели?.. Живи, живи, живи!

Я просил позволения войти к ней. «Нельзя, она растревожится, доктора не позволяют». А ей еще хуже, и она может умереть, не видав моего страдания, не узнав моей любви к ней, моей бесконечной страсти; мое сердце разрывается на части. Что она чувствует теперь? думает ли обо мне? Пустите, пустите меня к ней!

И кто около нее в эту великую минуту, когда душа стремится покинуть свою тесную темницу, расправляет крылья, чтоб вознестися в горняя? Невежды не умеют оценить ни одного взгляда ее, ни одного слова. Они утешают ее детскими надеждами, рассказывают для рассеяния всякие вздоры — молчите! — Царство божие пред нею открывается, она проникает в священные тайны. Не напоминайте ей о нашей плачевной юдоли.

Я не останусь без нее на свете. Чем мне будет думать, чем чувствовать, жить? кто поймет меня, ободрит! Нет, я умру вместе с нею; но я хочу видеть ее здесь, на земле, хочу слышать ее заветное слово... непременно, непременно.

На рубеже двух миров, бесстрастные, бесплотные, смело мы бросимся друг другу в объятия, в пламенном

поцелуе восчувствуем всю силу взаимной любви, в одну минуту проживем всею жизнию,— и тогда, тогда... Господи! приими дух наш с миром!»

Это были последние строки в дневнике моего друга.— Желание его не исполнилось: он не мог увидаться с любимицею души своей, и несчастная девушка умерла на руках чужих людей, хотя из-за стены рвался к ней свой. Домой, сказывал мне его камердинер, пришел он мрачный и безмолвный и заперся в своей комнате.— Я навещал его вместе с товарищами, но мы не посмели смущать его священной горести и только посмотрели на него в замок. Бледный, с растрепанными волосами, с неподвижным взором, склонясь головою, сидел он в углу.— Изредка только из груди его вырывались глухие стоны, изредка кровь бросалась в лицо, он взглядывал кверху, и из сих взглядов мы узнавали, что происходило у него в сердце.— На другой день, увидев его еще в худшем положении, я решился войти в его комнату. Услышав шум, он оборотился ко мне и, залившись горькими слезами, бросился на шею.— Я хотел было говорить — он дал мне знак молчания и стремительно отвернулся от меня, как бы опомнившись или устыдясь посторонней мысли.— Я вышел от несчастливца, и ропот, грешный ропот раздавался в моем сердце.

В день погребения, поутру, с первым ударом колокола, одевшись в черное платье, пошел он в приходскую церковь.— В розовом гробе, в белом платье, убранном зелеными лентами, среди погребальных свеч лежала усопшая. Казалось, она встретила смерть, думая не об земле, которую покидала, а об небесном отце, пред которого предстать готовилась. Эта последняя мысль сохранилась еще на прекрасном, хотя и помертвелом лице ее. Народ смотрел на нее не с простым любопытством, но с каким-то глубоким почтением. Наш друг вошел спокойно в церковь, и только при первом взгляде на усопшую заметно было на лице его какое-то движение, знак чувства, взволновавшего сердце, или мысли, омрачившей ум.— Он стал в головах (близких родных не было по нашему странному предрассудку) и во все продолжение божественной службы стоял неподвижно, не оборачиваясь даже на свою возлюбленную. На лице его не приметно было никакого чувства, никакой жизни в целом теле — и только на ектениях о сотворении вечной памяти усопшей рабе божией он вздрагивал мгно-

венно. Нам страшно было видеть эту окаменелость; мы желали, чтоб скорее кончился печальный обряд и мы могли б принять его к себе на лоно дружбы, укрепить изнемогающую душу. Но по окончании литургии, когда священники стали вокруг гроба, предстоявшие зажгли свечи и началось отпевание, при гласе «Блажени непорочнии в путь, ходящии в законе господне» — наш друг возвратился к жизни. Слезы, долго заключенные, хлынули из глаз его потоками; лицо, дотоле бесчувственное, приняло выражение скорби неописанной; он беспрестанно оглядывался на всех предстоявших, как будто хотел возбудить их сострадание к себе или убедить в драгоценности утраты; потом упал на колени и молился с таким жаром, с таким ясным напряжением воли, что мы тогда же посмотрели друг на друга и сказали себе взорами: «Нет, уж он не жилец на земле». Нами овладело уныние; жизнь с ее беспрерыными муками и преходящими утехами показалась столь презренною, что мы дерзнули уж завидовать ничтожеству, и со слезами на глазах, из глубины сердечной повторяли за чтецом: «Воистину суета всяческая, житие же сень и сонпе, ибо всуе мятется всяк земнородный, якоже рече писание». Еще более — смотря на эту красоту обезображенную, на эту добродетель, столь жестоко уязвленную, мы усомнились в самом провидении, почли рождение иглою случая, а смерть пределом, за которым ничто уж для нас не существует, упали духом — как вдруг раздалось божественное благовествование: «Аминь, аминь, глаголю вам, яко грядет час и ныне есть, егда мертвии услышат глас сына божия и услышавши оживут», звезда бессмертия лучезарная сверкнула нам прямо в утомленные очи, и сердца наши затрепетали радостию... О, если б тогда могли мы предать это утешение нашему другу!.. Между тем оканчивалось уже отпевание, пропеты умилительные песни о житейском море, воздвизаемом напастей бурею, о тихом пристанище и наконец о вечной памяти; совершена была уже молитва по усопшей, о еже проститися ей всякому прегрешению, вольному же и невольному, яко да господь бог учинит душу ее, идеже праведнии упокоеваются. Народ начал давать последнее целование... Что сделалось с Дмитрием в эту минуту, того не может выразить человеческое слово. Истерзавшись, глядя только на него, мы бросились наконец почти без памяти к нему и решились не допускать его до гроба. Священник взял уже горсть земли

и, благословляя мертвое тело, хотел было произнести: «Господня земля и исполнение ее»,— как вдруг несчастный вырывается из наших рук и кричит: «Подождите!» Удивленный служитель божий останавливается. Дмитрий бросается на труп, осыпает жаркими поцелуями и, схватив руку, уставясь взорами в лицо, восклицает: «Адель... к тебе»,— и, чудо, на лице у почившей мелькнула, так нам показалось, улыбка, как будто б она, не прешедшая еще в землю, вняла знакомому гласу своего друга, прощалась с ним... или приветствовала его в другом, лучшем мире, потому что он лежал уже мертвый, упав с последним словом к подножию одра...

Несчастный Дмитрий похоронен на ...ом кладбище подле подруги, с которою бог не судил ему жить на этом свете. Там, на их священных могилах, под тению развесистой березы, летом, при последних лучах заходящего солнца, часто сидим мы, оставшиеся друзья его, воспоминаем о незабвенном или — в молчании — сладко размышляем о таинстве любви.

Н. А. МЕЛЬГУНОВ

КТО ЖЕ ОН?

Повесть

Is not this something more than fantasy?
What think you of it?
Hamlet. I[1]

(Посвящается А. С. Хомякову)

I

Я лишился друга. Знавшие его не могут обвинять меня в пристрастии: то был ангел, ниспосланный на землю и отозванный прежде, нежели что-либо человеческое успело исказить его божественную природу. Стоило взглянуть на возвышенное, всегда восторженное чело его, чтобы прочесть на нем неизгладимое свидетельство его небесного происхождения...

Скорбь друзей покойного была невыразима; но из живой и сильной она обратилась постепенно в тихую грусть: печальное и вместе сладостное наследство! Прошло около года после его кончины; наступила весна. Обновленная природа обновила и нас. Сердца наши растворились для радости; миновала и грусть в свою очередь. Житейские удовольствия, мирские заботы стали опять завлекать нас в свои обманчивые сети. Исчезло мало-помалу то невольное самоотвержение, с каким забываешь о себе после великой потери и живешь одною памятью об оной. Но и в этой памяти разве не проглядывает чувство эгоизма, которое следует за всякой несбывшейся надеждой?

Однажды, спустя около года после кончины друга, я прихожу в банк и, в ожидании выдачи денег, смотрю на пеструю, движущуюся толпу, которая ежедневно теснится в этом здании. Там встречаются все сословия, начиная от вельможи, закладывающего свое последнее имение, до простого селянина, который кладет в рост избыток своих скудных доходов. Меня развлекало это

[1] Пожалуй, это не одна фантазия? Что скажешь ты? *Гамлет. I (англ.).— Перевод М. Л. Лозинского.*

движение, коего пружиной была потребность денег, денег и еще денег. Двери почти не затворялись; знакомые и незнакомые лица мелькали передо мною: то веселые, то пасмурные, а чаще невыразительные, они появлялись и исчезали, как тени в фантасмагории. Но вот двери отворяются настежь; молодой, осанистый человек величаво сбрасывает с себя плащ на руки лакея и быстро проходит чрез залу в совет банка. Не прошло пяти минут, мой незнакомец возвратился из совета; я смотрел тогда прямо ему в лицо... то был покойный друг мой!

Не помню, как я вскочил со стула и подбежал к нему. Взгляд, брошенный им вскользь на меня, еще более уверил мое воображение, что то был покойник. Я остолбенел, силился промолвить слово и не мог, хотел кинуться в его объятия и стоял недвижим. Между тем он был от меня уже далеко; слуга накинул на него плащ, и он вышел из залы, столь же мало обратив на меня внимание, как и при входе.

«Нет! это не друг мой,— сказал я в суеверном недоумении.— Он не прошел бы мимо меня, не пожав мне руки, не сказав приветливого слова. Да и может ли привидение являться посреди дня в толпе людей? Духи любят мрак и уединение... Но ведь он жилец света; чего же ему страшиться людей, своих бывших собратий?»

Мои расспросы о незнакомце были на этот раз напрасны: никто из присутствовавших не знал даже его имени и никогда не видал его в сем месте. Любопытство мое возрастало; но я должен был отложить свои розыскания до другого времени.

II

Спустя несколько дней после этой встречи с чудным незнакомцем сижу я в театре. Подле меня одно кресло оставалось долго не занятым. Я положил на него шляпу и равнодушно смотрел на симметрические группы балетчиков и несносно правильные их телодвижения. Вдруг, как бы на крыльях ветра, вылетели на средину сцены Гюллен и Ришард, и громкие рукоплескания встретили сих двух любимцев московской публики. Я загляделся на них и не чувствовал, что порожнее кресло было уже занято и шляпа моя сложена на пол. Вольность соседа мне не понравилась; я взглянул на него: то был человек лет тридцати, в очках фиолетового цвета, который, по-видимому, был занят одною сценой и не обращал внимания на окружающих. С досадою

поднял я свою шляпу и, отрясая с нее пыль, нарочно задел ею соседа, чтоб за его невежливость отплатить тем же. Но он того и не приметил.

— Как хороша! — воскликнул он наконец довольно громко.

— Кто? — спросил я, следуя за его очками, обратившимися тогда на соседний бенуар, где сидели знакомые мне дамы.

— Эта декорация,— отвечал он хладнокровно.

Последние слова были произнесены им совершенно другим голосом, чем первые. Звуки оного поразили меня: то был голос покойного друга! Но я не верил слуху и старался разогнать мысль о сходстве, как обманчивую мечту. Однако взоры мои невольно обратились к ложе с знакомыми дамами. Между ними была девушка лет осьмнадцати, бледная и задумчивая; казалось, она лишь из приличия смотрела на балет и не разделяла общего удовольствия. Читатели поймут ее равнодушие, когда узнают, что последние слова покойного друга к ней относились; что последний вздох его был посвящен отсутствующей подруге. Мне поручил он передать ей этот вздох, эти слова; и я стал поверенным ее сердечных тайн. Она любила юношу со всею искренностию первой девственной любви и при его жизни не смела в том ему сознаться. Но горесть исторгла из ее груди тяжкое признание, которое, как увядший цвет, назначено было украсить лишь могилу ее возлюбленного.

Я взглянул на девушку; взоры наши сошлись, и легкий румянец покрыл ее бледные щеки. Не желая продлить ее замешательства, я обратился к соседу.

— Как находите вы балет? — спросил я у него.

— По слухам, я ожидал лучшего,— отвечал он пленительным своим голосом,— впрочем, он обставлен порядочно. А как зовут танцовщика?

— Ришард; разве вы видите его в первый раз?

— Я приехал сюда недавно, после тридцатилетнего отсутствия.

— И потому вы должны худо помнить Москву, оставив ее в детстве?

— Извините,— отвечал незнакомец с важностью,— я уже долго живу на свете.

— Вам угодно смеяться надо мной,— сказал я с некоторой досадой,— судя по лицу, я не дал бы вам и тридцати лет.

— Право? а слыхали ль вы о графе Сен-Жермен?

— Что хотите вы сказать?

— Горацио! много тайного на земле и на небе, чего философия ваша и не подозревает.

— Вижу,— отвечал я с возрастающим неудовольствием,— что вам знаком Шекспир; но далее ничего не вижу.

Вместо ответа сосед мой снял свои фиолетовые очки и пристально посмотрел на меня. Я вздрогнул... Лицо его будто изменилось и помолодело; я узнал в нем юношу, столь разительно сходного с моим покойным другом.

— Бога ради, скажите мне...— воскликнул я вне себя от удивления.

Незнакомец прервал меня: «Молодой человек,— сказал он вполголоса,— здесь не место говорить об этом».

И, надев свои фиолетовые очки, он стал снова смотреть на сцену.

Балет кончился. Я вошел в бенуар, где сидела упомянутая мною девушка. С нею была ее мать, пожилая дама, которая, несмотря на лета, старалась идти наравне с веком. Строгая поклонница всего модного и нового, немного болтливая, она была, впрочем, добрая и радушная женщина, чадолюбивая мать и одна из тех рассудительных жен, которые, управляя втайне мужьями своими, позволяют им в публике говорить *я* и пользоваться призраком власти. Она встретила меня кучей вопросов: «Ну, что же наш домашний театр? Вы верно будете на первой репетиции? Не правда ли, что мой Петр Андреич счастливо выбрал «Горе от ума»? Все говорят об этой комедии, и между тем она так мало известна. Не правда ли, что довольно оригинально выставлять перед нашей публикой ее же предрассудки? Ах, кстати, будете ли вы завтра утром на аукционе? Мы туда собираемся; моей Глафире страх хочется видеть дом и вещи покойного графа».

Я спешил прервать ее; однако не знал, на который из вопросов отвечать прежде.

— Покупать на аукционе я ничего не намерен,— сказал я наконец,— но если вы там будете...

— По крайней мере для нас приезжайте туда,— прибавила Глафира тихим голосом.

— Ну, а роль *Чацкого,* comment va-t-il? [1] — спросила у меня Линдина.

---

[1] как с ней дела? *(фр.)*

— Она, право, выше сил моих,— отвечал я.

— Не слушаю вашей отговорки,— возразила Марья Васильевна,— завтра вечером репетиция — и вы наши. Мой Петр Андреич играет *Фамусова*, а Глафира — *Софью*: это решено. Кстати, что твои глаза? — прибавила она, обратясь к дочери.— Что, все еще красны? Вообразите, простудила глаза и не бережется. Смотри, не три же их.

Я знал, отчего красны глаза ее и что это вовсе не от простуды. Желая прекратить сей разговор, я обратился было опять к роли Чацкого, как вошел в ложу Петр Андреич с веселым, лучезарным лицом.

— Сейчас в коридоре я встретил,— сказал он,— одного старого знакомого и сделал важное приобретение.

— Что такое? Уж не купил ли Подмосковной, которую ты для меня торгуешь? — весело спросила Линдина.

— Нет, душенька, не то; я отыскал отличного *Чацкого,* и если только позволите...

Последние слова относились ко мне; и я с радостию готов был уступить роль свою; но Марья Васильевна не дала мне отвечать.

— Какого Чацкого? — вскричала она.— Разве есть на свете Чацкие?

— Не то, душа моя, ты меня не понимаешь. Вот в чем дело: когда я служил в Петербурге, тому назад лет тридцать, то был знаком по обществу с одним премилым человеком, не помню его фамилии; и как бы ты думала? Представь: сейчас встречаю его, ест мороженое...

— Так что же?

— Как что? Узнаю его с первого взгляда; чудак нисколько не переменился, между тем как я успел уже состариться.

— Да ты, друг мой, не бережешь себя,— возразила жена с нежным упреком.— Возможно ли? Ездишь каждый день в клуб, какова бы ни была погода, и просиживаешь там до часу, до двух ночи!

— Полно, полно, mon amour[1],— отвечал муж,— вспомни, что когда бы я не был стариком, то не играл бы *Фамусова*. Ха, ха, ха, нашелся! не правда ли?

— Конечно,— сказал я, улыбаясь,— мы были бы лишены удовольствия видеть вас в этой роли; но...

---

[1] любовь моя *(фр.)*.

— Комплимент, еще не заслуженный,— отвечал довольный Линдин,— и в отмщение я лишаю вас роли *Чацкого.* Но,— прибавил он,— пожав мне руку,— мы с вами без церемонии, и вы будете играть *Молчалина.* Согласны ли?

Я согласился, и Петр Андреич продолжал:

— Завтра я познакомлю вас с моим старым приятелем. Прелюбезный человек! Несмотря на свой шестой десяток, он свеж, как не знаю кто, и охотно берет на себя Чацкого. Говорит, что уже несколько раз играл его.

— Ты, стало быть, все рассказал ему? — спросила жена.— Но как же зовут твоего приятеля?

— Он мне называл себя, да право не помню; что-то вроде Вышиян, знаю, что на *ян.* Но вот он, в третьем ряду кресел. Чудак! не смотрит.

— Не в фиолетовых ли очках? — спросил я.

— Ну, да; а разве вы его знаете?

— Нет; но он мой сосед по креслам,— отвечал я в замешательстве.

Линдин того не приметил и собирался ехать в клуб.

— Сей же час зову к себе весь город на представление,— говорил он,— я введу его в лучшее общество, познакомлю с нашей публикой... Пусть все толкуют о *Чацком* Линдина и спрашивают наперерыв: кто такой, кто такой?

— Но сначала, mon ami[1], узнай, как его зовут,— заметила Марья Васильевна.— Да, кстати, смотри, не засиживайся в клубе. Ах, постой, постой: что это у тебя на платье? — Соринка. Ну, теперь ступай с богом.

Мы простились до завтра, и я, вместе с Линдиным, оставил театр.

III

Утро на аукционе, вечер на репетиции: день, потерянный для самого себя; но сколько таких дней в жизни!

Дав слово Линдиным занять для них места, я отправился заранее в дом покойного графа, где назначен был аукцион. Давно ли в стенах его раздавались клики веселия? А теперь слышен лишь стук молотка да прерывистый голос аукционера.

---

[1] друг мой *(фр.).*

Граф, коему принадлежали дом и вещи, назначенные теперь к продаже в уплату многочисленным кредиторам, был не последнею странностию прошедшего века. Богатый, знатного рода, он воспитывался и провел свою молодость в чужих краях. Душою принадлежал он Италии и Франции; к отечеству же своему был привязан только длинной родословною нитью, на нем же порвавшеюся, да десятком тысяч душ, кои успел прожить — или правильнее — променять на несколько бездушных статуй. Он принадлежал к числу тех любителей и знатоков искусства, которые, проведя полвека в Италии, вывозят оттуда несколько поддельных оригиналов и антиков, оставляют там половину имения и возвращаются в отечество с тем, чтобы остальную половину пропустить сквозь руки менял, скульпторов Кузнецкого моста и рыцарей промышленности всякого рода. К чести нашего века, эти вельможные знатоки образовательных искусств начинают теперь переводиться; может быть, и не успехи истинного просвещения тому главною причиной: но почему не утешать себя приятной мечтою, что экономическим духом нынешних бар мы обязаны не одной расточительности их отцов, но и благотворному влиянию наук и мнения...

Как бы ни было, в наше время свекловица, откупа, многопольная система и пр. заступили место картин, статуй и антиков. Мне скажут: не так ли мы разоряемся на экономии, как наши деды разорялись на искусствах? Нет, господа! В неудачных попытках свекловичного фабриканта я вижу залог будущих успехов; капиталы, обращенные в humus[1] новомодным хлебопашцем, еще не совсем потеряны для детей его. Опытность покупается дорого, весьма дорого; однако цена, какою она нам достается, никогда не превышает благодеяний, получаемых от нее самым отдаленным потомством. Но прошу сказать мне в свою очередь: какую пользу принесли те, кои расточили богатые свои отчины на картинные галереи, на библиотечные редкости, на музеи, единственно для того, чтобы по их смерти, а иногда и при жизни удары аукционного молота раздробили на мелкие части их огромное, но суетное стяжание? Пробудили ль они вкус к изящным искусствам? Образовали ль они художников? Доставили ль пособия ученым? Или, по крайней мере, завещали ль они своим согражданам

---

[1] земля *(лат.)*.

эти памятники тщеславия и, вместо того чтоб оставлять их жадным и глупым своим наследникам, посвятили ль хотя что-нибудь на общественное употребление? Нет, они не думали об этом; они не разочли, как дешево могли бы купить благодарность потомства, которое забыло бы их блудную расточительность и сохранило бы в незлобной памяти одно благое, одно изящное их поступка.

Покойный граф, подобно многим другим, не рассудил за нужное передать потомству имя свое наряду с именем Демидова; и его

Амуры и Зефиры все
Распроданы поодиночке.

Двор великолепного его дома был весь покрыт экипажами. Многочисленная публика толпилась у входа, на лестнице; в зале, посреди коей был устроен обширный амфитеатр, зрители и покупщики теснились живописными группами вокруг арены, в коей, вместо рыцарей и герольдов, восседал начальник аукциона. Перед ним, на длинном и широком столе, возвышались драгоценные вазы, канделябры, часы, небольшие статуи; по стенам залы висели картины; огромные фолианты лежали грудами на полу; впереди же аукционера, у большого венецианского окна стояли два колоссальных порфирных сфинкса, безмолвные, но грозные свидетели зрелища, которое столь разительно представляло и блеск и суету мира.

Я не застал уже начала: многие вещи были раскуплены. Несмотря на многолюдство, мне удалось найти места на амфитеатре.

Вскоре после меня приехали и Линдины. В это время аукционер возвестил громким голосом о перстне с геммою отличной работы. Глафира просила меня поднести к ней перстень. Голова юноши, вероятно Алкивиада, выдавалась рельефом на белом халцедоне. Бедная девушка нашла в этом изображении большое сходство с милым ее другом.

— Чего бы ни стоило, а этот перстень должен принадлежать мне,— сказала она едва внятным голосом, наклонив ко мне голову.— Уговорите батюшку купить его для меня.

Петр Андреич, по любви родительской, скоро на то согласился. Начался торг. Как нарочно, на перстень нашлось множество охотников; но они надбавляли по без-

делице, и Петр Андреич стоял твердо в своем намерении. Наконец совместники его замолкли. Молот ударил уже в другой раз: Линдин торжествует, Глафира вне себя от радости. Простосердечная девушка заранее восхищалась своей будущей покупкой, как бог знает каким счастием. Воображение женщины, окрыленное любовию, игриво и своенравно: упадет ли роса на древесный листок и проведет по нем несколько желтых полосок — ей мнится, что само небо начертало нерукотворенный образ ее возлюбленного; нарисует ли облако беглый прозрачный силуэт его, она не сводит глаз с облака; найдет ли она то же сходство в мелькнувшем лице, на картине, на камне — мечтам ее конца нет; она наслаждается обманом, она ловит призрак, как будто существенность.

Линдин вынул уже бумажник и хотел отсчитать деньги, как чей-то голос, будто мне знакомый, выходивший из толпы посетителей, разом надбавил несколько сот рублей...

Зрители онемели от удивления; глубокое, продолжительное молчание последовало за страшным вызовом к аукционному бою. О Глафире и говорить нечего: внезапный страх овладел ею; бледная и безмолвная, она устремила на отца глаза свои, коими умоляла его не уступать противнику драгоценного ей перстня; но Линдин отказался надбавлять цену, и без того уже высокую. Я решился было войти с дерзким невидимкою в торговое состязание и заставить его отказаться от добычи; но кончено: роковой молот ударил в третий раз...

Вдруг Глафира помертвела и тихо опустилась мне на руки... Этот удар, казалось, решил судьбу ее жизни.

Между тем, как мы суетились около нее, незнакомый покупщик расплатился, взял перстень и исчез.

Глафира опомнилась и я, посадив ее в карету, возвратился домой с досадой, с грустию в сердце. Оно было полно темного, зловещего предчувствия.

IV

Вечером, приехав к Линдиным, я был поражен болезненным видом Глафиры и необыкновенною веселостию Петра Андреича. Он не замечал, по-видимому, ни страданий дочери, ни скуки гостей и был занят одним Вашиаданом (Петр Андреич вспомнил наконец имя

своего старого приятеля), который приехал прежде меня и успел уже со всеми познакомиться. Если бы не голос его да фиолетовые очки, я не узнал бы в нем важного, таинственного соседа моего по театру: он был говорлив, весел, развязан и нисколько не казался стариком в шестьдесят лет.

Это новое приобретение, как выражался Линдин, утешало его до крайности; он восхищался заранее *своим* Чацким. Причина его восторга была понятна; но что произвело такое сильное потрясение в Глафире? Уже ли одна неудача в покупке перстня? Она не была так малодушна. Или голос Вашиадана пробудил в ней воспоминание о потерянном друге? Ясно было лишь то, что она скрывала в груди своей какую-то новую и страшную тайну; но изведать оную не позволяли ни время, ни благоразумие. Однако я решился спросить ее, в состоянии ли она играть сегодня. Этот вопрос вывел ее из задумчивости.

— Разве вы почитаете меня больною? — спросила она в свою очередь.

— Не больною, но расстроенною от давешнего...

Она прервала меня с живостию: «Не договаривайте; в самом деле, я не знаю, буду ли в силах играть теперь; но, чтоб не огорчить батюшку, постараюсь преодолеть свою робость».

— И будто одну робость? — спросил я испытующим голосом.

— Господа, господа,— провозгласил Петр Андреич, хлопая в ладоши; — что же наша репетиция? Все актеры налицо — начнемте.

Глафира поспешно удалилась, под предлогом приготовления к репетиции. Дамы и кавалеры, участвовавшие в комедии, последовали за нею в залу, где на скорую руку была устроена сцена из досок и размалеванной холстины.

Наконец, посреди жарких споров и совещаний, в коих громогласное *я* Петра Андреича раздавалось, словно пушечный выстрел во время мелкой ружейной перестрелки, началась репетиция. Уже умолкли звуки моей флейты (читатели припомнят, что я играл *Молчалина*) — Софья окончила уже свою nocturne[1], и резвая служанка, в предостережение барышни, давно завела куранты, а *Фамусов* еще не являлся.

[1] ноктюрн *(фр.)*.

— Что же, батюшка? — спросила Глафира у отца своего.

Но батюшка заговорился и позабыл о роли. Однако он скоро опомнился и, понюхав табаку, побежал за кулисы. Смело взошел Петр Андреич на сцену, с удивительным присутствием духа открыл рот и — остановился. Напрасно суфлер шептал ему реплику: Петр Андреич стоял неподвижно. Наконец, вероятно для большего эффекта, он ударил себя по лбу ладонью и поспешно сошел в залу.

— Что с тобою, душа моя! — спросила заботливо Марья Васильевна.

— Вообразите,— отвечал он,— я и позабыл, что в хлопотах и приготовлениях не успел вытвердить роли.

— Прочитайте ее по тетради,— сказал, смеясь, Вашиадан,— а впредь будьте исправнее.

— Не могу, почтенный друг; теперь я не найдусь, смешан.

— Но кто же сегодня заменит вас? — спросили разом и *Скалозуб,* и *Загорецкий,* и *Репетилов,* и прочие актеры.— Стало быть, мы собрались понапрасну?

— Если вам угодно, господа,— сказал Вашиадан,— то, чтоб не расстроить репетиции, я беру сегодня на себя и роль Чацкого, и роль Фамусова: они обе мне знакомы.

— Ах, благодетель мой! — воскликнул Петр Андреич и чуть не задушил в своих объятиях услужливого приятеля.

Многие смеялись над хвастливостию Вашиадана и не верили тому, чтобы можно было сыграть вместе столь противоположные роли; но и репетиция разрешила недоумения: игра его превзошла самые взыскательные требования. Вашиадан обладал в высочайшей степени искусством изменять по воле голос, физиономию, приемы: его искусство становилось еще ощутительнее в тех сценах, где *Фамусов* и *Чацкий* являются вместе. Зрители забывались и думали, что в самом деле видят два разных лица. В явлении второго действия, когда слуга докладывает о приезде *Скалозуба*, сосредоточенная язвительность и хладнокровие *Чацкого* и между тем постепенно возрастающие жар и гнев *Фамусова*, который, заткнув уши, не хочет и слышать молодого вольнодумца, произвели такое действие на восхищенного Петра Андреича, что он, забывшись, начал махать платком и

закричал *Фамусову*: «Да обернитесь — что за бестолковой!»

Эти слова произвели общий смех и на время отвлекли зрителей от чудного актера. Однако в следующих сценах он умел снова обратить на себя одного их внимание. Громкие, непритворные рукоплескания последовали за Протеем, когда в конце комедии с криком: «Карету мне, карету!» — он выбежал в середние двери и, пройдя в одно мгновение чрез кулису, очутился на месте Фамусова перед Софьей, вдруг изменил лицо, приемы и голосом упрека, недоумения и почти сквозь слезы произнес последние стихи, столь комически довершающие сие оригинальное произведение.

Во весь вечер чудный гость Линдина был в полной мере героем и душою общества. Нельзя было надивиться той свободе, с какою он, как бы сам того не примечая, переменял обхождение, разговор с каждым из собеседников, умел применяться к образу мыслей, к привычкам, к образованности каждого, умел казаться веселым и любезным с девушками, важным и рассудительным с стариками, ветреным с молодежью, услужливым и внимательным к пожилым дамам. К концу вечера он получил двадцать одно приглашение; однако, по-видимому, не желал умножать знакомств и уклонялся от зовов, говоря, что едет из Москвы немедленно после представления, в коем участвует лишь из дружбы к Петру Андреичу, старому своему приятелю.

V

За исключением роли *Фамусова,* наша комедия шла так хорошо, что не для чего было откладывать представление. Из множества званых Петром Андреичем на сие последнее, малое число избранных удостоилось чести быть приглашенным на главную репетицию, назначенную накануне. Петр Андреич суетился за всех и как хозяин, и как актер. То расставлял он кресла, стулья, по чинам будущих гостей, и, ходя, твердил роль свою; то приказывал слугам, где вешать лампы, и учил их передвигать декорации, поднимать и опускать занавес; то вдруг, остановясь посреди комнаты, снова, в сотый раз, повторял известный монолог Фамусова:

Петрушка, вечно ты с обновкой,
С разодранным локтем...

— Ах, кстати,— продолжал он, обращаясь к лакеям,— чтоб завтра на вас были новые ливреи с гербовыми воротниками.— О, если бы мне удалось сыграть роль свою с толком, с чувством, с расстановкой! Но нет: не держится в памяти:

Ох, род людской! Пришло в забвенье!

И подлинно, сколько ни учу, ничего не вытвержу. Черт возьми Фамусова, а вместе охоту, на старости лет, тешить собою публику!

Тут с досады бросал он тетрадь свою об пол, мерил шагами залу и с шумом гонял от себя всех, кто ни попадался ему на глаза.

В таких-то упражнениях Петр Андреич провел утро перед главной репетицией.

Посмотрим, чем занималась между тем Глафира в своей комнате. Роль свою она знала твердо; но тем не менее, выходя в первый раз перед многочисленной публикой, она робела при одной мысли, что оробеет. Напрасно уверяла себя, что снисходительные зрители постараются не заметить ее ошибок и самые недостатки будут превозносить с похвалою. Но эта притворная снисходительность, эти даровые рукоплескания, плата за угощение еще более смутят ее: так она думала. Иной, под личиной снисходительности и даже, если хотите, энтузиазма, скрывает в таких случаях едкую насмешку, и тогда, как губы его произносят лесть, на уме шевелится эпиграмма. Кому случалось быть в положении Глафиры, тот помнит, что самоучке актеру самая похвала может казаться обидою.

И добро бы Глафира вступала на сие новое поприще по собственному желанию. Что же, если она это делала лишь в угодность отцу, из послушания; если, в то время как должна была казаться веселою или по крайней мере равнодушною, червь горести точил грудь ее? А притворство было неизвестным для нее искусством. Как дорого заплатила бы она, чтобы, вместо безжизненной московской девушки, какова Софья, представлять на этот раз Офелию! Тогда бы она умела придать силу и истину каждому слову, каждому звуку, выходящему из уст ее; тогда бы на просторе разыгралось ее бедное сердце; она дала бы волю своему угнетенному чувству! А теперь, кто разделит с нею это чувство, кто поймет ее?

Долго предавалась Глафира сим мыслям. Вдруг страшное воспоминание мелькнуло в ее памяти. Между тем как она готовится на праздник, на веселье, милый друг ее, тому ровно год, испускал дух, помышляя о ней! Так, ровно год как он умер, и с ним умерли все ее надежды.

— Прочь,— воскликнула она с воплем отчаяния,— прочь это белое платье, эти розы, эти бриллианты: не хочу я их. Ох, я бедная!

При сих словах она бросилась на постель, закрыла лицо руками и горько, горько заплакала. К ее счастию, никого не было в комнате, и она могла дать волю слезам своим. Нарыдавшись вдоволь, она встала, утерла платком глаза и подошла к туалету. В потаенном ящике скрыт был портрет ее возлюбленного, снятый с него перед кончиной. Оглядываясь, вынула она из ящичка сие драгоценное изображение, с благоговением приложилась к нему устами и долго не могла оторвать их от оного; потом посмотрела с умилением на незабвенного, еще раз поцеловала его, и ее рука, казалось, не хотела разлучиться с священным для нее предметом. Наконец, во внутреннем борении, она тихо опустила портрет в верный ящик, промолвив трепещущим голосом:

«Теперь я спокойна. О, бедный друг мой! ты лишь *там* узнал, как горячо люблю тебя... Но нет нужды: клянусь быть твоею и на земле и в небе, твоею навеки».

Тут она взяла черную ленту, лежавшую на ее туалете, и вплела ее в свою косу. «Пусть эта лента,— сказала она,— будет свидетелем моей горести; я оденусь просто; так и быть, надену белое платье: горесть в сердце; да и прилично ли ее обнаруживать? однако к головному убору не мешает и отделку того же цвета. Фи, черное! вся в черном! — скажут наши. Но чем же другим почту я память супруга?»

Произнеся это слово, Глафира затрепетала. «Супруга? — повторила она,— и так вся жизнь моя осуждена на одиночество? *Там* соединишься с ним, говорит мне сердце; но *когда?* — Что если я проживу долее бабушки?»

При этой мысли невольная улыбка появилась на устах прелестной девушки; и сие сочетание глубокой грусти с мимолетной веселостью придало лицу ее еще более прелести.

— Что поминаешь ты свою бабушку? — спросила у Глафиры ее мать, вошедшая тихо в комнату.

Та вздрогнула. Она сидела в то время пред туалетом, и голова ее матери мелькнула в зеркале. Ей мнилось, что это тень ее прародительницы. Однако она скоро опомнилась и отвечала:

— Ничего, маминька; я говорила теперь: что, если проживу так долго, как бабушка? Я не желала бы этого.

— Бог с тобой! отчего так?

— Что за удовольствие быть и себе и другим в тягость?

— Кто же тебе сказал это, душа моя? Есть ли что почтеннее преклонного человека и приятнее той минуты, когда бываешь окружен детьми и внучатами, в которых видишь свою надежду и которые напоминают тебе о собственной твоей молодости?

— Но для этого надо иметь детей и внучат,— сказала простодушно Глафира.

— Разумеется: человек создан богом, чтоб иметь их.

Глафира потупила глаза и не отвечала. Простые слова матери уязвили ее в самое сердце.

«Я поклялась принадлежать *ему* одному и в здешней жизни, и в будущей,— подумала она,— мне не иметь ни детей, ни внучат! — Тут она глубоко вздохнула».

— Что с тобою, сердечный мой друг? — спросила Линдина нежным голосом матери.— Бог послал мне добрую дочь; не думаешь ли, что пора бы иметь мне и добрых внучат?

— Нет, маменька.

— Полно скрывать, плутовочка; неужели я не приобрела еще твоей доверенности? Открой мне душу, назови мне своего любезного.

Вместо ответа дочь упала в объятия матери.

— Ты плачешь, душа моя? перестань, ты смочила мне всю косынку. Но что это? — вскрикнула она,— к чему на тебе черные ленты? Ты огорчишь этим отца; разве не знаешь, как часто он придирается к мелочам? Нет, сними, сними.

— Не могу, милая маминька,— отвечала глухим голосом Глафира, удушаемая рыданиями.

— Как не можешь? что это значит? — спросила с сердцем Марья Васильевна.

— Маминька! — Тут Глафира прижалась к груди матери сильнее прежнего, и слова замерли на устах ее.

— Вижу, это причуда и истерика. Выпей воды, и чтобы о лентах не было помину!

Глафира повиновалась, выпила воды: ее рыдания уменьшились, и наконец она сказала с твердостию:

— Маминька, милая маминька! теперь не время обнаружить вам мою тайну; но клянусь, вы все узнаете. Только, бога ради, ни слова батюшке!

В эту минуту вошел лакей с докладом, что гости приехали к обеду; Линдина поспешила к ним; спустя несколько времени пришла и Глафира.

VI

На ее лице оставались еще признаки недавнего волнения. Но я один мог разгадать причину оного. Проходя мимо меня, она сказала тихо: «Ныне день скорби для нас обоих».

Впрочем, она скрыла свою грусть как могла от глаз недальновидных тетушек и дядюшек, которые были заняты вчерашними новостями и сегодняшнею репетицией.

— Что тебе за охота, Петр Андреич,— сказал один пожилой родственник,— выбрать такую вольнодумную пиесу для своего представления?

— А почему же не так? — спросил озадаченный Линдин.

— И это ты у меня спрашиваешь? Прошу покорно! уже и ты заражен просвещением!

— Что мне до вашего просвещения,— прибавила старая тетушка,— не в том сила: в этой комедии, прости господи, нет ни христианских нравов, ни приличия!

— А только злая сатира на Москву,— подхватила другая дама, помоложе.— Пусть представляет ее в Петербурге — согласна; но не здесь, где всякой может узнать себя.

— Tant pis pour celui qui s'y reconnait,— сказал какой-то русский литератор в очках.— Да это бы куда ни шло, ca serait même assez piquant [1]; но какое оскорбление вкуса! Вопреки всем правилам комедия в четырех действиях! Не говорю уже о том, что она писана вольными стихами; сам Мольер...

— Вольные б стихи ничего,— возразил первый мужчина,— только бы в ней не было вольных мыслей!

---

[1] Тем хуже для того, кто себя узнает... это было бы даже весьма пикантно *(фр.)*.

— Но почему ж им и не быть? — спросил один молодчик, племянник Линдина.

Почтенный враг вольных мыслей вымерил глазами дерзкого юношу.

— А позвольте спросить, господин умник,— сказал он,— что разумеете вы под этими словами?

— Я разумею,— отвечал, покраснев и заикаясь, наш юный оратор,— я разумею, что вольные мысли позволительны и что без этой свободы говорить, что думаешь...

— Мы избавились бы от многих глупостей? Не то ли хотели вы сказать?

Сии слова были произнесены нараспев и таким голосом, который обнаруживал сосредоточенную запальчивость и при первом противоречии готов был разразиться громом и молнией.

Линдин спешил отвратить грозу при самом ее начале. Он стал уговаривать старого родственника, чтоб он не горячился и тем не расстраивал своего драгоценного здоровья.

— Слушай, Петр Андреич,— отвечал тот после грозного молчания,— если завтра ты повторишь свое безумство и сыграешь перед публикой эту комедию, то я не я... увидишь!

Тут он сжал зубы, схватил шляпу и вышел поспешно из комнаты.

— Желаю знать, чем кончится эта тревога; но я... я... о! я поставлю на своем,— сказал Линдин в великодушном порыве сердца.— Хотя бы тысяча родственников, а «Горе от ума» будет сыграно.

— Однако...— заметила жена.

— Не слушаю,— отвечал муж.

— Но если в самом деле эта пиеса заключает в себе вольные мысли?

— Ну, сократим ее.

— Она сокращена и без нас.

— Ну, в таком случае мы... этак я и не найдусь.

— Всего лучше сократить ее вовсе,— прибавил литератор с улыбкой самодовольствия.

— Bien dit [1],— отвечала дама помоложе.

— Давно бы так,— воскликнуло несколько старушек.

Линдин был как на иголках. Гордость и неуступчивость боролись в нем со страхом.

---

[1] Хорошо сказано *(фр.)*.

— По крайней мере, дайте сыграть ее сегодня, в семье,— сказал он, смягчив голос,— а там... увидим.

Строгие тетушки согласились на капитуляцию, и Линдин оправился от недавнего поражения. В эту минуту Вашиадан вошел в гостиную.

— Непредвиденные обстоятельства,— сказал он после первых приветствий,— заставляют меня оставить Москву ранее предположенного мною срока. Я еду сегодня в ночь; однако, желая по возможности облегчить вину свою перед вами и хотя вполовину исполнить обещанное, я оставил все свои дела и последний вечер посвящаю вам: располагайте мною.

Линдин был вне себя от его любезности, а еще более от того, что в отъезде своего приятеля находил благовидный предлог к отмене представления, которого теперь столько же страшился, сколько прежде желал из тщеславия. Правда, тяжело ему было отказаться от своего любимого намерения: блеснуть пышностию, вкусом и даже — если не ошибаюсь — своей дочерью; но еще тяжеле идти против общего мнения. Так думал Петр Андреич.

Позвали к обеду. Все пошли попарно и молча. Беседа не была, как прежде, приправлена шутками и остроумием Вашиадана. Сей чудный гость, неизвестно почему, разделял с прочими то дурное расположение духа, которое, как язва, переходит от одного ко всем и простирает на самых веселых свое губительное влияние.

Вскоре после стола начались приготовления. Линдин продолжал твердить роль; но чем более старался, тем менее успевал. Наконец он кинул с досады тетрадь, и хорошо сделал. В день представления отнюдь не должно перечитывать роли, как бы дурно вы ни знали ее: это совет одного опытного актера.

Итак, Линдин, перекрестясь, положился во всем на крепкую грудь суфлера. Домашний оркестр, составленный из двух скрипок и фагота (второпях не успели послать за другими инструментами), заиграл увертюру, и все зрители чинно уселись по местам. С последним ударом смычка поднялся занавес, и комедия пошла своим чередом — разумеется, за исключением Фамусова, который врал без пощады и останавливался на каждом слове, вслушиваясь в подсказы суфлера.

Однако первое действие кончилось довольно удачно при общих рукоплесканиях доброхотных зрителей. Линдин сказал препорядочно свои два стиха:

Что за комиссия, создатель,
Быть взрослой дочери отцом! —

и Марья Васильевна, остававшаяся в партере с гостями, значительно улыбнулась своему мужу.

Началось и второе действие. *Фамусов*, или правильнее Линдин, довольно твердо выдержал огненные сарказмы *Чацкого*; *Скалозуб* проговорил басом, и *Софья* вышла на сцену, дабы упасть в обморок. Она произносила уже стих:

Ах, Боже мой! упал, убился! —

как вдруг Вашиадан с словами:

Кто, кто это? —

снял фиолетовые свои очки и устремил глаза на обернувшуюся к нему девушку. Я слышал крик и шум от падения на пол...

Громкие и продолжительные рукоплескания последовали за ее мастерским обмороком; некоторые кричали даже: форо! но я был за кулисами и видел причину ее беспамятства. Забыв все, выбегаю на сцену и прошу о помощи.

Легко себе представить, какая суматоха поднялась в зале, когда узнали, что обморок Глафиры был вовсе не искусственный. Мать бегала в испуге из комнаты в комнату, спрашивая спиртов, соли; отец не мог опомниться и все еще приписывал этот обморок чрезвычайному искусству дочери; из зрителей иные суетились вместе с Линдиной и еще более ей мешали, а большая часть разъехалась.

Невольно обратил я глаза на стенные часы, висевшие в зале. Протяжно пробило на них десять.

— Об эту пору, в исходе десятого, скончался возлюбленный Глафиры,— подумал я и стал искать взорами Вашиадана. Но он исчез, и никто не знал, когда и как оставил дом Линдина.

VII

Внезапный отъезд Вашиадана возбудил во мне сильные подозрения. Правда, обморок Глафиры мог произойти от ее болезненного состояния или от той же обманчивой мечты, которая заставляла и меня несколько раз находить в подвижной физиономии и в голосе сего странного человека сходство с чертами и с голосом по-

койного друга. Но, с другой стороны, не мог ли поступок его быть следствием какого-нибудь обдуманного, злоумышленного плана? И нет ли в его власти скрытных, таинственных средств, с помощью коих он приводит этот план в исполнение? Поведение, характер, таланты Вашиадана были столь загадочны, что из них можно было выводить какие угодно заключения. Он сам не говорил о себе ни слова и старался отклонять нескромные вопросы любопытных. Судя же по рассказам Линдина, и в особенности чиновников банка, где он заложил множество бриллиантов и других драгоценных вещей на огромную сумму, то был грек, ремеслом ювелир или — как иные уверяли — еврей, алхимик, духовидец и чуть-чуть не Вечный жид. Но сия самая неизвестность о его происхождении и занятиях наводила на него еще сильнейшие подозрения. Мне казалось более чем вероятным, что он наглый и хитрый обманщик, у которого на уме что-то недоброе, хотя и трудно проникнуть в его цели.

В этой уверенности я отправился на следующее утро к Линдиным осведомиться о здоровье Глафиры.

Меня встретила мать. Я спросил ее о дочери: по словам ее, она провела ночь покойно и еще не просыпалась.

— Знаете ли,— промолвила таинственно Марья Васильевна,— знаете ли, отчего, я думаю, больна моя Глафира?

— Отчего?

— Ее сглазили!

Я не мог не улыбнуться при таком объяснении ее болезни.

— Вы смеетесь? — продолжала Линдина с укоризной,— но я совершенно тому верю.

— И я не вовсе отвергаю возможности магнетического действия глаз на людей и животных,— отвечал я.— Между прочим, мне сказывали об одном человеке простого звания, который носил зонтик на глазах единственно из боязни причинить вред своим взором. Но его опасения могли быть ложны; что же касается до Глафиры...

— Ваш пример еще более подтверждает мою догадку. Мне кажется, что Вашиадан носит фиолетовые очки из той же предосторожности. Когда он снял их, Глафира тотчас упала в обморок. Но я умыла ее святой водой и надеюсь, что болезнь пройдет скоро.

Некстати было сообщать ей теперь мои подозрения насчет Вашиадана. Время, полагал я, объяснит загадку;

хотя во всяком случае благоразумие требовало бы обходиться осторожнее с двусмысленным приятелем Петра Андреича. Но это его дело, а не мое.

При сем раздумье, нас позвали к Глафире. Узнав о моем приезде, она желала меня видеть.

Больная сидела на постели, склоня голову к подушкам. Положение ее руки на лбу показывало, что она старается принесть себе на память случившееся вчера с нею.

Рассказ матери подтвердил ей темное воспоминание.

— Да,— сказала она наконец слабым голосом,— почти так. О, как это было страшно. Но где батюшка?

— Он поехал в клуб, душа моя,— ответила мать,— и скоро воротится.

— Скоро? дай-то бог! Пора, давно пора открыть вам тайну этого бедного сердца. Вчерашний случай заставляет меня поспешить моим признанием. Не уходите,— прибавила она, обратясь ко мне,— вы будете моим земным свидетелем.

Глафира находилась в напряженном состоянии духа. Жар ее увеличивался, щеки и глаза пылали. Она продолжала с какою-то невыразимой торжественностью:

— Быть может, признание мое поздно; но, по крайней мере, вы поймете дочь свою; и если суждено ей скоро умереть, то она не понесет во гроб тайны, скрытой от родителей. Тогда молитесь за меня и просите бога, чтобы он не лишил вашу дочь той отрады в будущей жизни, которую она напрасно искала в здешней.

Эти слова произвели необычайное действие на Линдину. Для ней все было неожиданно, непонятно. Она хотела говорить и вдруг судорожно схватила руку дочери.

В эту минуту вошел Петр Андреич. Едва обратил он внимание на больную и, поцеловав ее в лоб, начал:

— Ну, что, прошло? Я знал, что пройдет. Представь, Marie,— продолжал он гневно,— проказник-то, наш роденька, мало того, что вчера на меня прогневался; нет, изволь отправиться в клуб да составь там заговор против моего представления! Хорошо, что болезнь дочери заставила меня отменить его; не то подумали бы, что я струсил. Нет, братцы, не того я десятка! Что затеял, то и выполню, хоть будьте вы семи пядей во лбу. Видишь, удумали сомневаться в моем верноподданстве! Куда подъехали! Сегодня вхожу в газетную: сидит князь Иван, да...

Линдина слушала мужа скрепя сердце; но, не предвидя конца его россказням, прервала их наконец с видом глубокого негодования:

— И тебе не совестно,— сказала она,— заниматься этими вздорами, когда дочь твоя на краю гроба!

Сильный удар долбней не произвел бы на Петра Андреича большего действия, чем эти слова. Он остался в том же положении, в каком был при конце своего рассказа: с раскрытым ртом, с наклоненным туловищем и руками, опершимися дугою на колена. Чувство родительское восторжествовало над мелким самолюбием.

— Как на краю гроба? — возопил он, выйдя из оцепенения.

— Да, и на краю гибели. Слушай признание своей дочери, быть может, преступной дочери!

Глафира величаво поднялась с своей постели.

— Я преступная? — воскликнула она.— Нет, родители! Я чиста, как голубь, непорочна, как агнец. Моя вина лишь в том, что я скрывала от вас свою страсть... Я любила!

— Ты любила! — вскричали отец и мать.

— И потеряла своего возлюбленного,— продолжала Глафира едва внятным голосом.— Вчера ровно год, как он умер.

— А кто тот дерзкий, который осмелился любить тебя без нашего позволения? — спросил сердито отец.

— Не тревожьте его праха,— уныло отвечала дочь.— Вот свидетель, что мой покойный друг до самой своей кончины скрывал от меня любовь свою. Слишком поздно узнала я, какое пламенное чувство он питал ко мне.

— И вы, сударь, знали о том и молчали?

— Он обязал меня клятвою никому не вверять его тайны, кроме вашей дочери. Заветные слова умирающего священны: я исполнил их со всею строгостию долга.

— И ты любила его еще при жизни?

— Да, и еще более люблю его по смерти. Я поклялась — и теперь, пред лицом бога и перед вами, повторяю мою клятву — я поклялась не принадлежать никому в здешнем мире.

Эти слова, произнесенные с необычайной твердостью, обезоружили гнев отца.

— Но ты не откажешься принадлежать нам? — сказал он с чувством.

— О батюшка, о родители! — отвечала растроганная

дочь,— вам одним принадлежу я — я ваша!.. но не думаю, чтобы надолго.

Мать, не говорившая до того ни слова, вдруг зарыдала и опустила голову на грудь своей дочери.

— Глафирушка, милое, единородное мое детище,— возопила она, стеная,— не покидай нас, живи для нас! Более ничего не требую, прощаю, благословляю любовь твою!

Этот порыв материнского сердца поворотил всю мою внутренность; слезы брызнули у меня из глаз. Линдин плакал навзрыд.

Несколько минут продолжалась эта безмолвная, но трогательная сцена. Глафира подняла первая голову. Ее лицо, незадолго унылое и пасмурное, теперь казалось преображенным от восторга и чистейшей радости. Но вдруг какая-то новая мысль пробежала по челу девушки и словно облаком задернула лучезарный свет ее очей.

— Благодарю вас, мои родители,— сказала Глафира,— за эту прекрасную, эту блаженную минуту. Но как быстро она промчалась! Тяжелое воспоминание ее отравило. Змей Вашиадан смертельно уязвил меня.

— Что говоришь ты о Вашиадане, друг мой? — спросил испуганный Линдин.

— Слушайте; я кончаю свое признание: покойный мой друг носил на руке фамильный перстень; помню, он часто говаривал, будто в этом перстне заключается таинственная сила и что от оного будет зависеть судьба той, которую изберет себе в супруги. Это предание вместе с вещью перешло к нему от бабушки. Я принимала его слова за шутку и позабыла бы о них, если б на аукционе не встретила перстня. Я не могла понять: каким образом он попал между вещей графа; но была рада, что мне представился случай купить его. Сходство изображения с чертами покойника напомнило мне таинственные предрекания. Я думала обручиться этим перстнем навеки с ненареченным супругом, как вдруг кто-то в толпе, с его чертами и голосом, надбавляет цену и отнимает у меня сокровище, за которое тогда я отдала бы полжизни. У меня померкло в глазах; не помню, как мы приехали домой. Возвратиться за перстнем было поздно... Прошло несколько дней; приготовления к комедии развлекали меня, время ослабило воспоминание о талисмане: я стала покойнее. Но вчера... видали ль вы Вашиадана без очков?.. вчера, когда он снял их во время репетиции, лицо, голос его вдруг изменились: передо

мной стоял мой возлюбленный, точь в точь он... И в довершение очарования — таинственный перстень блеснул на его руке: удивление, страх, ужас овладели мною, я обеспамятела. Помню, как это же лицо мелькнуло и на аукционе, как те же глаза, пламенные и неподвижные, были и тогда устремлены на меня. Страшно при одной мысли... Не дай боже встретиться мне опять с этими взорами! Мне кажется, я их не вынесу.

Глафира умолкла. Изумление наше было невыразимо. Я не знал, верить или нет странному повествованию; я готов был принять его за бред болящей или даже за признак ее умственного расстройства. Но многое из рассказанного ею о Вашиадане подтверждал мне собственный опыт; давно я питал к нему недоверчивость и подозрение. Вид страдалицы пробудил во мне все негодование.

— Ваш мнимый приятель,— сказал я Линдину с жаром,— есть явный злодей и обманщик, хотя бы одна десятая часть нами слышанного была справедлива. Даю слово отыскать его и потребовать от него отчета в гнусной шутке, которую он сыграл над вашей дочерью.

— Не берите на себя труда его отыскивать,— сказал кто-то позади меня твердым и знакомым голосом.

Я оглянулся... То был сам Вашиадан.

VIII

— Виновный здесь,— продолжал он, снимая очки. Мы обомлели.

— Что ж вы не требуете от меня отчета? — спросил незваный гость с язвительною улыбкой.— Вас удивило, может быть, неожиданное мое посещение? Но дела мои переменились, и я остался в Москве. Вы не отвечаете? Вижу, приезд мой вам не нравится. Не опасайтесь: я вас скоро от себя избавлю.

При этих словах он снова устремил на нас свои огненные взоры. Мы не трогались с места. Я чувствовал в себе что-то необычайное. Это *что-то* походило на те страшные сновидения, когда человек, не теряя еще памяти, чувствует оцепенение во всех членах, силится привстать и не может пошевелиться, хочет говорить, и язык его коснеет, грудь стесняется, кровь замирает в жилах, и он, полумертвый, падает на изголовье. Сие-то удушающее ощущение, известное простому народу под именем *домового*, овладело тогда мною. Я видел все происходив-

шее; но язык и члены онемели — и я не в силах был обнаружить ни словами, ни движением моего удивления и ужаса.

После того страшный Вашиадан (он был точно страшен в эту минуту) приблизился к постели, на коей лежала больная. Глаза его засверкали тогда необыкновенным светом. Больная привстала, но молча и почти без жизни; потом сошла с постели, ступила на пол, пошатнулась... новый взгляд Вашиадана как будто оживил ее: она оправилась, стала твердо на ноги и тихими шагами пошла за своим вожатым.

Мы все оставались неподвижными. Я видел, как они вышли из комнаты, как Глафира, подобно невинной жертве, ведомой на заклание, послушно следовала за очарователем; я слышал шаги их по коридору, слышал повелительный голос Вашиадана, коему слуги хотели было преградить дорогу. Рвуся вперед — но вот стук экипажа раздался у подъезда... потом на улице... все глуше, глуше — пока наконец исчез в отдалении.

Подобно той змее, которая одним взором привлекает к себе жертвы и одним взором умерщвляет их, Вашиадан, силою огненных своих очей, произвел над несчастною Глафирой то, что почел бы я выученной фарсой, если бы сам не подвергся отчасти их магнетическому влиянию.

Слишком, слишком поздно разрушилось наше очарование. Мать, как бы пробужденная от глубокого сна, приходит в себя мало-помалу — ищет дочери... Несчастная! страшная действительность вскоре удостоверит тебя, что ты лишилась, и, быть может, навеки, своей милой Глафиры!.. Нет ее ни в доме, ни на улице. Все видели, как Вашиадан посадил ее в карету и поскакал с нею — но куда? зачем? то оставалось загадкой для каждого.

Тут вопли матери наполняют дом: в беспамятстве бегает она по комнате, ломает себе руки, умоляет каждого спасти ее детище, единородное ее детище. «Спеши,— вскрикивает она наконец, падая на колена перед мужем,— спеши исторгнуть дочь свою из когтей злодея... возврати ее несчастной матери, горестной, убитой, опозоренной!»

Но Линдин стоял недвижим и молчал. Он походил на одного из истуканов, пред коими некогда люди преклоняли с мольбою колена.

Тихо поднялась на ноги жена его.

— И ты медлишь,— продолжала она страшным раздирающим голосом.— Оставайся ж, бесчувственный! Я, слабая женщина, я заступлю тебя и покажу, к чему способна отчаянная мать! Прочь, сударь! я сама еду за своей дочерью.

С сими словами Линдина бросилась к дверям; но силы ее истощились... она упала без чувств...

IX

Прошло около года после страшного происшествия, лишившего Линдиных дочери. Все старания мои отыскать ее были напрасны. Никто не знал Вашиадана, никому не было известно его местопребывание, и самое имя его все почитали подложным. Мудрено ли было ему, обдумавши план свой заранее, принять нужные меры к сокрытию себя, своего имени и жилища?

Потеряв всю надежду открыть следы Глафиры и ее похитителя, я оставил Москву. Один родственник давно звал меня в отдаленную свою деревню. Теперь было кстати воспользоваться его приглашением: я переехал к нему. Весна во второй раз по смерти моего друга воскрешала природу. Все окружавшее улыбалось мне; я один оставался мрачен; тяжелое воспоминание давило мне душу; приближался день *его* кончины и *ее* погибели. В этот день, по совершении печального обряда в сельской церкви, я отправился пешком бродить по сосновому лесу, лежавшему близ усадьбы и простиравшемуся на большое пространство. Грустные мысли невольно овладели мною. Сосновый бор казался мне огромным кладбищем, скрывавшим целые поколения: каждое дерево являлось моему воображению вечным стражем, поставленным от бога для сохранения могил до дня всемирного воскресения; шелест шагов моих мнился мне ропотом усопших на дерзкого нарушителя их гробового спокойствия. Я остановился и сел на обрушившуюся сосну. Мечты еще преследовали меня; но тихий стон, раздавшийся неподалеку, разогнал их. Я поднимаю глаза и вижу — в нескольких шагах от меня лежит женщина. Платье ее изорвано, руки в крови — вероятно от сухих древесных сучьев и игол, о которые она цеплялась, шедши по лесу. Она была без чувств и, по-видимому, боролась со смертию; я подхожу, вглядываюсь... Боже! то была — Глафира!

Солнце клонилось к западу; я чувствовал, что заблу-

дился: ни тропинки, ни признаков жилища. Но вот какой-то шорох послышался за мною; я оглядываюсь: старик в крестьянском кафтане, с дубинкой в руках, с секирой за поясом пробирался сквозь чащу. Он был не менее моего изумлен, встретив человека в глухом месте в такую пору и возле мертвого тела.

Мы объяснились. Старик был дровосек и переехал на лето в бор для рубки леса. Шалаш его стоял неподалеку; и он, услышав шорох и стоны, пошел на голос.

С его помощью я перенес в шалаш несчастную девушку. Вскоре открыла она глаза... мой голос поразил ее; и, когда мы подали ей нужные пособия, она совершенно опомнилась, узнала меня и, бросившись мне на шею, называла своим ангелом-хранителем.

— Дай бог, чтоб я оправдал это название,— сказал я в смущении.— Но какая несчастная звезда привела вас на это место? Откуда вы?

Тут, собравшись с силами, она начала рассказ свой едва внятным голосом. И вот что мог я извлечь из него.

X

Оставив Москву, Вашиадан провез Глафиру глухими проселочными дорогами к одному уединенному дому, где ожидал их дорожный экипаж. С приближением ночи они поехали далее. На день обыкновенно останавливались, с захождением солнца продолжали дорогу. Чародей старался поддерживать свою несчастную спутницу в беспрестанном забытьи. Наконец, по долгом пути, они приехали — куда? того не знала Глафира. То было в глухую полночь. Их встретили с факелами; погребальный их блеск пробудил Глафиру.

— Где я? — спросила она у своего похитителя.

— В доме друга,— отвечал он своим млечным голосом.

Они вошли в пышные хоромы, украшенные внутри богатыми обоями, бронзой, картинами, на коих изображались чудные, фантастические фигуры. Чем-то не человеческим отзывалось все их окружающее: люди с странными лицами, словно в масках, служили новоприезжим: вдруг вдалеке послышались гармонические звуки и с приближением превратились в какой-то нескладный, но живой танец и вот все фигуры — на обоях, на картинах, из бронзы — начали прыгать, плясать, а чудные служители — передразнивать их движения. За эти-

ми вакханалиями следовали сцены более мрачные. Своды комнат стали испускать жалобные стоны; изображения на обоях и картинах заплакали, зарыдали, а веселые служители обратились в безобразные, страшные фигуры. Тут Глафира закрыла руками лицо и прижалась к груди похитителя... Вдруг пронеслись звуки охотничьих рогов, лай собак, будто по лесу... Все утихло: одна лишь свирель, на голос Альпийской песни, заунывно сзывает коров и повторяется в отзывах гор все тише, тише... Но вот направо, в лесу, блеснул огонек; светлая точка расширяется понемногу, образует шар, и он в мгновение бежит пожаром по лесу. Треск, гул, грохот оглушают воздух, все колеблется, сам ад пирует на земле. Но шар, подобно луне, поднимается величаво из-за облаков дыма; вдруг взвился он высоко и с треском распался на части. Огненный свод обнял поверхность и, словно шатер, раскинулся над землею. Изумруды, яхонты, алмазы горят на своде и отражаются в воздухе тысячью разноцветных огней. Воздушный шатер тихо опускается на вершины дерев и расстилается сетью над лесом. Пламя потухает мало-помалу, свет становится бледней и бледней; наконец все исчезло, и лишь луна, выкатившись из-за тучи, серебрит уединенную поляну. Боязливые ее лучи, мерцая, падают робко на лицо товарища Глафиры; она узнает в нем милого, нежного своего друга.

«О, как я счастлива,— лепечет она в сладком забытьи,— о, как я счастлива, сидя с тобою, супруг моего сердца, душа души моей! Но боже, а!.. это не он, не он!» — и падает в беспамятстве.

Померкла луна; явился день с порфирородным своим спутником. Сквозь густую зелень дерев, осенявших окна и разливавших сладостную прохладу, прокрадывается свет и проникает в опочивальню Глафиры. Она пробудилась; у ног ее сидит очарователь.

— Вчера,— говорит он,— ты видела мое могущество, видела, какие таинственные силы в руках моих. Отныне я от всего отрекаюсь: ты одна — царица сего жилища. Я умел преклонить тебя сверхчеловеческими средствами; теперь, простой смертный, я у ног твоих; не ты в моей, а я в твоей власти. Располагай тем, что видишь, повелевай мною; но — люби меня!

— Тебя любить? — воскликнула, опомнившись, Глафира и отклонила его от себя рукою.— Кто бы ты ни был,— продолжала она,— дух ли искуситель, привиде-

ние или человек,— прошу, умоляю тебя: возврати меня родителям!

— Не могу! Что раз случилось, того переменить невозможно.

— Дух обольститель! зачем же ты исторгнул меня из объятий родительских? Зачем принял ты на себя те черты, тот голос, тот взгляд, которым я не могла противиться, которые против воли заставляют меня простить твое оскорбление? О дух обольститель! смилуйся надо мной, возврати меня моим родителям!

— Одно и то же! ужели моя любовь не получит другого ответа?

— Но кто же тебя заставил любить меня?

— А тебя кто заставил явиться передо мною во всем обворожительном блеске красоты? Помнишь ли тот вечер, когда глупый твой отец встретил меня в театре?

— Ах, не называй так отца моего!

— Согласен. Но знаешь ли ты, что я никогда не был знаком с ним, что он видал в Петербурге не меня, а другого и что одно случайное сходство лица...

— И ты решился воспользоваться его легковерием?

— Любовь моя все оправдывает.

— Но еще раз — зачем же принял ты голос и черты моего любезного?

— Я не принял их, они мои собственные. Я твой друг — и друг навеки.

Тут он прижал ее к своей груди и тихо надел ей на руку таинственный перстень.

— Узнаешь ли ты наше кольцо обручальное? Помнишь ли предсказание? Вот залог любви нашей!

Она взглянула на перстень, взглянула на друга... «О, мой ангел! — воскликнула она вне себя от упоения,— ты возвращен наконец твоей Глафире!» — и с этими словами судорожным движением упала в его объятия.

Я слушал с изумлением и ужасом. Многое казалось мне невероятным в ее повествовании; и чудеса, коих она была свидетельницей в доме похитителя, я приписывал расстроенному ее воображению. Но когда она коснулась этой роковой минуты, в которую, увлеченная обманчивою мечтой, вверилась хищным объятиям мнимого друга — холодный пот обдал меня; ее страстная речь ручилась за ужасную истину и подтвердила мои слишком справедливые опасения: с той минуты Глафира сделалась незаконною супругой Вашиадана...

Ее уверенность, что то был прежний друг ее, возвратившийся с того света, еще сильнее убедила меня в горькой истине; ибо до чего не могут довести слабую женщину заблуждения сердца и воображения?

Словом, она жила с ним целый год в очаровательном его замке, не помышляя о родных, дыша им одним, блаженствуя в своем гибельном заблуждении.

— Но сегодня,—продолжала она,—сегодня я покоилась еще в объятиях моего супруга, как чудные служители вдруг окружают наше ложе. «Срок минул! — к расплате!..» — кричат они моему другу и влекут его. Я, как змея, обвилась около его тела; но злодеи исторгают у меня свою жертву, и в глазах моих — ужас вспомнить! — начинают щекотать моего супруга. Ужасный смех вырвался из груди его и вскоре превратился в какой-то адский хохот. Злодеи исчезли, и передо мной остался лишь бездыханный труп; пена, полная яда, клубилась у него изо рту. «И ей ту же казнь!» — возопили снова служители. Но вдруг послышался знакомый, нежный голос: «Она невинна!» — прозвучал он надо мною; и от него, как сон, разлетелись страшные видения, хохот умолк... и я, какою-то волшебною силой, очутилась на том месте, где вы, мой ангел-хранитель, нашли меня.

— Не волшебная сила перенесла вас; ваше платье показывает, что вы сами пришли сюда.

— Быть может; я не помню...

— Но помните ли вы своего прежнего, давно умершего друга, который, тому ровно два года, поверял мне заветное свое признание в любви к вам, тогда — еще непорочной?

— Я вас не понимаю.

— Сегодня минет два года, как он умер, и год, как вы похищены из дому родительского рукою изверга Вашиадана.

— Вашиадана... покойный друг... из дому родительского... Ах! что вы мне напоминаете! Все это как сон... Но где мои родители?

— Они *там*, соединились с вашим другом и у престола божия молят о помиловании врага их и о вашем прощении.

Глафира устремила на меня неподвижные взоры; наконец, вышед из оцепенения:

— Туда, туда за ними! — возопила она и тихо склонила голову на плечо мое.

Рука невольно взялась за часы; роковая стрелка опять указывала *десятый в исходе.*

Я взглянул на Глафиру. Лицо ее покрылось смертною бледностию, пульс умолк, дыхание прекратилось: она заснула сном непробудимым...

И через три дня я предал земле прах несчастной. Уединенная сосна, подымая горе́ мрачно-зеленую свою вершину, осеняет могилу и как бы молит небеса о помиловании. Каждый год, в день ее смерти, прохожие слышат хохот над могилой; но хохот умолкает, и тихий, нежный голос, нисходящий с эфирной выси, произносит слова: *«Она невинна!..»*

P. S.
ДЛЯ НЕМНОГИХ

— Прекрасно! — восклицает насмешливый читатель,— но скажите, кто же этот Вашиадан? — злой дух, привидение, вампир, Мефистофель или все вместе?

— Не знаю, любезный читатель; он столько же мне известен, как и вам. Но предположим его на время человеком, обыкновенным смертным (ибо вы видели, что он умер); и теперь посмотрим, не объяснятся ли нам естественным образом чудеса его. Во-первых...

— Во-первых,— прерывает читатель,— возможно ли то разительное сходство в его чертах лица и в голосе с покойным вашим другом, которое вам было угодно придать ему? Потом...

— Позвольте и мне прервать вас. Вы говорите о невозможности такого сходства; но разве оно не встречается в природе и разве искусство не умеет подражать ей. Вспомните Гаррика. Но оставим чудную игру природы и усилия искусства и обратимся к самим себе, где столько для нас загадок. Кто из нас не испытал над собою, как легко, особливо при помощи разгоряченного воображения, придать одному черты и голос другого? Что же, если эти черты, этот голос принадлежат любимому человеку? А кого любишь, того думаешь встречать всюду. Вам известен скрипач Буше, по крайней мере по наслышке: многие из обожателей Наполеона чуть-чуть не видели в нем двойника своему герою. Я сам был поражен сходством музыканта с завоевателем, хотя последнего знал лишь по его портретам да по бюсту:

> Под шляпой, с пасмурным челом,
> С руками, сжатыми крестом.

Правда, Буше недоставало безделицы — орлиных глаз Наполеона; но во всем прочем...

— Кстати о глазах: скажите, что за сверхъестественной силой одарили вы глаза Вашиадана?

— Прежде чем буду отвечать на это, любезный читатель, я спрошу вас вместе с покойной Линдиной: верите ли вы в *дурной глаз* или, другими словами, верите ли вы в магнетическую силу взоров? Если *да*, то удивляюсь вашему вопросу; если *нет*, то отсылаю вас к петербургской волшебнице, которая, как говорят, силою своего целебного взгляда излечает недуги, выправляет горбы и, если бы захотела, верно могла бы произвести те же чудеса над какой-нибудь слабонервной Глафирой, какие совершает Вашиадан в моей повести. Припомните, какими средствами довел он мою героиню до расслабления, какими неожиданными ударами потряс ее организм, прежде нежели решился на свое чудо из чудес, на похищение.

— Но вы, Линдина, ее муж, их слуги разве не испытали также над собой его чародейства?

— Не спорю, что, быть может, и на нас действовала отчасти магнетическая сила его глаз; мы были расположены к тому предыдущими сценами, неожиданною дерзостию похитителя и даже — если хотите — верою в его могущество.

— Но его таинственность, долголетие, всевидение?

— Он был обманщик, умный и пронырливый.

— Но его замок, чудная прислуга, чудная смерть?.. Не говорю уже о перстне, о роковом дне и часе...

— Все это — суеверие, случайности, смесь истины с ложью, мечты Глафиры.

— А хохот и голос над ее могилой?

— Мечты прохожих.

— Мечты, мечты! Но вы сами им верите. Полноте притворяться; скажите откровенно: кто ж этот Вашиадан? Не чародей ли в союзе с дьяволом?

— Теперь не средние века!

— Ну, так вампир?

— Он не сосал крови.

— Ну, воплотившийся демон, посланный на срок; ну, словом: пришелец с того света?

— Не помню, чтоб от него отзывалось серой.

— Да — *кто же он*?

— Не знаю. Отгадывайте.

Е. А. БАРАТЫНСКИЙ

ПЕРСТЕНЬ

В деревушке, состоящей не более как из десяти дворов (не нужно знать, какой губернии и уезда), некогда жил небогатый дворянин Дубровин. Умеренностью, хозяйством он заменял в быту своем недостаток роскоши. Сводил расходы с приходами, любил жену и ежегодно умножающееся семейство,— словом, был счастлив; но судьба позавидовала его счастью. Пошли неурожаи за неурожаями. Не получая почти никакого дохода и почитая долгом помогать своим крестьянам, он вошел в большие долги. Часть его деревушки была заложена одному скупому помещику, другую оттягивал у него беспокойный сосед, известный ябедник. Скупому не был он в состоянии заплатить своего долга; против дельца не мог поддержать своего права,— конечно, бесспорного, но скудного наличными доказательствами. Заимодавец протестовал вексель, проситель с жаром преследовал дело, и бедному Дубровину приходило дозареза.

Всего нужнее было заплатить долг; но где найти деньги? Не питая никакой надежды, Дубровин решился однако ж испытать все способы к спасению. Он бросился по соседям, просил, умолял; но везде слышал тот же учтивый, а иногда и неучтивый отказ. Он возвратился домой с раздавленным сердцем.

Утопающий хватается за соломинку. Несмотря на свое отчаяние, Дубровин вспомнил, что между соседями не посетил одного,— правда, ему незнакомого, но весьма богатого помещика. Он у него не был, и тому причиною было не одно незнакомство. Опальский (помещик, о котором идет дело) был человек отменно странный. Имея около полутора тысяч душ, огромный дом, великолепный сад, имея доступ ко всем наслаждениям жизни, он ничем не пользовался. Пятнадцать лет тому назад он приехал в свое поместье, но не заглянул в свой богатый дом, не прошел по своему прекрасному саду, ни о чем не расспрашивал своего управителя. Вдали от всякого жилья, среди обширного дикого леса, он поселился в хижине, построенной для лесного сто-

рожа. Управитель, без его приказания и почти насильно, пристроил к ней две комнаты, которые с третьею, прежде существовавшею, составили его жилище. В соседстве были о нем разные толки и слухи. Многие приписывали уединенную жизнь его скупости. В самом деле, Опальский не проживал и тридцатой части своего годового дохода, питался самою грубою пищею и пил одну воду; но в то же время он вовсе не занимался хозяйством, никогда не являлся на деревенские работы, никогда не поверял своего управителя,— к счастию, отменно честного человека. Другие довольно остроумно заключили, что, отличаясь образом жизни, он отличается и образом мыслей, и подозревали его дерзким философом, вольнодумным естествоиспытателем, тем более что, по слухам, не занимаясь лечением, он то и дело варил неведомые травы и коренья, что в доме его было два скелета и страшный желтый череп лежал на его столе. Мнению их противоречила его набожность: Опальский не пропускал ни одной церковной службы и молился с особенным благоговением. Некоторые люди, и в том числе Дубровин, думали, однако ж, что какая-нибудь горестная утрата, а может быть, и угрызения совести были причиною странной жизни Опальского.

Как бы то ни было, Дубровин решился к нему ехать. «Прощай, Саша! — сказал он со вздохом жене своей,— еще раз попробую счастья»,— обнял ее и сел в телегу, запряженную тройкою.

Поместье Опальского было верстах в пятнадцати от деревушки Дубровина; часа через полтора он уже ехал лесом, в котором жил Опальский. Дорога была узкая и усеяна кочками и пнями. Во многих местах не проходила его тройка, и Дубровин был принужден отпрягать лошадей. Вообще нельзя было ехать иначе, как шагом. Наконец он увидел отшельническую обитель Опальского.

Дубровин вошел. В первой комнате не было никого. Он окинул ее глазами и удостоверился, что слухи о странном помещике частью были справедливы. В углах стояли известные скелеты, стены были обвешаны пуками сушеных трав и кореньев, на окнах стояли бутыли и банки с разными настоями. Некому было о нем доложить: он решился войти в другую комнату, отворил двери и увидел пожилого человека в изношенном халате, сидящего к нему задом и глубоко занятого каким-то математическим вычислением.

Дубровин догадался, что это был сам хозяин. Молча стоял он у дверей, ожидая, чтобы Опальский кончил или оставил свою работу; но время проходило, Опальский не прерывал ее. Дубровин нарочно закашлял, но кашель его не был примечен. Он шаркал ногами,— Опальский не слышал его шарканья. Бедность застенчива. Дубровин находился в самом тяжелом положении. Он думал, думал и, ни на что не решаясь, вертел на руке своей перстень; наконец, уронил его, хотел подхватить на лету, но только подбил, и перстень, перелетев через голову Опальского, упал на стол перед самым его носом.

Опальский вздрогнул и вскочил с своих кресел. Он глядел то на перстень, то на Дубровина и не говорил ни слова. Он взял со стола перстень, с судорожным движением прижал его к своей груди, остановив на Дубровине взор, выражавший попеременно торжество и опасение. Дубровин глядел на него с замешательством и любопытством. Он был высокого роста; редкие волосы покрывали его голову, коей обнаженное темя лоснилось; живой румянец покрывал его щеки; он в одно и то же время казался моложав и старообразен. Прошло еще несколько мгновений. Опальский опустил голову и казался погруженным в размышление; наконец сложил руки, поднял глаза к небу; лицо его выразило глубокое смирение, беспредельную покорность. «Господи, да будет воля твоя!» — сказал он. «Это ваш перстень,— продолжал Опальский, обращаясь к Дубровину,— и я вам его возвращаю... Я мог бы не возвратить его... что прикажете?»

Дубровин не знал, что думать: но, собравшись с духом, объяснил ему свою нужду, прибавя, что в нем его единственная надежда.

«Вам надобно десять тысяч,— сказал Опальский,— завтра же я вам их доставлю; что вы еще требуете?»

«Помилуйте,— вскричал восхищенный Дубровин,— что я могу еще требовать? Вы возвращаете мне жизнь неожиданным вашим благодеянием. Как мало людей вам подобных! Жена, дети опять с хлебом: я, она до гробовой доски будем помнить...»

«Вы ничем мне не обязаны,— прервал Опальский.— Я не могу отказать вам ни в какой просьбе. Этот перстень... (тут лицо его снова омрачилось) этот перстень дает вам беспредельную власть надо мною... Давно не видал я этого перстня... Он был моим... но что до

этого? Ежели я вам более не нужен, позвольте мне докончить мою работу: завтра я к вашим услугам».

Едучи домой, Дубровин был в неописанном волненье. Неожиданная удача, удача, спасающая его от неизбежной гибели, конечно, его радовала, но некоторые слова Опальского смутили его сердце. «Что это за перстень?— думал он.— Некогда принадлежал он Опальскому; мне подарила его жена моя. Какие сношения были между нею и моим благодетелем? Она его знает! Зачем же всегда таила от меня это знакомство? Когда она с ним познакомилась?» Чем он более думал, тем он становился беспокойнее; все казалось странным и загадочным Дубровину.

«Опять отказ? — сказала бедная Александра Павловна, видя мужа своего, входящего с лицом озабоченным и пасмурным.— Боже! что с нами будет!» Но, не желая умножить его горести: «Утешься,— прибавила она голосом более мирным,— бог милостив, может быть, мы получим помощь, откуда не чаем».

«Мы счастливее, нежели ты думаешь,— сказал Дубровин,— Опальский дает десять тысяч... Все слава богу».

«Слава богу? отчего же ты так печален?»

«Так, ничего... Ты знаешь этого Опальского?»

«Знаю, как ты, по слухам... но, ради бога...»

«По слухам... только по слухам. Скажи, как достался тебе этот перстень?»

«Что за вопросы! Мне подарила его моя приятельница Анна Петровна Кузмина, которую ты знаешь: что тут удивительного?»

Лицо Александры Павловны было так спокойно, голос так свободен, что все недоумения Дубровина исчезли. Он рассказал жене своей все подробности своего свидания с Опальским, признался в невольной тревоге, наполнившей его душу, и Александра Павловна, посердясь немного, с ним помирилась. Между тем она сгорала любопытством. «Непременно напишу к Анне Петровне,— сказала она.— Какая скрытная! никогда не говорила мне об Опальском. Теперь поневоле признается, видя, что мы знаем уже половину тайны».

На другой день, рано поутру, Опальский сам явился к Дубровину, вручил ему обещанные десять тысяч и на все выражения его благодарности отвечал вопросом: «Что еще прикажете?»

С этих пор Опальский каждое утро приезжал к Дубровину, и «что прикажете» было всегда его первым сло-

вом. Благодарный Дубровин не знал, как отвечать ему, наконец привык к этой странности и не обращал на нее внимания. Однако ж он имел многие случаи удостовериться, что вопрос этот не был одною пустою поговоркою. Дубровин рассказал ему о своем деле, и на другой же день явился к нему стряпчий и подробно осведомился о его тяжбе, сказав, что Опальский велел ему хлопотать о ней. В самом деле, она в скором времени была решена в пользу Дубровина.

Дубровин прогуливался однажды с женою и Опальским по небольшому своему поместью. Они остановились у рощи над рекою, и вид на деревни, по ней рассыпанные, на зеленый луг, расстилающийся перед нею на необъятное пространство, был прекрасен. «Здесь бы, по-настоящему, должно было построить дом,— сказал Дубровин,— я часто об этом думаю. Хоромы мои плохи, кровля течет, надо строить новые, и где же лучше?» — На другое утро крестьяне Опальского начали свозить лес на место, избранное Дубровиным, и вскоре поднялся красивый, светлый домик, в который Дубровин перешел с своим семейством.

Не буду рассказывать, по какому именно поводу Опальский помог ему развести сад, запастись тем и другим: дело в том, что каждое желание Дубровина было тот же час исполнено.

Опальский был как свой у Дубровиных и казался им весьма умным и ученым человеком. Он очень любил хозяина, но иногда выражал это чувство довольно странным образом. Например, сжимая руку облагодетельствованному им Дубровину, он говорил ему с умилением, от которого навертывались на глаза его слезы: «Благодарю вас, вы ко мне очень снисходительны!»

Анна Петровна отвечала на письмо Александры Павловны. Она не понимала ее намеков, уверяла, что и во сне не видывала никакого Опальского, что перстень был подарен ей одною из ее знакомок, которой принес его дворовый мальчик, нашедший его на дороге. Таким образом, любопытство Дубровиных осталось неудовлетворенным.

Дубровин расспрашивал об Опальском в его поместье. Никому не было известно, где и как он провел свою молодость; знали только, что он родился в Петербурге, был в военной службе, наконец, лишившись отца и матери, прибыл в свои поместья. Единственный крепостной служитель, находившийся при нем, скоропо-

стижно умер дорогою, а наемный слуга, с ним приехавший и которого он тотчас отпустил, ничего об нем не ведал.

Народные слухи были занимательнее. Покойный приходский дьячок рассказывал жене своей, что однажды, исповедуясь в алтаре, Опальский говорил так громко, что каждое слово до него доходило. Опальский каялся в ужасных преступлениях, в чернокнижестве; признавался, что ему от роду 450 лет, что долгая эта жизнь дана ему в наказание, и неизвестно, когда придет минута его успокоения. Многие другие были россказни, одни других замысловатее и нелепее; но ничто не объясняло таинственного перстня.

Беспрестанно навещаемый Опальским, Дубровин почитал обязанностью навещать его по возможности столь же часто. Однажды, не застав его дома (Опальский собирал травы в окрестности), он стал перебирать лежащие на столе его бумаги. Одна рукопись привлекла его внимание. Она содержала в себе следующую повесть:

«Антонио родился в Испании. Родители его были люди знатные и богатые. Он был воспитан в гордости и роскоши; жизнь могла для него быть одним долгим праздником... Две страсти — любопытство и любовь — довели его до погибели.

Несмотря на набожность, в которой его воспитывали, на ужас, внушаемый инквизицией (это было при Филиппе II), рано предался он преступным изысканиям: тайно беседовал с учеными жидами, рылся в кабалистических книгах долго, безуспешно; наконец край завесы начал перед ним приподыматься.

Тут увидел он в первый раз донну Марию, прелестную Марию, и позабыл свои гадания, чтобы покориться очарованию ее взоров. Она заметила любовь его и сначала казалась благосклонною, но мало-помалу стала холоднее и холоднее. Антонио был в отчаянии, и оно дошло до исступления, когда он уверился, что другой, а именно дон-Педро де-ла-Савина владел ее сердцем. С бешенством упрекал он Марию в ее перемене. Она отвечала одними шутками; он удалился, но не оставил надежды обладать ею.

Он снова принялся за свои изыскания, испытывал все порядки магических слов, испытывал все чертежи волшебные, приобщал к показаниям ученых собственные свои догадки, и упрямство его наконец увенчалось

несчастным успехом. Однажды вечером, один в своем покое, он испытывал новую магическую фигуру. Работа приходила к концу; он провел уже последнюю линию: напрасно!.. фигура была недействительна. Сердце его кипело досадою. С горькою внутреннею усмешкою он увенчал фигуру свою бессмысленным своенравным знаком. Этого знака недоставало... Покой его наполнился странным жалобным свистом. Антонио поднял глаза... Легкий прозрачный дух стоял перед ним, вперив на него тусклые, но пронзительные свои очи.

«Чего ты хочешь?» — сказал он ему голосом тихим и тонким, но от которого кровь застыла в его сердце и волосы стали у него дыбом. Антонио колебался, но Мария предстала ему со всеми своими прелестями, с лицом приветливым, с глазами, полными любовию... Он призвал всю свою смелость. «Хочу быть любим Мариею»,— отвечал он голосом твердым.

«Можешь, но с условием».

Антонио задумался. «Согласен! — сказал он наконец,— но для меня этого мало. Хочу любви Марии, но хочу власти и знания: тайна природы будет мне открыта?»

«Будет,— отвечал дух.— Следуй за своею тенью». Дух исчез. Антонио встал. Тень его чернела у дверей. Двери отворились: тень пошла — Антонио за нею.

Антонио шел, как безумный, повинуясь безмолвной своей путеводительнице. Она привела его в глубокую уединенную долину и внезапно слилась с ее мраком. Все было тихо, ничто не шевелилось... Наконец земля под ним вздрогнула... Яркие огни стали вылетать из нее одни за другими; вскоре наполнился ими воздух: они метались около Антонио, метались миллионами; но свет их не разогнал тьмы, его окружающей. Вдруг пришли они в порядок и бесчисленными правильными рядами окружили его на воздухе. «Готов ли ты?» — вопросил его голос, выходящий из-под земли. «Готов»,— отвечал Антонио.

Огненная купель пред ним возникла. За нею поднялся безобразный бес в жреческом одеянии. По правую свою руку он увидел огромную ведьму, по левую такого же демона.

Как описать ужасный обряд, совершенный над Антонио, эту уродливую насмешку над священнейшим из обрядов! Ведьма и демон занимали место кумы и кума, отрекаясь за неофита Антонио от бога, добра и спасе-

ния; адский хохот раздавался по временам вместо пения; страшны были знакомые слова спасения, превращенные в заклятия гибели. Голова кружилась у Антонио; наконец прежний свист раздался; все исчезло. Антонио упал в обморок, утро возвратило ему память, он взглянул на божий мир — глазами демона: так он постигнул тайну природы, ужасную, бесполезную тайну; он чувствовал, что все ему ведомо и подвластно, и это чувство было адским мучением. Он старался заглушить его, думая о Марии.

Он увидел Марию. Глаза ее обращались к нему с любовию; шли дни, и скорый брак должен был их соединить навеки.

Лаская Марию, Антонио не оставлял свои кабалистические занятия; он трудился над составлением талисмана, которым хотел укрепить свое владычество над жизнью и природой: он хотел поделиться с Марией выгодами, за которые заплатил душевным спасением, и вылил этот перстень, впоследствии послуживший ему наказанием, быть может легким в сравнении с его преступлениями.

Антонио подарил его Марии; он ей открыл тайную его силу. «Отныне нахожусь я в совершенном твоем подданстве,— сказал он ей;— как все земное, я сам подвластен этому перстню; не употребляй во зло моей доверенности; люби, о люби меня, моя Мария».

Напрасно. На другой же день он нашел ее сидящею рядом с его соперником. На руке его был магический перстень. «Что проклятый чернокнижник,— закричал дон-Педро, увидя входящего Антонио: — ты хотел разлучить меня с Марией, но попал в собственные сети. Вон отсюда! жди меня в передней!»

Антонио должен был повиноваться. Каким унижениям подвергнул его дон-Педро! Он исполнял у него самые тяжелые рабские службы. Мария стала супругою его повелителя. Одно горестное утешение оставалось Антонио: видеть Марию, которую любил, несмотря на ужасную ее измену. Дон-Педро это заметил. «Ты слишком заглядываешься на жену мою,— сказал он.— Присутствие твое мне надоело: я тебя отпускаю». Удаляясь, Антонио остановился у порога, чтобы еще раз взглянуть на Марию. «Ты еще здесь? — закричал дон-Педро.— Ступай, ступай, не останавливайся!»

Роковые слова! Антонио пошел, но не мог уже остановиться; двадцать раз в продолжение ста пятидесяти

лет обошел он землю. Грудь его давила усталость; голод грыз его внутренность. Антонио призывал смерть, но она была глуха к его молениям; Антонио не умирал, и ноги его все шагали. «Постой!» — закричал ему наконец какой-то голос. Антонио остановился, к нему подошел молодой путешественник. «Куда ведет эта дорога?» — спросил он его, указывая направо рукой, на которой Антонио увидел свой перстень. «Туда-то...» — отвечал Антонио. «Благодарю»,— сказал учтиво путешественник и оставил его. Антонио отдыхал от полуторавекового похода, но скоро заметил, что положение его не было лучше прежнего: он не мог ступить с места, на котором остановился. Вяла трава, обнажались деревья, стыли воды, зимние снега падали на его голову, морозы сжимали воздух,— Антонио стоял неподвижно. Природа оживлялась, у ног его таял снег, цвели луга, жаркое солнце палило его темя... Он стоял, мучился адскою жаждою, и смерть не прерывала его мучения. Пятьдесят лет провел он таким образом. Случай освобождал его от одной казни, чтобы подвергнуть другой, тягчайшей. Наконец...»

Здесь прерывалась рукопись. Всего страннее было сходство некоторых ее подробностей с народными слухами об Опальском. Дубровин нисколько не верил колдовству. Он терялся в догадках. «Как я глуп,— подумал он напоследок: — это перевод какой-нибудь из этих модных повестей, в которых чепуху выдают за гениальное своенравие».

Он остался при этой мысли; прошло несколько месяцев. Наконец Опальский, являвшийся ежедневно к Дубровину, не приехал в обыкновенное свое время. Дубровин послал его проведать. Опальский был очень болен.

Дубровин готовился ехать к своему благодетелю, но в ту же минуту остановилась у крыльца его повозка.

«Марья Петровна, вы ли это? — вскричала Александра Павловна, обнимая вошедшую, довольно пожилую женщину.— Какими судьбами?»

«Еду в Москву, моя милая, и, хотя ты 70 верст в стороне, заехала с тобой повидаться. Вот тебе дочь моя, Дашенька,— прибавила она, указывая на пригожую девицу, вошедшую вместе с нею.— Не узнаешь? ты оставила ее почти ребенком. Здравствуйте, Владимир Иванович, привел бог еще раз увидеться!»

Марья Петровна была давняя дорогая приятельница

Дубровиных. Хозяева и гости сели. Стали вспоминать старину; мало-помалу дошли и до настоящего. «Какой у вас прекрасный дом,— сказала Марья Петровна,— вы живете господами».— «Слава богу! — отвечала Александра Павловна.— А чуть было не пошли по миру. Спасибо этому доброму Опальскому».— «И моему перстню»,— прибавил Владимир Иванович. «Какому Опальскому? какому перстню? — вскричала Марья Петровна.— Я знала одного Опальского; помню и перстень... Да нельзя ли мне его видеть?»

Дубровин подал ей перстень. «Тот самый,— продолжала Марья Петровна: — перстень этот мой, я потеряла его тому назад лет восемь... О, этот перстень напоминает мне много проказ! Да что за чудеса были с вами?» Дубровин глядел на нее с удивлением, но передал ей свою повесть в том виде, в каком мы представляем ее нашим читателям. Марья Петровна помирала со смеху.

Все объяснилось. Марья Петровна была донна Мария, а сам Опальский, превращенный из Антона в Антонио, страдальцем таинственной повести. Вот как было дело: полк, в котором служил Опальский, стоял некогда в их околотке. Марья Петровна была то время молодой прекрасной девицей. Опальский, который тогда уже был несколько слаб головою, увидел ее в первый раз на святках одетою испанкой, влюбился в нее и даже начинал ей нравиться, когда она заметила, что мысли его были не совершенно здравы: разговор о таинствах природы, сочинения Эккартсгаузена навели Опальского на предмет его помешательства, которого до той поры не подозревали самые его товарищи. Это открытие было для него пагубно. Всеобщие шутки развили несчастную наклонность его воображения; но он совершенно лишился ума, когда заметил, что Марья Петровна благосклонно слушает одного из его сослуживцев, Петра Ивановича Савина (дон-Педро де-ла-Савина), за которого она потом и вышла замуж. Он решительно предался магии. Офицеры и некоторые из соседственных дворян выдумали непростительную шутку, описанную в рукописи: дворовый мальчик явился духом, Опальский до известного места в самом деле следовал за своею тенью. На это употребили очень простой способ: сзади его несли фонарь. Марья Петровна в то время была довольно ветрена и рада случаю посмеяться. Она согласилась притвориться в него влюбленною. Он подарил ей свой таинственный перстень; посредством его разным образом из-

девались над бедным чародеем: то посылали его верст за двадцать пешком с каким-нибудь поручением, то заставляли простоять целый день на морозе; всего рассказывать не нужно: читатель догадается, как он пересоздал все эти случаи своим воображением и как тяжелые минуты казались ему годами. Наконец Марья Петровна над ним сжалилась, приказала ему выйти в отставку, ехать в деревню и в ней жить как можно уединеннее.

«Возьмите же ваш перстень,— сказал Дубровин: — с чужого коня и среди грязи долой».— «И, батюшка, что мне в нем?» — отвечала Марья Петровна. «Не шутите им,— прервала Александра Павловна,— он принес нам много счастья: может быть, и с вами будет то же».— «Я колдовству не верю, моя милая, а ежели уже на то пошло, отдайте его Дашеньке: ее беде одно чудо поможет».

Дубровины знали, в чем было дело: Дашенька была влюблена в одного молодого человека, тоже страстно в нее влюбленного, но Дашенька была небогатая дворяночка, а родные его не хотели слышать об этой свадьбе; оба равно тосковали, а делать было нечего.

Тут прискакал посланный от Опальского и сказал Дубровину, что его барин желает как можно скорее его видеть. «Каков Антон Исаич?» — спросил Дубровин. «Слава богу,— отвечал слуга: — вчера вечером и даже сегодня утром было очень дурно, но теперь он здоров и спокоен».

Дубровин оставил своих гостей и поехал к Опальскому. Он нашел его лежащего в постели. Лицо его выражало страдание, но взор был ясен. Он с чувством пожал руку Дубровина: «Любезный Дубровин,— сказал он ему,— кончина моя приближается: мне предвещает ее внезапная ясность моих мыслей. От какого ужасного сна я проснулся!.. Вы, верно, заметили расстройство моего воображения... Благодарю вас: вы не употребили его во зло, как другие,— вы утешили вашею дружбою бедного безумца!..»

Он остановился, и заметно было, что долгая речь его утомила: «Преступления мои велики,— продолжал он после долгого молчания.— Так! хотя воображение мое было расстроено, я ведал, что я делаю: я знаю, что я продал вечное блаженство за временное... Но и мечтательные страдания мои были велики! Их возложит на весы свои бог милосердый и праведный».

Вошел священник, за которым было послано в то же время, как и за Дубровиным. Дубровин оставил его наедине с Опальским.

«Он скончался,— сказал священник, выходя из комнаты,— но успел совершить обязанность христианина. Господи, приими дух его с миром!»

Опальский умер. По истечении законного срока пересмотрели его бумаги и нашли завещание. Не имея наследников, он отдал имение свое Дубровину, то называя его по имени, то означая его владетелем такого-то перстня; словом, завещание было написано таким образом, что Дубровин и владетель перстня могли иметь бесконечную тяжбу.

Дубровины и Дашенька, тогдашняя владетельница перстня, между собою не ссорились и разделили поровну неожиданное богатство. Дашенька вышла замуж по выбору сердца и поселилась в соседстве Дубровиных. Оба семейства не забывают Опальского, ежегодно совершают по нем панихиду и молят бога помиловать душу их благодетеля.

А. А. БЕСТУЖЕВ (МАРЛИНСКИЙ)

ЛАТНИК

Рассказ партизанского офицера

Мы гнались за Наполеоном по горячим следам. 22 ноября послал меня Сеславин очистить левую сторону Виленской дороги, с сотнею сумских гусар, взводом драгун Тверского полка да дюжиною донцов. Местом сбора назначено было местечко Ошмяны, и я, получив приказание, что делать и чего не делать, на рысях пустился проселками. День был не морозен, но туманен, и порой перепархивал снежок — лихая пороша на зверей и неприятелей. Впрочем, и без нее легко можно было узнать, где прошли французские отряды: взорванные ящики, брошенные повозки, павшие кони и, что всего ужаснее, замерзшие солдаты устилали дорогу. Мы, правда, уж привыкли к подобным картинам и хладнокровно ехали мимо трупов, распухших и посинелых от антонова огня, не заставляя даже усталых коней своих через них перепрыгивать. На лицах этих несчастных видна была тяжкая печать мучительной кончины. Я бы привел туда молодцов, которые, сидя на печке, уверяют, что смерть от мороза — сладкое усыпление; они увидели бы там всю постепенность борения с одолевающею судьбою, борение судорожное, отчаянное тем более, что они обнажены были товарищами заживо,— чувство самосохранения заглушало тогда во всех сердцах голос сострадания, человечества и братства; мертвецы валялись обнаженные, и лишь снег одевал их холодным покрывалом своим. Отсталые и, как видно, последние были еще не совсем раздеты, но одежда их была плоха, изорвана, ноги обернуты соломою; и так велика была неопытность французов, что у многих из них на спинах веяли бараньи шкуры сверх мундира, вместо того чтоб надеть их под испод. Иные сидели и лежали у потухших огней, с которыми потухла в них жизнь; другие сгорели полуживые, не могши от истощения отодвинуться. Всех более поразил меня гренадер старой гвардии: глядим — он стоит вдали, опершись о ружье; подъезжаем ближе — он мертвый. Густая медвежья шапка оттеняла сдвинутые страданием брови и закатившиеся его глаза; из-под огромных усов, на которых недвижимо низался иней,

сверкали стиснутые зубы. Он был ранен в грудь, и кровь, струившаяся на снег, замерзла на нем клубами.

Под моей командою был прекрасный молодой человек, поручик Зарницкий, и волонтер Кравченко, полковой аудитор, который, видя, что в народную войну нужнее сабли, чем перья, бросил артикул и принялся разрешать гордиевы узлы по-александровски. Малый добрый, храбрый как пуля, зато и тяжелый как свинец, из которого она вылита.

Мы все трое подъехали к замерзшему и с содроганием смотрели на его выразительное лицо. Казалось, душа его улетела к милой родине в последнем взоре, но, улетая, оставила в чертах следы прежней гордости и отваги: движение губ выражало презрение боли, его победившей. Он прижимал к груди товарища своих походов — неизменное ружье, и на этой груди виделись раны — свидетели битв, и крест Почетного легиона — порука храбрости, звезда победы.

— Бедняга,— сказал аудитор,— как не жаль эдакого молодца, хоть, между нами будь сказано, и француза: ведь в любой полк во флигельманы годится.

— Завидная смерть! — сказал я.— Он умер с оружием и стоя.

— Зато какого имени стоит этот Наполеон, бросая таких людей на жертву своему властолюбию! — возразил поручик с негодованием, показывая на мертвеца и на кровавый след его.— Эти кровавые буквы — приговор его осуждения!

— Попадись только Наполеон к нам в когти,— подхватил с жаром наш коротенький аудитор,— я как раз подведу законец, чтобы его, яко не имеющего дворянского звания, прогнать за побег сквозь строй шпицрутеном, а за мятеж *весьма* лишить живота!

Так разговаривая, приближались мы к лесу. Двое самых расторопных казаков почти за версту впереди оглядывали дорогу, а несколько других тянулись по бокам и сзади отряда. Вдруг завидели мы, что один из них стал на месте, между тем как другой начал разводить на скаку круги шире и шире. Зная, что это значит, я выстроил людей справа по шести.

— Сабли вон и стой! Равняйся!

Поджидаю, что будет. Страх люблю видеть русского солдата перед делом. Каждый, оглядывая кремень и стирая ногтем полку, шепчет товарищу: «Слава богу, добрались до них!» И потом с такою непритворною на-

божностию крестит грудь свою, с такою теплою верою взглядывает на небо! И потом так гордо встряхивается в седле, так уверенно смотрит из-под руки вдаль, как будто говорит: «Ну, сколько вас там, бусурманы? Подавай их сюда!»

Синий дымок взвился с пистолета передового казака — и долго после услышали мы выстрел. Казак уже несся к нам навстречу, между тем как товарищ его принялся кружиться перед опушкою и выманил несколько выстрелов.

Неприятель сказался — вперед!

В тот же миг мы выстроили взводную колонну и пошли рысью к лесу.

— Много ли французов, земляк? — спросил я у казака.

— Словно крупа сыплется; да с ними и пушки есть,— отвечал он.

— Тем лучше,— вскричал поручик Зарницкий,— авось они стрельнут в меня Георгиевским крестом!

Скоро мы были на полвыстрела от опушки, однако ни одна пуля не встречала нас. Это что за известие?

Чтобы не наткнуться на засаду, я не прежде ввел своих в лес, как уверившись, что неприятель стянул своих стрелков на дорогу. Спешив драгун с примкнутыми штыками, я оседлал ее, раскинув по чаще в обе стороны застрельщиков. Мы скоро нагнали отступающих французов; отряд их состоял из батальона пехоты при двух орудиях. Жалко и страшно было смотреть на обезображенных усталостию, морозом и голодом гренадеров; смешно бы было видеть их костюмы, если б мы сами не были убраны чуть не так же. И у них и у нас были люди в рясах, в балахонах, в женских шапочках, у кого нога в лапте, у кого в сапоге; мой вахмистр, лихой рубака, целых два месяца щеголял в салопе какой-то купчихи, а я сам был завернут в ковер, посереди которого прорезал место для головы. В столицах смеялись карикатурам бегства французов из России, но поход и бивачная жизнь нарядили и нас в их мундиры; пестрота была невообразимая!

Французский отряд шел медленно, зато в непроницаемом порядке, и с каждым разом, как мы порывались ударить на них, обращался и, твердой ногой ставши, отстреливался. Батальонный командир вился около своих, ободряя их словом и примером. «Allons, courage, mes enfants,— montrez les dents, camarades, serrez vos rangs,

halte! Criblez-moi d'importance ces flandrins: ça tient le cœur chaud; filez, filez, vous dis-je... feu!» [1] — и тому подобные приговорки лились у него рекой.

Всякий раз, когда перемежался огонь, голос его слышался громок и внятен. Видя невозможность успеть в нападении по узкой тропинке, мы следовали за ними, по временам меняясь пулями и бранью, которая со времен Гомеровых есть вечный припев сражений и подстреканий удальцов. Неприятельские орудия, подернутые морозом, скрипя и гремя цепями, прыгали через коренья литовских сосен; худые кони, натужась в упор, едва тащили их по гололедице — рвались, скользили, падали; наконец мы заметили, что одно из орудий стало отставать, отставать, и французы, видя, что ни бичом, ни криком нельзя ободрить коней, отпрягли их, загвоздили затравку, изрубили спицы и бросили пушку на дороге.

Разумеется, что и мы сделали то же. Куда нам было возиться с этою дрянью; в двенадцатом году пушками хоть пруд пруди. Мимоходом сказать, большая часть кавалерии и артиллерии наполеоновской погибла не столько от недостатка в кормах, как от безделицы — от неуменья ковать лошадей на шипы. Бедняги на гладких французских подковах оставались, как раки на мели, на чуть-чуть гладкой дороге, и мы нередко ремонтировались брошенными конями, излечая их гарнцом овса и парою цепких подков.

Но лес начал редеть; неприятель выстроил колонну и сдвоил шаг, чтобы через поле скорее добраться до замка, который вдали выглядывал из-за деревеньки. Я усилил фланкеров.

Казаки и гусары мои налетали на колонну, как ласточки на ястреба, и щипали его по перу; одни за другими падали французы на следы свои, порой валился и русский. Мне наскучили эти шутки.

Выбрав чистое место, я развернул фронт, в надежде смять натиском неприятеля и захватить пушку,— но он угадал меня, на бегу выстроил каре, маскировал орудие и стал недвижим. Люди у меня были сорвиголова, наезжены лихо, оружием владеть мастера, прокопчены порохом до костей и так приметались ежедневными

---

[1] Ну, смелее, ребята,— огрызайтесь, смыкайте ряды, стой! Сбейте спесь с этих бездельников: это воспламеняет сердце; стреляйте, стреляйте, говорю я вам... огонь! *(фр.)*

стычками к нападениям, что слушались слова начальника пуще пули неприятельской; со всем тем атаковать опытную пехоту конницею — заставит хоть у кого прыгать ретивое. Впрочем, фланговые и замочные унтер-офицеры — это нравственное основание строя — были у нас в отряде народ отличной храбрости. Ходили мы в атаку не иначе как рысью, затем что нестись во весь опор за версту кончается обыкновенно тем, что строй разорвется, многие кони задохнутся, многие понесут и лишь одна горсть отважных доскакивает до неприятельского фронта и, опрокинутая, улепетывает назад быстрее натиска. Кричать «ура» не было заводу, затем что те, которые ревут прежде всех и раньше поры, первые осаживают под шумок коней и оттого расстроивают купность удара. Напомнив гусарам, что и как должны они делать, я повел атаку ровно, смело. Мерзлая земля загудела под мерною рысью; уланские пики, которыми тогда вооружены были и гусары, залепетали флюгерами, и бренчанье оружия раздалось в осеннем воздухе; все это покрывалось изредка словами: *равняться, не волноваться, не заваливать плеч!* В неприятельском фронте была смертная тишина, мы близились быстро; можно уж было различать бледные лица и сверкающие над стволами глаза гренадеров под наклоненными их шапками. В ста шагах я скомандовал марш-марш и с поднятою саблею кинулся на рогатку штыков; в то же мгновение за криком *feu!*[1] грянул пушечный выстрел, картечи запрыгали около, и густой батальный огонь покатился вдоль фасов,— он развеял наш фронт как пух. Кони смешались, на раненых спотыкались здоровые, мы принуждены были обратиться назад. Картечь и штыки — нестерпимые вещи для лошадиной натуры. Три раза еще порывались мы пробить каре, и три раза были отбиты. Я грыз зубы. Поручик бесновался... но делать было нечего. Пришлось, сберегая людей, ограничиться перестрелкою, ожидая удобнейшего местоположения или времени. Завязать дело было необходимостью, чтобы развлечь внимание неприятельского корпуса. Пускай себе думают, что мы, обманувшись, преследуем Наполеона проселками, между тем как наши летучие отряды катились у него на шпорах.

Так догнали мы храбрых своих врагов до небольшой деревеньки при замке Треполь. Между тем люди и кони

---

[1] огонь! *(фр.)*

мои изнурились давним налетом как нельзя более,— надобно было освежить тех и других, а в поле ни стога сена, в саквах ни крошки сухарей; волей и неволей приходилось добыть себе хлеб насущный и ночлег в деревне, прогнав из нее неприятеля. На русского солдата всего сильнее действует такая логика, и когда я объявил им в чем дело, они с жаром кинулись выбивать французов из засады. Впереди шли драгуны в штыки, гусары с карабинами подкрепляли их, казаки зажигали домы с боков,— это подействовало: мы потеснили их до самого замка, ворвались во двор, и, наконец, они заняли только самый корпус дома панского и в нем отстреливались тем отчаяннее, тем безопаснее, что взвезли на подъезд свое орудие и очищали им весь двор, сквозь огромные двери сеней. С других сторон окна были высоко от земли, и потому самою выгодною точкою нападения оставалось орудие, во-первых потому, что к нему и мимо его в дом можно было взбежать по подъезду, а в окна под ружейным огнем — плохая дорога; во-вторых, проникнув в средину, мы бы разрезали осажденных на две половины и, следственно, могли гораздо легче с ними управиться. Чего долго думать.

— Ребята, вперед, ура, в штыки, в дротики! За мной! — закричал мой поручик и бросился на пушку с охотниками; выстрел сверкнул — и наших обдало как варом. Зарницкий упал со стоном, и солдаты отступили в беспорядке. Я был впереди, кричал, сердился, приказывал, грозил — все даром: люди мои будто ничего не слыхали, перестреливаясь издали, медленно, лениво,— я кипел негодованием и досадой.

Вдруг, видим мы, несется к нам на рыжем коне всадник, в черных латах, в блестящей каске, из-под заброшенной за спину шинели сверкал штаб-офицерский эполет. Прискакав под выстрел, он спрыгнул с коня и обнажил палаш свой.

— Вперед, вперед! — крикнул он.— Сомкни ряды. Господин ротмистр, вы должны непременно взять этот замок! Ребята! вы русские,— вам стыдно отступать, за мной, товарищи; я ваш начальник; смерть тому, кто отстанет,— на руку, ура!

С этим словом он кинулся к стене, не оглядываясь назад, как будто уверенный, что магический пример его увлечет всех за собою. И в самом деле, нежданное появление этого латника, его колоссальные формы, его бесстрашная осанка, его повелительный голос показа-

лись солдатам чем-то сверхъестественным; они ожили, посильнели.

— Ура! — раздалось в ответ на призыв латника, на усиленный огонь французов, и все мы кинулись к подъезду, вынося друг друга на плечах; выстрел, картечь через головы, пошла резня рукопашная. Мы ворвались в комнаты, и дело решилось. Кирасир рубил без пощады; каждый взмах его падал смертью,— он рассек голову французскому батальонному командиру, едва тот успел завалить затравку, и несчастный упал в крови через лафет; солдаты мои остервенились потерею многих товарищей и с ожесточением кололи всех французов и вооруженных шляхтичей, упорно против нас защищавшихся.

Картина была ужасная!

Пороховой дым густыми облаками ходил по залам; кровь, смешанная с рассыпанным порохом, залила паркет, на котором лежали, между множеством трупов, украшения потолка, обрушенные от выстрелов. Разъяренные победители ломали мебели, били стекла и зеркала, обдирали обои; наконец, вызванные из замка для фуражировки, добычи, гораздо для них нужнейшей самого золота, они рассыпались по деревне, и в замке все утихло. Воображать себе, что солдаты в военное время так смирны, как это пишется,— надо быть или очень легковерну, или вовсе слепу: общая опасность уравнивает больше или менее все чины, а необходимость заставляет глядеть сквозь пальцы на некоторые своевольства. Так идет в строю; в летучем же партизанском отряде, которого главная цель есть вредить неприятелю всякими средствами, вести, так сказать, разбойничью войну,— еще более случаев пограбить за глазами начальников. Следуя правилу своему — расхищать, что могут найти, истреблять, чего нельзя унести, чтобы врагу не досталось ни синего пороха, ни соломинки на кровлю, ни прутика для огня,— мои молодцы с особенною ловкостию пустились шарить и шныхарить. Взяв все предосторожности от внезапностей, я велел караульным разложить в одной из комнат, менее других пострадавшей, огонь в камине и перенес туда оконтуженного поручика. Он кряхтел и бранился, между тем как фельдшер натирал ему больной бок спиртом. Я, усталый, лежал перед огоньком на гусарских плащах. В окно светило зарево пожара, и от времени до времени слышались в селении пистолетные выстрелы.

— Проклятая пушка! — приговаривал, охая, Зарницкий при каждом разе, когда фельдшер касался до контуженного места.— Она, словно клад, не давалась мне в руки. Под Красным французская сабля мне хотя прорезала на груди петлицу, да по крайней мере я вдел в нее «Владимира» с бантом, а эта упрямица отбоярилась от меня одним чугунным поцелуем. Ох, проклятая пушка!

— Утешься, Зарницкий, она не ушла от нас! — сказал я.

— Да не пойдет и с нами. Дорога еще не окрепла, кони истощены, и колеса будут резать за ступицы. Она свяжет нас по рукам и по ногам; при летучем отряде не впору ползти этому медному тюленю.

— О перевозке не заботься: я уж велел положить ее на розвальни, и тебя жалую начальником всей нашей зимней артиллерии.

— Эта зимняя артиллерия нагрела мне бок не хуже Петровок; да скажи, пожалуй, куда девался этот кирасирский великан, который выхватил у меня пушку из-под носу? Когда я очнулся, то в облаках серного дыма он, в белом мундире и в латах своих, показался мне за привидение. Нечего сказать, удалец,— он крошил палашом своим, как будто в кулаке у него сидел целый легион чертей, и метался в схватке, будто на нем надета была заговоренная кожа Ахиллеса. Не убит ли, не ранен ли он?

— Не знаю. Видел его я до самого конца дела, в запальчивости он истреблял встречного и поперечного; не было пощады даже тем, которые просили пардону. Кровь струей бежала с его клинка, с особенною, какою-то дикою радостью рубил он вооруженных врагов, и всякий раз, когда человек падал трупом к ногам его, он, вглядываясь в лицо, восклицал: «Это не он! все еще не он!» и спешил далее. Мне сказывали — увязавшись за кем-то в погоню, он исчез в потемках... Может статься, где-нибудь и застрелили его... Я велел всюду его искать, но до сих пор еще не нашли латника.

— Нашли, нашли! — кричал, вбегая, запыхавшись, наш кубический аудитор.— Ура! наша взяла! Мир России, слава и честь аудитору двенадцатого класса Кравченке; поздравьте меня, обнимите меня, расцелуйте меня в лепестки. Уф!.. я не могу более...

При этом он упал в кресла и, пыхтя, с гордым видом поглядывал на нас свысока. Мы с улыбкою взглянулись,

желая найти на лице другого разгадку этим междометиям.

— Теперь мое имя будет сиять не в одних скрепах шнуровых книг — оно загремит в реляциях, в газетах, в историях!..— продолжал Кравченко, собравшись с духом.— Да, да, в историях!

— По крайней мере в какой-нибудь комедии,— сказал поручик, следя глазами аудитора, который в припадке самодовольствия вертелся и прыгал по комнате, словно кубарь.

— Чинов, крестов, пансионов — бери не хочу! Да то ли еще? На меня сбегутся смотреть стар и мал, когда я приеду в Петербург, как на моржа, который в кадке играет на гитаре. Меня наперехват будут звать вельможи на обеды, а про места и говорить нечего — хоть в министры юстиции; впрочем, господа, я и в счастии не позабуду вас... Вы, пожалуйте, обращайтесь ко мне по-дружески, если припадет нужда,— для кого же и не послужить в случае, когда не для старых приятелей? Кстати, господа, вы будете моими дружками, когда я женюсь на дочери Платова!..

Мы долго смотрели серьезно на его проказы, как он, подымаясь на цыпочки, воображал, что задевает носом за облака; мы долго слушали его нелепости, но при последнем восклицании хоть и уверились, что он рехнулся, но никак не могли удержаться от смеха,— так забавен был наш маленький человечек. В свою очередь и он с удивлением глядел на нас из широких кресел, как сытый кот из слухового окна; он не постигал, чему хохочем мы, схватясь за бока.

— Не проглотил ли ты, любезный Лука Андроныч, чертенка вместо мухи? — спросил поручик.

— Не опоили ли тебя французы дурманом? — сказал я.

— Или не хочешь ли ты прикинуться сумасшедшим, чтобы поправить прежнюю репутацию своего рассудка? Авось скажут, коли сошел с ума, верно было с чего,— подхватил Зарницкий.

— Не худо бы вам успокоиться,— примолвил я.— От бессонницы долго ли приключиться белой горячке?

— Советовал бы я вам пустить себе самим рожечную кровь...— отвечал с досадою Кравченко.— Экая невидаль — дочь Платова! Да чем бы я не зять атаману? Ведь он сам объявил всем и каждому циркулярно, что, кто захватит Наполеона, за того он отдаст дочь свою,

будь он простой казак, не только аудитор двенадцатого класса, представленный к получению «Анны» на шпагу! Разве не слыхали вы этой новости? [1]

— А вы небось ей поверили? Знайте же, господин аудитор двенадцатого класса, представленный к получению «Анны» на шпагу и проч., и проч., и проч., что у Платова нет дочери-невесты, что он никогда не думал и не гадал объявлять подобного предложения. Но если б даже, по щучьему веленью, а по вашему хотенью, у него и была бы дочь, если б даже нелепая лотерея эта была в самом деле вещь сбыточная,— я все-таки не вижу, почему бы наш Лука Андронович мог иметь право на ее руку?

— Не только на ее руку, ротмистр, на ее обе руки, на нее всю с головы до ног, с душою и сердцем и с богатым приданым барыша. Да неужели я до сих пор не объявил вам о славном моем подвиге, о счастливой находке своей? Там, в темном подвале, в самой трущобе, между хламом и ломаною мебелью, знаете ли, какой клад открыл я?

— Верно, бочонок с водкою или свиной окорок,— хладнокровно отвечал поручик.— Я не знаю, что бы иначе могло до такой степени переболтать все параграфы умственного артикула в голове нашей полевой юстиции!

— О, зависть, зависть! — вскричал Кравченко, поднимая свои телячьи глаза к потолку.— Едва успел я отличиться, меня заране хотят унизить насмешками, отбить славу клеветою. Пусть! Разве не все великие люди имели такую же участь,— да хотя бы и не все?.. Я тем не менее свершил дело знаменитое и заверил его законными и уважительными свидетельствами; теперь никто в свете не оспорит, что я этими руками взял в плен Наполеона!

— Наполеона? — вскричал поручик, вскакивая со стула невольно.— Наполеона, который уже два раза ускользнул у нас между пальцев, вы, сударь, ты, Кравченко, взял Наполеона?

— Я, сударь, я сам взял Наполеона с мясом и с ко-

---

[1] Кто не помнит этого слуха во время Отечественной войны? Это была выдумка, но выдумка, характеризующая дух народный; она объяла всю Европу. Я видел английскую картину, изображающую прекрасную казачку с надписью: «Miss Platoff», и внизу: «I join my heart to my father's will», то есть предаю сердце к воле отеческой. *(Примеч. автора.)*

стями, говорю я вам!.. Неужто я не знаю его покляпого носа, его зеленых глаз, его синего мундира и шляпы корабликом? Разве не двадцать раз видел я его — во сне и на карикатуре! Да вот он и сам — лукавый легок на помине.

Мы оба очень мало верили проницательности аудитора, еще меньше — возможности захватить на этой дороге Бонапарта; но достичь его было самою меткою мечтою, самым пылким желанием, так сказать, осью помешательства,— и в этот раз, по обыкновенной всем людям слабости к вестям самым несбыточным, впали в раздумье. «Чем черт не шутит! — ворчал поручик.— Легко статься может, что Наполеон нарочно кинулся проселками, обманывая погоню! Может, истребленный батальон был его конвоем!.. Из чего бы иначе им так упорно было драться!» В таких мыслях бросились мы к дверям, в которые входила толпа наших наездников с пленным посереди.

— Вот он, вот он!—шумели гусары. Они уж вспрыснули победу некупленною водкою, и были, что называется, навеселе, и еще более расхорохорились от уверений аудитора.

— Я первый увидел его, ваше благородие! — сказал, выступя вперед, рослый драгун.

— Я первый нашел его! — восклицал другой, пристукивая каблуком, чтоб его не забыли, так мочно, что с потолка падала известь.

— Я первый схватил его!..— уверял казак.

— Я вытащил, я держал за руку, за ногу, за шею!..— кричали другие.

— Без нас он бы дал стречка! — вопияли третьи.

Я велел всем молчать.

— Подведите-ка пленника ближе к огню.

— Бросьте в огонь — только дайте мне расписку, что получили от меня Наполеона в целости,— ворчал аудитор сквозь зубы.

Пленник приблизился, и мы с жадностию, почти с трепетанием страха и надежды устремили на него глаза: перед нами стоял тамбурмажор какого-то егерского французского полка, с преглупою и вместе с прежалкою рожею; общипанный мундир с полинявшими галунами, треугольная шляпенка на голове и на ногах вместо сапогов русские рукавицы — вот в каком виде представился нам двойник всемирного завоевателя. Надобно к этому прибавить, что, избегнув побоища, он был

бледен как смерть, исключая носа, из которого и сам страх не мог выжать винного румянца. Он трепетал всем телом, потому что солдаты в жару патриотизма провожали барабанного императора, кажется, не одними угрозами.

Мы покатились со смеху. Аудитор между тем, выставя одну ногу вперед и водя чуть не по лицу пленника указательным пальцем, начал разбирать его по частям.

— Видите ли вы этот желтый, пергаменный лоб, на котором написаны его сатанинские замыслы? Видите ли этот ястребиный нос, который за тысячу верст чует добычу? Видите ли зеленые как у змея глаза, которыми он наяву морочит человека, эти коротенькие руки с длинными когтями, это крутое брюхо, которое было несыто, проглотив целиком Европу?.. Видите ли, что у него на лице написано число 666, он же есть антихрист, сиречь Аполион, то есть Наполеон Бонапарт?

— Прокатись-ка верхом, любезный Лука Андронович, на этом пленнике, ты будешь точно грех на звере Апокалипсиса!

— Не под седло, а под нозе русских надо низвергнуть этого супостата. Зачем ты навалился на Русь с двудесятью язык? Говори, отвечай! Не заминайся! — вскричал аудитор.— Признайся... кто у тебя были на Руси сообщники?

Бедняга тамбурмажор стоял ни жив ни мертв и дрожал словно осиновый лист, видя, как петушится около него аудитор, которого, без сомнения, он считал по крайней мере главным начальником отряда. «Mon capitaine, mon colonel, mon général» [1],— твердил он ему при каждом слове, прося пощады; но тот не хотел принимать от корсиканского выходца ни даже маршальского достоинства. Наконец нам стало жаль этого конеечного Наполеона, и я, попрося нашего героя успокоиться, сказал ему, что он очень ошибся в своем призе — что это ни больше, ни менее, как французский тамбурмажор, то есть почти барабанный староста.

— Хитрости, притворство, лицемерие! — воскликнул наш аудитор.— Вот еще новости — тамбурмажор! По барабану этого старосты плясала вся Европа, так пускай теперь спляшет по нашей дудке. Как ты ни зо-

[1] Капитан, полковник, генерал *(фр.)*.

вись, мусье Наполеон, чем ты ни прикидывайся, а не миновать тебе железной клетки, как Пугачеву: будешь в птичьем ряду в Москве на потеху ребятишкам! Вы, господин ротмистр, как я усматриваю, хотите изменить отечеству и отпустить этого антихриста,— так знайте, что если это сбудется, я донесу обо всем высшему начальству... Будьте уверены, я возьму свое... Ни пенсия, ни приданое не ускользнут от моих рук!

Я вовсе не был расположен сердиться и потому очень скромно, однако ж твердо сказал ему, чтобы он не вмешивался в мои распоряжения; что если мне дана власть, то, само собой разумеется, возложена за нее и ответственность, только не перед ним; что по окончании наезда он может доносить что угодно и кому угодно, но когда будет писать об этом приключении, то не худо бы прибавить туда статью: что он, г-н аудитор двенадцатого класса, представленный к ордену св. Анны 3-й степени, был не в полном разуме.

— Эта статья будет излишняя,— заметил поручик, пуская ему под нос клубы дыму,— и без нее никто в этом не усомнится. Впрочем, я не знаю, любезный ротмистр, почему бы не послать в главную квартиру Луку Андроновича курьером вместе с этим Наполеоном, они развеселили бы всю армию на целую неделю.

Аудитор принял это за чистые деньги и вытянулся, как фельдъегерь, готовый получить подорожную. Но я в таком же тоне возразил, что, по недостатку в нашем отряде хлеба и водки, для нас самих необходимо подобное ободрение. Я велел, между прочим, стеречь этого пленника да осмотреть его.

— И всеконечно осмотреть! — вскричал аудитор.— Говорят, сопостат завсегда носит в перстне яд. Умри он — так и поминай как звали дочь Платова, невесту мою.

— Разумеется, осмотреть,— примолвил насмешливо поручик,— того и гляди, что у него нос заряжен картечью: сохрани боже чихнет, так и жениху не уйти.

— Мы уж и то обшарили его до самой кожи, ваше благородие,— отвечал один из гусаров,— да ничего не нашли в карманах, кроме двух накрахмаленных воротников и фабренной щеточки!

Рассерженный аудитор уселся в углу, что-то ворча про себя. Пленника увели очень довольного, что избегнул побоища по счастливой ошибке. Мы с поручиком уселись у огня. Не прошло пяти минут, к нам опять

тащат другого пленника: казаки, которые чуют золото лучше всякого горного офицера, то пробуя шомполом стены и пол на звук, то наливая воду на землю, чтобы угадать по тому, скоро или медленно она всасывает ее, не взрыта ли она недавно, то перерывая даже золу в печках,— казаки, говорю, вытащили с чердака эконома замка, предоброго старика. Ободрив его ласковыми словами, мы от нечего делать принялись его расспрашивать, чей это замок, и то, и се, и пятое, и десятое. Вот вам вкоротке, что рассказывал дворецкий.

— Поместье Треполь — родовое князей Глинских. Последний из них, Наримунт Глинский, мой добрый старый господин,— помяни бог душу его,— имел дочь Фелицию, панну, такую красавицу, что загляденье. Женихов около нее вилось словно пчел около майского розана, только она от них отшучивалась,— видно, мила ей казалась воля девическая. В околотке, года за три до этого, расположена была русская артиллерийская рота... Ею командовал капитан... дай бог памяти, имя такое мудреное, что нейдет ни в ум, ни из памяти. Собою был он человек рослый, видный — молодец лицом и поступью, а уж сердцем да обычаем так что твоя красная девушка! Он стоял в замке... с панной Фелицией бывал с утра до позднего вечера... Молодежь-то крепко полюбилась друг другу, да и сам князь был не прочь сыграть свадьбу, благословить дочь за капитана: он страх любил русских, все, бывало, говаривал, что он сам русской крови. Вот уж дело пошло и на ладах. Капитан был повещен женихом панны Фелиции; он и она были чуть не в небе от радости; да и вся дворня и хлопы, не то что соседи, не нарадовались, что у них будут такие добрые господа. На беду ли, на грех, перед самым шлюбом (свадьбою) пишет мать капитану, что она больна и хотела бы благословить его своей рукою, на советную жизнь и на всякое счастье... Капитан свернулся мигом в дорогу... Слез-то, слез было на расстаньях, что не приведи господи, индо вчуже сердце разрывалось. Панна Фелиция упала в обморок, когда он сел на коня, ветер замел следы его на песке,— бог не судил жениху воротиться. Здесь жил тоже дальний родственник старому князю, грабе Остроленский. Лицом, нечего сказать, красавец, зато душою вьюн; он опутал старика сетью шелковою, да и к жениху подпал он таким другом, что ни тот, ни другой не пили, не ели без него. Промежду тем он исподтишка больно

зарился на панну Фелицию и спрятал в сердце досаду, когда капитан оторвал у него от губ подвенечную чару. Чуть уехал капитан, грабе стал рассыпаться мелким бесом пуще прежнего: улещает старика, плачет, словно от луку, с невестою. Уж не ведаю, как это сталось, только мы стали получать от капитана письма день ото дня реже, и с часу на час холодел к нему старый князь Наримунт. Вестимо, панове, дело заглазное; оправдать его было некому, а наговаривать на далекого нашлись добрые люди. Грабе, как жаба, лежал у старика на ухе. Вот и совсем перепала весть о женихе; месяца с четыре ни слуху, ни духу, ни загадочки. Панна Фелиция не осушала очей на солнышке; сидит, бывало, в своей комнате под окном, глядит на дороженьку да горюет, бедняга. Привозит однажды ездовой из города почту. Господа в то время сидели за столом тихо, печально, словно на похоронах. Только пан грабе шутил и смеялся, чтобы развеселить гостей. Подал ездовой князю связку писем, наверху одно с черною печатью. Открыл князь, прочел его и молча передал дочери... Не успела та заглянуть в него — вдруг побледнела, как платок: то была страшная весточка для невесты — жених ее умер.

Время текло у нас тише воды; в гостиных было как на кладбище. Не прошло полугода, слышим; объявляют, что пан грабе Остроленский женится на нашей ксенжничке (княжне)! У девушек коротка память, панна Фелиция, однако ж, не забыла прежнего милого; ее принудили выбрать другого. Отец твердил то и дело: «Я не проживу долго, дай себя увидеть не сиротою, выйди да выйди замуж за грабия»; надо было потешить отца на старости лет. У нас отпраздновали свадьбу. Нечего и говорить, что всего было вдоволь, всего, кроме радости, про любовь ни помину. Не прошло месяца, все оборотилось у нас вверх дном. Пану грабе нужно было не сердце, а приданое Фелиции. Старик отдал ему полную волю в доме и в именье, да и стал у себя первым невольником. Никому не стало житья от нового господина. Он сбил со двора даже старых собак, не то что покоевцев и ловчих. А уж глядеть на нашу милую пани Фелицию — так сердце кровью заливается: чего-то, чего она не перенесла от злости мужа! Попреками да укорами отравлял он ей каждую ложку за обедом и, наконец, до того мучил ее, что заставил принимать к себе свою отъявленную любовни-

цу — настоящую змею подколодную, которая, бывало, спит и видит, как бы огорчить нашу голубку своею наглостью. Бедная графиня сохла, как былинка на камне, таяла, как свеча воску ярого, плакала перед одним паном богом и молчала перед добрыми людьми. Правду сказать, добрые люди скоро покинули замок наш, ворота заросли травою, и двери в столовой приржавели к петлям,— бог снял свое благословение с маионтка княжего после смерти старика Наримунта. То дождь вытопит луга, то град побьет хлеба, то зверь попортит стадо; а карты, эта бесовская грамота, рассыпали по чужим карманам дедовское серебро и золото. Напировавшись со своими панибратами досыта, граф стал уезжать бог весть куда. Настала осень, желтый лист засыпал дорожки сада, однако барыня, не глядя на ветер, бродила по нем будто на прощанье с божьим светом. В один день в сумерки (тут дворецкий оглянулся во все стороны, и, уверясь, что его никто не подслушивает, перекрестился, и, понизив голос, продолжал) — это рассказывал мне покоевец, который завсегда издали ходил за нею... в один день в сумерки она возвращалась тихими шагами в замок, печальна, бледна, потупив голову... как вдруг перед ней стал всадник на вороной, как воронье крыло, лошади... Покоевец присягал на свою душу, что все двери сада были заперты накрепко и что он не слыхал ни топоту, ни ржания конского,— он явился как тень, спрыгнул долой и схватил графиню за руку. Между тем как перепуганный покоевец стоял как вкопанный, всадник что-то тихо и долго говорил с нею... что-то похожее на поцелуй раздалось впотьмах, и вдруг графиня застонала пронзительно... Когда слуга подбежал к ней, черного всадника уж не было! Наутро не нашли даже конских следов по дорожкам сада. Спрашивать о том графиню никто не смел; сама она молчала. Когда ей после этого испуга предложили лекарства, она отвечала, что все напрасно... что она знает наверное час своей смерти и что, едва прорежется рог у нового месяца, ее не станет. С той поры в каждую пятницу сиживала она по вечерам в этой самой комнате, одна-одинехонька с своею собачкою, до поздней ночи, без свечек... и словно с кем разговаривает. Здоровье ее стало на закате, час от часу плоше: похудела, хоть насквозь гляди... И вот на ущербе месяца ей стало очень трудно, а все еще на ногах бродила. В четвертую пятницу она опять пришла сюда

сидеть у этого окошка и глядеть на поле, покрытое снегом. Било уж одиннадцать ночи... Вдруг все ее ближние послышали: кто-то всходит тяжелой стопой на лестницу. Что за диво! Наружные двери я сам запер крепко-накрепко. Слушаем: чудится, будто графиня с кем-то разговаривает... Тише, тише, тише, все утихло. Со страхом вбежали в комнату ее паны, глядь — графиня лежит на софе в обмороке... Назавтра поутру приехал грабе из Вильны, и в следующую ночь,— когда блеснул ноготок молодого месяца,— она скончалась. Радость, которую наш пан не хотел и скрывать, мучительная кончина графини так скоро после его приезда и синие пятна, проступившие на лице покойницы,— все это, панове, свело на него подозренье, будто графиня умерла от яду. И то сказать: кого не любят за дело, на того сплетают и небылицы... Бог судья, правда ли это; осудитель бог, если это правда! Только граф, едва переждавши три месяца после похорон, женился на прежней своей любовнице. Сказывали, что на кладбище у кляштора, где положена графиня Фелиция, три раза после того являлся черный всадник неведомо откуда, скрывался неведомо куда. Так прошло два года. Грабе наш, схоронив с первой женой совесть последнюю, разорил крестьян, измучил всех нас и, наконец, отослал в землю и вторую жену. После этого, слава пану богу, он уехал служить во Францию, и с тех пор мы не видали его до вчерашнего дня; он воротился беглецом из Москвы, как раз возмутил всю околицу, скликал шляхту, вооружил неволею слуг и хлопов своих, чтобы драться против русских, до смерти: ему, вестимо, не жить в родине — именья и доброго имени не выкупить из черного долга. Вы видели, что он рубился напропалую. Однако ж у него в саду заготовлена была лошадь для побегу, и наши сказывали, что пан ускакал, когда увидел беду неминучую. Дай пан бог, чтобы он никогда к нам не ворочался!

Старик кончил. Я успокоил и выслал его.

Аудитор спал в углу, сидя, мертвым сном; поручик сидел в глубокой думе перед камином. Простой рассказ дворецкого нас тронул обоих.

— Как несправедливо жалуются писатели, будто мы живем не в романическом веке! — сказал я.— Пусть заглянут в деревни, в маленькие городки, где еще не истерлась характерность и особенность с лиц, и они найдут неисчерпаемый источник, ключ прямо русский,

самородный, без примеси. Притом, покуда существуют страсти и слабости, развиваемые обстоятельствами или связанные узами приличия, человек всегда будет любопытен, занимателен для человека; каждый век только обновляет новыми образами сердце. Я уверен, что, перебравши тайные предания каждого семейства, в каждом можно найти множество разнообразных происшествий и случаев необыкновенных. Сколько ужасов схоронено в архивной пыли судебных летописей! Но во сто раз более таится их в самом блестящем обществе! Я знал многих, которые подписывали чуть не смертные приговоры с гордым лицом, на котором бы должно лежать заслуженное клеймо отвержения; я знал людей, которые громко вопияли против порока и не заглушили тем голоса сознания в собственных злодеяниях!! Но, оставя умышленное, сколько еще остается случаев от неведения, от неопытности, от заблуждения!

Зарницкий молчал.

Он был из числа тех людей, которых мы привыкли называть мечтателями: от самой шумной веселости, от самого насмешливого разговора отпадал он вдруг в глубокую думу, в грусть неразвлекаемую, и тогда вы бы сказали, глядя на его неподвижные очи, что пред вами один труп его, а душа улетела. В другое время, напротив, вы бы могли видеть на лице его всю игру мыслей, как работу пчел в стеклянном улье. В этот раз он будто пробегал даль: то словно сам чего-то бежал с робостию, то улыбался младенчески.

— Друг! — сказал я, тихонько ударив его по плечу,— верно, душа твоя была теперь в домовом отпуску?

— Правда,— отвечал он, очнувшись,— тишина и сумерки стелют моему воображению мост на родину. Рассказ этого старика освежил во мне многие картины из моего младенчества, из моей юности. Но всего более эта унылая песня сырых дров, это завыванье трубы, словно призыв какого-то великанского рога, напомнили мне старину, когда, лежа в постели, я любил слушать ветер, стонущий сквозь трубу печки. Чугунная вьюшка звучала, как далекий погребальный колокол, и зимняя вьюга, сыпля иглами инея в стекла, рассыпалась едва слышною гармоникою. Какой-то новый мир, вовсе незнакомый, ощутительный, но безвидный, обнимал меня; какие-то чудные существа теснились к душе... Мне казалось, я слышу лепет их крыльев, шум стоп, жар ды-

хания, невнятный их говор. Еще более... порою предо мной вились, сверкали, огнились символические их письмена, которые вместе были и буквами и живыми образами; самые звуки принимали на себя какую-то неопределенную форму. Не умею выразить, что бывало со мной в этой дремоте: я трепетал, как струна, издающая божественный голос; томный и вместе сладостный ужас пробегал по моим жилам; я хотел постичь его и болезненно сознавался, что природа не дала самой душе органов для вкушения этого безыменного чувства; на меня находила тогда тоска; я походил на человека, который страстно любит музыку и страждет случайною глухотою. Бывало, завернувшись в одеяло с головою, из подобного состояния я переливался в чуткий сон; и в нем еще явственнее, еще живее мои видения кружились около; но тогда я уже сам становился действующим лицом: говорил, как Демосфен, читал неведомые, прелестнейшие поэмы, но от них при пробуждении оставались во мне только ощущение восторга, только слеза умиления. То ли еще: я летал птицею в безднах, я плавал как рыба, я как воздух проницал в глубь земли. Мне виделось, что я мог глядеться в душу свою, и чужие речи и мои мысли вставали, проходили передо мной, *воочью совершались,* как говорят русские сказки. Особые места действия, особый круг знакомства, особенное родство имел я в сонном мире своем; но каков был он, но кто эти знакомцы и родные, память моя не могла схватить, пробудившись совершенно. Зато всякий раз, склоняя голову на подушку, я обнимал ее, как друга-чародея, который унесет меня к милым.

Отрадно плыть во сне туманной Летой,
Забыв часов брящающую медь,
В видениях пожить вне жизни этой
И без кончины умереть!!

Моралисты сулят покой несчастным за дверью гроба; зачем ходить так далеко? Сон есть лучший уравнитель в жизни. Когда вздумаешь, что царь и последний поденщик, богач и бедняк, одинаково проводят треть суток, первые не пользуясь своими преимуществами, последние забывая свое горе,— то какое-то утешительное чувство проникает в душу. Я еще допустил, что счастливец и несчастный проводят одинаково пору сна,— но обоим ли им стелет постель усталость и чи-

стая совесть? Не сидит ли часто раскаяние у золотошвейного изголовья, не дарит ли воображение царскими снами бедняка?

Ты спросишь, откуда пробился ключ этих наслаждений моих, это перемещение сонных призраков в явную жизнь и действительных вещей в сонные мечтания? Мне кажется, этому виною было раннее верование в привидения, в духов, в домовых, во всех граждан могильной республики, во всех снежных сынков воображения мамушек, нянюшек, охотников-суеверов, столько же и раннее сомнение во всем этом. Нянька рассказывала мне страхи с таким простосердечием, с таким внутренним убеждением, родители и учителя, в свою очередь, говорили про них с таким презрением и самоуверенностию, что я беспрестанно волновался между рассудком и предрассудком, между заманчивою прелестью чудесного и строгими доказательствами истины. Куда был перевес: на сторону ли впечатления или на сторону убеждения — угадать нетрудно. Правду сказать, человек всегда предпочитает то, чего он не может постичь, тому, чего постичь нет ему охоты. Эта борьба, однако же, не истребив совершенно моей наклонности к чудесному, отняла у него нелепую одежду, в которую облекло его народное суеверие. Разумеется, чем более мужал мой рассудок, тем приметнее влияние чудесного на меня уменьшалось: образы его бледнели, блекли, исчезали, сливались с пространством, как утренние туманы. Но веришь ли? — до сих пор бывают минуты, в которые готов я почти увлечься поверьями моего детства. И как я люблю переживать вновь годы этого детства! Весна моя расцветает в памяти чудными цветами, причудливыми цветами — со всем их благовонием, со всею свежестию красок; я наслаждаюсь тогда даже минувшими ужасами, и замечу странность: это осуществление минувшего случается со мной наиболее после сильных движений души или тела, после сильных потрясений. Кажется, что ослабнувшие струны организма способнее принимать лад нежных лет наших и от малейшего повева поминки звучат знакомую, любимую песню.

Однако ж рассказ старика дворецкого разбудил в душе моей не одни полуясные, неопределенные воспоминания. Нет! он оживил происшествие, очень подобное им рассказанному, происшествие, близкое моему сердцу. Не сказка и не выдумка, слепленная на потеху

приятелей, будет повесть моя, в ней от слова до слова — все истина.

Дед мой с матерней стороны был князь Х—ий; я будто впросонках вижу его темную, суровую физиогномию, его высокий рост... его жесткий голос. Не знаю, отчего, только я боялся его ребенком как нельзя более. Как ты хочешь, а мне кажется, природа одарила всех тех инстинктом, в которых не развила разума, и дитя, находясь в этой категории, почти всегда безошибочно угадывает в каждом встречном друга или недоброхота. Князь был, можно сказать, неистового нрава — горд своим родом и богатством в обществе, невозразимый деспот в семействе. Как наибольшая часть воспитанников старого века, он людей считал средствами для своих выгод, детей — куклами для забавы; сохрани бог, чтоб они осмелились думать, не только поступать, иначе, как по его воле, то есть по его прихоти. У него были два сына и дочь. Он успел подавить в первых всякое благородное чувство, всякую вспышку разума, и они зачерствели в своем невольном ничтожестве, в своем вечном ребячестве. Их отправил он на службу в столицу. Совсем другое сталось с дочерью. Угнетение, уничижение, под которыми держали ее, пробудили в ней гордую душу, которая без того никогда бы, может быть, не проснулась. Она почувствовала и уверилась, что правда и добро могли существовать и вне речей, вне поступков отца ее. Случай способствовал этому развитию.

Лиза потеряла мать еще в ту пору, когда не могла вполне оценить этой потери, именно по тому самому великой. Отец не удостоивал заниматься ее воспитанием. Он думал, что совершил великое благодеяние, платя мадамам и навербовавши к ней кучу учителей — без выбору и без призору. Нежность его ограничивалась тем, что он утром и вечером допускал дочь к ручке своей да всякий месяц дарил ей на булавки.

В числе учителей Лизы приехал из Москвы недавно выпущенный из университета адъюнкт Баянов. Он был очень статный, умный, добрый юноша; дворянин небогатый, но стоящий богатства. Лизе было тогда пятнадцать лет, и он с жаром принялся за ее образование; уроки были наслаждением для обоих. Она радовалась познаниям, он — успехам своей ученицы. Ничего нет чище, возвышеннее, святее удовольствия, какое чувст-

вуем мы, передавая, вверяя благородные чувства и светлые мысли другим. Тогда мы прилепляемся к ним любовью отеческою; и в самом деле: вложить в человека душу разумную, доблесть живую — не значит ли создать, родить его для добродетели, и не ценнее ли это родство родства телесного, не священнее ли самых уз крови?..

Однако ж скоро, хоть незаметно для неопытных, вмешалась в их дружество душевное любовь более нежная, более страстная, любовь сердца. Минуло четыре года... учение кончилось... и любовники тогда лишь узнали, что взаимность для них не только счастие жизни, но самая жизнь... когда судьба погрозилась разлучить их. В одну и ту же минуту они испытали весть разлуки и признание в любви, первый поцелуй восторга и первые горькие слезы печали. Они поклялись быть верными до гроба, это уж так водится искони: для молодых людей все кажется легко, для любовников — все возможно.

Они не знали, с кем имели дело.

Старику Х—му наскучило нянчиться с дочерью. Она была невеста, и, что всего важней, невеста богатая: мать отказала ей одной все свое приданое, все движимое и недвижимое. Однако, желая сбыть с рук дочь, ему не хотелось расстаться с ее имением, и вот для чего удалял он от Лизы женихов, которые по уму или по связям своим могли бы потребовать у него и наличного и отчета за прежнее управление.

Сгадал, решил и выбрал в зятья какого-то князька — сидня, весьма ограниченного умом, ничтожного роднею. Он дал слово, не спросясь, даже не предуведомив дочери. Через три дня надо было играть сговор, а она не знала о своей участи ни сном, ни духом. Наконец он объявил ей повеление выйти замуж и готовиться к свадьбе самым беспрекословным образом. Он споткнулся на этом вовсе неожиданно: характер дочери открылся вдруг в полной силе! Подкрепленная взаимною любовью, она дерзнула почтительно, но твердо сказать отцу, что считает союз супружеский святынею, которая требует любви сердечной к мужу... а потому она не иначе отдаст руку свою, как вместе с сердцем; сердце же ее отдано Баянову, ее воспитателю; она прибавила, что никакие убеждения не принудят ее переменить данного обета — быть его женою или вечно остаться его невестою. «Вы дали мне жизнь, батюш-

ка,— сказала она,— но бог дал мне душу; располагайте первою, но позвольте мне сохранить для себя вторую; и кому лучше могу я посвятить ее, как не человеку, посвятившему лучшие годы своей жизни на мое образование с таким усердием, с таким горячим самоотвержением?»

Говорят, князь после этого объяснения несколько минут стоял неподвижен и безмолвен от изумления... гнев задушил в нем голос. Можно представить себе, что почувствовал человек, привычный к безусловному повиновению от всех, к нему близких, который сроду не слыхал слова *нет* и вдруг поражен был им так внезапно, так больно! Вся его гордость, все его выгоды и понятия, все замыслы его оборочены были вверх дном,— и кем же? Девочкою, дочерью!

Взрыв был ужасен, угрозы и брань полились на несчастную: как смела она иметь свой ум, взять свою волю! Суд короток — он запер ее в темную комнату на хлеб и на воду.

Учителя Баянова велел он выбросить из замка вместе с его вещами, не позволив показаться на глаза. Бешенство его выместилось на всех домашних; и без того все трепетали его голоса, его взгляда, а после этого случая половина слуг разбежалась от его жестокости, не знающей границ, незнакомой с пощадою. Он свирепствовал как зверь.

Время шло; но оно не переменило ни упорства отца, ни постоянства дочери. С своей стороны, влюбленный Баянов, несмотря ни на какие угрозы, презирая опасности, обманывая надзор, старался проникнуть до темницы своей любезной — и долго, долго напрасно. Мало-помалу, однако ж, ему удалось деньгами склонить на свою сторону одного из тюремщиков. Золотой дождь по капле пробивает даже камень. Ему доставили случай видеться с Лизой, и минуты, которые провели они вместе после долгой разлуки, несмотря на меч, висящий над головою, были самыми счастливыми в их жизни, потому что верность в такую мучительную годину испытания получает высшую цену, и каждый миг, вырванный из львиных челюстей опасности, тем сладостнее, чем короче, тем ближе к восторгу, чем ближе к гибели. Скоро почувствовала заключенница, что существо ее удвоилось. Какое святое чувство вложила в нас природа к обновлению! Какое сердце не трепетало радостью при мысли: «и я стану матерью!», при

вести: «ты отец!» В такие минуты забыты все страхи, все расчеты!!

Наши любовники были счастливы назло судьбе, и это самое придало им смелости, самой надежды. Тут уже дело шло не о них самих, но об имени, о счастии третьего, драгоценного для них залога. Они приготовились к побегу. Они согласились исполнить свое намерение, когда отец уедет на три дня в отъезжее поле.

Он уехал.

Переодетый в кучерское платье, проник Баянов в тюрьму Лизы ночью. Дневальный тюремщик был подговорен бежать вместе; лихая тройка ждала их за частоколом сада; оставалось только удачно выбраться из дому. Баянов застал свою невесту на коленях перед образом. Кончив молитву, она кинулась в объятия к милому, но долго не могла промолвить слова, заливаясь слезами. Я знаю это от старика, бывшего свидетелем. Он рассказывал, что смелость ее покинула, когда надобно было ступить за порог; что она умоляла Христом-богом отложить все до завтра; говорила, сердце у нее будто стиснуто железною рукою, что она предчувствует верную, неминучую гибель. Баянов, разумеется, утешал, ободрял, уговаривал ее; доказывал, что предчувствия не что иное, как робость, что, откладывая удобный побег, они накличут себе не только в каждом человеке, да в каждом часу неприятеля, а что всего важнее — священник ждет их в церкви.

Она уступила.

Через сад в повозки, и ударили по всем по трем.

Дело было в начале ноября. Рыхлая пороша чуть подернула павший лист дубравы. Я и забыл тебе сказать, что все это происходило в К... губернии, в усадьбе князя, называемой Шуран; лежит она над Камою, при большой дороге в Оренбург; место преживописное; барский дом на холме; дедовский темный сад шумит угрюмо на берегу; вправо... да не о том дело. Глухая ночь лежала над Шураном, когда наши беглецы оставили его. Проселочная дорога к далекой, уединенной церкви пролегала дремучим лесом и местами совсем склонялась на крутой берег Камы. По Каме шел тогда лед и с печальным звуком ломался друг о друга. Две тройки мчались быстро, но едва слышно: колеса нарочно были обвиты кушаками. Припав к груди Баянова, для которого пожертвовала всем на свете, Лиза едва дышала, едва думала. Час этот был для нее как час перед

казнью преступника — он еще не мертвый, но уж и не живой; может ли он наслаждаться жизнию, когда смерть впустила в него когти свои? Такая отсрочка хуже пытки, такая бесчеловечная милость жесточе казни самой. Но едва ль не еще несноснее, когда неожиданное счастие разманит нас — и вдруг готово исчезнуть! Пусть непредвиденная беда поражает как пуля, беда, перед которою идет предчувствие, терзает, как яд жестокий. В таком точно положении были оба наши любовники. Они молчали, потому что ни один не мог найти слова утешительного; земля звучала под колесами, будто свод могильный; ветки сыпали на лицо иней, и корни заплетали им дорогу.

Все кругом было в смертной тишине; только порой спугнутый филин страшно гукал в чаще, хлопая тяжелыми крыльями, или трещал изломанный сук. Они благополучно добрались до деревенской церкви, верст за пятнадцать от Шурана. В ней приветно теплился огонек... Дверь растворилась, и женихи вошли в тусклую трапезу. Иконостас подымался до самого потолка, подпертый витыми столбиками, когда-то позолоченными; старинные лики святых, едва озаренные лампадою перед царскими дверьми, казалось, хмурились, помавали головами; хоругви колебались от сквозного ветра, который, дуя в рамы, возникал и стихал печальною песнию. Почтенный старичок священник встретил жениха и невесту у дверей благословением, и дьячок, засветя еще несколько свеч в высоких подсвечниках на деревянной ножке, запел хриплым голосом. Началась служба. Прелестна, однако ж бледна как снег намогильный, стояла перед налоем невеста... Венчальная свеча дрожала в руке ее, и когда Баянов ободрял ее нежным взглядом, она отвечала: «Это от холода»; этот холод был у ней в сердце... Она робко озиралась кругом и сторонилась теней, перебегающих по церкви от зыбкого пламени свеч, как будто они хватали ее. Вопреки всех страхов, обряд кончился счастливо. Кольца скрепили священною цепью сердца, давно уже сплавленные любовью, и поцелуй запечатлел союз их. Когда перед алтарем бога милосердия и правды супруги с радостными слезами на глазах заключили друг друга в объятия, они забыли настоящее и будущее,— никакое горестное чувство не развлекало этого восторженного мгновения.

Оно было последним в их счастии.

Конский топот и грозные клики налетали со всех сторон; священник с коленопреклонением молился о спасении, Баянов готовился к защите — все было напрасно: выбитые двери церкви упали, и толпа охотников княжих вслед за разъяренным своим господином ворвалась в средину. На беду, он охотился невдалеке и, получив известие о побеге дочери, стремглав ударился в погоню. Что медлить правдою? Супругов силою разлучили, связали, кинули в телеги порознь и понеслись назад в роковой Шуран.

С этой поры туча злодейства одела этот дом тайною. Никто не знал, что делается с молодыми. Никто не мог догадаться, куда девались они. Двое псарей, которые везли Баянова, уверяли, что он вырвался на полдороге и ушел в лес, за это они жестоко были наказаны. Священника угрозами и лестью заставили молчать о браке; притом же он совершен был не по всем правилам — недоставало свидетелей, и священник притаился, чтобы не быть в ответе; общая молва была распущена между дворнею, что отец захватил венчанье в самом начале. Как бы то ни было, ни один человек не осмеливался спросить об этом обстоятельстве угрюмого князя. И Лиза и Баянов канули как в воду... Соседи шептались между собою, как раки под крапивою, и, как раки, пятились перед страшным соседом. Его ядовитый взгляд убивал любопытство и участие.

С большим удивлением увидела дворня ровно через год, что к ним на двор катит весь уголовный суд из Казани. Все слуги дрожали осиновым листом, чтоб не попасться в свидетели по проказам барина: затаскают, заморят по тюрьмам, ни дай, ни вынеси. В один миг слух о доносе разбежался по всему селению. Члены суда немедленно потребовали видеть дочь княжую, про которую отец отвечал, что держит ее взаперти по сумасшествию. Он повел их в тюрьму Лизы. Дверь замкнулась, и мертвая тишина воцарилась в целом доме... Все, не переводя дыхания и навострив уши, ждали, чем это кончится. Иные шепотом уверяли, что князя возьмут под стражу и что для этого приехала крытая повозка. Желание избавиться от злого барина и страх у него остаться волновали всех. Наконец двери распахнулись настежь, и тогда некоторые из слуг, заглянув украдкою в тюрьму барышни, увидали ее брошенную на соломе: в рубище; на ней не было вида человеческого — так она похудела и почернела. Глаза

впали, волосы были всклочены, она лежала, разметав руки, в обмороке.

«Теперь мы удостоверены, что она бешеного сумасшествия»,— сказал председатель палаты.

«Никакого нет сомнения,— преважно прибавил городской лекарь,— она безумна — неизлечимо».

«Держите ее крепче,— подхватил весь суд хором,— вы ей природный опекун; на днях пришлем формальную бумагу на ввод во владение!»

Роскошный завтрак скрепил определение этих неумытных судей, и юстиция отправилась в город навеселе. Вся дворня с ужасом услышала приказ. Так вот зачем приезжал суд, так вот чем кончилась эта уговорная гроза!! Когда за судьями тронулся обоз с подарками, слуги, пожимая плечами, тихонько говорили: «Скоро по этой дороге повезут на погост и добрую княжну нашу!»

Предсказание сбылось скоро — через полгода Лиза скончалась.

Люди пожимали плечами, окружные дворяне много толковали об этом случае. Все соглашались, что князь нарочно ославил дочь свою безумною, чтоб завладеть ее имением, что бесчеловечным обхождением с нею он в самом деле довел ее до исступления и, наконец, безвременно свел в могилу. Судьба Баянова не ускользнула от проницательных взоров. Ходили слухи, что он был привезен в Шуран и брошен в один из подвалов, где и был уморен с голоду мстительным князем. Приводили в доказательство рассказы некоторых слуг... Они клялись, что слышали стоны в подполье и узнавали в них голос учителя, что потом он начал стихать, стихать и, наконец, замер в таком страшном вопле, что от одного рассказа вставали дыбом волосы. Говорили еще, будто видели в следующую ночь, что мелькал огонь в отдушине подвала, где сидел Баянов, слышали, как там брякали лопатки, как что-то закапывали, закладывали камнем. Со всем тем ужас, наведенный князем на соседей, был так глубоко укоренен, сила его в суде и связи в столице так обширны, что ни один человек не посмел пикнуть в обвинение.

Дело запало само собою.

Вскоре после смерти дочери в князе заметили чудесную перемену. Его злое, дерзкое лицо покрылось

бледностью; походка стала робка и нерешительна, глаза подернулись дымною оболочкою. Иногда, среди белого дня, он останавливался на быстром ходу и, весь трепеща, отступал; иногда вскакивал с кресел, произнося невнятные слова. Этого мало: по сказкам всей дворни, стали твориться чудеса в доме. Что ни полночь, двери из бывшей тюрьмы княжны распахивались с визгом сами, и оттуда явственно раздавались мерные шаги, только никого видно не было. В ту же минуту подымался тяжелый стон из подвала так протяжно, так страшно и пронзительно, что он слышался во всех углах замка. Напрасно зарывали все головы в подушки и завертывались в одеяла: он все слышался в ушах и звучал, как в пустом склепе могильном. В спальне у князя каждую ночь слышали чью-то походку, адский смех и потом скрежет зубов, проклятия и будто хрипение смерти. Никто не смел, однако ж, и намекнуть о том, не только спросить князя,— он хранил мертвое молчание. И вдруг в одну ночь он с воплем выбежал из спальни своей, бледный, испуганный; в одной сорочке, он сам походил тогда на мертвеца.

— Запрягайте коней! Подавайте возок! — кричал он.— Чтобы сейчас, сей же миг стар и мал бежал из этого проклятого дома, вон отсюда и навсегда... Слышите ли, говорю я вам, выбирайтесь вон мигом!

Как ни удивлены были слуги и все домашние таким нежданным приказом, только шутить с князем было плохое дело: через час не осталось в целом доме ни человека, ни кошки. Все это кинулось, потащилось и поползло в зимнюю ночь, кто на чем попало, в другую усадьбу верст за тридцать. С тех пор дом этот стоит заколочен. Суеверие сторожит его лучше всяких караульных и собак. На закате солнца, не то чтобы в глухую ночь, ни один крестьянин не смеет мимо его вблизи проехать. Через полтора года князя нашли мертвым в постеле. Простолюдины толковали, что его заели нечистые, которым продал он душу, уверяли, что видели на шее следы зубов. Люди умные говорили, что правосудие божие кликнуло его на расправу. Его похороны были праздником не для одних плакальщиц.

Усадьба Шуран, вместе с деревнею, досталась на долю моей матери. Несмотря на все выгоды и устройство хозяйственное, она не хотела туда переселиться. Только раза два в лето приезжала она с нами к упра-

вителю, жившему в одном из отдаленных флигелей, для надзора и поверки счетов на месте. Само собою разумеется, что дворня наша, и мамки, и нянюшки мои не упустили случая насказать мне с три короба страхов и преданий об этом таинственном доме. С каким, бывало, трепетом, с каким удовольствием осмеливались мы с братом приближаться по заросшему крапивою двору вечерком к заколдованным палатам! Главные двери были забиты досками; окна зацвели мертвою синевою; в разбитые стекла порхали птицы, и кровля во многих местах упала собственною тяжестию. Осторожно переступая, будто боясь попасть в силок или в очарованный круг, подходили мы к крыльцу; на нем, по спаям камней, росла уже трава. Брат мой был и постарее и посмелее меня и порой достигал до самой двери; но когда обращался назад, то кидался вниз по ступеням опрометью. Он признавался, что замок страшно глядел на него одним глазом своим, что в дверную скважину кто-то дышал на него морозом и петли скрежетали, как зубы. Издали бросали мы иногда камень на кровлю и с биением сердца слушали, как он, стуча и прыгая, катился по ней книзу, и когда, упав на землю, скакал еще далее, мы бросались от него, воображая, что он за нами гонится. И в самом деле, эта могильная тишь на дворе, опустелый дом, опальные ряды служб, обрушенные заборы — все внушало грусть даже детскому сердцу, и ветер, стонущий в разбитых окнах, шумящий между репейником, слышался нам говором духов, вестью с того света, он будто наносил на нас сырость и прохладу гробов.

Как-то однажды мы были смелее обыкновенного и, разбив камнем стекло в окне нижнего этажа, решились посмотреть внутрь комнат. Брат поднял меня на плечи, чтобы я мог достать до рамы. Не без ужаса просунул я свою голову в разбитое стекло; я боялся бы не более положить ее в пасть медведя. Опершись о пыльный косяк, взглянул я внутрь, и сначала все мне показалось темно, как ночью. Через несколько времени я пригляделся... а между тем брат ежеминутно расспрашивал меня, что я вижу. То была обеденная зала. Длинные столы стояли по стенам с полуоборванными полами; многие стулья лежали на полу, словно опрокинувшись от страха; другие, будто от слабости, стояли, прислонясь к стене. На полу лежали обломки посуды, видно разбитой впопыхах перевоза. Полинявшие, пыльные

обои, в иных местах уже опавшие, колебались от ветра; из-под них выглядывала дождевою плесенью покрытая стена; инде штукатурка обвалилась и сквозили лучинные решетки,— вы бы сказали: это тлеющий труп богача, с которого падает одежда и кожа, и местами уже обнажаются ребра, на которых паутина висела как волокна и жилы. Карнизы улеплены были гнездами ласточек; летучие мыши цеплялись по углам; живопись потолка сплылась в какие-то чудовищные арабески. Трудно себе вообразить, какое странное впечатление произвел на меня вид этой опальной комнаты; я будто сейчас гляжу на нее! Все, все в ней казалось мне чудным, сверхъестественным, страшным. Этот мрак, в ней царствующий, эта полурастворенная в коридор дверь, за которою так таинственно сгущались тени, даже обшитая сукном веревка, на которой когда-то висела люстра, с огромным крючком своим казались мне орудием пытки. Мне казалось, на сером свете сумерек, сквозь мутные стекла, что все звери и птицы обоев шевелятся, трепещутся, что белая изразцовая печка притаилась в углу, как мертвец в саване, и вдруг в самом деле что-то живое, с блестящими глазами, с грохотом прокатилось по зале и прямо кинулось на меня,— я заревел, опрокинул брата, смял его, покатился с ним вместе через голову, и потом вскочили мы оба, и оба, крича изо всей мочи, ударились бежать врознь, забыв оборонительный и наступательный союз: не выдавать друг друга ни в каком случае. Чудовище, испугавшее нас, была кошка. Мы, однако ж, народ храбрый и, уверясь в том, не смели подойти к ней: кошка искони слывет сосудом оборотней, ведьм и тому подобной адской челяди второго разряда.

Улетели годы.

Давно уж покинул я родину. Учился в Москве, вступил в службу. Радостно спешил я домой показать матушке свои патенты, свои эполеты, при первом отпуске. Весь мой младенческий и отроческий быт ожил в душе, когда я увидел поприще, на котором он двигался. Правда, кукольный мир этот, не только просторный, но и огромный для ребенка, для меня, юноши, казался уж тесен, мал непонятно. Но он был *моим,* был связан не скажу с прекрасным, но с беззаботным возрастом, когда мы чувствуем, не ощущая сердца, думаем, не утомляя души,— с этим единственным возрастом настоящего без сожаления о вчера, без ожида-

ния завтра, без воспоминаний, едва ли не всегда разведенных желчью раскаяния, без надежд, отравляемых ядом страха. Я сказал тебе о моей наклонности к чудесному. Признаюсь, что возраст не уничтожил ее; он только высучил ее утонченную нить, а романы раскрасили ее своими цветами. Переменился вид, существо осталось то же. Вот почему таинственный Шуран манил меня к себе своими чудными преданиями, манил неодолимо. На третий же день я велел оседлать коня и поскакал туда. Это было в октябре месяце. Когда я приехал в Шуран, ночь, как прелестная арабка, в звездном покрывале гляделась уже в померкшем зеркале Камы. Я слез у крыльца уединенного домика, в котором жил управитель, только не нашел его у себя: он уехал в дальнюю деревню. Мне вовсе не весело было коротать вечер с старухою, его женою, и, поужинав налегке, я велел подать себе топор, зажег три восковые свечи вместо факела и, не сказав никому ни слова, отправился прямо к покинутому дому. Репейник заплетал мне дорогу; испуганные лягушки, которые уже столько лет невозбранно владели мокрым двором, квакая, прыгали из-под ног моих. Я подошел к обрушенному крыльцу, которого ступени были термометром детского нашего честолюбия, я увидел окно, в которое глядел, когда был испуган кошкою,— и все фантастические существа замахали около меня знакомыми крыльями, и прежнее чувство сладкого страха втеснилось в грудь, я опять стоял школьником перед старинным замком. Это было на минуту. Я оторвал топором доски дверей и вошел в обширную переднюю. Отворенные кругом стен ящики для сиденья слуг и опрокинутые вешалки доказывали еще торопливость, с которою выбирались жильцы из дома. Паук развесил свои победные знамена по стенам, медные задвижки дверей зацвели зеленью, сами двери едва держались на перержавленных петлях, и когда я тронул одни, они упали с треском на пол. Гул пошел по пустым комнатам, густое облако пыли взвилось, и я сквозь него вступил в залу. Летучие мыши, эти бабочки развалин, треща перепончатыми крыльями, слетелись на огонь и кругами реяли мимо глаз. Разрушение много выиграло с тех пор, как я в первый раз видел эту залу. Карнизы обвалились, и часть их лежала на столах, словно объедки от пиршества зубастого времени. Обои висели длинными лоскутьями. Занавесы окон под густым слоем

пыли источены были молью. Дождевые потоки навели еще мрачнейшую краску на стены, и па них несколько портретов проглядывали сквозь копоть, будто сквозь туман забвения. Полон воспоминаний младенчества, полон думою о несчастной судьбе моей родственницы, которая жила, любила, умерла здесь, пробегал я ряд комнат, покинутых людьми, которые одни могут бороться со временем и оставили ему победу без боя. В каждом трепетании обоев мне слышался стон умирающей жертвы, одинокой посреди холодных стен и еще холоднейших стражей, в разлуке с милым супругом. И ни одно дружеское приветствие, никакое родственное утешение не радовали последней тоски ее!! Напротив, она видела подле себя коршуновы очи, которые с жадною радостию ждали ее кончины, она знала, что мучения ее останутся никому не известны; что, испытав по сю сторону гроба злость, по ту сторону предана будет клевете; что она, измученная, очерненная, погребенная заживо, сойдет в землю не оплакана, не оправдана никем и ни перед кем,— ужасно! «Лиза! — вскричал я,— несчастная Лиза! Я защитник твоей чести!» Мой голос пробудил эхо пустых комнат, и стекла, дребезжа, дали унылый аккорд! В это время послышалось мне, будто кто-то ходит в соседней комнате... Шаги эти были тихи, легки, можно сказать воздушны; меня облило холодом, волосы стали дыбом... Прислушиваюсь — ни звука. Мало-помалу я ободрился и поднял вверх светоч свой, чтобы осмотреться,— я стоял в длинном коридоре, в конце которого виделась белая резная дверь, убитая, как видно после, железными полосами. Сверху привинчены были тяжелые задвижки, но они не были задвинуты. Мне вспало на ум: не здесь ли вытерпела дочь строптивого князя ужасную пытку? Любопытство разгорелось. Я приблизился к этим дверям, тихо взялся за скобу и дернул ее к себе... Дверь растворилась.

Друг мой! ты знаешь, робок ли я под свистом картечей, ты знаешь, бледнел ли я перед пикой, устремленной мне в сердце, но ты не знаешь, как упало это сердце, когда взглянул я в тюрьму Лизы... Казалось, ледяная гора задавила меня, казалось, сам я в одно мгновение превращен был в кусок льда... Нет, это был не сон, не мечта, не обман очей, не игра приготовленного воображения,— я тысячу раз видел портрет Лизы, висевший в спальне у моей матери, он был врезан в

моей памяти,— и вдруг наяву, без всяких сомнений наяву, передо мною!..

Я слушал Зарницкого с большим вниманием: когда он был разгорячен или одушевлен, то рассказывал увлекательно. Не слова, не речи, а голос этих речей, а чувство, волнующее этот голос, переливали участие в грудь каждого. В ту минуту, когда он произнес: *«передо мною»*... послышались тяжелые шаги по лестнице. Мы оба так настроены были к чему-то сверхъестественному, что вскочили невольно и обратили глаза на дверь с каким-то робким ожиданием. Когда глаза наши встретились, мы оба усмехнулись, будто признаваясь: какие мы дети! Та улыбка, однако ж, была мгновенная. Мочная рука, которая не удостоивала, казалось, отвернуть ручку дверную, сорвала весь замок, и к нам вошел высокого роста латник, завернутый в широкую, теплую шинель. Палаш его, волочась, бренчал, каска была изрублена, и часть гребня висела над глазами. Он не поклонился нам, не молвил слова и прямо сел к огню — мы узнали в нем кирасирского майора, которому одолжены были победою. По закону военной учтивости и долгу службы, я, как старшему, отрапортовал ему о состоянии отряда и, наконец, от чистого сердца протянул ему руку с дружеским благодарением, с солдатским приветствием, говоря, что нам лестно будет иметь товарищем человека, которому обязаны блистательным успехом. Но латник встал, и приложил руку к козырьку машинально, и снова сел, будто ничего не видя и не слыша. Бледно было его лицо; глаза мутны, неподвижны. По трепетанию черных длинных его усов видно было порой судорожное движение губ... Брови сдвинуты угрюмо. Пробитая картечью и пулями его шинель залита была кровью, и каждый раз, когда он наклонялся, поправляя огонь, палаш его падал на пол, звуча, и цепки, связывающие кирас, брякали о железный нагрудник. Мы говорили между собой шепотом, изумленные странным появлением и еще больше странным обхождением латника. Кто он? что он? зачем он здесь? Мы напрасно заводили с ним речь, напрасно потчевали чаем: он склонением головы или движением руки прерывал все вопросы и предложения. Мы оставили его самому себе.

Опершись об руку, упертую в колено, он, казалось, глубже и глубже тонул в море минувшего,— он вздыхал тяжко, так тяжко, что у нас вчуже вздувалось

сердце. Иногда слезы катились по его лицу. Он с какою-то завистью смотрел на пылкие уголья, которые меркли, угасали, распадались в пепел, будто он в них видел свое подобие. Потом вдруг, сложив руки на стальной груди своей, он опрокидывался назад и шептал невнятные слова... грозно скрежетал зубами, глаза его наливались кровью, ноздри вздувались, как у льва,— он был страшен.

Мы вздремали; казалось, вздремал и он; только по временам вздрагивал и стонал. Вдруг пробуждены мы были стуком его палаша,— он с ужасом смотрел на руку свою: на нее упало несколько капель растаявшей на шинели крови... Глаза его стояли, густые кудри бросали тень на белое как саван лицо, губы были открыты,— весь он был идеал ужасно-прекрасного!

— Зачем ты пробудила меня, кровь злодейская! — роптал он,— неужели мне один сон — могила, неужели ни прежде, ни после мести нет покоя!!

Он вскочил, схватил горящее полено вместо факела и под влиянием сомнамбулизма сделал несколько шагов вкруг комнаты.

— Здесь, так, здесь видел я ее впервые! — произнес он тронутым голосом и с горькою улыбкою, но в этой улыбке отражались все муки души.— Она сидела у этого окна; мрачны стали эти стены; они подернулись как гробовым сукном... а было время, они склонялись надо мной, как брачный полог, как цветная занавеса будущего. Здесь дал я, здесь услышал я первую клятву в верности... Клятву? Они пишутся на воде и утекают с нею!! Но мою клятву я бы готов был запечатать своею кровью, и только кровь могла смыть ее... Она смыта! — прибавил он злобно и потом тихо, озираясь, пошел далее — в другую, в третью комнату. Наконец мы вышли в залу, в которой была самая горячая схватка; стены были исстреляны русскими пулями, окна разломаны, несколько десятков обезображенных трупов валялись друг на друге, по полу, залитому кровью,— картина была отвратительна, не только ужасна. Латник наш, достойный гость между мертвецами, с пылающим деревом в руке, в каске и в латах своих походил на привидение какого-нибудь рыцаря веков минувших,— исполинская тень его мелькала по стенам и кралась следом.

Мы стояли в тени, неподалеку.

Стены были увешаны портретами фамильными,—

это общий обычай в Польше. Латник прямо кинулся к одному из них как знакомый и рассматривал его с диким наслаждением. Это было в самом деле прелестное лицо какой-то девушки. Озаренная неверным светом, она мелькала сквозь мрак, будто неслась ангелом мира.

— И ты, сердце моего сердца! ты, которая одушевляла для меня жизнь и свет, и тебя не стало! — произнес латник, глубоко тронутый.— Земля взяла свое — черви насладились твоими прелестями... Черви? Нет, змея отравила тебя заживо, Фелиция. Свидетель бог, ты одна могла удержать руку, готовую раздавить эту гадину, я отсрочил месть, но отказаться от нее не мог я, как от любви своей,— месть мне осталась единственною любовью после тебя, единственною отрадою; только жажда ее могла приковать меня к колесу пытки!! Не смотри так грозно на меня, Фелиция,— я дал себе страшную клятву уничтожить изверга, а ты ведаешь, изменял ли я клятвам в добром и злом... Она свершилась!! И ты сдержала обет свой, милая тень, ты обещала мне явиться в ночь передсмертную, вестница радости... Ты явилась мне, не убегай, не улетай от меня, скажи мне, буду ли я твоим супругом в царстве смерти? Любят ли там? Я не хочу рая, когда в нем не найду тебя!!

Он кинулся навстречу милому призраку в порыве горячки своей — и запнулся за убитого француза... Внезапный ужас поразил его. Он наклонился, поднес головню к посинелому лицу мертвеца — и черты его вспыхнули гневом...

— Ты и здесь заграждаешь мне дорогу на небо... Прочь, змея! Прочь, говорю я! — вскричал он.— Как ожил ты из-под моих ударов? Зачем пришел ты умереть сюда? Неужели и ад не принимает злодея?.. В этот раз по крайней мере ты не уйдешь от меня... в этот раз ты не избегнешь заслуженного ада, который вызвал на свет!

Пена била у него клубом, лицо горело кровью,— он выхватил палаш свой, наступил мертвецу на грудь, так, что у него затрещали кости, и, подняв обеими руками клинок, вонзил его в давно оледенелое сердце и дважды поворотил в ране...

— Он еще живет, еще дышит! — повторял он, прислушиваясь,— еще остальная кровь, как червь, ползет в жилах его!..

Он снова взмахнул палашом, но исступление истощило все его силы — он рухнул на пол бесчувствен, бездыханен.

Кликнув гусаров, мы перенесли его в прежнюю комнату, сняли с него латы и положили на плащах. Приводя его разными средствами в чувство, мы успели возвратить ему дыхание, но не память. Только по временам пробегал по всем членам его трепет, только холодный пот проступал на теле и закрытые веки дрожали судорожно. Он тихо стенал, произнося невнятные слова,— мы оставили его успокоиться. Встреча с латником совершенно отбила у нас сон. Мы потихоньку рассуждали, до какой степени несчастная любовь делает неистовым человека, одаренного, или, лучше сказать, наказанного, пылкими страстями. Очевидно было, что он жених Фелиции и враг грабе Остроленского, что он преследовал и изрубил его.

— Однако ты, брат, не докончил своего рассказа,— напомнил я поручику.

— Он будет краток,— отвечал поручик со вздохом.— Слушай. Мы были прерваны на том месте, когда я отворил двери старинной темницы Лизы. Гляжу — в комнате этой горит свеча, под окном, забитым решеткою, стол; в углу простая кровать и на ней — вообрази мое удивление! — женщина в белом платье — и кто же? Лиза! Я говорил тебе, что кровь замерзла в моих жилах, но это не выражает ужаса, который я тогда ощутил. Казалось, тысяча ледяных иголок пронзили меня с головы до ног, холодный пот застыл на сердце, и если я тогда не упал, то обязан этим одному оцепенению... Это был задаток разрушения в час смертный.

Но все, что имеет начало, должно иметь конец. Рассудок проговорил, сердце оттаяло, и я с недоумением и страхом протирал глаза, чтоб увериться, не греза ли это; нет! белое привидение недвижимо лежало передо мной, будто в глубокой тоске, в непробудимой задумчивости. Прелестное, но бледное лицо было полузакрыто светло-русыми локонами. Я долго смотрел на это явление, колеблем между истиной и заблуждением, ступил шаг — незнакомка подняла глаза, и тут уж я убедился, что столько жизни не могло сосредоточиться в мертвеце... Я прервал безмолвие, я сказал ей, кто и почему я здесь... Теперь угадай, кто была она и как туда попала?

— Не могу придумать,— отвечал я.

— И я не вдруг узнал это. Милая девушка умоляла меня никому не открывать о встрече с нею. Напрасная просьба! Я сам бы готов был схоронить от целого света такое сокровище. Нужно ли сказывать, что через полчаса, проведенного с нею, я уж был влюблен по уши? Чудесность, таинственность всего ее быта бросили искру в сердце, а ее невинность, ее светлый ум раздули пожар. Я выпросил у нее позволение увидеть ее еще раз и еще раз, но в замену дал слово делать это с большими предосторожностями. Через три дня я уже опять спрыгнул у крыльца управителя Шурана.

«Дома ли?»

«Дома-с, очень рад».

Управитель встретил меня двусмысленною улыбкою.

«Не прикажете ли подать топор и свеч, Григорий Иванович?» — сказал он мне.

«Зачем это?» — возразил я, смутившись.

«Для ночного путешествия в опальный дом,— отвечал он.— Григорий Иванович, я все знаю. Вас ждут, и ждут с нетерпением; только позвольте, чтоб в этот раз я был проводником вашим».

Он пошел вперед, не ожидая ответа, а я так смущен был нежданным этим приветствием, что шел сзади его, как на своре.

Когда приблизились мы к роковой двери, сердце у меня вспрыгалось, будто заяц под ружьем стрелка... Незнакомка встретила нас еще прелестнее, чем прежде... Я таял, на нее глядя, самолюбие мое лакомилось пылким румянцем красавицы.

«Григорий Иванович! — сказал управитель,— прошу любить и жаловать тетку вашу... Вы видите дочь Елисаветы Андреевны, Елисавету Павловну Баянову!» Я отступил от изумления три шага назад... Мысли и чувства так были превращены этим нежданным, непонятным объяснением, что я стоял долго, растворив рот, как будто бы я глотал чужие слова, вместо того чтоб произносить их самому.

Управитель продолжал: «Брак г-на Баянова с родственницей вашей княжной Х—ой совершен был неразрывно. Его утаили, но уничтожить не могли. Девица, которую изволите видеть перед собою, родилась во время заключения Елисаветы Андреевны и названа была ее именем. Покойник князь имел свои причины скрыть новорожденную и поручил мне отдать ее на воспитание

в какую-нибудь дальнюю деревню. Мне стало жаль малютки, я свез ее к брату своему, бедному помещику в Вятской губернии: он был бездетен и принял покинутую как небесный гостинец. Выкормил, воспитал ее, как видите. Никто не знал о том ни крошки: все дело шло самым тайным образом. Кого вязали свои дела, кого княжие деньги или угрозы. Умер и князь, да остались его наследники; заводить с ними тяжбу пугало и меня, несмотря на упреки совести: я и сам был в этом деле виноватый, хоть невольно. Месяц перед сим потерял я брата, а Елисавета Павловна — своего воспитателя... Неделю назад приехала она сюда. Я крепко плакал по добром брате своем и не утешился бы, если б не было со мной этого ангела. Между тем (между нами будь сказано) любезная Елисавета Павловна начиталась всякой всячины: то и дело просится посмотреть того места, где жила и скончалась ее матушка. Как отказать!! На беду эта комната ей до того полюбилась, что не вызовешь. Днем ходить сюда — пошли бы разные толки, а нам надо было молчать о ее роде до поры до времени. Вот она и стала плакать здесь по матери ночью. Не осердитесь, любезнейший Григорий Иванович, что, заступаясь за правду и за правую душу, я выхлопотал все законные свидетельства для иска наследства Елисаветы Павловны; может, придет и вам поплатиться,— да ей главное — дорога материнская слава и свое доброе имя, которых иначе нельзя выправить, как перед зерцалом. Что перед вами таиться? Елисавета Павловна нашла себе по сердцу суженого, и это всего больше заставило меня поспешить развязкою. Ваше неожиданное посещение крепко встревожило мою гостью. Я с своей стороны счел за лучшее сказать вам все откровенно. Я знаю вашу благородную душу!»

«И не ошиблись в ней! — вскричал я, обнимая почтенного, простодушного старика.— И не ошиблись!..»

По праву родства я обнял милую свою родственницу,— но чего бы я не дал, чтобы обнять ее, не слышав вестей, что она родня моя, что она невеста другого!!

Мои мечты, мои надежды рассыпались, но любовь осталась в сердце. Я избегал всех случаев видеть ее, но ее образ был всегда перед глазами... Тому уже прошло пять лет, друг мой, но я не могу вспомнить о моей

Лизе без вздоха,— она была для меня настоящим призраком счастия!

Я сделал все, что мог, для ее счастия — уговорил матушку уступить ей свою часть имения, от князя X—го доставшегося, хлопотал по судам, чтобы признали ее истинною дочерью Баянова, и успел в этом. Денежный иск другое дело: он до сих пор тянется с сыновьями, князьями X—ми. Впрочем, Лиза вышла замуж за того, кого любила, который любил ее, который ее любит... Она пишет, что живет безбедно и счастливо!.. А я?..

Поручик закрыл лицо, но не слезы свои руками... Грудь его стояла надувшись, но он не вздыхал... он не мог вздохнуть!..

Сердце мое сжалось... горячие капли пробились сквозь ресницы. Мы оба молча склонили свои головы в плащи.

Так заснул я.

С вечера я отдал приказ быть готовыми к выступлению к четырем часам утра. Рокот трубы пробудил нас.

Трудно, несмотря ни на какую привычку, спросонков слышать без содрогания звуки трубные: они имеют в себе что-то ужасающее, что-то зловещее, что-то пронзающее сердце. Кажется, призыв их выговаривает слова: *на брань, на брань, на суд, на суд!* Первым нашим движением было кинуться к больному кирасиру,— он спал еще крепким сном; лицо его было посвежее, хоть все еще бледно. Наконец перекаты трубы проникли и до его души,— он встрепенулся, поднялся на руку и с каким-то недоумением озирался кругом, припоминая, что было, где и как он теперь. Неужто он еще жив? — было первым его вопросом.

— Успокойтесь, майор,— сказал я,— если вы спрашиваете про кого-нибудь из неприятелей, то они все легли на месте.

Он долго смотрел на меня, будто взвешивая слова мои, будто вглядываясь не только в мое лицо, но и в душу. Наконец он дружески протянул ко мне руку и крепко сжал ее.

— Я помню вас, я знаю вас,— сказал он,— коротко было мое знакомство с вами, дружество будет еще короче; зато одно и другое полно. Теперь я будто сквозь сон вспоминаю, что со мной случилось вчера. Господа! я чувствую, что странность моих поступков должна

была изумить вас... Я бы желал, в свою очередь, в извинение себе молвить словцо-другое о том, что привело меня к этому безумию, да боюсь, чтоб не задержать похода.

Я отвечал, что мои разъезды не возвратились еще из окрестностей, и потому с час места будет досугу поговорить и послушать за стаканом чаю.

— Если так, господа,— возразил майор,— я вкоротке расскажу вам свою печальную повесть. Не многие часы даны мне на белом свете, я считаю потому долгом открыть добрым товарищам сердце; может быть, вы повстречаете родных моих и передадите им мою последнюю исповедь. Как ни тяжко вызывать мне прошлое из могилы сердца, но я вызову его, как тень Саула, чтобы услышать от ней неизбежное пророчество гибели. Послушайте.

Здесь, в этом самом замке, стоял я с артиллерийскою ротою, которою командовал. Я любил дочь хозяина, я был любим, я был женихом ее. Перед самой свадьбой больная мать моя захотела непременно видеть меня для благословения. Я поскакал и, застав добрую матушку на смертной постеле, не отходил от нее в течение трех недель. На столике, установленном лекарствами, писал я невесте много и часто, лаская ее, обманывая себя надеждою скорого выздоровления любимой, уважаемой матери, скорого свидания с обожаемою, *с нею*. Бог судил иначе: матушка моя скончалась.

Бессонница, огорчение, тоска сломили меня: я схватил жестокую нервическую горячку. В бреду, в беспамятстве, наконец, в летаргическом расслаблении пробыл я почти два месяца. В беспамятстве, сказал я? Нет, то было лишь отсутствие разума, отсутствие внешних чувств; но память о разлуке, о потере свинцовой горой лежала на сердце. Немая, но тяжкая, неопределенная боль тяготела надо мной, подавляла вместе душу и тело, тлела, не вспыхивая и не уменьшаясь. Я не ощущал хода часов, но чувствовал долготу времени; оно тянулось, длилось бесконечно. Нить этого отчаянного положения прервалась вдруг, я очнулся. Все радостное и все горестное слетелось в душу с первым лучом света, проникшим в нее,— они кинулись на нее будто хищные птицы, давно голодные!! Первым моим желанием было узнать, есть ли письма от Фелиции. Все молчали; то было молчание смерти для всех надежд моих. Новый продолжительный обморок облил

меня своим холодом, он поразил только что распускающуюся почку сил. Слабость моя была чрезвычайна, беспамятство часто, выздоровление медленно. Восемь месяцев протекли с тех пор, как я разлучился с Фелициею, и вот я стал на ноги. Боже мой, боже мой! для чего ты отдал мне жизнь, не отдав счастья! Тогда узнал я то, чего не смел подозревать, чему бы никогда не поверил! Фелиция вышла замуж за одного из дальних своих родственников! С первого раза я считал ее мертвою, ибо жить и не писать ко мне были две мысли, которых не мог я связать вместе... Я уже свыкся с этою мыслию, как люди привыкают к яду. Она была горестна, но не обидна для меня... Можете судить, каково было мое бешенство, когда я узнал неверность Фелиции! Выброшенный взрывом гнева из круга обыкновенных страстей, я не знал никакой узды, никаких границ. Казалось, адская сила стремила меня, как ядро, на разрушение чужое и собственное. Огонь тек в моих жилах; сера кипела в груди. Я был глух на советы и увещания совести: я решился убить Фелицию! Что вы так страшно глядите на меня, господа? Постигаете ли вы чувство нетерпимости раздела в любви? Можете ли вы вообразить, можете ли понять, оправдать, по крайней мере извинить человека, который скорее убьет своего соперника, чем уступит ему любовницу, скорее пронзит сам ее сердце, чем позволит ему биться на груди другого? Если вы не имели о том мысли, если не слыхали тому примеров, то перед вами стоит тот, кто готов был произвесть это в действо, кто лелеял месть за любовь, как прежде самую любовь,— месть, это страшное наследство страстей необузданных. Воля, которую не умели переломить во мне с младенчества, разбила мое сердце, да я не ищу извинений. Бог, перед которого скоро предстану, рассудит, прав ли я, виноват ли я... Чему было должно свершиться, свершилось.

Каждый миг замедления был мне нестерпим; я спал и видел кровь. Я жаждал увидеть изменницу еще однажды и в последний раз; этот раз должен быть последним часом в ее жизни. Я просился и был переведен в кирасирский полк, стоявший невдалеке отсюда. Я сделал это потому, что рота моя во время моей болезни перешла в Россию. Полный кровавых замыслов, я полетел на роковое свидание.

Приближаясь к замку, я с зверскою радостью во-

ображал себе ее изумление, ее смущение передо мною, я предугадывал ее извинения, ее стыд при моих укорах, я наслаждался заранее ее ужасом при блеске лезвия,— решимость моя была непреклонна.

Однако чем ближе сюда, тем мягче и мягче становился гнев мой. Душевная боль опала, кроткие воспоминания прошлого счастия овладели мною против воли. Глухая осень оборвала уже листья с дерев сада, зато каждое из них одето было для меня сладкою поминкою. Я без мысли, без цели перепрыгнул на коне через рогатку садовую и наудачу тихим шагом объезжал все дорожки, знакомые глазу и милые сердцу; все было мрачно, и печально, и пусто, как в груди моей; павший лист хрустел под ногами, и ветер звучал, как в струны, в замерзлые сучья; грустна была песня его, но она лилась как масло на сердце. Осенняя заря разливала свои розовые сумерки будто на прощанье; она хотела разъяснить улыбкою целый день угрюмое небо. И вдруг совсем неожиданно наехал я на сидящую под деревом Фелицию. Не умею, не смею выразить, что тогда сталось, когда я взглянул на нее! Я ожидал ее найти в полном расцвете прелестей, с гордым самодовольствием в глазах, близ ласкающегося к ней мужа или в толпе поклонников... И где ж и как нашел я ее? Сердце мое облилось кровью: она была худа и одинока! Все, что могут страдания душевные и болезни телесные, написано было на ее бледном лице. Одна прелесть еще сияла на нем — прелесть невинности. Слезы покатились из глаз ее,— они растопили мое сердце. Все подозрения, все сомнения, вся уверенность моя рассыпались при первом ее взгляде,— я упал, рыдая, к ногам ее...

Это свидание не было последним. Я вымолил у Фелиции позволение видать ее в замке по пятницам, дни, в которые граф уезжал обыкновенно в гости. Живучи вблизи, я узнал все адские хитрости, которыми намостил он себе дорогу к супружеству. Перехватывание писем, ложные вести, коварство под личиною участия — все было там на мою беду. Этого мало. Ему нужна была Фелиция для золота; она стала лишняя, когда он получил его. Злодейская холодность, ядовитые упреки, презрение ко всему, что достойно уважения в женщине, в супруге; все огорчения, какие только злоба может выдумать и бесчувственная подлость исполнить, отравили ее жизнь, уничтожили здоровье. Она чахла, она разрушалась в глазах моих,— я видел,

я чувствовал это и перенес это; меня подкрепляла надежда, жажда мести. Я поклялся прахом отца и тенью матери, поклялся всеми страшными и священными клятвами для человека отомстить злодею неумолимо. Но я не хотел смешивать с кровью последних минут Фелиции; я молчал о моем намерении. Звезда души моей гасла чиста и невинна!.. Так блещет луна перед закатом своим в зимнюю ночь,— мрак и холод окружали меня.

Когда в последний раз видел Фелицию, она предчувствовала свою кончину, и я не мог ее не предвидеть. Не знаю, с чем сравнить жестокую известность, которая близилась... Я был вне себя... В безумии умолял я ее, если не суждено нам еще однажды видеться здесь, чтобы хоть тень ее явилась мне перед тем днем, в который кончатся мои земные бури и страдания.

«Это будет рассветом моего будущего блаженства...— говорил я.— Дай мне на этой земле вкусить небесную радость!»

«О, если б это было в моей власти,— отвечала она,— я бы слетела, как луч, вестником соединения!»

«Кто любит, тот верит,— возражал я,— и почему бог не исполнит невинного желания людей, рожденных друг для друга и только страдавших друг за друга!»

Она с улыбкою пожала мне руку. «Последняя молитва моя к богу будет об этом,— сказала она,— но последняя просьба моя к тебе — не мсти за меня графу!» Она не могла кончить речи и лишилась чувств, и я должен был оставить ее в таком положении!.. Легче, во сто раз легче было бы мне расставаться с душою, чем тогда с любезною! Она умерла, и я не закрыл ей очи!.. И кто лишил меня этого горестного утешения, кто, если не Остроленский? Последний завет, последняя воля ее была прощение,— но мог ли я простить ему!!

Судьба противостала и злобным и мирным моим желаниям; вскоре после похорон Фелиции она оторвала меня даже от тех мест, где бы я мог выплакать душу, как цветок намогильный. Я был послан ремонтером на всю дивизию внутрь Малороссии и, воротясь через два года в полк, узнал, что грабе Остроленский, обвиненный уголовно за жестокость с крестьянами, бежал во Францию и вступил там в службу Наполеона.

Радостен был я, когда загорелась нынешняя война. Мысль кончить по крайней мере со славою жизнь без счастия утешала меня. Месть врагам, разорителям оте-

чества, меня одушевляла, но и собственная, сердечная месть меня не покидала ни в походах, ни в сражениях. Приближаясь ныне к местам, столь для меня памятным, она заговорила в душе громче, нежели когда-нибудь. Я сыпал золото, рассылая жидов проведать, не здесь ли граф Остроленский. Вчерась один из кровопродавцев воротился с вестью, что граф точно здесь и возмущает околоток к отпору. Я выпросился у генерала примкнуть к вашему отряду и поскакал вслед за вами с одним ординарцем. Остальное вы знаете, кроме заключения!..

Тут латник остановился, глаза его снова засверкали гневом, и кровь пятнами вступила в лицо...

— Я увидел в схватке бегущего графа,— продолжал он,— я следил, я достиг его далеко от замка. Конь его, застреленный мною, пал и придавил собою злодея. Палаш мой сверкнул над его головою. О! как сладки были для слуха моего мольбы врага о пощаде! Подлец! Он не умел и умереть благородно; он не выкупил ни одною минутою твердости черной своей жизни. Как унизительно выпрашивал он, будто милостыни, чтоб я дал ему время раскаяться! Нет, злодей! я не дам тебе раскаяться! Ты превратил в ад мое небо — ступай же сам в вечный ад! Я мог бы простить свою собственную, кровную обиду; но тысячи обид, нанесенных существу драгоценнейшему для меня всего на свете, с которым ты разлучил меня,— этого не мог и не должен был я простить. Это было выше души моей,— я с ожесточением вонзил ему в грудь свой клинок.

В это время вошел вахмистр мой с рапортом и за приказаниями для похода.

— Спрашивай о том у господина майора,— сказал я, указывая на латника.

Он вскочил.

— У меня одно приказание для вашего отряда, господин ротмистр,— отвечал он,— одна просьба до вас самих — велите зажечь замок со всех сторон: хочу, чтоб и самая память Остроленского погибла под пеплом!

Я склонил голову в знак согласия; скоро зазвучала труба. Мы едва успели сесть на коней, как замок вспыхнул столбом. Латник долго ехал, оборотясь назад, будто любовался пожаром; но когда лес заслонил нас даже и от дымного облака, он впал в глубокую думу; мы не хотели докучать ему нескромным участием и ехали тихо, безмолвно.

Вдруг мой латник будто проснулся от сна.

— Господа! — произнес он,— прошу вас, как товарищей, отошлите этот кошелек в мой эскадрон. Пускай поминают меня мои добрые кирасиры! Отправьте также эти бумаги к брату моему (он назначил адрес), они будут ему весьма нужны... Наконец, простите меня сами — не осуждайте память мою; сегодня, непременно сегодня я буду убит! Тень Фелиции посетила меня в прошлую ночь!

Мы изумились, слыша, с каким уверением говорил человек воспитанный о предчувствиях, о явлениях по смерти.

Впрочем, мы очень осторожно старались разуверить его.

— Вы видели портрет Фелиции, майор, а сон мог продлить заблуждение. Кровь ваша была вчерась так взволнована, так воспалена! — сказал я.

Латник горько улыбнулся.

— Господа! — отвечал он,— может быть, я не могу так же красно, как вы, толковать о лживости предчувствий, о невозможности сообщения живых с умершими... но я верил этому так жадно, так долго, эта вера была моею отрадою, какой-то голос в душе говорит мне, что я не обманут. Отечеству посвятил я жизнь мою, но умереть хочу для себя! За границею этого мира ожидает меня Фелиция!!

Более не молвил он ни слова.

Под вечер вышли мы на Виленскую дорогу и соединились с главным отрядом славного нашего Сеславина; к ночи налетели мы на Ошмяны,— там был сам Наполеон.

Несмотря на превосходство французов в силах, мы ударили в них как гром. Сам начальник наш с ахтырцами врубился в средину города, мы ворвались туда со всех сторон; крик, тревога, пальба, сабли и штыки в работе, но темнота, подарившая нас победою, укрыла Наполеона от поисков наших. Если б мы знали место ночлега, Ошмяны бы были геркулесовскими столбами его поприща.

Но видно, судьба судила иначе: он ускакал.

Назавтра, на рассвете, я с поручиком Зарницким выступал из Ошмян в арьергарде нашего летучего отряда. На улицах лежали еще трупы убитых; многие домы дымились после пожара... живые прятались по углам. Мы тянулись через площадь, на которой фран-

цузы держались упорнее прочих мест. Тела лежали на телах, ободранные, обезображенные. Вдруг Зарницкий осадил коня, спрыгнул с него и припал к какому-то трупу...

— Боже мой! — сказал он.— Посмотри, Жорж, это наш латник!

В самом деле то был он, и обнажен весь; кирас его брошен был недалеко в грязи, но каска на голове и палаш в стиснутой руке остались. За оружием никто не гнался. На теле его видны были несколько ран пулями и штыками. Выражение лица его сохранило еще гордость и угрозу, но на нем не виделось ни следа страстей, обуревавших его молодость, оно было светло и спокойно.

— Нашел ли ты мир, которого не знал в жизни? — сказал я, качая головою.

— Дай бог! — прибавил Зарницкий.— Чудный человек! ты задал мне чудную загадку. В самом ли деле тень Фелиции была вестницей твоей смерти, или вера в заблуждение заставила найти ее?

— Не пройдет, может статься, трех часов — и французская пуля разрешит кому-нибудь из нас эту тайну,— возразил я.

Задумавшись, стояли мы над телом убитого товарища... Эскадрон прошел... Звук трубы вызвал нас из забвения.

Мы вспрыгнули на коней и молча поскакали вперед.

Н. А. ПОЛЕВОЙ

БЛАЖЕНСТВО БЕЗУМИЯ

On dit, que la folie est un mal; on a tort — c'est un bien...

Говорят, что безумие есть зло, — ошибаются: оно благо!

Мы читали Гофманову повесть «Meister Floh»[1]. Различные впечатления быстро изменялись в каждом из нас, по мере того как Гофман, это дикое дитя фантазии, этот поэт-безумец, сам боявшийся привидений, им изобретенных, водил нас из страны чудесного в самый обыкновенный мир, из мира волшебства в немецкий погребок, шутил, смеялся над нашими ожиданиями, обманывал нас беспрерывно и наконец — скрылся, как мечта, изглаженная крепким утренним сном! Чтение было кончено. Начались разговоры и суждения. Иногда это последствие чтения бывает любопытнее того, что прочитано. В дружеской беседе нашей всякий изъявлял свое мнение свободно; противоречия были самые странные, и всего страннее показалось мне, что женщины хвалили прозаические места более, а мужчины были в восторге от самых фантастических сцен. Места поэтические пролетели мимо тех и других, большею частию не замеченные ими.

Один из наших собеседников молчал.

— Вы еще ничего не сказали, Леонид? — спросила его молодая девушка, которая не могла налюбоваться дочерью переплетчика, изображенною Гофманом.

— Что же прикажете мне говорить?

— Как что? Скажите, понравилась ли вам повесть Гофмана?

— Я не понимаю слова «понравиться»,— отвечал Леонид — и глаза его обратились к другой собеседнице нашей,— не понимаю, когда говорят это слово о Гофмане или о девушке...

Та, на которую обратился взор Леонида, потупила глаза, и щеки ее покраснели.

— Чего же вы тут не понимаете?

---

[1] «Повелитель блох» *(нем.)*.

— Того,— отвечал Леонид,— что ни Гофман, ни та, которую сердце отличает от других, нравиться не могут.

— Как? Гофман и девушка, которую вы любите, вам не могут нравиться?

— Жалею, что не успел хорошо высказать моей мысли. Дело в том, что слово «нравиться» я позволил бы себе употребить, говоря только о щегольской шляпке, о собачке, модном фраке и тому подобном.

— Прекрасно! Так лучше желать быть собачкою, нежели тою девушкою, которую вам вздумается любить?..

— Не беспокойтесь. Но Гофман вовсе мне не нравится, как не нравится мне буря с перекатным громом и ослепительною молниею: я изумлен, поражен; безмолвие души выражает все мое существование в самую минуту грозы, а после я сам себе не могу дать отчета: я не существовал в это время для мира! И как же вы хотите, чтобы холодным языком ума и слова пересказал я вам свои чувства? Зажгите слова мои огнем, и тогда я выжгу в душе другого чувства мои такими буквами, что он поймет их...

— Не пишет ли он стихов? — сказала девушка, которая спрашивала, молчаливой своей подруге.— Верно, это какое-нибудь поэтическое сравнение или выражение, и я ничего в нем не понимаю...

— Ах! как *я* его понимаю! — промолвила другая тихонько, сложив руки и поднимая к небу голубые глаза свои.

Я стоял за ее стулом и слышал этот голос сердца, невольно вылетевший. Боясь, чтобы она не заметила моего нечаянного дозора, я поспешил начать разговор с Леонидом.

— Прекрасно,— сказал я,— прекрасно, любезный Леонид! Только, в самом деле, непонятно.

— Как же вы говорите «прекрасно», если вы не понимаете?

Этот вопрос смешал меня. Я не знал, что отвечать на возражение Леонидово.

— То есть, я говорю,— сказал я ему наконец,— что трудно было бы изъяснить положительно, если бы мы захотели отдать полный отчет в ваших словах.

— Бедные люди! Им и чувствовать не позволяют того, чего изъяснить они не могут! — Леонид вздохнул.

— Но как же иначе? — сказал я.— Безотчетное чувство есть низшее чувство, и ум требует отчета верного, положительного...

— Мне всегда забавно слышать подобные слова: сколько в них шуму, грому, и между тем, как мало отчетливости во всех ваших отчетах! Скажите, пожалуйста: во многом ли до сих пор успели вы достигнуть вашей отчетливой положительности? Не вправе ли мы и теперь еще, после всех ваших философских теорий и систем, повторить:

Есть многое в природе, друг Горацио,
Что и не снилось вашим мудрецам!

Что такое успели мы разгадать нашим умом и выразить нашим языком? Величайшая горесть, величайшая радость — обе безмолвны; любовь также молчит — не смеет, не должна говорить (он взглянул украдкою на молчаливую нашу собеседницу). Вот три высокие состояния души человеческой, и при всех трех уму и языку дается полная отставка! Все это человек может еще, однако ж, понимать; но что, если мы осмелимся коснуться тех скрытых тайн души человеческой, которые только ощущаем, о существовании которых только догадываемся?..

Леонид засмеялся и вдруг обратился к веселой нашей собеседнице:

— Вам скучно слушать мои странные объяснения. Извините: вы сами начали.

— Я искренно признаюсь вам, что не понимаю, о чем вы говорите. Мне просто хотелось узнать ваше мнение о гофмановской сказке...

— Сказка эта похожа на быль,— отвечал Леонид.

— Помилуйте? Как это можно?

— Говорю не шутя. Сначала мне показалось даже, будто я слышу рассказ о том, что случилось с одним из моих лучших друзей.

— Возможно ли?

— Окончание у Гофмана, однако ж, совсем не то. Бедный друг мой не улетел в волшебное царство духов: он остался на земле и дорого заплатил за мгновенные прихоти своего бешеного воображения...

— Расскажите нам!

— Это возбудит горестные воспоминания моей жизни; притом же я боюсь: я такой плохой рассказчик...

Сверх того, в приключениях друга моего я ничего не могу изъяснить положительно!..— Леонид засмеялся и пожал мне руку.

— Злой насмешник! — сказал я.

— Вы, однако ж, расскажете нам? — повторила веселая наша собеседница.

— Если вам угодно...

Взор Леонида выразил, однако ж, что совсем не в ее угоду хотел он рассказывать.

— Ах! как весело! — сказала вполголоса молчаливая ее подруга, так что Леонид мог слышать,— он станет рассказывать!

— Ты любишь слушать рассказы Леонида? — лукаво спросила ее подруга.

— Да... потому, что они всегда такие странные...— Она смешалась и опять замолчала.

Несколько молодых людей придвинули к нам свои кресла. Мы составили отдельный кружок. Другие из гостей были уже заняты в это время картами и разговорами о погоде и еще о чем-то весьма важном, кажется, об осаде Антверпена.

Леонид начал:

— Вы позволите мне скрыть имена и предварительно объявить, что я ни слова не прибавлю и не убавлю к истине.

— В Петербурге, несколько лет тому, когда я служил по министерству... знал я одного молодого чиновника. Он был товарищ мне по департаменту и старше меня летами. Назовем его Антиохом. В начале нашего знакомства показался он мне угрюм, холоден и молчалив. В веселых беседах наших он обыкновенно говаривал мало. Сказывали также, что он большой скупец. В самом деле, всем известно было, что у него огромное состояние, но он жил весьма тихо и скромно, никого не приглашал к себе, редко участвовал в забавах своих приятелей и только раз в год сзывал к себе товарищей и знакомых, в день именин своих. Тогда угощение являлось богатое. В другое же время редко можно было застать его дома. Говорили, что он нарочно не сказывается, хотя кроме должности почти никуда не ходит и сидит запершись в своем кабинете. Должность была у него легкая, за бумагами сидеть ему было не надоб-

но, и никто не знал, каким образом Антиох проводит время. Впрочем, он был чрезвычайно вежлив и ласков, охотно ссужал деньгами и был принят в лучших обществах. Прибавлю, что он был собою довольно хорош, только не всякому мог понравиться. Лицо его, благородное и выразительное, совсем не было красиво; большие голубые глаза его не были оживлены никаким чувством. Стройный и высокий, он вовсе не заботился о приятности движений. Часто, сложив руки, опустив глаза в землю, сидел он и не отвечал на вопросы самых милых девушек и улыбался притом так странно, что можно было почесть эту улыбку за насмешку. Бог знает с чего, Антиоха называли ученым — название, не придающее любезности в глазах женщин: говорю, что слыхал, и готов допустить исключения из этого правила. Такое название придали Антиоху, может быть, потому, что он хорошо знал латинский язык и был постоянным посетителем лекций Велланского. Впрочем, Антиох показывал во всем отличное, хотя и странное, образование. Он превосходно знал французский, италиянский и особливо немецкий язык; изрядно танцевал, но не любил танцевать; страстно любил музыку, но не играл, не пел и всему предпочитал Бетховена. Иногда начинал он говорить, говорил с жаром, увлекательно, но вдруг прерывал речь и упорно молчал целый вечер. Знали, что он много путешествовал, но никогда не говорил он о своих путешествиях...

Извините, что я изображаю вам моего героя. Этот старинный манер романов необходим, и вы поймете после сего, почему называли Антиоха странным человеком. Вообще Антиоха все уважали, но любили его немногие. Долго старались разгадать странности Антиоховы. Одни сказывали, будто он был когда-то влюблен, и влюблен несчастно. Это могло сделать его интересным для женщин, но холодность Антиоха отталкивала всякого, кто хотел с ним сблизиться. Другим казалось непростительным, что при большом богатстве своем он, совершенно независимый и свободный, не живет открыто и не находится в блестящем обществе, не ищет ни чинов, ни связей, сидит дома, ходит на ученые лекции. «Он слишком умничает — он странный человек — он чудак — впрочем, он деловой человек — он скуп, а это отвратительно!»

Так судили об Антиохе. Странность труднее извинять, нежели шалость. Другим прощали бесцветность,

ничтожность характера, мелкость души, отсутствие сердца: Антиоху не прощали того, что он отличался от других резкими чертами характера.

Признаюсь, я не мог не уважать Антиоха за то, что он не походил на других наших товарищей. Кто знает молодых петербургских служивых людей, тот согласится с моим замечанием. Мало удавалось мне слыхать оживленный разговор Антиоха; но что слыхал я, то изумляло меня чем-то необыкновенным — какою-то странною оригинальностью. Вскоре мы познакомились с ним короче.

Это было летним вечером. Помню этот вечер — один из прекраснейших вечеров в моей жизни! Я вырвался тогда из душного Петербурга, уехал в Ораниенбаум, дал себе свободу бродить без плана, без цели. Солнце катилось к западу, когда я очутился на даче Чичагова. Местоположение прелестное, дикое, уединенное, солнце, утопающее в волнах Финского залива, море, зажженное его лучами, небо ясное, безоблачное — все это расположило меня к какому-то забвению самого себя. Я был весь мечта, весь дума — как говорят наши поэты, и не заметил, как приблизился ко мне Антиох.

«Леонид! — сказал он мне,— дай руку! Отныне ты видишь во мне доброго своего друга!»

Я невольно содрогнулся от яркого взора, какой Антиох устремил на меня, и от нечаянного появления этого странного человека. В замешательстве, молча, пожал я ему руку.

Никогда не видывал я Антиоха в таком, как теперь, состоянии. Если бы надобно было изобразить мне состояние его одним словом, то я сказал бы, что Антиох казался мне вдохновенным. Я видел не прежнего холодного Антиоха, с насмешливою улыбкою, с каким-то презрением смотревшего на всех, запеленанного в формы и приличия. В глазах его горел огонь, румянец оживлял его всегда бледные щеки.

«Леонид,— сказал он мне,— ради бога, прочь все формы! Будь при мне тем, чем видел я тебя за несколько минут, или я уйду и оставлю тебя!»

«Вы меня удивляете, Антиох!»

«Несносные люди! Их никогда не застанешь врасплох; они тотчас спешат надеть фрак свой и подать вам визитную карточку... Извините, что я перервал вашу уединенную прогулку»,— сказал Антиох с досадою и

хотел идти прочь. Я остановил его. Голос Антиоха дошел до моего сердца.

«Антиох! Я тебя не понимаю».

«А мне казалось, что за несколько минут я понимал тебя, понимал юное сердце человека, который убежал из толпы людей отдохнуть здесь, один на просторе, побеседовать с матерью-природою; понимал взор твой, устремленный на этот символ души человеческой — море бесконечное, бездонное, с бурями и пропастями...»

«Леонид!» — «Антиох!» — воскликнули мы и крепко обняли друг друга. Взявшись рука в руку, до глубокой ночи бродили мы вместе.

Не могу пересказать вам всего, что было переговорено нами в это время.

Антиох раскрыл мне свою душу — я высказал ему мою. Но что мог я тогда высказать ему? — продолжал Леонид с жаром, потупив глаза.— Несколько бледных воспоминаний детства, несколько неопределенных чувств при взгляде на природу, несколько затверженных мною идей, несколько мечтаний о будущем, может быть... Но я не о себе, а об Антиохе хочу говорить вам.

Антиох открыл мне новый мир, фантастический, прекрасный, великолепный — мир, в котором душа моя тонула, наслаждаясь забвением, похожим на то неизъяснимо-сладостное чувство, которое ощущаем мы, купаясь в море или смотря с высокой, заоблачной горы на низменное пространство, развивающееся под ногами нашими. Душа Антиоха была для меня этим новым, волшебным миром: она населила для меня всю природу чудными созданиями мечты; от ее прикосновения, казалось мне, и моя душа засверкала электрическими искрами. Как легко понял я тогда и насмешливую улыбку Антиоха при взгляде на известные обоим нам светские общества, и презрение, какое невольно изъявлял он при взгляде на наших товарищей!

Только равная Антиоху душа могла понять его или сердце младенческое, чистое, беспечно отдавшееся ему. Так прекрасную душу женщины понимает только пламенная душа любящего ее человека или дитя, которое безотчетно улыбается на ее материнскую слезу и питается жизнью из ее груди!

«Леонид! — говорил мне Антиох,— человек есть отпадший ангел божий. Он носит семена рая в душе своей и может рассадить их на тучной почве земной приро-

ды и на лучших созданиях бога — сердце женщины и уме мужчины! Мир прекрасен, прекрасен и Человек, этот след дыхания божьего. Бури низких страстей портят, бури высоких страстей очищают душную его атмосферу и сметают пыль ничтожных сует. Любовь и дружба — вот солнце и луна душевного нашего мира! К несчастию, глаза людей заволокает темная вода: они не видят их величественного восхождения, прячутся в тени от жаркого полдня любви и пугаются привидений священной полуночи дружбы или больными, слабыми глазами не смеют глядеть на солнце и спят при серебристом свете месяца. Тяжело тому, кто бродит один бодрствующий и слышит только храпенье сонных. Пустыня жизни ужасна — страшнее пустынь земли! Как грустно смотреть, если видишь и понимаешь, чем могли б быть люди и что они теперь!»

С жаром детских надежд опровергал я слова Антиоха, указывая ему на светлую будущность нашей жизни.

«Утешайся этими мечтами, храни их, Леонид! — ласково, но задумчиво говорил Антиох.— Эта мелкая монета всего лучше в торговле жизнью, и — горе тому, кто принесет на рынок людской жизни горсть драгоценных алмазов: если бы люди и могли оценить их, им не на что будет их купить; никто тебе не разменяет их, никто не продаст тебе на них ничего, и ты, обладатель алмазов, умрешь с голоду! Открой мне поприще, достойное высоких порывов души, поставь мне метою лавровый или дубовый венок, не оскверненный мелкими отношениями. А! самая смерть в достижении к этому венку будет сладостною целью жизни! Но покупное, но ничтожное — за ними ли пойду я! Так на торжественном пире народном ставят золоторогих быков, и безумная чернь дерется за куски их мяса, лезет на шест, стараясь достать позолоченный крендель, положенный на его вершине...

Леонид! ты еще не испытал терзательных бичей жизни. Ты еще не ставил на карту мечтаний всего своего счастия. Ты не знаешь еще муки неудовлетворенных стремлений души в любви, дружбе и славе! Горестный опыт научил меня многому, что тебе неизвестно».

Антиох рассказал мне главные подробности своей жизни. Отец его, бедный офицер, увез дочь богача, и жестокосердный старик проклял их.

«Я не помню радостей младенчества,— говорил мне

Антиох.— Угнетающая бедность, слезы матери, бледное лицо моего доброго отца — вот привидения, которыми окружена была колыбель моя. Бедность убийственна, а я испытал ее, испытал вполне: я видел, как мать моя терзалась последними смертными муками, и лекарь не шел к ней, потому что нечем было заплатить ему за визит! Я видел, как отец мой держал в руке рецепт, прописанный лекарем, и плакал: ему не с чем было послать в аптеку! Мы должны были много аптекарю; он не хотел нам отпускать более в долг, а у нас не было ни одной копейки! Двенадцати лет был я, когда проводил бедный гроб матери на кладбище и, возвратясь домой, застал отца без памяти — его повезли в больницу.

Я составлял единственное утешение матери моей, и воспитание мое было в странной противоположности с состоянием нашим. Женщина, каких не встречал я после, святой идеал материнской любви! зачем так рано раскрыла ты мое сердце? Зачем не дозволила свету охолодить, облечь меня в свои приличия и условия? Но тебе потребна была душа родная, с которою могла бы ты делиться своею душою, своим сердцем. И твоя мечтательная, любящая душа погубила меня! Голова моя была уже романическою, когда я едва понимал самые обыкновенные предметы жизни. Единственный друг нашего семейства, пастор лютеранской церкви того города, где мы жили, был другой губитель мой. Его высокая добродетель, его трогательная проповедь, его музыка, его слова, беседы с моею матерью уносили меня за пределы здешнего мира. Добрый старик этот в один год лишился нежно любимой жены, двух дочерей и осиротел на чужой стороне в старости лет. Единственное утешение его было, когда мать моя со мною приходила к нему, и он мог плакать, мог говорить с нею о милых, утраченных им, о своей доброй Генриетте, о своих незабвенных Элизе и Юлии. По целым часам стоял я иногда и слушал, когда он, забывши весь мир, один в своей кирхе, играл на органах — я слушал божественные звуки Моцарта и Генделя, и голова моя горела, пока я не начинал неутешно рыдать. Тогда старик переставал играть и обнимал меня со слезами... Мы казались друзьями, ровесниками...

Из этого мира романической жизни и мечтаний вдруг перешел я в мир совершенно противоположный. Дед мой услышал о смерти моей матери. Одиноко,

грустно проводил он жизнь среди своих богатств. В больницу, где лежал отец мой, явился этот старик: все было забыто, горесть примирила их. Я воображал себе деда строгим, угрюмым богачом: увидел седого, убитого печалью старика, который обнимал меня, называл своим милым Антиохом. Отец мой выздоровел, снова вступил в службу; я переселился к моему деду. Вскоре бессарабская чума лишила меня отца...

Дед мой жил как богатый русский помещик, окруженный многочисленною дворнею, льстецами, прислужниками. Меня, его единственного наследника, облелеяли все прихоти, все изобретения роскоши. Но грубый мир страстей, который увидел я у деда, старика, обманываемого всем, что его окружало, не только не увлек меня, но отвратил от себя и увеличил противоположность мечтательной души моей и действительной жизни. Все время, которого не проводил я в учебной своей комнате с множеством учителей, для меня нанятых, был я с моим дедом — как говорится, не слышавшим во мне души,— или бродил по окрестным лесам, с книгою, с мечтами, или скакал по полям на борзом коне. Соседи наши, добрые грубые люди — особливо соседки, матушки, тетушки, кузины, дочки их,— заставляли меня с особенною охотою скрываться в мое уединение».

Выражение Антиоха сделалось колким, насмешливым, когда он описывал мне грубую безжизненную жизнь деревенского быта: помещиков, переходящих от овина к висту, помещиц, занятых то ездою в гости, то сватаньем дочерей. Но с бóльшею насмешкою говорил он мне о сельских красавицах — полных, здоровых, с румяными щеками, с бледною душою, красивых личиками, безобразных сердцами...

«Я искал душ в этих прозябающих телах,— говорил Антиох.— Часто увлекался я добродушием отцов, простотою матерей и взрослым младенчеством детей их. Но грубые формы их вскоре отталкивали меня, и всего грустнее мне было видеть, когда я находил следы чего-то прекрасного, высокого, насильно заглушенного среди репейника и полыни сует и мелких отношений. Я готов был тогда жаловаться на провидение, сеющее бесплодные семена или попускающее расклевывать их галкам и воронам ничтожных отношений, душить их белене и чертополоху невежества.

Я выпросился у деда моего в Геттингенский уни-

верситет. Мне и потому несносно было оставаться более в деревне, что меня там невзлюбили наконец, называли философом — страшная брань в устах тамошних обитателей,— чудаком, нелюдимом, насмешником.

Германия — парник, где воспитывает человечество самые редкие растения, унесенные человеком из рая; но она — парник, Леонид! — а не раздольное поле, на котором свободно возрастали бы величественные пальмы и вековые творения человеческой природы. «Германия снимает с лампад просвещения нагар, но зато от нее пахнет маслом»,— сказал не помню кто, и сказал справедливо. Однако ж в ней провел я лучшие минуты жизни — в ней, и еще в итальянской природе, и между швейцарскими горами, где песня приволья отдается между утесами горными и вторит шуму вечных водопадов...

Внезапная смерть деда заставила меня возвратиться в Россию, о которой сильно билось сердце мое на чужбине. Не зная разлуки с отчизною, не знаешь и грусти по отчизне, не знаешь, какую прелесть имеет самый воздух родины, какое очарование заключается в снегах ее, как весело слышать наш русский, сильный язык! Я увидел себя обладателем большого имения; сила души моей не удовлетворялась более одним ученьем. Мне хотелось забыть и мечты мои, и противоположности жизни в деятельных, достойных мужа трудах; хотелось узнать и большой свет.

Мой друг! кто рано начал жить вещественною жизнью, тому остается еще необозримая надежда спасения в жизни души; но беден, кто провел много лет в мире мечтаний, в мире духа и думает потóм обольститься оболочкою этого мира, миром вещественным! Так путешествие — отрада для души неопытной, обольщаемой живыми впечатлениями общественной жизни и природы, но оно — жестокое средство разочарования для испытанного жильца мира! Богатые лорды английские проезжают через всю Европу нередко для того, чтобы навести пистолет на разочарованную голову свою по возвращении в свои великолепные зáмки. Есть путешествия, в которых душа человеческая могла бы еще забыться,— путешествия по бурным безднам океана, среди льдов, скипевшихся с облаками под полюсом, среди палящих степей и пальмовых оазисов Африки, среди девственных дебрей Америки. Но такой ли мир для души петербургский проспект и эти размраморен-

ные, раззолоченные залы и гостиные? Кто привык к крепкому питью, тому хуже воды оржад, прохлаждающий щеголеватого партнера кадрили. Вода, по крайней мере, вовсе безвкусна, а бальный оржад — что-то мутное, что-то приторное... Несносно!

Если бы горела война, изумлявшая Европу в 1812-м году, если бы грудью своею ломил нашу Русь тогдашний великан, которому мечами вырубили народы могилу в утесах острова Св. Елены,— под заздравным кубком смерти можно бы отдохнуть душою; если б я был поэтом, мог в очарованных песнях высказывать себя,— я также отдохнул бы тогда, я разлился бы по душам людей гармоническими звуками, и буря души моей исчезла бы в громах и молниях поэзии; если бы я мог, хотя не словами, но звуками только оживлять мечты, которым тесно в вещественных оковах... Но ты знаешь, что я не поэт и не музыкант! Непослушная рука моя всегда отказывалась изображать душу мою и в красках, и в очерках живописных. О Рафаэль, о Моцарт, о Шиллер! Кто дал вам божественные ваши краски, звуки и слова? Для чего же даны они были вам, а не даны мне? И для чего не передали вы никому тайны созданий ваших? Или вы думали, что люди недостойны ваших тайн? И для чего же судьба дала мне чувства, с которыми я понимаю всю ничтожность, всю безжизненность моих порывов, смотря на небесную Мадонну, слушая «Requiem» и читая «Résignation»? «Звуков, цветов, слов! — восклицаю я,— их дайте мне, чтобы сказаться на земле небу! Или дайте же мне душу, которая слилась бы со мною в пламени любви...» И что же вокруг меня? Куклы с завялыми цветами жизни, с цепями связей и приличий! Чего им от меня надобно? Моего золота, которое отвратительно мне, когда я вспоминаю, что мать моя умирала, а у меня не было гривны денег купить ей лекарства! И эту купленную любовь, эту продажную дружбу, эти обшитые мишурою расчета почести будут занимать меня?.. Никогда!»

Вы назовете Антиоха моего безумцем, мечтателем? Не противоречу вам, не хвалю его, но — таков он был. Не осуждайте его хоть за то, что впоследствии он расплатился дорого за все, что чувствовал, о чем говорил и мечтал. Простите ему, хоть за эту цену, его безумие и, если угодно, извлеките из этого нравственный вы-

вод, постарайтесь еще более похолодеть, покрепче затянуться в формы, приличия и обыкновенные, благоразумные, настоящие понятия о жизни. *Его пример будь нам наукой:* не слишком высоко залетать на наших восковых крыльях. Лучше дремать на берегу лужи, нежели тонуть, хотя бы и в океане...— Леонид улыбнулся и продолжал рассказ:

— Не все, что высказал я вам, говорено было нами во время прогулки на Чичаговой даче в этот незабвенный для меня вечер, после которого мы почти не расставались с Антиохом. Каждый раз привязывался я к нему более и более, каждый раз лучше узнавал я эту душу, пылкую, независимую, добрую, как у младенца, светлую, как у добродетельного старца, пламенную, как мысль влюбленного юноши. Не знаю, что полюбил Антиох во мне. Может быть, детское самоотвержение, с каким вслушивался я в голос его сердца, в высокие отзывы души его.

Тогда узнал я, чтó делывал Антиох, запираясь у себя дома и отказывая посетителям. Склонность к мечтательности, воспитанная всею его жизнию, увлекала Антиоха в мир таинственных знаний, этих неопределенных догадок души человеческой, которых никогда не разгадает она вполне. Исследование тайн природы и человека заставляли его забывать время, когда он занимался ими. Исследования магнетизма, феософия, психология были любимыми его занятиями. Он терялся в пене мудрости, которая кружит голову вихрями таинственности и мистики. Знания, известные нам под названиями кабалистики, хиромантии, физиогномики, казались Антиоху только грубою корою, под которою скрываются тайны глубокой мудрости.

Я не мог разделять с ним любимых его упражнений, однако ж слушал и заслушивался, когда он, с жаром, вдохновенно, говорил мне о таинственной мудрости Востока, раскрывал мне мир, куда возлетает на мгновение душа поэта и художника и который грубо отзывается в народных поверьях, суевериях, преданиях, легендах. Антиох не знал пределов в этом мире. Эккартсгаузен, Шведенборг, Шубарт, Бем были самым любимым его чтением.

«Тайны природы могут быть постижимы тогда только, когда мы смотрим на них просветленным зрением души,— говорил он.— Кто исчислит меру воли человека, совлеченной всех цепей вещественных? Где мера

и той божественной вере, которая может двигать горы с их места, той дщери небесной Софии, сестры Любви и Надежды? Природа — гиероглиф, и все вещественное есть символ невещественного, все земное — неземного, все вещественное — духовного. Можем ли пренебречь этот мир, доступный духу человеческому?»

«Мечтатель! — говорил я иногда Антиоху,— ты погубишь себя! Мало тебе идеалов, которых не находишь в жизни — ты хочешь из них создать целый мир и в этом мире открывать тайны, которые непостижимы человеку!»

«Но они постижимы ему в зрящем состоянии ума, во временной смерти тела — сне — и в вещественном соединении с природою — магнетизме! Но если я и грежу, если это и сон обольстительный, не лучше ли сон этот бедной вашей существенности? Если сон приставляет крылья телу — мечта подвязывает крылья душе, и тогда нет для нее ни времени, ни пространства. О, мой Леонид! Если дружбу мою столько раз, со слезами, называл ты благословением неба, зачем не могу я изобразить тебе, чтó сказала бы родная душа о моей любви, о любви выше ничтожных условий земли и мира! Да, правда: эта любовь не для земли — ее угадала бы одна, одна душа, созданная вместе с моею душою и разделенная после того. Леонид! назови меня сумасшедшим, но Пифагор не ошибался: я верю его жизни до рождения — и в этой жизни — верю я — было существо, дышавшее одной душою со мной вместе. Я встречусь некогда с ним и здесь; встреча наша будет нашею смертию — пережить ее невозможно! Умрем, моя мечта! умрем — да и на что жить нам, когда в одно мгновение первого взора мы истощим века жизни?..»

Не знаю, поняли ль вы теперь странную, если угодно, уродливую душу Антиоха, которая открывалась только мне одному и никому более? Для других продолжал он быть прежним, насмешливым, холодным молодым человеком, не переменял образа своей жизни, жил по-старому, служил, как другие...

В это время приехал в Петербург какой-то шарлатан: называю его так потому, что его нельзя было назвать ни артистом, ни ученым человеком. Он, правда, не объявлял о себе в газетах, не вывешивал над своею

квартирою огромной размалеванной холстины днем, ни темного фонаря с светлою надписью по вечерам и называл себя Людовиком *фон* Шреккенфельдом; однако ж разослал при театральных афишках известие, для любителей изящных искусств, о мнемо-физико-магических вечерах, какие намерен давать петербургской публике, и «льстил себя надеждою благосклонного посещения». В огромной зале давал он эти вечера. Цена за вход назначена была десять рублей, и зала каждый раз была полна. В самом деле — было чего посмотреть. Удивительные машины, непонятные автоматы, блестящие физические опыты занимали прежде всего посетителей. Потом приглашенные лучшие артисты разыгрывали самые фантастические музыкальные пьесы; иногда фантасмагория, кинезотография, пиротехника, китайские тени изумляли всех своею волшебною роскошью. Но молодых посетителей более всего привлекала к Шреккенфельду девушка, которую называл он своею дочерью.

Не знаю, как описать вам Адельгейду: она уподоблялась дикой симфонии Бетховена и девам-валкириям, о которых певали скандинавские скальды. Рост ее был средний, лицо удивительной белизны, но не представляло ни стройной красоты греческой, ни выразительной красоты Востока, ни пламенного очарования красоты итальянской; оно было задумчиво-прелестно, походило на лицо мадонн Альбрехта Дюрера. Чрезвычайно стройная, с русыми, в длинные локоны завитыми волосами, в белом платье, Адельгейда казалась духом той поэзии, который вдохновлял Шиллера, когда он описывал свою Теклу, и Гете, когда он изображал свою Миньону. Вечера Шреккенфельда отличались тем от обыкновенных зрелищ за плату, что хозяин и дочь его не собирали при входе билетов, и собрание у них походило на вечернее сборище гостей. Шреккенфельд и Адельгейда казались добрыми хозяевами, и пока артисты разыгрывали разные музыкальные пьесы, ливрейные слуги угощали посетителей без всякой платы, а он и она занимали гостей разговорами, самыми увлекательными, веселыми, разнообразными. Затем, как будто нечаянно, хозяин начинал рассуждать о природе, ее таинствах и принимался за опыты. Но все ждали нетерпеливо того времени, когда Адельгейда являлась на сцену. Она обладала удивительными дарованиями в музыке, говорила на нескольких языках, и, несмотря на ее всегдаш-

нюю холодность и задумчивость, разговор Адельгейды был блестящ, увлекателен. Заметно было, что она выходила на сцену неохотно. Обыкновенно начинала она игрою на фортепиано, а чаще на арфе. Задумчивость ее исчезала постепенно — игра переходила в фантазию, звуки лились, как будто из ее души, голос ее соединялся с звуками арфы. Тогда глаза ее начинали сверкать огнем восторга. Она пела, декламировала, оставляла арфу, читала стихи Гете, Шиллера, Бюргера, Клопштока. Раздавались звуки невидимой гармоники, скрытой от зрителей, и потрясали душу. Каждый думал тогда, что видит в Адельгейде какое-то воздушное существо, каждый ждал, что она рассеется, исчезнет легким туманом. Тогда только раздавались рукоплескания зрителей, когда Адельгейда уходила со сцены, скрывалась от взоров и к звукам гармоники присоединялся шумный хор музыкантов. Адельгейда не являлась уже к зрителям после игры и декламации, и Шреккенфельд оканчивал вечера изумительными фокусами или фантасмагориею.

Слухи о вечерах Шреккенфельда и особенно об его Адельгейде привлекали к нему молодежь. Каждый шел посмотреть на нее, как на кочевую комедиантку, походную певицу. Но каждого изумлял взгляд на нее и, особенно, разговор ее. Свобода обращения Адельгейды с молодыми людьми представляла разительную противоположность с ее холодностью. Один взор Адельгейды останавливал двусмысленный разговор или дерзкое слово самого безрассудного ветреника, а ее дарования заставляли забывать, что она была дочь какого-то шарлатана и показывала опыты необыкновенных дарований своих за деньги.

Шреккенфельд скоро составил у себя особенные, частные вечера, давая публичные вечера только один раз в неделю. Он занимал богатую квартиру, и всякий, кто был порядочно одет и знакомился с ним на публичных его вечерах, имел право прийти к нему на частный вечер и привести с собою знакомого. Совершенная свобода была в этих собраниях, хотя вид Адельгейды удерживал всех в совершенной благопристойности. Шреккенфельд был неистощим в занятии гостей: пение, музыка, опыты ученые, декламация и игра Адельгейды занимали одних, большая карточная игра — других. Шреккенфельд держал огромный банк, выигрывал и проигрывал большие суммы, хотя сам никогда не

садился играть, и только повсюду надзирал своими зелеными, лягушечьими глазами. Он внушал всем какое-то невольное отвращение, так, как Адельгейда всех привлекала собою. Нельзя было не удивляться обширным знаниям Шреккенфельда; притом он свободно говорил на пяти или шести языках; но всякое движение его было разочтено, продажно. Он казался всезнающим демоном, а Адельгейда духом света, которого заклял, очаровал этот демон и держит в цепях. Внезапный восторг, одушевлявший задумчивую Адельгейду при музыке и поэзии, можно было почесть мгновением, в которое этот ангел света вспоминает о своем прежнем небе.

Посетив раза три Шреккенфельда, я, как и другие, был очарован Адельгейдой. Но это не была любовь. Я смотрел на Адельгейду, как на волшебное привидение какое-то, как на создание из звуков музыки и слов поэзии. С восторгом говорил я об ней Антиоху. Он смеялся и отвечал мне, что один вид шарлатана ему отвратителен, и, несмотря на то, что многие шарлатаны обладают тайнами знаний, неизвестными ученым, дарованиями, какими могли бы гордиться художники, он всегда видит в них презренных торгашей божественными дарами, ремесленников, унижающих величие человека.

«Признаюсь тебе, Леонид, что женщина, показывающая за деньги свои дарования, есть для меня творение нестерпимое. Я могу равнодушно смотреть на паяца, на фокусника, но на певицу — не могу, все равно что на эквилибристку! Смейся, но я не пошел слушать Каталани в ее концерте и слышал ее в частном доме: я не пошел бы в концерт ни Малибран, ни Пасты! Один вид приставника, который отбирает у меня билет при входе, поворачивает мое сердце и разрушает для меня очарование. Иное дело в театре, где все является мне в каком-то оптическом обмане».

Но я уговорил его идти к Шреккенфельду. Антиох сел в дальнем углу залы, холодно слушал музыку, невнимательно смотрел на опыты Шреккенфельда. Он видел и Адельгейду, но, казалось, не замечал ее. В ту минуту, когда Адельгейда села за арфу, обратила взоры к небесам и начала тихими аккордами, движение Ан-

тиоха заставило меня взглянуть на него. Я увидел, что глаза его загорелись. Чудные звуки арфы слились с голосом Адельгейды — Антиох едва мог сидеть на месте. Неизъяснимая грусть, смешанная с какою-то радостью, что-то непонятное для меня изображалось на лице Антиоха. Надобно сказать, что в этот роковой вечер и Адельгейда была очаровательна, неизобразима! Когда она оставила арфу и начала декламировать, с вдохновенным взором, с горящими щеками, с глазами, полными слез,— я не посмел бы влюбиться в нее: так неземна казалась мне Адельгейда! Она читала чудное посвящение «Фауста», и эти, столь известные, слова:

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten!
Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt.
Versuch ich wohl, euch diesmal festzuhalten?
Fühl ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt? [1]

казались импровизациею в устах Адельгейды; казалось, что мы слышим их в первый раз! Когда же «звуки смычка, водимого по сердцу человеческому» (как сказал о гармонике наш известный поэт), раздались в зале и среди их умолкающих, замирающих переливов Адельгейда произнесла:

Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen
Nach jenem stillen, ernsten Geisterreich.
Es schwebet nun in unbestimmten Tönen,
Mein lispelnd Lied, der Äolsharfe gleich,
Ein Schauer faßt mich, Träne folgt den Tränen,
Das strenge Herz, es fühlt sich mild und weich;
Was ich besitze, seh ich wie in Weiten,
Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten! [2] —

слезы потекли из глаз ее... Антиох закрыл глаза своим платком, и, пока раздавались рукоплескания, он поспешно ушел из собрания.

---

[1] Опять ты здесь, мой благодатный гений,
Воздушная подруга юных дней!
Опять, с толпой знакомых привидений,
Теснишься ты, Мечта, к душе моей!

Жуковский

[2] И снова в томном сердце возникает
Стремленье в оный таинственный свет;
Давнишний глас на лире оживает,

Дня три после того не удалось мне видеться с Антиохом. Я застал его смущенного, бледного. Против обыкновения, он не ходил в наш департамент и дома ничего не делал, расхаживал взад и вперед, сложа руки.

«Ты болен, Антиох?» — спросил я.

«Нет, кажется, а, впрочем, может быть и болен».

Он замолчал, продолжал ходить и вдруг остановился передо мною, когда я сел и в беспокойстве смотрел на него.

«Леонид! — сказал он мне.— Какой злой дух внушил тебе мысль увлечь меня к Шреккенфельду, к этому демону, волшебнику? В каком мире жил я в эти дни? Чтó я чувствовал? Чтó это заговорило для меня во всей природе? Чтó вложило душу и голос во все бездушные предметы и слило голоса всего в один звук, в одно имя, которое беспрестанно режет мне слух мой, вползает в душу мою адскою змеею, сосет мое сердце?»

«Антиох! неужели Адельгейда произвела на тебя такое сильное впечатление?»

«Впечатление! Не любовь ли, скажешь ты? Неужели это любовь — любовь, этот палящий яд, который течет теперь по моим жилам и в каждой из них бьется тысячью аневризмов? О нет! Это не любовь! Я не люблю, не уважаю Адельгейды — торговки своими дарованиями, дочери воплощенного демона! Я — презираю ее! Но это какое-то очарование, от которого, как от взора гремучей змеи, спирается мое дыханье, кружится моя голова... Это какое-то непонятное чувство, похожее на усилие, с каким вспоминаем мы о чем-то былом, о чем-то знакомом, забытом нами... Леонид! я видал, я знал когда-то Адельгейду — да, я знал ее, знал... О, в этом никто не разуверит меня!.. Я знал ее где-то; она была тогда ангелом божиим! И следы грусти на лице ее, и этот взор, искавший кого-то в толпе,— все сказывает, что она жила где-то в стране той, где я видал ее, где и она знала меня... Но где, где? Не на Альпах ли раздавался ее голос и закипел в моем сердце слезами памя-

---

Чуть слышимый, как Гения полет,
И душу хладную разогревает
Опять тоска по благам прежних лет:
Все близкое мне зрится отдаленным;
Погибшее опять одушевленным...

Жуковский

ти? Не на Лаго ли Маджиоре он носился надо мною и запал в душу с памятью об яхонтовом небе Италии?»

Антиох рассказал мне, что третьего дня, оставив собрание Шреккенфельда, он бродил всю ночь, сам не зная где. Слова, голос, музыка Адельгейды преследовали его, терзали, заставляли плакать, и только говор продубившегося, зашевелившегося по улицам народа напомнил ему самого себя. Он заперся у себя в доме и на другой день, сам не зная как, вечером, желая подышать свободным воздухом, решась идти за город или на взморье, он опять очутился у Шреккенфельда, сел в углу и смотрел на Адельгейду. «Думаю,— продолжал Антиох,— что я походил на всех других, бывших у проклятого шарлатана этого, потому что никто не изумлялся, не дивился мне. Помню, что кто-то даже рекомендовал меня Шреккенфельду. А если бы знали люди, что тогда был я, что была тогда душа моя!..»

Адельгейда декламировала на сей раз только песню Теклы. Не стану читать вам немецкого подлинника. В пленительных стихах Жуковского, может быть, вам будет понятнее этот «Голос с того света»:

Не узнавай, куда я путь склонила,
В какой предел из мира перешла...
О друг! Я все земное совершила:
Я на земле любила и жила!

Нашла ли их? Сбылись ли ожиданья?
Без страха верь: обмана сердцу нет —
Сбылося все! Я в стороне свиданья,
И знаю здесь, сколь ваш прекрасен свет!

Друг! На земле великое не тщетно!
Будь тверд, а здесь тебе не изменят!
О милый! здесь не будет безответно
Ничто, ничто — ни мысль, ни вздох, ни взгляд!

Не унывай! Минувшее с тобою!
Незрима я, но в мире мы одном.
Будь верен мне прекрасною душою —
Сверши один начатое вдвоем!

Адельгейды не стало, но Антиох не двигался с места, сидел неподвижно и тогда только опомнился, когда Шреккенфельд подошел к нему и что-то начал ему говорить. Антиох увидел, что все разошлись, зала опу-

стела, и он был один. Схватив шляпу свою, он поспешил за другими. Шреккенфельд провожал его самым учтивым образом и просил посещать впредь, потому что он видит в нем особенного знатока и любителя изящных искусств.

«Вид его, какая-то злобная радость, какая-то демонская улыбка были мне так отвратительны, что я дал себе слово никогда не бывать у него более. Но вообрази, что вчера я опять очутился у него; меня влекла какая-то невидимая, непостижимая сила. Адельгейда декламировала песню Миньоны...[1] Но она была выше, лучше, чудеснее Миньоны...»

Антиох закрыл лицо руками и бросился в кресла.

«Антиох! — сказал я,— ты любишь Адельгейду!»

«Нет!»

«Что же это, если не любовь? — S'amor non è, che dunque è quel ch'io sento?» — спросил я его. Не знаю сам, как пришел мне тогда в голову этот стих.

«Прочь с твоим водяным Петраркою! — вскричал нетерпеливо Антиох,— прочь с стихами! Я проклинаю их: они сводят с ума добрых людей! Не от них ли столько народа, который был бы порядочным народом, сделалось никуда не годными повесами! И не глупость ли заниматься детским подбором созвучных слов, нанизывать их вместе на нитку одной идеи и этой погремушкой дурачить потом других, заставлять их верить, что будто в этой игре колокольчиков заключено что-то небесное, божественное! Дурацкую шапку, дурацкую шапку Гете, Шиллеру, всем, всем поэтам за то, что они заводят нас в глупые положения, разлучают с делом, с настоящею жизнию, расстраивают нас своими нелепыми мечтами!..»

Он замолчал, ходил большими шагами и вдруг спросил меня очень спокойно: «А согласись, что ты не слыхивал, кто бы читал стихи лучше Адельгейды? Не показывает ли это глубокое сочувствие поэзии, это непостижимое слияние восторга музыки и стихов — души, некогда бывшей великою, ангелом, пери — не знаю чем! И вот она: человек, ничтожный, как другие,— делает

---

[1] Ты знал ли край, где негой дышит лес,
Златой лимон горит во мгле древес,
И ветерок край неба холодит,
И тихо мирт, и гордо лавр стоит?
Туда, туда!

Жуковский

кникс за десять рублей, которые ты даешь ей, чтобы она, и с отцом своим, не издохла с голоду! Ха, ха, ха!»

Я молчал. И что́ мог я сказать? Какой ответ поставить против этой бури, разразившейся над пороховым арсеналом?

«Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen
Nach jenem stillen ernsten Geisterreich»,—

произнес глухо Антиох. Видно было, что с усилием хотел он обновить на лице своем обыкновенную, презрительную, насмешливую улыбку, но забыл, каких мускулов движением производилась она! «Право, Леонид! — сказал он,— я не люблю Адельгейды; но только меня мучит мысль: где видел я ее? Где? где? Не помню, не знаю; но я ее видал — и это время было самое счастливое в моей жизни, блаженное время! Мне кажется, что если бы я мог только его припомнить, то одного этого воспоминания было бы достаточно для счастия всей остальной моей жизни! Леонид! не говорил ли, не сказывал ли я тебе чего-нибудь подобного о какой-нибудь девушке?»

Я трепетал и не мог выговорить ни одного слова. Увы! я предчувствовал, я предвидел гибель, в которую упал Антиох; я припоминал слова его: «Умрем, моя мечта, умрем, да и на что нам жить?» Я соображал его мечтательный характер, его мистическое направление; трепетал, что он попался теперь в руки шарлатана, всеми поступками доказывавшего, что для него нет ни бога, ни греха; в руки бродящей певицы, походной комедиантки, которая само кокетство, может быть, почитает одним из средств пропитания...

В этот вечер явился я к Шреккенфельду, предчувствуя, что Антиох будет там; я желал рассмотреть все, поклявшись быть ангелом-хранителем моего друга. Шреккенфельд был ко мне отменно ласков. «Придет ли сегодня ваш почтенный приятель, г. Антиох? — спросил он меня.— Мы приготовляем репетицию Бетховеновой симфонии, а он, кажется, отличный знаток и любитель. Пойдемте к нам — здесь нам помешают».

В зале сидело за карточными столами несколько игроков. Мы прошли через несколько комнат и очутились в круглой внутренней комнате. Тут несколько человек разбирали партитуру и готовили инструменты.

Адельгейда держала в руках ноты, задрожала, услышав голос отца, и с трепетом обернулась к нам; при взгляде на меня глубокий вздох вылетел из ее груди и, казалось, облегчил ее. С изумлением прочитал я в глазах Адельгейды чувство: «Слава богу! Это не он!»

До сих пор я видал ее только на сцене, в виде певицы, актрисы; теперь в первый раз увидел я ее по-домашнему, в простом, хотя и щегольском, капоте. Она показалась мне так мила, в движениях ее была такая простота, в глазах ее светилась такая чистая невинность, что мне стало совестно самого себя, когда я вспомнил все оскорбительные подозрения, какими обременял Адельгейду.

Все вокруг меня показывало довольство. Серебряный чайный сервиз стоял на столике. Адельгейда подошла к нему и начала приготовлять чай. Вместо разговорчивой, блестящей певицы я видел молчаливую, тихую девушку, задумчивую, грустную. Шреккенфельд, усадив меня, начал веселый разговор. Адельгейда молчала.

«Неужели, милое чудное создание! — думал я, смотря на нее, пока говорил Шреккенфельд,— неужели тебе суждено погубить моего друга, моего пламенного Антиоха? Между вами нет и не может быть никаких отношений: ты не для нее, и он не для тебя! Вижу, что ты сама чувствуешь униженное, презрительное свое состояние — иначе отчего же грусть твоя? Отчего это глубокое выражение печали на лице твоем?»

Тут явился слуга и сказал что-то Шреккенфельду. Он поспешно вышел, и через минуту мы снова услышали голос его: он возвращался — с ним был Антиох.

Задумчив, мрачен вошел Антиох. Презрение, негодование изображалось на лице его, и он был ужасно бледен. Взгляд на Адельгейду не произвел в нем никакой радости. Я заметил только одно выражение, как будто Антиох, с трудом, совершенно рассеянный, что-то старался вспомнить. Еще внимательней глядел я на Адельгейду: она затрепетала, услышав голос, увидев самого Антиоха; щеки ее вспыхнули, но как будто от усиленной скорби, от негодования; глаза ее поднялись к небу, опустились в землю, и украдкою отерла она слезу.

Началась репетиция симфонии. Антиох молча сел в стороне; Шреккенфельд давал какие-то знаки Адельгейде; взор Адельгейды обратился к отцу, и в глазах

отца сверкнул тогда ужасающий гнев, злость. Поспешно вышла Адельгейда. Шреккенфельд мгновенно переменил свою удивительно подвижную физиогномию в самую ласковую, сел подле меня и занял меня разговором, как будто не обращая вовсе внимания на Антиоха. Но мы замолчали, когда безумные звуки Бетховена начали развиваться в неизобразимых аккордах. Среди глубокой тишины всех вдруг услышал я позади себя восклицание Антиоха: «Это она!» С беспокойством оборачиваюсь и вижу, что Адельгейда сидит подле Антиоха и глядит на него, испуганная, с изумлением. Рука ее была в руке Антиоха. Радость, восторг, изумление, небесное чувство поэзии изображались в глазах его; жаркий румянец горел на его щеках. «Это она — я узнал ее!» — говорил Антиох, забыв, что тут есть посторонние свидетели, что тут отец Адельгейды. Она вырвала у него свою руку, отступила на два шага и поспешно ушла из комнаты.

К счастию, музыканты, занятые разбираньем трудных нот, ничего не слыхали и не заметили. Антиох смотрел на дверь комнаты, куда удалилась Адельгейда, смотрел, как исступленный, как будто все сосредоточилось для него в один взгляд, в один образ — этот образ на одно мгновение пролетел мимо его и унес у него жизнь, и ум, и все идеи его, все понятия, все прошедшее и будущее! Волнение души его видно было в неизобразимой борьбе физиогномии, где радость сменялась печалью, восторг унынием, уверенность недоумением. Всю историю сердца человеческого прочитал бы на лице Антиоха тот, кто умел бы схватить все изменявшиеся быстро переходы страстей, обхвативших его навеки пламенным вихрем... Человек и жизнь исчезли в нем: в раскаленном взоре, каким преследовал он удалившуюся Адельгейду, я видел взор больного горячкою в ту непостижимую минуту, когда тихая минута кончины укрощает телесные терзания болезни, оставляя всю силу духа, возбужденного натянутыми нервами, и неприметно сливает идею вечного покоя смерти с полнотою деятельности, обхватившею телесный и душевный мир — жизнию.

Какое-то тихое, радостное спокойствие, какое-то чувство наслаждения осталось наконец на лице и означилось во всех движениях Антиоха. Когда подошел к

нему я, он крепко пожал мне руку и сказал: «Пойдем! Я поделюсь с тобой тем, чего никто из людей не знает и что я узнал теперь!» Когда приблизился к нему Шреккенфельд, улыбка детского лукавства мелькнула на устах Антиоха.

«Позвольте нам идти теперь, любезный г-н Шреккенфельд,— сказал он.— Могу ли надеяться, что вы не запретите мне иногда приходить, разделять ваши семейственные наслаждения?»

Шреккенфельд улыбнулся адски и, казалось, проницал в душу Антиоха своими ядовитыми глазами. «Г-н Антиох! — отвечал он,— дверь моего дома никогда не будет затворена для любителя и знатока искусств, вам подобного; тем более, если к этому присовокупляется личное уважение к его особе».

«Посетите и вы меня, любезный г-н Шреккенфельд. Буду вам сердечно рад: вот мой адрес!»

Антиох подал ему карточку и дружески пожал ему руку.

Мы вышли и почти бежали по улице. Иногда Антиох останавливался, складывал руки и медленно произносил: «Адельгейда, Адельгейда!», как будто это имя надобно было ему вдыхать в себя с воздухом, чтобы поддержать свое бытие. Я хотел начать разговор, но Антиох схватывал меня за руку, влек с собою и говорил: «Молчи, ради бога, молчи!.. Адельгейда, Адельгейда!»

Мы пришли на квартиру его, и Антиох запер за собою двери.

Я думал, что он задушит меня в своих объятиях: так крепко обнял он меня. Он прыгал, как дитя, он смеялся, хохотал, и слезы текли между тем по щекам его, горящим неестественным жаром. «О Леонид! я нашел ее, нашел мою половину души! Загадка жизни моей, загадка жизни человечества найдена мною,— воскликнул наконец Антиох.— Итак, судьба испытывала, терзала, готовила меня, чтобы я разрешил наконец миру, сказал людям тайну их бытия? Теперь я все понимаю: и тоску, и грусть мою, и мучения души! И как терзался я, приближаясь к разрешению тайны высочайшего блаженства, к бытию цельною, полною душою! Мой взор проникает теперь всю природу: я понимаю, что, делая повсюду уделом человека борьбу духа и вещества, величайшее блаженство наше — смерть — судьба нарочно отделяет от нас разными ничтожными призраками и привидениями — болезнью, страхом, недо-

умением! И человек трепещет этих бумажных духов «Фрейшица», этой дикой музыки смертного стона, которой привыкло пугаться его воображение. Мы бродим по земле, ища родного душе и сердцу, бродим, не находим, падаем от усталости; тогда судьба начинает жалеть об нас, укачивает нас в вечной люльке, в гробе, и мы засыпаем навсегда, как дети, утомленные беганьем, но перед сном трепещущие всего — и шороха мыши, и стука в окошко, пока все не забудется в игривых фантазиях сна крепкого! Заметь, как искусно скрыта от нас прежняя жизнь наша, наша Urleben, а также и жизнь будущая. Если бы мы знали прежнее наше бытие — мы не могли бы существовать здесь, на бедной нашей земле: мы не остались бы на ней, если бы знали и понимали, чтó последует и за земною жизнью! Какой же я выродок, за что я так уродливо счастлив, что все это суждено мне понять здесь? Ах, Леонид! Придумай мне слова, составь мне азбуку, которыми мог бы я высказать, написать людям все то, чему хотел бы я научить их, что хотел бы рассказать им. Я узнал из этого языка только одно слово: *Адельгейда!* Понимаешь ли ты это слово? Я произнесу его тебе тихо, медленно: *А-дель-гейда!* Слышишь ли, чувствуешь ли ты, что оно соединяет в себя и звуки музыки, и слова поэзии, и цветы живописи, и формы ваяния, и все мечты души, и все думы сердца? О таких словах думает душа, их ищет она, их слышит и не понимает она в реве морских волн, в грохоте грома, в пении соловья, в песнях поэтов! У поэтов, впрочем, и трудно понять их: ведь они безумцы. Спроси об этом философов, и они растолкуют тебе, что поэты говорят без сознания и потому думают украсить такие слова гремушками, мишурою слов, рифм, всякого вздора. А природа выговаривает такие слова так ясно, громко, просто... Виновата ли она, что мы глухи? Возьми мое слово: *Адельгейда,* произнеси его — какая симфония сравнится с ним? Напиши, вырежь его — какое изваяние осмелишься подле него поставить? Тут все — мысль, душа, жизнь, весь мир...»

После того Антиох опять начинал говорить: «Адельгейда, Адельгейда!» Наконец идеи его приняли какое-то определенное, систематическое направление, и он стройно начал рассказывать мне, где и когда видал он Адельгейду.

Как жаль, что я не могу пересказать вам рассказа Антиохова! Помните ли вы слова Байрона:

Her thoughts
Were combinations of disjointed things,
And forms impalpable and unperceived
Of others' sight, familiar were to hers,
And this the world calls phrensy...[1]

Да, свет называет это безумием! Но что́ мудрость наша? Игра в жмурки! Счастлив, кто хоть за что-нибудь, хоть за сумасшествие ухватился...

«Ты видел, что я признавал с первого взгляда в Адельгейде что-то знакомое, родное, что я старался вспомнить только: где знал я Адельгейду? Когда ныне пришел я к Шреккенфельду, когда он взял меня за руку и повел в свою комнату, мне казалось, что смертельные судороги гнули все мои кости и смерть была в груди моей. Вы занялись музыкою; я не заметил, как явилась и когда села подле меня Адельгейда. Она сказала мне только одно слово: назвала только меня по имени; она только погляде́ла на меня, и — забывши все, я схватил в восторге ее руку! Это слово, этот взгляд, это прикосновение пояснили мне в одно мгновение все, и я невольно воскликнул: «Это она!» Все прежнее обновилось в душе моей и сделалось мне совершенно ясно.

Леонид! только одного боюсь я: этот Шреккенфельд, эта Адельгейда — не мечты ли какие-нибудь, созданные моим воображением? Ты гораздо хладнокровнее меня, хоть я и сам себя очень хорошо понимаю и чувствую,— скажи: точно ли она и он существуют? Кажется, я не ошибаюсь: я видел, что она глядит, говорит, я чувствовал, взяв ее за руку, что теплая кровь льется в руке Адельгейды: стало быть, она не привидение! И Шреккенфельд также говорит, ходит; он обещал быть у меня...»

«Что говоришь ты, Антиох!»

«То, что если он и она привидения, оптический обман... Да, заметь, что я всегда вижу их только вечером... Если это мечта, и я — сумасшедший!» — Он сильно ударил себя в голову.

«О, мой Антиох! К несчастью — это не мечта. Шреккенфельд и Адельгейда существуют!»

«К несчастию? Почему ж «к несчастью», если они существуют? Я только требую удостоверения твоего в

---

[1] Ее мысли были уравнением несоединяемых предметов, и образы, недоступные и незаметные зрению других, были знакомы ей — а люди называют это безумием...

этом; остального ни ты, ни он, ни она не знаете. Шрекенфельд думает, что она дочь его... ха, ха, ха! Какая дочь: это моя душа — половина моей души...

Видишь ли что: есть страна в мире, чудная страна — ее называют Италия. Там все великое, все прекрасное. Столько изящных созданий там, что нет другого равного количества в целом мире. Вообрази, что там был человек, умевший изобразить земными красками, цветною нашею грязью преображенного бога: там есть храм, купол которого кажется небом — так велик он,— и этот купол висит над людьми целые века, ничем не поддержанный; там есть такое изображение красоты в мертвом мраморе, что перед ним красота самой очаровательной девы кажется безобразием; там есть города, утонувшие в виноградниках, миртовых, лавровых, померанцевых лесах; другие построены на волнах моря; другие на городах, зарытых веками в землю. Там был народ, некогда обладавший целым миром: Север, Запад и Восток стремились к нему туда, боролись там с ним — следы борьбы их остались в исполинских развалинах, обломками которых бросали они друг в друга, и эти обломки величиной с наши города. Там смерть и жизнь слиты вместе, вместе любовь и мука, слезы и пение; горы горят, в море отражаются волшебные невидимые сады и замки фей; на горячем пепле огнедышащих гор растет багряный виноград, зреет маслина; обломки столицы мира окружают тлетворные болота... Там родился Наполеон; оттуда шагнул он на трон полусвета; оттуда, надышавшись в последний раз вдохновенного воздуха, пошел он еще испытывать игру судеб... там видел я Адельгейду! Помню эту хижину в цветнике на берегу моря — этот голубой, опаловый цвет вечернего неба — эту песню рыбака... Адельгейда стояла на дикой скале; арфа была подле нее; она пела — я слушал, не видал, как скрылась она, и на другой день напрасно искал я безвестной моей певицы. Но она была тогда не то, что теперь, и в ее образе я не узнал тогда души моей...

Может быть, она и не заметила встречи со мною, так как, может быть, она забыла тот мир, где прежде, до Италии, мы жили некогда с нею нераздельным, одним бытием. А! что́ Италия перед тем миром? Муравейник, на котором расцвела бедная незабудка! Этот мир... немного описаний его найдешь ты у Шекспира, еще у Мильтона... еще у Тасса... еще у Фирдуси... Но

все это так мало и недостаточно! На Востоке есть предание, что очарованные райские сады не скрылись с земли, но только сделались невидимы, переносятся с места на место и на одно мгновение делаются иногда видимыми человеку. Есть минуты, когда в них можно войти, подышать их райскими ароматами, напиться жемчужной живой воды их, отведать их золотистого винограда; но они тотчас исчезают, переносятся за тысячи верст, и счастливец остается или на голой палящей степи Ю<га>, или на холодных льдах Севера... В этой-то невидимой стране было существо, которое теперь бродит двойственно по земле под именем Антиоха и Адельгейды. Шреккенфельд, мнимый отец половины меня,— злой демон: он очаровал Адельгейду и дал ей отдельное бытие. Мысль неба хранилась в моей половине души, но это был луч, упавший в бездну мрака. Адельгейда, заклятая демоном, ничего не поймет, пока я не скажу ей волшебного слова: «Люблю тебя, Адельгейда, половина души моей!» Когда она сознает себя и скажет мне: «Люблю тебя, Антиох!» — тогда очарование разрушится. Предчувствую, что Шреккенфельд понимает опасность, что он употребит все волшебство свое... Но я обману его, я украду у него самого себя. Мне стоит только напомнить Адельгейде о давно минувшем мире, о нездешнем бытии нашем... тогда... но я не могу предвидеть будущего: ведь я человек и потому не знаю, как свершится таинственный союз души моей: останемся ли мы в мире или, говоря по-человечески, умрем — ведь мне все равно... Но мне надобно подумать, поступить осторожно... перечитаю еще раз Бема и Шведенборга. У них это описано довольно подробно и хорошо. Между тем сам демон мой дается в хитрый обман мой: я притворюсь ему другом, и потом...»

Бродячие глаза Антиоха устремились на черкесский кинжал, висевший у него на стене. Он содрогнулся, подумал. «О, нет! не то, совсем не то!» — сказал он, сел за столик свой и придвинул к себе деловые бумаги.

«Надобно поработать немного, Леонид,— промолвил он, улыбаясь,— завтра день доклада директору. Прощай!»

Я пробыл еще несколько времени у Антиоха. Он не говорил ничего более об Адельгейде, спокойно занимался бумагами, подробно рассказывал мне содержание их и то, что хочет писать.

Несколько раз щупал я себе голову, идя домой, где меня ожидали также дела. Слова друга моего были слова безумца; но их стройность, порядок идей и то, что он превосходно говорил мне потом о своих обыкновенных занятиях, совершенно смешивали меня. «Что же это такое? — спрашивал я сам себя.— Неужели в самом деле это закрывали жрецы Изиды непроницаемым покровом, и только безумие есть истинное проявление мудрости и откровение тайн бытия?»

Утром встретился я с Антиохом в нашем департаменте. Кто не знал случившегося с ним, тот не заметил бы ничего. Только глаза его были ярче обыкновенного; но он говорил прекрасно, умно, был даже по-прежнему колок и насмешлив. Однако ж кто-то нечаянно произнес имя Адельгейды — об ней часто говаривали наши товарищи. Антиох вздрогнул, как будто от электрического удара; но он смолчал, и улыбка оживила лицо его.

На другой день, утром, пришел я к Антиоху. Слуга его отворил мне дверь.

«Не велено никого пускать»,— сказал он.

«И меня?»

«Об вас ничего не сказано».

«Пусти же».

«Но у барина сидит какой-то неизвестный мне господин, и они занимаются чем-то».

Антиох услышал мой голос, вышел сам и ввел меня в свой кабинет. Там сидел у него Шреккенфельд.

Друг мой казался спокойным, тихим, любезным, ласковым; на столе разложены были разные мистические сочинения, расставлены были разные физические инструменты. Давая мне знаки глазами, чтобы я молчал, Антиох просил Шреккенфельда продолжать. Шреккенфельд казался совершенно занятым предметом разговора, как будто не замечавшим ни знаков Антиоха, ни моего присутствия. Они говорили по-итальянски. Худо разумея этот язык, я, однако ж, понимал, что речь идет о том, что всегда увлекало моего друга. Таинственная феософия, семь Зефиротов, Соломонов храм, слияние душ, высшее созерцание неба и земли — вот что изъяснял Шреккенфельд, по временам рассказывая о разных любопытных опытах и приложениях. Наконец он дружески раскланялся и ушел.

«Ну, все идет, как надобно! — сказал мне тогда Антиох с радостною усмешкою.— Представь себе, что этот

демон решительно поддается мне! Теперь надобно только поступать осторожнее. Помаленьку начну я изъяснять Адельгейде скрытую от нее тайну до-бытия земного. Нечего делать! Таков человек — падший ангел, в земной своей оболочке,— что ему надобно начинать говорить обыкновенными идеями. Яркий свет, вдруг блеснувший, может ослепить человека. И на солнце глядят сквозь закопченное стекло, а что свет солнца нашего против того света! Стану увлекать Адельгейду словами любви, стану говорить ей о дружбе, о неземных идеалах земного счастия, как будто счастье может быть на этой земле! Мне забавно, что я буду казаться влюбленным, тихонько вздыхать, шептать: «Милая Адельгейда! Люблю тебя!» Буду произносить эти слова, как произносят их все люди, не понимая волшебного их смысла, не зная даже того голоса, каким надобно произносить их. «Люблю!» — говорить Адельгейде: «люблю», когда я только ею и существую, и если бы не было Адельгейды, так все равно, что одна половина меня ходила бы по петербургским тротуарам! Вот забавный был бы гуляка, Леонид! Вообрази себе половину туловища и головы, с одной рукой, с одной ногой, и этот урод прогуливается, смотрит одним глазом, нюхает табак, жмет руку знакомым. А между тем такие душевные уроды ходят вокруг нас, живут, говорят и никто не смеется над ними...»

Спрашиваю: что мог я сделать? Чем пособить моему другу? Я терялся в размышлениях. Лечить можно только то, на что известны лекарства; но целый мир лекарей до сих пор не умеет лечить душевных болезней. Бедные медики заботятся только о теле и производят опыты только над трупами телесными. Антиох был болен душою; но кто мог когда-нибудь разанатомировать труп души и сказать, чем можно пособить в той или другой душевной болезни? Меня утешала еще несколько мысль, что я не видел перемены ни в здоровье, ни в действиях Антиоха. Напротив, он расцвел, казалось, новым здоровьем, был весел, мил, одевался щегольски. Но он решительно не стал ходить никуда, кроме Шрекенфельда. Там, запершись с этим шарлатаном, просиживал он целые часы, или дома также запирался с ним. Они казались друзьями совершенными. Я старался

оправдывать друга моего перед знакомыми, спрашивавшими меня, что сделалось с Антиохом. Но скоро все заметили, что Антиох беспрестанно бывает у Шреккенфельда; начали говорить об этом; клубок сплетней навертывался более и более, перекатываясь от одного к другому, и сделался наконец таким огромным шаром, что задавил всякую осторожность. Как обрадовались все те, кого уничтожал прежде Антиох своим превосходством! Какими острыми бритвами явились язычки самых милых девушек! Каждая из них говорила о привязанности Антиоха к бродяге, актрисе, певице, бог знает к чему, и в словах каждой ясно видна была мысль: «Видите ли, он презирал мною потому, что недостоин был моей любви и хорошо понимал это!» А друзья, друзья? Как верно сказал наш поэт, что

...нет презренной клеветы,
На чердаке вралем рожденной
И светской чернью повторенной,
Что нет нелепицы такой,
Ни эпиграммы площадной,
Которой бы ваш друг, с улыбкой,
В кругу порядочных людей,
Без всякой злобы и затей,
Не повторил стократ ошибкой...

О, друзья платили за злословие женщин и девушек самою чистою монетою: и легкое словцо мимоходом, и двусмысленная улыбка при имени Антиоха, и полный рассказ, с прибавкою злобных догадок, и отвратительное сожаление об Антиохе как о человеке весьма умном и любезном,— все было истощено и всего казалось еще мало за прежнее! Мужчины были рады мстить ему даже и за то одно, что, по всем слухам, Антиох успел, в чем не успевали другие,— успел очаровать красавицу и обмануть бдительность отца ее.

Бедная Адельгейда! как об ней говорили... не стану повторять вам! Все, что только можно сказать о самой развратной кокетке, было сказано...

Между тем я был свидетелем обхождения этой странной девушки с Антиохом. Он сделался у отца ее домашним человеком, часто обедал, просиживал вечера у Шреккенфельда, не скрывал любви, потому что нарочно не хотел скрывать ее, следуя постоянно своему

плану. Как самая хитрая кокетка, он изучал, казалось, каждое свое движение, каждое слово, каждый взор свой. Весь ум, вся сила души Антиоха были устремлены к тому, чтобы высказать, дать выразуметь Адельгейде самую пламенную страсть. Сам Антиох думал, что он нарочно изучает все возможные тайны искусства любить. Он точно изучал даже все свои движения, когда расставался с Адельгейдою, обдумывал, что и как ему говорить; но, видя Адельгейду, он забывал все это, и вся душа его переливалась в его слова, взоры, движения — начинал ли он говорить Адельгейде о страданиях отверженной любви; исчислял ли бессонные ночи; описывал ли жгучесть слез, проливаемых безнадежною любовью в минуты всеобщего спокойствия; изображал ли страшные сны, терзающие нас за думы любви; говорил ли о нестерпимом чувстве ревности ко всему, что приближается к предмету страсти нашей, ко всему — даже к ветерку, который вьется в ее локоне; описывал ли, напротив, блаженство взаимной страсти, одушевление всего в глазах любимого и любящего человека; сказывал ли о высоте, на которую возносит человека любовь, уничтожающая все препятствия состояний, званий, лет, времени, все земные отношения — все это было пламенем, громом и молниею, Шекспировым сонетом, песнею испанской девы! Адельгейда слушала, молчала, говорила мало, потупляла глаза или неподвижно устремляла их на Антиоха, дышала тяжело, тяжко, бурно, как говорит Пушкин. Рука ее трепетала в руке Антиоховой. Иногда она казалась вся переселившеюся в его речи, жила только слухом. Иногда казалась бесчувственною, непонимающею или нарочно перебивала его слова, нарочно заводила самый обыкновенный разговор и старалась увлечь, удержать при этом разговоре Антиоха, как будто боясь его слов о любви, о поэзии. Среди самого жаркого разговора она вдруг уходила и когда являлась после того, глаза ее были красны от слез. Шреккенфельд, по-видимому, ничего не замечал, был всегда весел, любезен. Между тем постепенно многое переменилось в его общественных отношениях.

Антиох, вскоре после сближения своего с ним, стал говорить, как отвратительна для него девушка, показывающая дарования свои публике; как тяжело сердцу человека, который полюбил бы такую девушку, видеть, что она делит бесценные наслаждения сердца и души с бездушною толпою. Шреккенфельд сначала заспорил,

говорил, что человек, который скрывает данные ему от бога дарования, не передает их в полноте людям, лишает людей высоких наслаждений изящными искусствами, похож на недостойного скупца. «В одном человеке должно сосредоточить весь мир»,— говорил Антиох. «Эгоизм непростительный!» — возражал Шреккенфельд. Но вскоре он согласился, и Адельгейда перестала играть на арфе, петь и декламировать перед публикою. Она даже не являлась на публичных вечерах Шреккенфельда и оставалась в своей комнате, где нередко в это время были с нею Антиох, я, двое-трое знакомых или старая угрюмая женщина, называвшаяся ее теткою. Адельгейда пела, играла для нас одних, но ее игра и пение были тогда бездушны, холодны и изредка только одушевлялись прежним восторгом. Она потеряла душу — можно б было сказать, смотря на нее теперь и знавши ее прежде. Впрочем, Адельгейда и не могла по-прежнему петь и декламировать даже потому, что в здоровье ее произошла видимая перемена: грудь ее стала слаба, дыхание тяжело. С тех пор, как Адельгейда перестала показываться, вечера Шреккенфельда потеряли свою прелесть; вообще стали менее ходить к нему и потому, что клевета неустанно чернила самого Шреккенфельда и все, что его окружало, что он делал. На частные вечера являлись по-прежнему, но здесь оказалась перемена. Множество шалунов стало собираться у Шреккенфельда; карточная игра усилилась. Часто происходили сцены буйные, и только хладнокровие, необыкновенный ум и ловкость хозяина могли удерживать дальнейшую огласку и неприятные последствия.

«М<илостивый> г<осударь>,— сказал мне однажды директор нашего департамента, когда я пришел к нему с бумагами,— вы человек молодой, и хорошая репутация должна быть для вас драгоценна. Бывши другом вашего почтенного родителя, я долгом почитаю предостеречь вас и заметить вам, что до меня дошли весьма неприятные для вас слухи».

Я смотрел на него с изумлением.

«Мне сказали, что вы пристрастились к карточной игре и посещаете общества, не делающие чести вашему имени».

Негодование взволновало мою кровь.

«Я замечаю также, что вы не по-прежнему прилежны и слишком увлекаетесь знакомством человека, который может вам повредить,— г-на Антиоха».

Его знакомство могло бесчестить меня!!

«Г-н Антиох человек богатый,— хладнокровно продолжал мой директор,— он может неглижировать службою и своими поступками, хотя и ему, если вы друг его, должны бы вы посоветовать быть осторожнее».

Директор хорошо знал характер Антиоха: один взгляд заставил бы его немедленно подать в отставку, а у директора была дочь, перезрелая Агнеса, лет двадцати семи; он был притом по уши в долгах, и две тысячи душ Антиоха были такою для него рекомендациею, что милости сыпались на него и заставляли товарищей завистничать.

Я хотел оправдаться, хотел говорить смело, но покраснел и смешался, когда директор упомянул имя Шреккенфельда и Адельгейды.

«Говорят, что вы бываете у этого шарлатана и что г-н Антиох находится даже в связи с его развратною дочерью. Кто не шалил смолода? И даже кто не перебесится, того добродетель ненадежна; но всему, сударь, есть мера. Знайте, что этот человек, этот бродяга Шреккенфельд, становится подозрительным и полиция уже присматривает за ним и за теми, кто к нему ходит. Говорят, что он обыгрывает наверную, а, может быть, что-нибудь и хуже — остерегитесь...»

Нам помешали продолжить разговор. С отчаянием увидел я, куда бедственная судьба завлекла Антиоха. Мог ли я теперь оставить его? Как мог я раскрыть ему глаза? Как разуверить порядочных людей, что самая гнусная клевета очерняла Адельгейду? Как можно было растолковать им состояние души Антиоха? В то же время я не мог скрыть от самого себя, что слухи об отвратительном Шреккенфельде могли быть, хотя отчасти, правдивы и что этот человек был способен на всякое злое дело. Я не знал тогда, что бедствие было уже близко от моего несчастного друга — ближе, нежели я воображал...

В число людей избранных, друзей своего дома, Шреккенфельд допустил одного дерзкого молодого офицера, богача и шалуна отъявленного. Антиох, я, несколько артистов, этот офицер и двое друзей его обе-

дали у Шреккенфельда. За столом лилось шампанское. Офицер пил много; Антиох не пил почти ничего: он сидел подле Адельгейды и разговаривал тихо, с особенным жаром среди общего шумного разговора. Адельгейда слушала его, вздыхала, краснела — в первый раз Антиох говорил ей тогда о своей безумной идее бытия прежде жизни... Видно было, что уединенный разговор их и заметное волнение Адельгейды приводили офицера в большую досаду. Еще за столом он позволил себе несколько дерзостей на счет Адельгейды. После обеда он предложил банк, бросил кучу денег товарищу и сам старался сесть подле Адельгейды. Холодность ее совершенно взбесила его; он позволил себе несколько таких слов, от которых Адельгейда с ужасом вскочила и отбежала от него. Шреккенфельд принужден был вступиться. Наглец сделался груб. Шреккенфельд сам разгорячился и забыл себя.

«Бродяга, шарлатан! — вскричал офицер,— я прибью тебя, и, в доказательство, как мало уважаю я тебя, Адельгейда должна поцеловать меня сейчас или ты получишь пощечину...» — Он бросился к Адельгейде. Она помертвела и лишилась чувств...

«Прочь!» — вскричал Антиох, молчавший до сих пор и не принимавший никакого участия в ссоре. Сильною рукою оттолкнул он дерзкого. В неистовстве бросился на него офицер.

«Понимаешь ли ты, подьячий, что должно тебе делать?» — вскричал он.

«Не знаю, понимаешь ли ты, пьяный буян, что ты делаешь»,— отвечал горячо Антиох.

«Пистолет или шпагу? Выбирай немедленно»,— кричал офицер.

Мы хотели утишить ссору, но все было тщетно. Соперники не слушали, не хотели ни на минуту откладывать. С отчаянием в душе, я должен был сопровождать моего друга за город. Дорогою Антиох не говорил со мною ни слова, и тогда только, как стали заряжать пистолеты, он обнял меня и сказал: «Теперь я понимаю еще более загадку жизни: Адельгейда умрет, и смерть соединит меня с нею. Прости, радуйся счастью друга твоего!»

Весело стал он на барьер, еще раз пожал мне руку... Состояние мое было неизъяснимо... Раздался выстрел — пистолет выпал из руки Антиоха. Я бросился к нему. «Странно! Ничего,— сказал он мне,— я ранен только!»

Соперник его лежал на земле: пуля изломала у него ребро; у Антиоха пуля только скользнула по плечу.

Уже вечером возвратились мы в Петербург. Антиох казался глубоко задумчивым и опять ничего не говорил со мною. Я не имел сил сказать ни одного слова. Антиох велел ехать прямо к Шреккенфельду. Я хотел возражать. «Жизнь и смерть моя соединились в этой минуте! — воскликнул Антиох.— Или не препятствуй мне, или оставь, оставь меня, Леонид! Оставь навсегда!»

«Ни за что в мире!» — вскричал я.

Шреккенфельда не было дома. Не было никого из гостей — комнаты были пусты, темны. «Я хочу видеть девицу Шреккенфельд!» — сказал Антиох слуге, оттолкнул его и пошел прямо к ней. Она сидела в круглой комнате, на диване, бледная, едва живая. Старуха тетка была подле нее. Едва отворилась дверь, едва вошел Антиох — «Мой Антиох!» — вскричала Адельгейда и бросилась в его объятия.

Да, величайшая радость походит на сумасшествие. Два несчастные существа эти сжали друг друга в объятиях, и продолжительный поцелуй, в котором отозвались все их чувства, вся жизнь, запечатлел роковой союз их...

Антиох сел на диван, Адельгейда подле него, голова ее склонилась на плечо Антиоха, глаза ее устремлены были на его глаза, рука ее обвилась вокруг его шеи... Он начал говорить — Адельгейда также говорила ему, задыхаясь, спеша, как будто стараясь поскорее высказать все и боясь, что после того потеряет навсегда дар слова...

Я сидел в стороне, смотрел на них, и — я не охотник плакать, но слезы невольно капали из глаз моих...

Не думайте, что они объясняли друг другу свои чувства — нет! Это были беспорядочные, отрывистые слова: память прошедшего, блаженство настоящего, мечта будущего, пламень сердца, жар души, тихий поцелуй, тяжкий вздох — мысль в образах поэтических, слово в фантастических идеях, гармонические звуки неба, жизнь земная в высоких идеалах! Что говаривал мне прежде Антиох о своих безумных мечтах, казалось льдом перед тем, что он говорил теперь Адельгейде... Адельгейда была очаровательна в неестественном со-

стоянии души своей; Антиох одушевлялся чем-то неземным...

Растворилась дверь, и вошел Шреккенфельд. С пронзительным воплем бросилась Адельгейда от Антиоха, и лицо ее, горевшее огнем любви и восторга, побледнело, как будто она увидела перед собою демона адского... Глаза ее сделались дики...

Шреккенфельд казался смущенным, расстроенным. Антиох глядел на него неподвижными глазами, не вставая с своего места.

«М<илостивый> г<осударь>,— сказал Шреккенфельд,— кажется, дальнейшие объяснения не нужны? Честь моей дочери погибла, и несчастная история обесславит ее, погубит меня, если вы не сделаете того, к чему долг обязывает каждого благородного человека».

«Что говоришь ты, воплощенный демон? — воскликнул Антиох, быстро вскакивая с дивана.— Что́ сказал ты?»

«Адельгейду никто не мог поцеловать, кроме ее жениха. Вы вошли в дом мой под видом друга; я позволил вам вступить в домашний круг мой: вы поступили бесчестно, вы употребили во зло мою доверенность, вы — обольстили дочь мою!»

Антиох затрепетал.

«Мерзавец! — вскричал он.— Злой дух, демон тьмы! Выбирай лучше слова свои! Или ты думаешь, что я не могу уже этою рукою навести пистолет на твою голову и разбить гадкую форму, под которою обладаешь ты половиною души моей!»

«Вы должны жениться на моей дочери, м<илостивый> г<осударь>, или — вы бесчестный обольститель!»

«Жениться,— сказал тихо Антиох, водя пальцем по лбу своему,— жениться! Когда она сам я? Какая досада: я совсем не понимаю теперь этого слова! Какое бишь его значение? Heiraten [1], se marier... [2] Но ведь нельзя жениться даже на родной сестре, не только на собственной душе своей?.. А, злой дух! Ты смеешься надо мною!»

Шреккенфельд изумился словам Антиоха.

«Говорите яснее, м<илостивый> г<осударь>,— сказал он.— Я отдаю вам руку моей Адельгейды, или вы будете иметь дело с раздраженным отцом: я природный дворянин немецкий».

---

[1] Жениться *(нем.)*.
[2] жениться *(фр.)*.

«Адельгейда будет моя! Ты отдаешь ее мне?» — поспешно спросил Антиох.

Шреккенфельд горестно улыбнулся.

«Разумеется, если она будет вашею женою, то она будет вашею, и я отдам ее вам... И что мне теперь в ней: спасение ее зависит от вас... я погубил ее и себя...»

«Ты выдумываешь какие-то условия — я их не понимаю; но это последний обман твой. Если с твоего согласия она будет моею, тогда власть твоя уничтожится. Руку, Адельгейда! Скорее ко мне, Адельгейда, моя Адельгейда!»

Шреккенфельд хотел взять Адельгейду за руку и подвести к Антиоху. Но с смертельным ужасом отступила Адельгейда.

«Позорный обман! — вскричала она.— Никогда!»

Она упала на колени перед Антиохом.

«Прости меня, мой Антиох! прости, ради бога, прости! Я недостойна тебя, великодушный, благородный человек, существо неземное! Этот старик увлекал тебя, я принуждена была участвовать в его обмане. Он хотел купить твое богатство мною, хотел завлечь тебя, велел притвориться в тебя влюбленною... Душа моя противилась этому. Сколько плакала я, сколько раз хотела открыть тебе весь умысел... Но ты сам сделался моим ангелом-хранителем: ты растолковал мне тайну бытия моего, ты сказал мне, что я тебе родная, что я половина души — я твоя, твоя, Антиох! Никто, ничто не разлучит нас. Если это называется любовью, я люблю тебя, Антиох, люблю, как никогда не любили, никогда не умели любить на земле! Прости, что я не понимала этого прежде и повиновалась этому человеку...»

Адельгейда дико засмеялась: «Он уверил меня, что он отец мой!»

Изумление заставило всех нас безмолвствовать. Но последние слова Адельгейды взбесили Шреккенфельда.

«Дочь недостойная!» — вскричал он.

С воплем бросилась Адельгейда в объятия Антиоха.

«Спаси, спаси меня, мой Антиох! Я думала, что этот демон отец мой, и повиновалась ему! Зачем не сказал ты мне прежде тайны моего бытия!»

«Моя Адельгейда!»

«Твоя, твоя, не правда ли? Навек твоя? А не дочь его, этого демона? Разве ты не знаешь, что если ты назовешь меня твоею, то я никогда уже не разлучусь с тобою? Мы переселимся туда, где нет людей, где нет ни

Адельгейд, ни Антиохов, ни Шреккенфельдов — где я и ты одно, где дышат любовью, где жизнь есть одна радость, где нет ни земли, ни неба — мой Антиох! Dahin, dahin (туда, туда)!»

Она лишилась чувств, крепко обхвативши руками Антиоха. Спешили помочь ей, но тщетно: сильный обморок продолжался. В отчаянии бегал тогда по комнате Шреккенфельд. Антиох сидел подле дивана, на который положили бесчувственную Адельгейду; он не говорил ни слова, держал ее руку, ждал, казалось, когда откроет она глаза, но ждал тихо, спокойно, не оказывая ни малейшего знака ужаса — только бледен был он не человечески...

Явился лекарь, за которым посылал Шреккенфельд, и объявил, что у Адельгейды сильная горячка. Она открыла глаза, с ужасом поднялась и вскричала: «Где Антиох! Неужели он ушел!»

«Он здесь, Адельгейда!» — отвечал ей Антиох.

Радость блеснула в глазах Адельгейды.

«Не уходи, не уходи от меня, мой Антиох, жизнь, душа моя — больше, нежели жизнь,— жизнь проходит, любовь остается!»

Глаза ее устремились тогда на Шреккенфельда.

«Ах! и он здесь, здесь! Ради бога, спаси меня, Антиох!» — закричала она и снова лишилась чувств.

Лекарь советовал Шреккенфельду удалиться. В отчаянии вышел он в другую комнату. Я последовал за ним. Мне жалко стало этого несчастного человека: он не был уже коварным, отвратительным шарлатаном — он был отец, он плакал!

Что сказать вам? Я видел раздирающее душу зрелище: я видел разрушение Адельгейды, прекрасного, юного, цветущего создания! Подле смертного одра ее сидел мой друг — в явном помешательстве, о котором я не мог более сомневаться. Три дня и три ночи сидел он, почти не отходя от Адельгейды, забываясь сном на минуту.

Я терял милых мне людей, видал страшно умирающих. Да, всегда —

...страшно зреть,
Как силится преодолеть
Смерть человека...

Но никогда не видал и не увижу я ничего подобного, столь терзательного, мучительного! Смертельная, злая горячка нисколько не безобразила Адельгейды: щеки ее пылали, глаза горели, распущенные ее волосы вились локонами по плечам и груди; но со второго дня лекарь объявил, что смерть ее неизбежна. Она не отпускала от себя Антиоха, и если он уходил на минуту, она начинала жаловаться, плакать, как дитя, и Антиох был беспрерывно подле нее. В первые сутки Адельгейда беспрестанно говорила с ним о его безумных мечтах, о своей смерти, как о своем вечном союзе с половиною души своей, улыбалась, смеялась, в бреду мечтались ей прелестные сады, где ветерок навевает любовь, где слезы радости освежают землю, где думы счастия спеют в гроздах, где поцелуи летают певистыми птичками... Иногда она снова начинала просить прощения, что участвовала в обманах отца своего. Тогда раскрывала она всю прелестную, ангельскую свою душу и слезами смывала с нее легкую тень вины своей...

Шреккенфельд сидел в другой комнате, слышал все, не смел появиться перед дочерью и терзался муками совести и раскаяния. Он сам рассказал мне все. Историю его, дополненную разными сведениями, от других собранными, я объясню вам коротко.

Он был сын немецкого дворянина и получил порядочное состояние. Страсть к ученью отвлекла его от всех других занятий, а безрассудная мысль о философском камне превратила все его состояние в газ и дым. Ловкий, оборотливый, он вошел тогда в тайные немецкие общества, был участником всех тугендбундов и принужден был бежать в Италию. Там женился он и родилась его Адельгейда. Связи его по тайным обществам доставляли ему средства жить, но карточная игра разоряла его. Крайность заставила его сделаться карточным обманщиком, ссора с одним сильным итальянским вельможею заставила бежать из Италии. Он решился сделаться фокусником и проехал Европу, показывая опыты фантасмагории, химии, физики. Пользуясь необыкновенными дарованиями дочери, которую любил страстно, он заставлял играть и петь свою Адельгейду перед публикою; но связи и долги отвсюду гнали его. Приехав в Петербург, он начал свои обыкновенные представления, заметил Антиоха и угадал страсть его к Адельгейде. Мысль, что дочь его может сделаться женою богатого русского дворянина, заставила Шреккенфельда употре-

бить для сего всю хитрость, весь ум свой. Он особенно воспользовался мистическим расположением Антиохова характера и заставлял Адельгейду оказывать ему внимание, не понимая, что благородная душа Адельгейды ужасалась притворства, что Адельгейда любила уже Антиоха страстно, но чувствовала, как низко, недостойно ее завлекать Антиоха в сети. Она пренебрегала своим униженным званием, и отчаяние более всего вдохновляло ее, когда она должна была выходить перед публику. Тем выше становился в глазах ее Антиох, великодушный, полусумасшедший от любви к ней, пламенный. Ей хотелось показать ему все несходство положений их, она страшилась мысли быть его женою, думая, что унизит, обесславит собою Антиоха. В этом отношении, в сознании высокой души своей и низкого звания, несчастного положения отца своего и себя самой, Адельгейда точно была светлый ангел, очарованный демоном, которому не может он противиться. Видя дерзость, вольное обхождение мужчин, приходивших к ее отцу, положение которого становилось более и более затруднительно, она трепетала ежеминутно. И каким ангелом-спасителем показался ей Антиох, когда он так смело заступился за нее! Когда она опомнилась, узнала, что Антиох поехал драться с наглецом, оскорбившим ее, тогда узнала она и всю меру любви своей к нему. «Я не переживу его! Боже! спаси Антиоха и возьми жизнь мою!» — говорила она, стоя на коленях и молясь со слезами. Антиох явился; радость ее при виде Антиоха перешла в совершенное безумие... Жить после сего было невозможно...

На другие сутки Адельгейда говорила мало, но беспрестанно глядела на Антиоха, держала руку его, радостно улыбалась, шептала ему: «Dahin, dahin! Скоро исполнится все, что говорил ты мне... Ведь ты меня простил? Ведь ты мой Антиох?»

Kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude! [1]

Это были последние слова. Адельгейда казалась после сего забывшеюся. Утром, на четвертый день, Шреккенфельд привлачился к ее постели и, стоя на коленях, обливался слезами. Адельгейда вдруг открыла глаза — обратила взор на отца своего, улыбнулась — взглянула

[1] Минутна скорбь — блаженство бесконечно!

Перевод Жуковского

на Антиоха, хотела приподняться, хотела протянуть к нему руку — и не могла — от Антиоха подняла она глаза свои к небу и закрыла их навсегда...

Состояние Антиоха во все это время можно было назвать бесчувственным. Когда, отлучаясь на короткое время из жилища Шреккенфельда, я возвращался в него, постоянно находил я Антиоха неподвижного близ постели Адельгейды; когда, разделяя с ним ночь, засыпал я беспокойным сном и потом просыпался — при слабом мерцании лампы я видел Антиоха, неподвижно облокотившегося на изголовье Адельгейды, считавшего каждое ее дыхание. Казалось, что для него ничего более не существовало, и он сам не чувствовал ни себя, ни других. Когда подходил я к нему, желая уговорить его успокоиться, он пожимал мою руку, давал мне знак молчать и снова обращался к Адельгейде. Никто, кроме его, не подавал ей ни питья, ни лекарства: ни от кого более не брала она их. Понимал ли Антиох ужас своего положения? Не думаю. Он не показывал ни малейшего знака чувства и говорил мало, даже и с самою Адельгейдою, как будто боясь пропустить какое-нибудь слово ее, как будто наслушиваясь ее речей, наглядываясь на нее. По мере того, однако ж, как Адельгейда ослабевала, Антиох более и более начинал понимать себя, складывал руки, судорожно сжимал их, обращал взоры к небу и потом ко мне, как будто спрашивал меня: «Что это такое, друг мой?»

Адельгейды уже не было, а он все еще держал руку ее. «Отчего так озябла она? Посмотрите: рука ее холодна, как лед! Она вся побледнела!» — сказал наконец Антиох и в испуге вскочил с своего места. «Леонид! Посмотри, что с нею сделалось? Посмотри!» — говорил он, толкая меня к Адельгейде. Я обнял его со слезами. Антиох не плакал, хотя глаза его были красные и опухшие. «Она не может умереть,— говорил он,— не может, потому что я еще жив. Что же это такое? Какой это странный перелом болезни? Эти доктора ничего не понимают в психологических явлениях!» Он схватил себя за волосы и вырвал клок их, не чувствуя, что делает. В бессилии склонился он ко мне, глаза его закрылись — он был бесчувствен и неподвижен. Признаюсь: я желал ему смерти... Но смерть надолго забыла Антиоха.

Бесчувственного перенесли мы его в карету и на руках вынесли из кареты в его квартиру. Доктор, призванный мною, сказал, что это не обморок, что Антиох спит... Не помню, как-то по-латыни назвал он этот сон. Только это не был сон смерти. Ровно через сутки Антиох проснулся, бодро встал, надел свой всегдашний шлафрок, казался задумчивым, глубоко размышляющим, поглядел на меня, но не оказал ни печали, ни радости, никакого признака жизни. Более часа ходил он по комнате, когда пришел доктор и хотел посмотреть его пульс. Молча Антиох подал ему руку, но не сказал ни слова. Я стал говорить с ним. Он смотрел на меня, не сказал ничего и опять начал ходить. Потом сел он за свой столик, вынул десть бумаги, взял перо, приготовился писать, остановился, долго думал, бросил перо, взял карандаш, тер лоб свой с нетерпением. Так прошло несколько часов. «Завтра!» — сказал наконец Антиох задумчиво, бережно спрятал бумагу, лег на диван свой и скоро заснул.

Пришедши на другой день, я застал Антиоха уже вставшим. Он опять сидел за своим столиком, держал перо, думал, не отвечал на мои слова. Лекарь, приставленный к нему, сказал мне, что всю ночь Антиох проспал каким-то бесчувственным сном.

Целый день просидел он опять за своим столиком и иногда только прохаживался по комнате, думая, молча, потом опять садился и думал. Видно было, что он слышит слова и видит людей, потому что, когда мы стали просить его принять лекарство, он с досадою и поспешно выпил его. Когда я говорил ему о прежней дружбе нашей, он поглядел на меня, но не сказал ни слова, как будто человек, ничего не понимающий.

Так прошла целая неделя, и в Антиохе не было никакой перемены. Он вставал поутру, не обращая ни на что внимания, спешил сесть за столик свой и целый день просиживал за ним, держа то перо, то карандаш, задумывался, думал, печально прохаживаясь иногда по комнате, и вечером ложился спать, с глубоким вздохом произнося: «Ну, завтра!» Более не слыхали мы от него ни слова.

Доктора, которым рассказывал я всю историю Антиоха, решили, что он в сумасшествии особенного рода, что лечить его нельзя обыкновенным образом, что обык-

новенное лечение сумасшедших может только привести его в яростное безумие и что можно надеяться исцеления его со временем. Сон Антиоха всегда походил на бесчувствие смерти: его нельзя было разбудить; ел и пил он весьма мало, и то, когда принуждали его. Я нанял для него квартиру на даче, в прелестном местоположении. Ночью, во время сна, мы перевезли туда Антиоха. Он проснулся поутру, изумился, казалось, обгляделся кругом, но, увидев свой столик, бумагу, перо и карандаш, поспешно сел к столику и просидел целый день задумавшись, как будто стараясь что-то вспомнить. Вечером он лег по обыкновению спать и, проснувшись на другой день, опять просидел его за своим столиком. Идти никуда не хотел он, иногда с бесчувствием взглядывал в окно и тотчас отворачивался. Однажды веселое общество гуляющих проходило под окном его — он поглядел и отворотился к своему столику.

Мы испытывали лечить его музыкою. Когда раздались звуки арфы, Антиох бросил перо, стал слушать, но через минуту с негодованием покачал головою, опять взял перо и не оказывал более никакого внимания.

Так прошло несколько месяцев. Мне надобно было ехать из Петербурга; я препоручил Антиоха честному старику, который согласился жить с ним, и доктору, который хотел навещать его каждый день.

Поездка моя была довольно продолжительна. Отправленный по казенной надобности, я не мог иметь постоянной переписки. Меня уведомляли по временам, что Антиох остается в прежнем положении, но — не все сказывали мне!

Во время отлучки моей приехали в Петербург родственники Антиоха и взяли в управление все имение его. Бесчеловечные перевезли Антиоха в дом умалишенных. Честный старик, приставленный мною, умолил их взять для него особую комнату и перевез туда его столик, бумагу, перо и карандаш. Антиох проснулся на другой день в доме сумасшедших и, не обращая ни на что внимания, сел думать за свой столик.

Великий боже! Я увидел Антиоха и ужаснулся. Он вовсе не узнал меня, взглянул на меня, когда я пришел, и снова принялся думать. Он был худ; кожа присохла к костям его; длинная борода выросла у него в это вре-

мя, и голова его была почти седая. Только глаза, все еще блиставшие, хотя желтые, показывали тень прежнего Антиоха. Прежний прекрасный шлафрок его, висевший лоскутьями, был надет на него.

Я не хотел переводить Антиоха никуда: не все ли для него было равно, в доме ли сумасшедших был бы он или у меня, потому что уж ничто не могло ни занять, ни развлечь его, а нескромное любопытство людей могло быть для него тягостнее в моей квартире. На лето хотел я опять нанять дачу и туда взять с собою Антиоха. Доктора давно отказались лечить его.

Ровно через год после смерти Адельгейды, в одно прекрасное утро, когда солнце ярко осветило комнату Антиоха, он проснулся, поспешно сел за свой столик и вдруг радостно закричал: «Это она, это она!» Приставник бросился к нему. Указывая на слово, написанное на бумаге, Антиох с восторгом говорил ему: «Видишь ли, видишь ли? Это она, это душа моя — я вспомнил, вспо́мнил таинственное слово, которым могу призвать ее к себе... Мне кажется, я долго думал об этом слове! Неужели ты его не знаешь? Теперь к ней, к ней!»

Приставник обрадовался, услышав первый раз Антиоха говорящего. Он думал, что Антиох излечился. Антиох долго, с наслаждением смотрел на написанное им слово, горячо поцеловал его, хотел встать и вдруг свалился опять на стул свой; голова его склонилась на бумагу; перо выпало из рук его...

Я прибежал опрометью, когда меня известили, и застал Антиоха еще в этом положении. Но он был уже холоден. На бумаге было написано его рукою: *Адельгейда.*

Леонид кончил свой рассказ. Мы все молчали. Читатели припомнят, что в числе слушателей были две девушки, одна веселая, с черными глазами, другая задумчивая, с голубыми. Веселая встала и пошла прочь, сказав:

— Он все выдумал. Так не лю́бят, и что за радость так любить?

Леонид не отвечал ей ни слова, но, когда мы, мужчины, составили кружок и стали рассуждать всякий посвоему, Леонид придвинулся к другой девушке. Она

плакала, закрывая глаза платком. Леонид взял ее руку и поцеловал украдкою, не говоря ни слова.

— Вы не выдумали? — сказала она, вдруг взглянув на Леонида.

— И не думал,— отвечал Леонид.— Неужели и вы скажете: *так не любят*?

— О нет! Верю, чувствую, что так можно любить, но... Леонид?

— Если иначе не смеешь любить, скажи, милый друг: не блаженство ли безумие Антиоха и смерть Адельгейды?

Я не вслушался в ответ и не знаю, что́ отвечали Леониду.

М. Н. ЗАГОСКИН

КОНЦЕРТ БЕСОВ

— Если кто-нибудь из вас, господа, живал постоянно в Москве,— начал так рассказывать Черемухин, положа к стороне свою трубку,— то, верно, заметил, что периодические нашествия нашей братьи, провинциалов, на матушку-Москву белокаменную начинаются по большей части перед рождеством. Почти в одно время с появлением мерзлых туш и индюшек в Охотном ряду потянутся через все заставы бесконечные караваны кибиток, возков и всяких других зимних повозок с целыми семействами деревенских помещиков, которые спешат повеселиться в столице, женихов посмотреть, дочерей показать и прожить в несколько недель все то, что они накопили в течение целого года. Но в 1796 году этот прилив временных жителей Москвы начался с первым снегом, и, по уверению старожилов, давно уже наша древняя столица не была так полна или, лучше сказать, битком набита приезжими из провинции. Старшины Благородного собрания пожимали плечами, когда на их балах не насчитывали более двух тысяч посетителей, и громогласно упрекали в этом италиянца Медокса, который беспрестанно давал маскарады в залах и ротонде Петровского театра. Действительно, публичные маскарады, в которых не танцевали, а душились и давили друг друга, были в эту зиму любимой забавою всей московской публики. В числе самых неизменных посетителей сих маскарадов был один молодой человек, также приезжий, но только не из провинции. Иван Николаевич Зорин — так звали этого молодого человека — только что возвратился из чужих краев. Он долго жил в Италии, любил страстно музыку и всегда говорил об италиянской опере с восторгом, который превращался почти в безумие, когда речь доходила до оперной примадонны Неаполитанского театра. Он называл ее в разговорах Лауреттою, но не хотел открыть никому из своих знакомых имя, под которым она была известна в музыкальном мире. По всему было заметно, что не одна страсть к искусству была причиною сего энтузиазма, и хотя Зорин никому не поверял своей сердечной тайны, но все его приятели, а в том числе и я, отгадывали, по-

чему он казался всегда печальным, скучным и оживал тогда только, когда начинали с ним говорить об италиянской опере. Его вечную задумчивость, тоску и какое-то мрачное уныние, которое в Англии назвали бы сплином, мы называли просто хандрою и всякий раз смеялись над его доктором, когда он, рассуждая о душевной болезни нашего приятеля, покачивал сомнительно головою. «Полноте, Фома Фомич! — говорили мы ему,— что вам за охота набивать его желудок пилюлями? Пропишите-ка ему бутылки по две шампанского в день да приемов пять или шесть в неделю балов, театров и маскарадов, так это будет лучше ваших разводящих и возбуждающих лекарств». Как ни упирался Фома Фомич, а под конец решился послушаться нашего совета и предписал Зорину ездить по всем балам и не пропускать ни одного маскарада. В самом деле, принимая участие во всех городских веселостях, наш больной стал и сам как будто бы спокойнее и веселее. Случалось, однако же, что он не бывал в театре и отказывался от званого вечера, но зато постоянно каждый маскарад являлся первый и уезжал последний.

Я служил еще тогда в гвардии. Срок моего отпуска оканчивался на первой неделе великого поста, и, чтобы не попасть в беду, я должен был непременно в чистый понедельник отправиться обратно в Петербург. Желая воспользоваться последними днями моего отпуска и повеселиться досыта, я провел всю масленицу самым беспутным образом. Днем — блины, катанья, званые обеды, вечером — театры, а ночью до самого утра балы и домашние маскарады не дали мне во всю неделю ни разу образумиться. Я был беспрестанно в каком-то чаду и совершенно потерял из виду приятеля моего Зорина. В воскресенье, то есть в последний день масленицы, я приехал ранее обыкновенного в публичный маскарад. Народу была бездна, каждые двери приходилось брать приступом, и я насилу в четверть часа мог добраться до ротонды. Музыка, шумные разговоры, пискотня масок, которые, несмотря на то что задыхались от жара, не переставали любезничать и болтать вздор; ослепительный свет от хрустальных люстр, пестрота нарядов и этот невнятный, но оглушающий гул многолюдной толпы, составленной из людей, которые хотят, во что бы ни стало, веселиться, все это сначала так меня отуманило, что я несколько минут не слышал и не видел ничего. Желая перевести дух, я стал искать ме-

стечка, где бы мог присесть и немного пооглядеться. Пробираясь вдоль стены, вдруг услышал я, что кто-то называет меня по имени; обернулся, гляжу — высокий мужчина, в красном домино и маске, манит меня к себе рукою. В ту самую минуту, как я к нему подошел, сосед его встал с своего места.

— Садись подле меня,— сказал он,— насилу-то мы с тобою повстречались! Да что ж ты на меня смотришь? — продолжал замаскированный,— неужели ты не узнал меня по голосу?

«Да,— подумал я,— в этом голосе есть что-то знакомое, но он так дик, так странен...»

— Ну, если ты меня не узнаешь, так смотри! — сказал человек в красном домино, приподымая свою маску.

Я невольно отскочил назад — сердце мое замерло от ужаса... Боже мой! так точно, это Зорин! это его черты!.. О, конечно!.. Это он, точно он!.. Когда будет лежать на столе, когда станут отпевать его... Но теперь... Нет, нет!.. Живой человек не может иметь такого лица!

— Что ты? — спросил он с какою-то странною улыбкою,— уж не находишь ли ты, что я переменился?

— О! чрезвычайно!

— Так зачем же говорят, что печаль меняет человека... Неправда! не печаль, а разве радость.

— Радость?

— Да, мой друг! О, если б ты знал, как я счастлив! Послушай! — продолжал мой приятель вполголоса и поглядывая с робостию вокруг себя,— только, бога ради, чтоб никто не знал об этом! Она здесь!

— Она?.. Кто она?

— Лауретта.

— Неужели?

— Да, мой друг, она здесь. О, как она меня любит! Она покинула свою милую родину, променяла свои вечноголубые небеса на наше облачное угрюмое небо; там, в кругу родных своих, пригретая солнышком благословенной Италии, она цвела, как пышная роза; а здесь, одна, посреди людей мертвых и холодных, как наши вечные снега, она если не завянет сама, то погубит навсегда свой дар, переживет свою славу, и все это для меня!.. Она, привыкшая дышать пламенным воздухом Италии, не побоялась наших трескучих морозов, наших зимних вьюг, забыла все, покинула все,— живая легла в эту обширную, холодную могилу, которую мы назы-

ваем нашим отечеством,— и все это для меня!.. И все это для того, чтобы увидеться опять со мною!

— Уж не слишком ли ты прославляешь этот подвиг!— прервал я моего приятеля.— У нас не так тепло, как в Италии, но также бывает и весна и лето. Быть может, в Неаполе веселее, чем здесь, однако ж, воля твоя, и Москва не походит на могилу, да и твоя Лауретта, не погневайся, не первая италиянская певица, которую мы здесь видим; и если она будет давать концерт...

— Да! один и последний. Я согласился на это; пусть она обворожит всю Москву, поразогреет хотя на минуту наши ледяные души, а потом умрет для всех, кроме меня.

— Так она хочет навсегда здесь остаться?

— Да, навсегда. Ну, видишь ли, как она меня любит? Но зато и я... О! любовь моя не чувство, не страсть... нет, мой друг, нет!.. Не знаю, постигнешь ли ты мое блаженство? Поймешь ли ты меня?.. Я принадлежу ей весь... Она просила меня... да! она хотела этого...— Тут Зорин наклонился и прошептал мне на ухо:— Я отдал ей мою душу,— теперь я весь ее... Понимаешь ли, мой друг?.. весь.

Мне случалось много раз самому отдавать на словах мою душу; да и кто из молодых людей остановится сказать любезной женщине, что его душа принадлежит ей, что она владеет ею; эта пошлая, истертая во всех любовных изъяснениях фраза не значит ничего. Но, несмотря на это, не могу вам изъяснить, с каким чувством ужаса и отвращения я слушал исповедь моего приятеля. Таинственный голос, которым он говорил, дикий огонь его сверкающих глаз, этот неистовый, безумный восторг, эти слова радости и бледное, иссохшее лицо мертвеца!..

— Эх, братец! — сказал я с досадою,— как можно говорить такой вздор? Душа принадлежит не нам; ее отдавать никому не должно. Люби свою италиянскую певицу, женись на ней, если хочешь, пусть владеет твоим сердцем...

— Сердцем! — повторил насмешливым голосом мой приятель.— Да что такое сердце? разве оно бессмертно, как душа, разве оно не истлеет когда-нибудь в могиле? Прекрасный подарок: горсть пыли! Кто дарит свое сердце, тот обещает любить только до тех пор, пока оно бьется, а оно может застыть и сегодня, и завтра; но кто отступается от души своей, тот отдает не жизнь, не ты-

сячу жизней, а всю свою бесконечную вечность. Да, мой друг! дарить так дарить! Теперь Лауретте бояться нечего, душа не сердце — ее не закопают в могилу.

— Да сделай милость,— прервал я,— покажи мне эту волшебницу, эту Армиду, которая, как демон-соблазнитель, добирается до твоей души; повези меня к ней.

— Я не знаю сам, где она живет.

— Нет, шутишь?

— Да, мой друг, я видаюсь с ней только здесь. Она не хочет до времени никому показываться, но все это скоро кончится: после ее концерта мы обвенчаемся и уедем жить в деревню.

— А когда будет ее концерт?

— На будущей неделе в пятницу.

— На будущей неделе?.. Быть не может! Ты, верно, позабыл, что на первой неделе великого поста не дают никаких концертов.

— Полно, так ли? Кажется, Лауретта должна это знать; она даже говорила, что даст свой концерт здесь, в этой ротонде.

— Так она, верно, сама ошибается. Видел ли ты ее сегодня?

— Нет еще. Она не приезжает никогда ранее двенадцати часов, но зато ровно в полночь, как бы ни было тесно в маскараде и где б я ни сидел, она всегда меня отыщет.

— Ровно в полночь! — сказал я, взглянув на мои часы,— то есть через две минуты. Посмотрим, так ли она аккуратна, как ты говоришь.

Если вам не случалось самим, господа, встречать великий пост в маскараде, то по крайней мере вы слыхали, что, по принятому обычаю, ровно в двенадцать часов затрубят на хорах, и музыка перестает: это значит, что наступил великий пост и что все публичные удовольствия прекращаются. В ту минуту, как я смотрел на часы, которые, вероятно, поотстали, над самой моей головою раздался пронзительный звук труб, и так нечаянно, что я невольно вздрогнул и поднял глаза кверху. «Тьфу, пропасть! как они испугали меня!» — проговорил я, обращаясь к моему приятелю, но подле меня стоял уже порожний стул. Я поглядел вокруг себя: вдали, посреди толпы людей, мелькало красное домино; мне казалось, что с ним идет высокого роста стройная женщина в черном венецияне. Я вскочил, побежал вслед

за ними, но в то же самое время поравнялись со мною три маски, около которых такая была давка, что я никак не мог пробраться и потерял из виду красное домино моего приятеля. Эти маски только что появились в ротонду: одна из них была наряжена каким-то длинным и тощим привидением в большой бумажной шапке, на которой было написано крупными словами: «сухоедение». По обеим сторонам ее шли другие две маски, из которых одна одета была грибом, а другая — капустою. Длинное пугало поздравляло всех с великим постом, прибавляя к этому шуточки и поговорки, от которых все кругом так и помирали со смеху. Один я не смеялся, а работал усердно и руками и ногами, чтоб продраться сквозь толпу. Наконец мне удалось вырваться на простор: я обшарил всю ротонду, обежал боковые галереи, но не встретил нигде ни красного домино, ни черного венецияна. На другой день поутру я заезжал проститься с Зориным, не застал его дома, а вечером скакал уже по большой Петербургской дороге.

Прошло более трех месяцев с тех пор, как я оставил Москву. Занимаясь беспрерывно службою и процессом, который начался при моем дедушке и, вероятно, кончится при моих внучатах, я совсем забыл о последнем моем свидании и разговоре с Зориным. Однажды в Английском клубе, пробегая не помню какой-то иностранный журнал, я попал нечаянно на статью, в которой извещали, что примадонна Неаполитанского театра, Лауретта Бальдуси, к прискорбию всех любителей музыки, умерла в последних числах февраля месяца в собственной своей вилле близ Портичи. «Лауретта! — повторил я невольно,— примадонна Неаполитанского театра!.. Ах, боже мой! Да это та самая италиянская певица, в которую влюблен до безумия бедняжка Зорин! Но как же она могла умереть в последних числах февраля близ Неаполя, когда почти в то же самое время была у нас в Москве, в маскараде у Медокса?.. Что за вздор!..» В тот же самый вечер я написал к одному из московских приятелей, чтоб он уведомил меня, здоров ли Зорин, где он и не слышно ли чего-нибудь о женитьбе его с одной иностранкою. В ответе на письмо мое уведомляли меня, что на первой неделе великого поста, поутру в субботу, нашли Зорина без чувств на Петровской площади близ театра, что он был при смерти болен и что уж недели две, как его отвезли лечиться в Петербург. Я стал искать его везде, обегал весь город, но все ста-

рания мои были напрасны. Наконец совершенно неожиданным образом я увиделся с ним в одном доме, где никак не предполагал и вовсе не желал его найти. Он очень мне обрадовался и, не дожидаясь моей просьбы, рассказал свое чудное приключение, которое началось в ротонде Петровского театра и кончилось там же. Вот слово от слова весь этот рассказ, так, как я слышал его от бедного моего приятеля.

«Ты, верно, не забыл,— сказал он мне,— что я последний раз виделся с тобою накануне великого поста, в маскараде у Медокса. В ту самую минуту, как на хорах протрубили полночь, я заметил посреди толпы масок Лауретту, которая, проходя мимо, манила меня к себе рукою. Ты был чем-то занят другим и, кажется, не заметил, как я вскочил со стула и побежал вслед за нею. «Ступай сейчас домой,— сказала она мне, когда я взял ее за руку,— я требую также, чтобы ты четыре дня сряду никуда не выезжал и не принимал к себе никого. Во все это время мы ни разу с тобой не увидимся. В пятницу приходи сюда пешком один, часу в двенадцатом ночи. Здесь, в ротонде, будет репетиция концерта, который я даю в субботу».— «Но к чему так поздно? — спросил я,— и пустят ли меня?» — «Не беспокойся! — отвечала Лауретта,— для тебя двери будут отперты; я репетицию назначила в полночь для того, чтоб никто не знал об этом, кроме некоторых артистов и любителей музыки, которых я сама пригласила. Теперь отправляйся скорее, и если ты исполнишь все, что я от тебя требую, то я навеки буду принадлежать тебе; если же ты меня не послушаешься, а особливо когда пустишь к себе приятеля, с которым сидел сейчас вместе и которому рассказал то, о чем бы должен был молчать, то мы никогда не увидимся ни в здешнем, ни в другом мире; и хотя, мой милый друг, всем мирам и счету нет,— промолвила она тихим голосом,— но мы уж ни в одном из них не встретимся с тобою».

В течение двух лет, проведенных мною в Неаполе, я успел привыкнуть к странностям и необыкновенным капризам Лауретты. Эта пленительная и чудесная женщина, то тихая и покорная, как робкое дитя, то неукротимая и гордая, как падший ангел, соединяла в себе всевозможные крайности. Иногда она готова была враждовать против самих небес, не верила ничему, смеялась над всем — и вдруг без всякой причины становилась суеверною до высочайшей степени, видела везде злых

духов, советовалась с ворожеями и если не любила, то по крайней мере боялась бога. По временам она называла себя моей рабою и была ею действительно; но когда эта минута смирения проходила, то она превращалась в такую властолюбивую женщину, что не выносила ни малейшего противоречия; а посему, как ни странны казались мне ее требования, я не дозволил себе никакого замечания и безусловно обещался исполнить ее волю, тем более что она дала мне слово, что это будет последним и окончательным испытанием моей любви.

— Ты можешь себе представить,— продолжал Зорин,— с каким нетерпением дожидался я пятницы. Я приказал всем отказывать и даже не принял тебя, когда ты поутру приехал со мною проститься. Днем ходил я взад и вперед по моим комнатам, не мог ни за что приняться, горел как на огне, а ночью,— о мой друг! таких адских ночей не проводят и преступники накануне своей казни! Так не мучили людей даже и тогда, когда пытка была обдуманным искусством и наукою! Не знаю, как дожил я до пятницы; помню только, что в последний день моего испытания мне не только не шла еда на ум, но я не мог даже выпить чашку чаю. Голова моя пылала, кровь не текла, а кипела в моих жилах. Помнится также, день был не праздничный, а мне казалось, что в Москве с утра до самой ночи не переставали звонить в колокола. Передо мной лежали часы; когда стрелка стала подвигаться к полуночи, нетерпение мое превратилось в какое-то бешенство; я задыхался, меня била злая лихорадка, и холодный пот выступал на лице моем. В половине двенадцатого часа я накинул на себя шинель и отправился. Все улицы были пусты. Хотя моя квартира была версты две от театра, но не прошло и четверти часа, как я пробежал всю Пречистенку, Моховую и вышел на площадь Охотного ряда. В двухстах шагах от меня подымалась колоссальная кровля Петровского театра. Ночь была безлунная, но зато звезды казались мне и более и светлее обыкновенного; многие из них падали прямо на кровлю театра и, рассыпаясь искрами, потухали. Я подошел к главному подъезду. Одни двери были немного порастворены: подле них стоял с фонарем какой-то дряхлый сторож, он махнул мне рукою и пошел вперед по темным коридорам. Не знаю, оттого ли, что я пришел уже в назначенное место, или отчего другого, только я приметным образом стал спокойнее и помню даже, что, рассмотрев хорошенько

моего проводника, заметил, что он подается вперед, не переставляя ног, и что глаза его точно так же тусклы и неподвижны, как стеклянные глаза, которые вставляют в лица восковых фигур. Пройдя длинную галерею, мы вошли наконец в ротонду. Она была освещена, во всех люстрах и канделябрах горели свечи, но, несмотря на это, в ней было темно; все эти огоньки, как будто бы нарисованные, не разливали вокруг себя никакого света, и только поставленные рядом четыре толстые свечи в высоких погребальных подсвечниках бросали слабый свет на первые ряды кресел и устроенное перед ними возвышение. Этот деревянный помост был уставлен пюпитрами; ноты, инструменты, свечи — одним словом, все было приготовлено для концерта, но музыкантов еще не было.

В первых рядах кресел сидело человек тридцать или сорок, из которых некоторые были в шитых французских кафтанах, с напудренными головами, а другие в простых фраках и сюртуках. Я сел подле одного из сих последних.

— Позвольте вас спросить,— сказал я моему соседу,— ведь это все любители музыки и артисты, которых пригласила сюда госпожа Бальдуси?

— Точно так.

— Осмелюсь вас спросить, кто этот молодой человек в простом немецком кафтане и с такой выразительной физиономией, вон тот, что сидит в первом ряду с краю?

— Это Моцарт.

— Моцарт! — повторил я,— какой Моцарт?

— Какой? вот странный вопрос! Ну, разумеется, сочинитель «Дон-Жуана», «Волшебной флейты»...

— Что вы, что вы! — прервал я,— да он года четыре как умер.

— Извините! он умер в 1791 году в сентябре месяце, то есть пять лет тому назад. Рядом с ним сидят Чимароза и Гендель, а позади Рамо и Глук.

— Рамо и Глук?..

— А вот налево от нас стоит капельмейстер Арая, которого опера «Беллерофонт» была дана в Петербурге...

— В 1750 году, при императрице Елисавете Петровне?

— Точно так! с ним разговаривает теперь Люлли.

— Капельмейстер Людовика Четырнадцатого?

— Он самый. А вон, видите, в темном уголку? Да вы не рассмотрите его отсюда: это сидит Жан-Жак Руссо. Он приглашен сюда не так как артист, но как знаток и любитель музыки. Конечно, его «Деревенский колдун» хорошенькая опера; но вы согласитесь сами...

— Да что ж это значит? — прервал я, взглянув пристально на моего соседа, и лишь только было хотел спросить его, как он смеет так дерзко шутить надо мною, как вдруг увидел, что это давнишний мой знакомый, старик Волгин, страшный любитель музыки и большой весельчак.— Ба, ба, ба! — вскричал я,— так это вы изволили забавляться надо мною? Возможно ли! вы ли это, Степан Алексеевич?

— Да, это я! — отвечал он очень хладнокровно.

— Вы приехали сюда также послушать репетицию завтрашнего концерта?

Сосед мой кивнул головою.

— Однако ж позвольте! — продолжал я, чувствуя, что волосы на голове моей становятся дыбом,— что ж это значит?.. Да ведь вы, кажется, лет шесть тому назад умерли?

— Извините! — отвечал мой сосед,— не шесть, а ровно семь.

— Да мне помнится, я был у вас и на похоронах.

— Статься может. А вы когда изволили скончаться?

— Кто? я?.. Помилуйте! да я жив.

— Вы живы?.. Ну это странно, очень странно! — сказал покойник, пожимая плечами.

Я хотел вскочить, хотел бежать вон, но мои ноги подкосились, и я, как приколоченный гвоздями, остался неподвижным на прежнем месте. Вдруг по всей зале раздались громкие рукоплескания, и Лауретта в маске и черном венецияне появилась на концертной сцене. Вслед за ней тянулся длинный ряд музыкантов — и каких, мой друг!.. Господи боже мой! что за фигуры! Журавлиные шеи с собачьими мордами; туловища быков с воробьиными ногами; петухи с козлиными ногами; козлы с человеческими руками,— одним словом, никакое беспутное воображение, никакая сумасшедшая фантазия не только не создаст, но даже не представит себе по описанию таких гнусных и безобразных чудовищ. Особенно же казались мне отвратительными те, у которых были человеческие лица, если можно так назвать хари, в которых все черты были так исковерканы, что, кроме главных признаков человеческого лица, все прочее ни

на что не походило. Когда вся эта ватага уродов высыпала вслед за Лауреттою на возвышение и капельмейстер с совиной головою в белонапудренном парике сел на приготовленное для него место, то началось настраиванье инструментов; большая часть музыкантов была недовольна своими, но более всех шумел контрабасист с медвежьим рылом.

— Что это за лубочный сундук! — ревел он, повертывая свой инструмент во все стороны.— Помилуйте, синьора Бальдуси, неужели я буду играть на этом гудке?

Лауретта молча указала на моего соседа; контрабасист соскочил с кресла, взял бедного Волгина за шею и втащил на помост; потом поставил его головою вниз, одной рукой обхватил обе его ноги, а другой начал водить по нем смычком, и самые полные, густые звуки контрабаса загремели под сводом ротонды. Вот наконец сладили меж собой все инструменты; капельмейстер поднял кверху оглоданную бычачью кость, которая служила ему палочкою, махнул, и весь оркестр грянул увертюру из «Волшебной флейты». Надобно сказать правду: были местами нескладные и дикие выходки, а особливо кларнетист, который надувал свой инструмент носом, часто фальшивил, но, несмотря на это, увертюра была сыграна недурно. После довольно усиленного аплодисмента вышла вперед Лауретта и, не снимая маски, запела совершенно незнакомую для меня арию. Слова были престранные: умирающая богоотступница прощалась с своим любовником; она пела, что в беспредельном пространстве и навсегда, с каждой протекшей минутою, станет увеличиваться расстояние, их разделяющее; как вечность, будут бесконечны ее страдания, и их души, как свет и тьма, никогда не сольются друг с другом. Все это выражено было в превосходных стихах; а музыка!.. О, мой друг! где я найду слов, чтоб описать тебе ту неизъяснимую тоску, которая сжала мое бедное сердце, когда эти восхитительные и адские звуки заколебали воздух? В них не было ничего земного; но и небеса также не отражались в этом голосе, исполненном слез и рыданий. Я слышал и стоны осужденных на вечные мучения, и скрежет зубов, и вопли безнадежного отчаяния, и эти тяжкие вздохи, вырывающиеся из груди, истомленной страданиями. Когда посреди гремящего крещендо, составленного из самых диких и противуположных звуков, Лауретта вдруг оста-

новилась, общее громогласное браво раздалось по зале, и несколько голосов закричали: «Синьора Бальдуси, синьора Бальдуси! Покажитесь нам! Снимите вашу маску!» Лауретта повиновалась; маска упала к ее ногам... и что ж я увидел?.. Милосердый боже!.. Вместо юного, цветущего лица моей Лауретты — иссохшую мертвую голову!!! Я онемел от удивления и ужаса, но зато остальные зрители заговорили все разом и подняли страшный шум. «Ах, какие прелести! — кричали они с восторгом,— посмотрите, какой череп,— точно из слоновой кости!.. А ротик, ротик! чудо! до самых ушей!.. Какое совершенство!.. Ах, как мило она оскалила на нас свои зубы!.. Какие кругленькие ямочки вместо глаз!.. Ну, красавица!»

— Синьора Бальдуси,— сказал Моцарт, вставая с своего места,— потешьте нас: спойте нам «Biondina in gondoletta».

— Да это невозможно, синьор Моцарт,— прервал капельмейстер.— Каватину «Biondina in gondoletta» синьора Бальдуси поет с гитарою, а здесь нет этого инструмента.

— Вы ошибаетесь, maestro di cappella! [1] — прошептала Лауретта, указывая на меня,— гитара перед вами.

Капельмейстер бросил на меня быстрый взгляд, разинул свой совиный клюв и захохотал таким злобным образом, что кровь застыла в моих жилах.

— А что, в самом деле,— сказал он,— подайте-ка мне его сюда! Кажется... да, точно так!.. Из него выйдет порядочная гитара.

Трое зрителей схватили меня и передали из рук в руки капельмейстеру. В полминуты он оторвал у меня правую ногу, ободрал ее со всех сторон и, оставя одну кость и сухие жилы, начал их натягивать, как струны. Не могу описать тебе той нестерпимой боли, которую произвела во мне эта предварительная операция; и хотя правая нога моя была уже оторвана, а несмотря на это, в ту минуту как злодей капельмейстер стал ее настраивать, я чувствовал, что все нервы в моем теле вытягивались и готовы были лопнуть. Но когда Лауретта взяла из рук его мою бедную ногу и костяные ее пальцы пробежали по натянутым жилам, я позабыл всю боль: так прекрасен, благозвучен был тон этой необычайной гитары. После небольшого ритурнеля Лауретта запела впол-

[1] дирижер капеллы *(ит.)*.

голоса свою каватину. Я много раз ее слышал, но никогда не производила она на меня такого чудного действия: мне казалось, что я весь превратился в слух и, что всего страннее, не только душа моя, но даже все части моего тела наслаждались, отдельно одна от другой, этой обворожительной музыкою. Но более всех блаженствовала остальная нога моя: восторг ее доходил до какого-то исступления; каждый звук гитары производил в ней столь неизъяснимо-приятные ощущения, что она ни на одну секунду не могла остаться спокойною. Впрочем, все движения ее соответствовали совершенно темпу музыки: она попеременно то с важностию кивала носком, то быстро припрыгивала, то медленно шевелилась. Вдруг Лауретта взяла фальшивый аккорд... Ах, мой друг! вся прежняя боль была ничто в сравнении с тем, что я почувствовал! Мне показалось, что череп мой рассекся на части, что из меня потянули разом все жилы, что меня начали пилить по частям тупым ножом... Эта адская мука не могла долго продолжаться; я потерял все чувства и только помню, как сквозь сон, что в ту самую минуту, как все начало темнеть в глазах моих, кто-то закричал: «Выкиньте на улицу этот изломанный инструмент!» Вслед за сим раздался хохот и громкие рукоплескания. Я очнулся уже на другой день. Говорят, будто бы меня нашли на площади подле театра; впрочем, ты, я думаю, давно уже знаешь остальное; в Москве целый месяц об этом толковали. Теперь все для меня ясно. Лауретта являлась мне после своей смерти: она умерла в Неаполе; а я, как видишь, мой друг, я жив еще»,— примолвил с глубоким вздохом мой бедный приятель, оканчивая свой рассказ.

— Какова история? — спросил хозяин, поглядев с улыбкою вокруг себя.— Ай да батюшка Александр Иваныч, исполать тебе! Мастер сказки рассказывать!

— Помилуйте, Иван Алексеич! какие сказки? это настоящая истина.

— В самом деле?

— Уверяю вас, что приятель мой вовсе не думал лгать, рассказывая мне это странное приключение.

— Полно, братец! да это курам на смех! Воля твоя, какой черт не хитер, а, верно, и ему не придет в голову сделать из одного человека контрабас, а из другого — гитару.

— Если вы не верите мне, так я могу сослаться на самого Зорина. Он благодаря бога еще не умер и живет по-прежнему в Петербурге, подле Обухова моста...

— В желтом доме? — прервал исправник.

— Вот этого не могу вам сказать! — продолжал спокойно Черемухин.— Может быть, его давно уже и перекрасили.

— Ах ты, проказник! — подхватил хозяин.— Так ты рассказал нам то, что слышал от сумасшедшего?

— От сумасшедшего?.. Ну, это я еще не знаю! Зорин никогда мне не признавался, что он сошел с ума; а, напротив, уверял меня, что если доктора и смотрители желтого дома не безумные, так по одному упрямству и злобе не хотят видеть, что у него вместо правой ноги отличная гитара.

— Смотри, пожалуй! — вскричал хозяин,— какую дичь порет! А ведь сам как дело говорит — не улыбнется! Впрочем, и то сказать,— прибавил он, помолчав несколько времени,— приятель твой Зорин сошел же от чего-нибудь с ума! Ну, если в самом деле эта басурманка приходила с того света, чтоб его помучить?..

— А что вы думаете? — сказал я.— Не знаю, как другие, а я не сомневаюсь, что мы можем иногда после смерти показываться тем, которых любили на земле.

— И, полно, братец,— прервал с улыбкою Заруцкий,— да этак бы и числа не было выходцам с того света!

— Напротив,— продолжал я,— эти случаи должны быть очень редки. Я уверен, что мы после нашей смерти можем показываться только тем из друзей или родных наших, к которым были привязаны не по одной привычке, любили не по рассудку, не по обязанности, не потому только, что нам с ними было весело, но по какой-то неизъяснимой симпатии, по какому-то сродству душ...

— Сродству душ? — прервал Заруцкий.— А что ты разумеешь под этим?

— Что я разумею? Не знаю, удастся ли мне изъяснить тебе примером. Послушай! всякий музыкальный инструмент заключает в себе способность издавать звуки, точно так же как тело наше — способность жить и действовать; и точно так же как тело без души, всякий инструмент, без содействия художника, который влагает в него душу, мертв и не может или, по крайней мере, не должен сам собою обнаруживать этой способности. Теперь не хочешь ли сделать опыт? Положи на

фортепьяно какой-нибудь другой инструмент, например, хоть гитару, а на одну из струн ее — небольшой клочок бумаги; потом начни перебирать на фортепиано все клавиши одну после другой: бумажка будет спокойно лежать до тех пор, пока ты не заставишь прозвучать ноту, одинакую с той, которую издает струна гитары; но тогда лишь только ты дотронешься до клавиши, то в то же самое мгновение струна зазвучит, и бумажка слетит долой; следовательно, по какому-то непонятному сочувствию мертвый инструмент отзовется на голос живого. Попытайся, мой друг, изъяснить мне это весьма обыкновенное и, по-видимому, физическое явление, тогда, быть может, и я растолкую тебе, что понимаю под словами: *симпатия* и *сродство душ*.

— Ба, ба, ба! любезный друг! — сказал Заруцкий, улыбаясь,— да ты ужасный метафизик и психолог; я этого не знал за тобою. Вот что! Теперь понимаю: душа умершего человека с душой живого могут сообщаться меж собою только в таком случае, когда обе настроены по одному камертону.

— Ты шутишь, Заруцкий,— прервал исправник,— а мне кажется, что Михайла Николаич говорит дело. Я сам знаю один случай, который решительно оправдывает его догадки; и так как у нас пошло на рассказы, так, пожалуй, и я расскажу вам не сказку, а истинное происшествие. Быть может, вы мне не поверите, но я клянусь вам честию, что это правда.

Е. П. РОСТОПЧИНА

ПОЕДИНОК

I

> Дохнула буря — цвет прекрасный
> Увял на утренней заре...
> Тому назад одно мгновенье
> В сем сердце бились вдохновенье,
> Вражда, надежда и любовь,
> Играла жизнь, кипела кровь;
> Теперь, как в доме опустелом,
> Все в нем и тихо, и темно...
>
> *А. Пушкин*

Знаете ли вы, где и как удобнее познаются человек, его наклонности и привычки, даже его чувства и обычное расположение его мыслей?

Я берусь вам это сказать: на военной квартире, там, где вы не найдете ничего условного, куда не следуют за кочующим ни суетность тщеславия, ни лицемерность самолюбия; там, где человек бывает собственно собою, где самостоятельность каждого отражается около него во всей простоте, во всей суровости походной, не нарумяненной жизни.

В гостиной, я разумею в гостиной образованного человека, есть много ненужного, много стороннего; в гостиной все обдумано и приготовлено для приема, для одного наружного вида; ее устроили не хозяин, но обойщик и столяр; из нее исключены необходимости и потребности вашей вседневной жизни, жизни задушевной и тайной. Кабинет, это святилище мыслящего существа, обыкновенно закрыт и недоступен у того, кто любит занятие и дорожит часами уединения. У прочих кабинет есть великолепный обман, нечто во вкусе тех несчастно-выдуманных храмов, которыми в конце прошлого столетия французы украшали свои сады. Здания возвышались как будто для принятия алтарей всех богов мифологии, но оставались пусты и необитаемы, а иногда обращались в соблазнительные будуары и увеселительные павильоны. Точно то же происходит с кабинетами нашего времени: вы увидите в них и письменный стол, заваленный бумагами и перьями, и спокойные кресла для любителя занятий, и чернильницы разных видов, и

кипы бумаги; но хозяин, когда не принимает посетителей, занят единственно чищением ногтей и войною с мухами и пылью, нарушающими спокойную чистоту и бессменный порядок его меблировки. О! как я ненавижу вас, модные, напрасные, безжизненные кабинеты, пустые декорации бесцветной драмы, неловкое, глупое подражание самодовольной посредственности, кабинеты, уставленные изваянными и гравированными искажениями людей великих, непонимаемых своими жалкими почитателями, кабинеты, где последователь моды развесил по стенам своим портреты славных людей, не постигая величия души их.

Сын оружия, всегда готовый сложить свою ставку, чтобы идти вслед за кочевым знаменем, не успевает захватить с собою ничего излишнего, ничего для прихоти или приличия. Он бросил, он забыл все изысканности жизни, которые, нужны ли они или не нужны, окружают нас, горожан. Подобно древним, всюду неразлучным с своими пенатами, он выбрал себе в вечные спутники предметы своих занятий, своей привязанности, своих воспоминаний. Если случайно попала в запас его какая-нибудь безделка, вещь без цели и назначения для посторонних, будьте уверены, что в ней есть что-нибудь заветное, дорогое, что с нею сопряжена тайна ее владельца, что она занимает неотъемлемое место в тесном кругу его быта. Вся повесть военного вмещается в его походном чемодане. Зато какое обширное поле догадок и предположений открыто физиологу во временном жилище, где военный отдыхает мимоходом, месяц, неделю, день, смотря по обстоятельствам; зато как все в этом жилище полно занимательностью,— как на всех предметах отражается нрав жильца! Каждый из них составляет резкую черту в характерическом целом! Они или освящены чистыми воспоминаниями его детства, или залоги знойной поры страстей, или свидетели тихой думы. Рядом с неминуемым оружием, с бессменными принадлежностями службы, вы увидите любимую книгу (если ваш воин читает), трубку, которая верно сопутствовала ему во всех трудностях и опасностях ремесла, и не раз докуривалась и гасла без ведома его в его руках, когда он погружался в память минувшего или в мечту о будущем, этом будущем военного, где блеск славы и сияние желаемых крестов непременно затемнены дымом сражения и потоками крови. Иногда вам представятся изображения родителя, друга, нежной матери; чаще миниа-

тюра милой или карандашом набросанный абрис любимой лошади. Вам может на единственном столе попасть под руку безличный силуэт, в котором одни глаза любовника умудрились найти сходство, потому что его воображение дополняет и дорисовывает черты образа, в нем запечатленного. Порою даже, но очень резко, этот образ обитает в самом сердце, и тогда черный силуэт лучезарен и светел и греет теплою радостию холодные часы разлуки. Но, увы! у большей части молодых людей вы найдете веселые припевы Беранже и соблазнительные рифмы Парни. Разумеется, что и те и другие вечно покрыты замечаниями, прибавлениями, гиероглифами, над которыми трудились и перо, и свинец, и ногти. Это-то и любопытно! — Подобно испещренная книга заклеймена читателем, присвоена им; он породнил собственные ощущения с чужими мыслями сочинителя, возражал против них, и если ему через много лет придется опять развернуть эту книгу, то он найдет в ней отголосок себя самого вместе с памятником давно прошедшего, которое никогда не теряет своих прав над нашими сожалениями, хотя бы мы припоминали в нем несравненно более черных полос горя, чем светлых арабесков. Жаль, что такие архивы поручаются обыкновенно страницам, недостойным их сохранять! Мне по сердцу старинные обычаи наших прабабушек, которые на белых местах наследственного молитвенника записывали все достопамятные дни своей тихой, домашней жизни, летописи безгрешные и краткие, неизвестные свету, как самые героини их.

Но, кажется, я не про это с вами говорила, и мне странно, что сцепление моих мыслей могло меня перебросить к безмятежным бабушкам от мятежных случаев походной жизни их потомков.

После утомительно медленных походов, когда полк приходит на желанную квартиру, каждый спешит водвориться, убраться, быть у себя. Собственность каждого мало-помалу приводится в порядок. Дымная, грязная изба принимает вид некоторой опрятности, дотоле ей неизвестной; ковры защищают оконницы от солнца и пол от стужи. Все принадлежности временного хозяина располагаются по удобнейшим местам, то есть всякая из них там, где может скорее броситься в ищущие их глаза.

У нас все прибрано, все скрыто и неприметно во множестве вещей и украшений, изобретенных роскошью и

общежитием, но тут, в тесноте и недостатке, трудно подчинить предметы условному устройству, трудно даже скрасть улику слабости. Предатель штоф изобличает поклонника Вакха; колода карт доносит на игрока.

II

Однако и физиолог, и наблюдатель задумались бы не раз, войдя в избу, где стоял полковник Валевич. Мудрено было бы им уяснить себе свои впечатления, разгадать видимое ими. Это жилище казалось созданным нарочно, чтобы сбивать все догадки и упреждать все заключения на счет жильца. Его товарищи уверяли, что хандра находила на них, когда они засиживались у него, а рядовые и денщики, когда служба или случай призывали их к полковнику, крестились, переступая порог, и отчурывались на возвратном пути. Вечером народ обходил с ужасом это запретное жилище, и в селах, где стаивал Ф...ский гусарский полк, долго-долго говорили не без трепета и не без удивления о причудливых обычаях странного Валевича, того высокого и бледного полковника, с седеющими черными кудрями и никогда не улыбающимся лицом.

Куда ни приходил Валевич с своим эскадроном, всюду его комната обивалась снизу доверху черным сукном. Его кровать имела совершенно вид и форму гроба и была из черного дерева, на винтах, чтобы удобнее складываться на дорогу. Над письменным столом, который равно обит был черным, висел всегда пистолет, и ничья рука, кроме руки полковника, не прикасалась к нему. Но и сам полковник никогда не употреблял его. Пистолета не заряжали, не чистили; он был не любимым оружием, но таинственным залогом чего-то давнишнего, чего-то мрачного и незабвенного.

Под ним в стену вколачивался крючок, а на крючке висела пуля, приделанная к петле. Ее величина и соразмерность явно доказывали, что она некогда служила зарядом своему соседу. Ржавчина съедала пулю, ржавчина старая и красноватая, да еще виднелись на ней какие-то неизгладимые пятна; говорили, что это были следы запекшейся крови. Конечно, кровь эту с намерением не смывали...

На столе днем и ночью горела лампада, выделанная из человеческого черепа, сквозь отверстия коего проли-

валось унылое сияние, озарявшее стоявшую за лампадою картину, голову молодого человека редкой красоты. Горизонтальное положение этой головы, ее закрытые глаза и осунувшиеся черты, ее желтоватые оттенки достаточно свидетельствовали, что она была списана с мертвеца. Но ничего болезненного, ничего страдальческого не было заметно в этом списке; разрушение не обезобразило лица юноши; медленная борьба со смертью не наложила на него заранее печати тления, и он, безжизненный, являлся еще в полном цвете жизни и молодости. Явно было, что смерть нечаянно схватила его, что громовый удар прервал биение его сердца, остановил в его жилах кипящую кровь. Он был так миловиден, так хорош, так привлекателен, что нельзя было смотреть на него равнодушно. Его красота была из тех, которые предвещают силу, мысль, страсти, и, взирая на закрытые глаза, нельзя было не угадывать, что некогда они горели, сияли и очаровывали. Выражение и игра физиономии покинули благородные черты лица, но в них еще отражался отблеск прекрасной души; но луч небесный озарял его высокий лоб, полный идеальной чистоты; но улыбка еще не совсем слетела с побледневших уст. Голова была окружена прозрачной пеленою облаков, и мастерство художника умело заставить ее отделиться от них так искусно, что она казалась совсем выдавшеюся из богатой черного дерева рамы, украшенной золотою резьбою.

За этим столом, перед этою необыкновенною картиною, проводил Валевич большую часть дней, а иногда и безмолвные часы ночи. Разумеется, думы его не могли быть светлыми и веселыми в присутствии таких предметов, и потому, быть может, не сообщал он никому своих дум. Он вел жизнь однообразную, выходил по долгу службы или необходимости и не охотно принимал своих сослуживцев. Когда же кто из них навещал его, Валевич немедленно закрывал занавесом картину, и лампаду, и пистолет — и никому не дозволено было рассмотреть их вблизи. Его привычки были известны; им никто не противоречил.

Валевич так сроднился с своею чудною комнатою, что сосредоточил в ней всю жизнь свою; он обжился с нею, как монах с своею кельею. Ему неловко было вне ее, он избегал всех случаев быть в другом месте. Многие полагали, что он предан отвлеченным наукам и уединяется, чтобы заниматься ими свободно. Но в опро-

вержение этого мнения замечали, что у него никогда не видали ни книг, ни какого-либо ученого предмета. Ни один журнал не доходил до него; ничто не показывало, чтоб он занимался чем-нибудь другим, исключая своих мыслей или своих воспоминаний.

Этот особенный образ жизни, это строгое одиночество Валевича тем более удивляли всех окружавших его, что судьба видимо создала его для совершенно противной цели. Он имел все, чтоб жить с людьми по-людски и находить счастие и благосклонность на каждом шагу своем. Ему казалось немногим более 35 лет, и, одаренный красивым станом и приятным лицом, он со стороны наружности не должен был ни желать более, ни завидовать другим. Быстрый ум, истинное образование и отличное воспитание равно наделили его в нравственном отношении. Он имел полное право гордиться своими предками и наследственною честью своего имени. Знатность его родства и связей давали ему место в блестящем кругу общества. Даже богатство осыпало его своими дарами, чтобы этому баловню судьбы не за что было упрекнуть ее.

Подобные преимущества возбудили сначала зависть офицеров Ф...ского полка, когда Валевич, еще в цветущей молодости своей, был переведен к ним из гвардии за какой-то проступок, которого начальники не разглашали, оберегая чувствительность виноватого и гордость его родственников. Все взоры обращены были на нового сослуживца с вниманием, выжидавшим только случая, чтобы обратиться в неприязнь. Но вскоре неизлечимая задумчивость Валевича и все признаки душевного страдания, замеченные в нем, доказали наблюдателям, что он был более достоин сожаления, нежели зависти. Самолюбие успокоилось; безобидный пришлец сделался для всех предметом участия и доброжелательства.

Но любопытство не дремлет даже там, где нет нас, бедных женщин, со времен прабабушки Евы уличенных в любопытстве, и многие старались разузнать подробнее причину немилости, падшей на Валевича, в надежде иметь ключ к истолкованию его странностей и его нелюдимства, потому что он с первой же поры отказался от веселого собратства с другими и зажил своим таинственным бытом. К сожалению любопытных, они не могли узнать ничего о прежней жизни Валевича, и он оставался для них всегда загадочным, всегда непонятным.

III

После Турецкого похода полк, где служил Валевич и где он отличился подвигами блистательной храбрости, пришел стоять в главный город О...ской губернии, к общей радости жителей, а наиболее жительниц его. Важное событие в летописях провинции приход полка, особенно по заключении славного мира и по окончании победоносной войны. Все оживляется, все стряхивает долгий сон скуки и бездействия. Купец сбывает с рук свои залежалые запасы, матушки готовятся сбыть со двора засидевшихся дочерей, все суетятся и стараются наперерыв выставлять товар лицом!.. Во время войны уродилось много хлеба и повыросло много невест, хорошеньких, милых и всяких, а война, завербовав всех недорослей, всех молодых помещиков, так опустошила бедный город, что две зимы протекли без балов, и даже выборы начались, продолжались и кончились без малейшей вечеринки. Следовательно, вступление полка было благовестом восстания и суеты, и всеобщее ликованье приветствовало победителей Падишаха.

Любо было посмотреть, как переменились женские лица, долго окованные великопостною важностью однообразной жизни. Любо было послушать, как стали толковать о нарядах, как стали задабривать отцов и мужей, чтобы выманенными пачками цветных бумажек расплатиться с вожделенным московским Кузнецким Мостом. Но предание говорит, что любопытнее всего было заглянуть в сердца девушек или прислушаться к разговорам в уборных и родительским наставлениям домашних комитетов. Как стали вдруг любить прогулки и чистый воздух!.. Как часто стали ходить к обедне!

Дворянство собиралось дать великолепный бал, и все офицеры были приглашены, вообще и частно, вкупе и порознь. Угрюмый Валевич отказался было от приглашения, но дивизионный генерал требовал от него, чтобы он показался в собрании О...ских знаменитостей. Старик любил его как сына и хвастал им, как продавец птиц ученым попугаем; он едва не считал Валевича своею собственностью и усердно старался выказывать его при всех важных случаях, при инспекторских смотрах и губернских праздниках.

И в этом старик был прав. Лишь только его любимец показался, бледный и задумчивый, рассеянный и равнодушный, все девушки тотчас обратили на него все

свое внимание. Между ними были воспитанницы московских пансионов, прочитавшие тайком Байрона в плохом и бестолковом переводе Виконта д'Арленкура. Одни, воображая видеть в Валевиче героя романа, немедленно стали преследовать его взорами и мечтами. Другие, коренные обитательницы поместьев, были только знакомы с всемирным Онегиным, и потому их восхищение выражалось искаженным стихом Пушкина, бедного Пушкина, так часто переписываемого ошибочно непоэтическими руками, что его прелестные поэмы обратились в жалкие пародии. Эта страсть переписывать все, что явится на родном языке, отрасль экономии, усердно употребляемая *уездными барышнями,*— это зло неизлечимое и неизбежное, как подьячие. Это наша родная malattia [1].

— Ах, ma chère [2],— говорила предводительская дочь, небрежно поправляя букли, подозрительно белокурые,— он точно Лара, точно Гяур, и таинствен, и мрачен, и с большими черными глазами! Ты не знаешь, женат ли он?

— Посмотрите,— возразила племянница коменданта, бесприданница, давно пережившая годы опеки и попечительства,— посмотрите, как он *интересен,* прямой жилец нездешнего мира, бездольный сын злополучия!.. Не слыхать, сколько душ за ним?

Так-то рассуждали о Валевиче в том углу комнаты, куда редко доходили приглашения разборчивых кавалеров и где зрелые и созревающие девушки имели полный досуг наблюдать и толковать вдоволь. Пригоженькие — а их и в губерниях очень много — танцевали без отдыха, от всей души, но и они мимоходом успевали заметить очарователя своих подруг, и они находили или выдумывали случай пропорхнуть перед ним, надеясь каждая про себя, что если общая веселость бессильна заманить каменного гостя в вихорь танцев, то ей он не может противостоять и должен будет к ее ногам принесть повинную голову с приглашением. Однако ж все были обмануты в своих видах. Валевич не покидал своего места во весь вечер.

Начался котилион. Тут невинный предмет всех тщеславий собрания не знал, куда уйти и как отказаться от беспрерывных набегов выбирающих дам. То его при-

---

[1] болезнь *(ит.)*.

[2] моя милая *(фр.)*.

глашали *гореть* или по крайности *обмануть*; то его приглашали искать симпатию; то к нему, потупя глаза, приближались *pensée*[1] и *sensitive*[2], прося его избрать одну из них. Вотще уверял он честью, что никогда не танцует; гостеприимные *патриотки*[3] не отставали от него и не давали ему ни отдыха, ни сроку.

Партия матушек между тем не зевала: вскоре были собраны все сведения о Валевиче, о его родстве, имении и доходах, и кумушки (где ж их не найти?) разнесли эти вести по всем председательницам семейств, могущих обнаружить притязания на молодого полковника. В продолжение двух часов он получил более двадцати приглашений к помещикам в город, за город, в близкие и дальние усадьбы, на именины и запросто откушать и погостить. Он принимал учтивости матушек точно так же, как попытки дочек, отговаривался от них невозможностию отлучиться от должности и оставил бал, не заглядевшись ни на одни глазки, не полюбовавшись ни одною ножкой, хотя часто светлые глазки приветно к нему обращались и много стройных, маленьких ножек мелькало около него.

Это был, однако, первый бал, на котором он присутствовал с тех пор, как выехал из Петербурга. Давно самолюбию его не приносили столько жертв, столько упоительных предпочтений, давно не бывал он в чаду светских успехов, давно присутствием своим не волновал красавиц. Эти наслаждения его беспечной молодости должны бы были расшевелить и потрясти его воображение, если не сердце, и те ощущения, которые слабеют от частого повторения и освежаются после долгого сна, должны бы были могущественнее восстать в груди и голове человека, долго не видавшего света в праздничном его наряде... Но ничего подобного не было.

IV

И так везде, в уединении, в толпе, с товарищами, в присутствии женщин, полковник Валевич сохранял свою непобедимую холодность, свое гордое отчуждение.

---

[1] задумчивость *(фр.)*.
[2] чувствительность *(фр.)*.
[3] К военным людям так и льнут,
А потому что патриотки!..
Горе от ума

Ни участие людей, готовых стать ему верными друзьями, ни завлечение женских приманок не могли поколебать его закаленного бесчувствия. Верно в душе его лежит какая-нибудь тайна, верно он несчастлив несчастьем сердца, верно будущее не в состоянии исцелить его, а прошедшее унесло в бездну лет роковое событие, навеки сокрушившее судьбу его?..

Но чтобы человек его характера решился самому себе сознаться в злополучии безвыходном, чтобы он решился не таить от света растерзанных ран своих, это злополучие, эти раны должны превосходить меру твердости человеческой. Чтобы поработить, чтобы погнуть душу столь сильную, столь непреклонную, горе и несчастье должны быть глубоки, как море, как море всевластны и неукротимы.

Да, Валевич несчастлив.

Но чем же больна его душа? Какое чувство в нем страдает?

Не женщина ли заворожила его? Не был ли он коварно обманут ее предательством, ее изменою? Не смерть ли похитила у него возлюбленную?.. Уж верно он не мог найти в любви препон, которых не рушила бы его воля, уж верно ничья власть не дерзнула бы отнять у него того, что он любил! Одно непостоянство, одна смерть могли победить его.

Не пресыщение ли, не злоупотребление ли всех благ жизни привели его к преждевременному бесчувствию, к горькому разочарованию во всем, чему верил раньше? Может быть, его бурная молодость погубила, оборвала заранее все цветы жизни, и он теперь осужден платить недобровольным, бедственным равнодушием за безрассудное расточение чувств и мыслей своих. Может быть, несчастный на заре своей жизни истратил весь небесный огонь, данный ему на длинный путь существования,— и теперь полдень его без лучей и без света, и вечер его будет холоден и мрачен!

Не самолюбие ли в нем оскорблено? Вероятно, Валевича сокрушает исключение из гвардии, и он не может забыть блистательного поприща, закрывшегося внезапно перед ним? Вероятно, его снедает обманутое честолюбие и старая рана не перестает ныть в его сердце?

Нет, нет! все не то.

Нет! никогда женщина не была властительницею этого необузданного существа. Никогда ее прихотливые

превращения не тревожили его сердца, руководимого светлым рассудком. Он любил, но не тою чистою, пламенною, бескорыстною любовью, которую сулило благородство его души. Нет! он не знал, не испытал ничего подобного: он любил по-светски, как любит молодежь. Он не жег ладана, не сотворял себе кумира, но выбирал игрушку и утешался ею, пока глаза были ослеплены ее красою, пока голос ее мог приносить ему сладкое волнение. Он был повелителем, деспотом, судиею; он железной волею переламывал причуды переменчивой и покорял бесхарактерность слабой. Он не требовал идеального совершенства, не искал всепреданного сердца — нет! он хотел положительного, обыкновенного, того, что встречается легко и оставляется без усилий. Измены он не боялся, имея чудный талисман против нее и ее козней,— он покидал первый, чтобы не быть покинутым. Смерть тоже не вооружалась против его мимолетных связей: она сторожит любовь истинную, она грозит любви несчастной, она разрывает бесщадно священные союзы, но боже мой! что делать ей в чинно устроенных сортировках света? Ей известно, что они и так непродолжительны. Ей известно, что и без нее скоро рознятся разнокачественные четы, собранные случаем или прихотью на единый миг, встретившиеся без влеченья, расходящиеся без страданья. Нет! смерть ничего милого не похищала у Валевича; он женщинам был обязан только красными минутами своей жизни; он не удостоил их ни слезы, ни сожаления!

Он не понимал *разочарования*, этой чумы наших времен, сообщенной бедному юношеству неосторожными исповедями некоторых страдальцев, людей, более ожесточенных против жизни, нежели полных к ней презрения. Эти роптатели, большею частию поэты, сами себя обманывали неумышленно, утешались в неудачах своих, облачаясь мантией подложного стоицизма и принимая наущения досады за презрение отрезвившегося рассудка. Юнг, Руссо, Ламартин показали опасный пример. Нет, они не были ни равнодушны к изменившему счастию, ни разочарованы на счет истинных благ жизни; они опровергали то, что судьба отняла у них; они в собственных глазах старались умалить его цену, чтобы подавить свои сожаления. Они роптали, и их возмущавшееся горе выражалось словами сокрушения. Это всегда бывает с опасно больными; они не хотят признать своего недуга и называют его другим именем. Но

рассудительный ум Валевича рано постиг эти истины, и он не верил разочарованию — он называл сплином и хандрой здоровую мрачность мнимоболящих. Что касается до эпикурейского пресыщения Чайльд-Гарольдов и Онегиных, то он слишком уважал себя самого и потому не мог поставить себя в положение, в котором можно было когда-нибудь испытать его. Это казалось ему низко и ничтожно.

Валевич боготворил славу, особенно славу военную, его душа ликовала на поле брани, среди мечей, опасностей и натисков смерти, где мужество находит себе простор, где личная храбрость борется со всеми соображениями искусства, со всеми преимуществами силы масс. И он любил войну собственно для войны, не считал ее средством возвышения, не желал ни власти, ни чинов. Но заслуженное отличие, но выразительные клики солдатской правды, когда он, смелый и пылкий, стремился в бой, но блистательные хвалы, с которыми молва сочетала его имя,— вот что ценил Валевич, что питало его гордость, удовлетворяло его самолюбию. Его приближенные уверяли, что он в минуту сражения становился совершенно другим человеком, обыкновенная его безжизненность сменялась деятельною и зоркою решимостью. Вечное облако печали исчезало с чела его, глаза его горели молнией, голос его властно и сильно повелевал подчиненными, и он сам, сражаясь как разъяренный лев, бросался опрометью в чащу сечи, в пыл огня, приказывая своим следовать за ним. Явно было, что Валевич искал смерти. Но жребий его не выпадал, и он выходил невредим из боя, за исключением нескольких неопасных ран и контузий, о которых он не позволил себе и говорить. После первого дела, где он отличился, начальники хотели представить его к переводу в гвардию; он не допустил исполнения их намерений и твердо объявил свое желание остаться на прежнем месте. Он не захотел променять на позолоченную суетность Петербурга ни строгого рода своей жизни, ни знамен, под коими надеялся скорее достичь своей цели — желанной развязки существования. Он радовался преимуществу опереживать прежних товарищей, когда голос родины сзывал на рубеж битв; он с восторгом рассчитывал, что в рядах армии он ближе к славе, ближе к смерти; что кровь его прежде крови других могла пролиться, когда отечество потребует жертвы, которою укрепляется здание его величия. У каждого свои мечты, свои надежды.

Валевичу оставалось и те и другие ограничить — сном могильным.

Вы видите, что ни одно из предположений наших не оправдано и что тайною Валевича не могло быть ни одно из тех страданий, которые свойственны его годам, его положению. Так чем же объяснить его?

Вот что восемь лет сряду спрашивали напрасно Ф...ские гусары и на что ни один из них не мог отвечать. Их странный товарищ успел, однако, снискать себе их любовь и уважение. Он при случае доказывал им, какая бездна добра и великодушия скрывалась под его унынием. Он не раз советами и попечениями спасал неопытность от гибели, не раз сыпал золото, чтобы облегчить участь неимущих, входил в дела семейные, чтобы устроить счастие своих сослуживцев, и не раз нежным участием залечивал сердечные раны. Но, готовый на помощь и услугу другим, он сам никому не доверялся, и, если кто-нибудь хотел проникнуть в его душу, холодом обладающая неприступность сменяла тотчас его обычную обходительность.

V

Зимний вечер созвал несколько гусаров к Горцеву, одному из тех, которым судьба отвела уголок почище и попросторнее в деревушке, ими занимаемой. Кроме удовольствия отдохнуть и потолковать вместе, гусаров собрало побуждение, всем им общее. У них было заведено между собою поочередно посылать в ближайший город за письмами и журналами, и в этот вечер был очередной почтовой день Горцева.

Тому, кто, обитая в многолюдных городах, всегда находил занятие и пищу в новостях, когда у него нет ни собственного дела, ни прибежища в себе самом, трудно понять всю значительность, всю занимательность почтового дня для жителей уединенных деревень или для военных, брошенных в совершенно отдельный круг существования и редко имеющих сообщение с миром, кипящим так далеко от них, где у многих остались связи и отношения, дорогие их сердцам. Как ждут, как жаждут вестей все те, которые знают разлуку с близкими своими или испытали волнение ума, требующего новизны и развлечения!

Гости Горцева, конечно, были знакомы с ощущениями, приносимыми почтой, ибо все они сошлись рано,

молча раскуривали свои трубки и нетерпеливо посматривали на дверь и на часы. Разговор не завязывался. Все желали приезда посланного, но сколько разных причин приводили в действие единодушное желание этого небольшого собрания! Один ожидал оброка с разоренных крестьян, с отчетом приказчика, ежегодно бросаемым в печь без прочтения. Другой боялся родительских увещаний вместо звонкого прибавления, испрашиваемого к прежним милостям. *Безродный* и *бездушный* политик заботился единственно о Донне Марии Португальской или Ибрагим-Паше, еженедельно занимавших два-три часа его far-niente[1]. Молодой юнкер горел нетерпением прочитать свое производство в вожделенном «Инвалиде», чтобы немедленно надеть эполеты — эполеты, давно им припасенные, тщательно хранимые в заветной шкатулке и навещаемые иногда для поддержания духа на стезях службы и ног в стременах на манежных упражнениях. Кто готовился к иеремиевскому плачу нежной половины, оставленной в деревне; кто заранее грыз ногти, предвидя курсивное послание заимодавца. Немногие с сладкою надеждою и тихою радостью мечтали о почте, но те никому не сообщали чувств своих. Они ждали... ждали несколько тоненьких страничек, мелко исписанных в клетку миленькой ручкою, тайком, при покровительственном сиянии киотного ночника.

О, для таких писем следовало бы учредить особенную почту! Какая жалость подумать, что их взвешивают с прочими и зашивают в общий чемодан, между поздравлением с именинами старой тетки и кредитною грамотою продавца сальных свеч! Какое несчастие, что их разносят жесткие и грязные лапы почтальона!.. Непременно подам правительству *проект* об учреждении нового способа доставления любовных посланий и уверена, что исполнение его принесет казне больше дохода, чем все почты России вместе. По моему плану, с этих избранных писем не должно получать весовых денег, ни за холодную бумагу, ни за мертвый сургуч, но высчитывать проценты за огненные выражения страсти, за святые обеты верности. И сколько из моих знакомых к концу года нашли бы в щегольской расходной книжке: «Столько-то за признание П...у, столько-то за

---

[1] ничегонеделанье *(ит.)*.

слово, данное Р...у, столько-то за клятву в вечной любви Б..ву!»

Не знаю, таким ли размышлениям или другим предавались гости Горцева, когда дальний звук колокольчика возвестил им желанного гонца. Но наверное знаю, что все они вскочили с своих мест, выбежали на улицу, хватали разные пакеты, передавали их из рук в руки и суетились, пока каждый не взял того, что ему следовало. Тут воцарилось молчание. Все читали. Лишь изредка тишина прерывалась восклицаниями удивления, радости или досады, но никто к ним не прислушивался. Мало-помалу все письма дочитались, все умы успокоились; начались сообщения новостей частных и официальных. В эту минуту дверь растворил Валевич, иногда посещавший вечерние беседы своих товарищей, более в звании начальника, нежели по расположению к их обществу. Но он всегда был уверен, что обрадует своим появлением, и такая уверенность побеждала его нелюдимость.

— А! Полковник... добро пожаловать — как вы меня обязали! Редкий гость — садитесь! — И хозяин светлицы засуетился.— Денщик! трубку и чаю полковнику! Ступай проворнее! — Кстати, полковник, послушайте, сколько производств, сколько перемен... Сейчас почту получили.— У кого «Инвалид»?.. А, Лосницкий, у тебя? Пожалуйста, братец, читай вслух!

Лосницкий держал «Инвалид» и пробегал его, отыскивая взором занимательные статьи, между тем как маленький юнкер чрез плечо его старался прочитать свое имя и производство.

— Господа, господа! слушайте! — закричал вдруг Лосницкий.— Вот дело не на шутку! Слушайте: «Военным судом разжалованы без выслуги, с лишением чинов и дворянства поручик И...в и корнет Б...к».

— Ах, как жаль! — сказали иные голоса.

— За что? Почему? — спросили другие.

— В «Инвалиде» более ничего не сказано.

— Как досадно! Непонятно. Жаль мне бедного поручика! Да и тот был славный малый!

— Постойте, господа,— прервал Горцев, распечатывая еще один огромный пакет,— вот ко мне пишут из Петербурга — моя кузина, старая девушка,— она знает все сплетни городские, бывалое и небывалое, бывшее и будущее, и, вспомнив, что я знаком с обоими бедняками, она, верно, расскажет мне их историю!

Все взоры с ожиданием и беспокойством устремились на Горцева. Он продолжал разбирать пространную эпистолу кузины.

— Ах! да — так точно... Вот и об этом!

— Несносные бабы! Ничего прямиком сказать не умеют: страсть у них терять даром слова и время! Да еще все по-французски, чтобы каждую немного дельную мысль разжидить целым морем водянистых фраз! La nouvelle qui fait événement... ces pauvres jeunes gens... quelle imprudence...[1] Наконец-то! Как? Что? Они дрались, оба ранены... и разжалованы за поединок!

— За поединок! — И все лица оживились, все умы откликнулись общему чувству. *Обида* и *честь* — эти два сильные победителя мужчины, которых ложное истолкование породило зверское, губительное злоупотребление,— обида и честь нашли громкий ответ в сердцах, кипящих жизнью и молодостью... Все сблизились внезапно, все окружили Горцева, все молчали, но страсти говорили в них, и, понимая один другого, все следовали побуждению беспокойного любопытства.

Все?.. Нет! не все. Между тем, как слова: «за поединок» электризировали прочих, один из присутствующих, будто громом пораженный, упал на свой стул, недвижим и полумертв. Чело его покрылось мертвенною бледностью, и лицо покривилось мучительными судорогами. *Одного* голоса недоставало в этом шуме трепещущих голосов. *Один,* как отверженный, не смел разделить общего увлечения, не сочувствовал ему и, как только немного опомнился, убежал торопливо и весь расстроенный.

— Где ж полковник? Куда девался Валевич?..

Вот что спросил каждый из офицеров, когда их любопытство утолилось сообщением подробностей петербургского поединка и его последствий.

— Полковник изволили-с уйти к себе-с. Им сделалось дурно-с,— отвечал денщик.

— Дурно? — переспросил кто-то.

— Да-с, ваше благородие-с, дурно. Они даже помертвели, а как вышли на воздух, то изволили зашататься. Я хотел было проводить до квартиры, но их высокоблагородие не позволили.

---

[1] История, которая всех взволновала... бедные молодые люди... какое неразумие... *(фр.)*

— Странно! — произнес Горцев протяжно и задумавшись.

— Что странно?

— А так, ничего. Вы, верно, никто не заметили: он не может слышать о поединке.

— Кто? Валевич?

— Ну да, кто ж другой? Вот это дает мне повод предполагать... Да! Я уж не в первый раз наблюдаю и думаю, что теперь знаю, почему он...

— Полно, полно, Горцев! Что за страсть у тебя отыскивать небывальщину и разгадывать малейшие движения человека! Романист!

— Совсем не романист,— возразил важно Горцев,— но я хочу знать до основания тех, кого называю друзьями, а Валевич, к которому влечет меня всем сердцем, которого я уважаю и ценю высоко, он до сих пор мне неизвестен. Он, верно, никогда сам не разрешит моих сомнений. Он часто удивляет всех нас, он непонятен — и я хочу его понять.

— Но что ж ты заключаешь из его ухода?

— Я заключаю, что разговор наш был ему неприятен, и припоминаю, что Валевич не терпит речей о поединках. Знаете ли вы, что он едва не поссорился со мною, когда я в Бессарабии хотел проучить порядком этого выскочку Красновидова? Знаете ли вы, что он всю ночь провел у меня, уговаривая, убеждая, упрашивая меня не вызывать Красновидова, и насильно удержал меня от дела с ним? О, если бы вы тогда посмотрели на Валевича, если бы вы слышали его!.. Как горячо говорил он против поединков, как восставал на обычай играть своим спокойствием и жизнью другого!.. Довольно вам того, что он, злодей, поставил на своем и не дал мне драться, а вы все знаете, друзья, как это было мне не по сердцу!

— Так точно,— подхватил Лосницкий,— теперь и я вспоминаю, что меня неоднократно поражало в Валевиче его отвращение от дуэлей и дуэлистов. Как можно человеку, столь благородному и храброму, не быть приверженцем обычая, выставляющего в глазах света храбрость и благородство?

— Он сам не имел дела ни с кем, и это неудивительно, потому что мудрено идти с ним ссориться без причины в его медвежью нору. Но почему не терпит он, чтобы другие переведывались иногда пулей или саблей? Почему он арестовал меня и маленького Звидова,

когда мы пошумели за какой-то вздор, тому пять лет назад? Это вы помните... Воля ваша, а я согласен с Горцевым, что все это странно!.. Не было ли у него в старину какого-нибудь поединка, очень жестокого?

— Быть может, это правдоподобно,— возразили некоторые, невольно увлеченные догадками двух наблюдателей.

— Но за что перевели его к вам? — спросил юнкер.

— Вот этого именно никто не в состоянии объяснить. Тогда мы напрасно старались разведать о жизни Валевича. Повести об ней никто нам не сообщил. Говорят, будто начальники знали, но им не велено было разглашать.

VI

Еще несколько месяцев протекло после того вечера, который нечаянным обстоятельством показал товарищам Валевича путь к открытию его тайны. С тех пор их любопытство все более и более возрастало, и в совершенной беззанимательности их быта, вдали от всякой новизны, от всех развлечений они предавались этому чувству со всем усердием молодости и бездействия. Много раз пытались они то просто, то стороной завесть с Валевичем речь о поединках, но он обыкновенно заминал разговор, а не то уходил от них. Между тем, он по-прежнему продолжал исполнять рачительно все обязанности службы и проводить свое свободное время за черным столом, перед ликом мертвеца.

Он полюбил особенно того молодого человека, который столь радостно ожидал права надеть золотые эполеты. Савинин — так назывался он — приходился дальним родственником Валевичу и был отчасти поручен ему родными. Добрый малый и с умом, он был еще очень ребячлив, довольно легкомыслен, и потому Валевичу надлежало заботливо и продолжительно им заниматься. Но это принесло рассеяние мрачным думам полковника, и он вскоре привязался к Савинину, когда увидел в нем благодарность и готовность отвечать его стараниям. Казалось даже, что пылкость и радушие молодого человека немного согрели одинокое сердце его покровителя.

Савинин занемог. Валевич, жертвуя своими привычками, ни на минуту не покидал его изголовья. Това-

рищи навещали больного по вечерам. Полковник иногда вмешивался в их беседу. Однажды она обратилась на военные известия, на Карлистов и Христиносов, на Сумалакареги и Родиля. Гусары наши единодушно скучали миром и завидовали гидальгосам в счастливом случае порубиться и прославиться на поле брани. Всех воспламененнее был Савинин, несмотря на свою болезнь. В войне, как в любви, неопытные всегда нетерпеливы и пылки; они готовы душу отдать первым глазкам, посуливших участие; они готовы бросить жизнь свою первой пуле, просвиставшей над головою их. Им сказали, что любовь и слава лучшие дары существования, и, чтобы присвоить эти дары, чтобы насладиться ими, они стремятся навстречу событиям, презирая неудачи и препоны. Как жаль, что этот жар непродолжителен; что обман рассевает чад любви, а ветер уносит дым пороха; что от первой опохмеляются, а от последнего можно закоптеть!.. Как жаль, что прекраснейшие чувства скорее прочих исчезают, менее прочих не прибавляются в груди человеческой!.. Но это общий закон всего, искони царствующий порядок: прелестнейший из всех цветов весны, цвет сирени, живет только неделю, а сосны и ели не знают увядания...

Увлеченный в тридесятый край своих любимых мечтаний, резвый Савинин живо выражал свое горе, упрекал судьбу, что он не был еще обстрелян вражьим огнем.

— Вот, господа,— говорил он,— вы все счастливее меня: вы переходили за Балканы, вы брали Варшаву, некоторые даже и в Персию прошли победительным походом... а я?.. Полтора года служу — и неприятеля в глаза не видывал!.. Ведь надобно же быть такой беде, что я не умел родиться пятью годами прежде!

— Ну, Савинин,— отвечали ему,— ты скоро вымолишь нашествие татар, чтобы было с кем повоевать.

— А чем татары не честные враги, достойные нашего оружия? Удальцы, наездники, богатыри, стоят какого-нибудь хвастуна француза!

— Савинину стоит только прибегнуть к покровительству тех женщин, которых он перелюбил; их наберется так много, что они без хлопот устроят ему чудо. Как манна к прадедам Израиля, к нам на голову, прямо сюда, в село, с облаков посыплются татары с новыми Мамаями, пофехтуют с Савининым и пропадут сквозь землю — а, не правда ли?

— А он останется доволен и счастлив.

Савинин нахмурился.

— Шутите, шутите вдоволь! А мне часто такая охота обновить затворницу саблю, что всем сердцем прошу я судьбу послать мне хотя какой-нибудь случай порубиться... хотя бы один поединок!

— Поединок... Безумец! — проговорил отрывисто звучный голос.— На поединок? Ты?.. Тебе пролить кровь товарища, кровь друга... потом... Знаете ли вы, что такое угрызение совести, совести неумолимой, неусыпной совести?.. Понимаешь ли ты, что можно целые годы, целую жизнь протомиться под бременем совести, запятнанной преступлением?

Все вздрогнули. В этих словах раздался крик души. Они были произнесены с таким отзывом искренности и горести, что ничья беспечность против них не устояла. Сам Савинин остановился удивленный и, повеса, за минуту прежде кичливый и своенравный до буйства, с глубоким чувством схватил руку Валевича.

— Полковник, что с вами?.. Ради бога, успокойтесь...

Но полковник был уже спокоен. Бледный и недвижный, он успел укротить неудержимый, невольный порыв свой. Он призвал на помощь всю силу своей воли, всю твердость своего характера. Он возвратился к своей роли, заученной роли; он с обычною гордостью хотел закрыть свою рану... Но было уже поздно — он проговорился не вотще — он был понят, и его рука, судорожно сжимавшая возмутившееся сердце, подтверждала только, что эта потаенная рана всегда ныла, всегда сочилась кровью.

Его обступили. Его умоляли не скрывать долее своей мрачной повести. Его постигли вдруг, его постигли вполне, и этот человек, молчавший целые годы, в одну минуту открывшийся безвозвратно, овладел всем участием, всем вниманием предстоявших. Среди всех этих молодых людей, пораженных появлением необыкновенного характера с необыкновенными страданиями, он являлся как царь, из уст которого каждый ждет своего приговора. Человек высшего разряда вдруг выдался из толпы — и толпа невольно заблагоговела. Полковник неумышленно поразил воображение, и с того часа он поднялся в мнении других до степени величия.

Настоятельно, убедительно просили все его рассказать о своем поединке, ибо никто уже не сомневался,

что поединок был вечною тайною его жизни, тайною роковою и полною страшной занимательности. Савинин был настойчивее и красноречивее всех. Долго еще защищался Валевич, долго содрогался он при мысли облечь в слова демона, терзавшего сердце его, отыскать на дне встревоженной памяти подробности, которые он в течение многих лет старался забыть навеки... Наконец, взоры его уныло остановились на молодом питомце. Новая мысль, казалось, возникла в уме его.

— В урок тебе! — сказал он со вздохом.— Слушай, и пусть мой бедственный пример удержит тебя на пути гибельного предрассудка. Я готов — извольте слушать!..

VII

Не удивляйтесь мне, не осуждайте меня законами нынешних мнений, которые далеки уже от мнений и понятий, господствовавших во время моей молодости, тому лет с десять. Многое переменилось с тех пор, и новое поколение не может понять того, что сильно и глубоко действовало на нас. Теперь поединки стали редки. Они выходят из предела вседневного обычая; они поражают общее внимание, об них говорят долго, с ужасом и состраданием, об них помнят с чувством скорби. Но в мое время они были случаем обыкновенным, насчитывались десятками и отнюдь не останавливали внимания. Благодаря неоспоримому распространению умеренных мыслей просвещения, мало-помалу изглаживаются последние упорные следы варварских времен и нравов, и наследие Средних веков, жалкие предрассудки, под игом которых долго стенали все народы, все государства Европы, постепенно уступают здравому смыслу. Не много старее я вас, товарищи, но уже много пережил заблуждений, и мои глаза видели много исправлений в произвольных суждениях общежития.

В ту пору язва Средних веков заражала еще умы ложными понятиями о чести, и во имя благороднейшего, чистейшего чувства, во имя чести, совершались дела, противные всем правилам нравственности, справедливости и человеколюбия. Поединок почитался безвинным средством доказать личную храбрость, благоприятным случаем заслужить известность, проучить друга и недруга, избавиться от соперника. Дуэлист был

уважаем товарищами и хорошо принят в кругу женщин, особенно если дрался за женщину или за то, чтобы обесславить женщину. И многие из нас за счастье вменяли себе быть героями или, по крайней мере, свидетелями поединка. Я помню человека, который три года носил черную повязку на лбу после знаменитого поединка, где он был секундантом, хотя не был даже оцарапан. Большой краснобай, он рассказывал мастерски о своих мнимых ранах, своем великодушном посредничестве, гонениях, которым подвергся, и женщины с смешным легковерием воздвигли обелиск славы искусному уловителю их благосклонности! Спасительная строгость законов не удерживала новых рыцарей, искателей приключений — рубились и стрелялись беспрестанно, когда же дело кончалось худо, убитого хоронили с почестями, а осужденного осыпали участием.

Теперь, когда годы и раскаяние преобразили во мне прежнего, старого человека, теперь без ужаса не могу вспомнить, с каким легкомыслием прославлял я дерзость, с какою уверенностью облекал убийство именем доблести! Поединок — это испытание, где сильный непременно попирает слабого, где виновный оправдывается кровью побежденного, где хладнокровие бездушия одолевает неопытную пылкость, ослепленную страстью и заранее обезоруженную собственным волнением, поединок — это убийство дневное, руководствуемое правилами!.. И на каких правилах, боже мой! основан он, свирепый поединок!.. Какая странная, какая чудовищная изысканность определила законы делу беззаконному, рассчитала возможности смертоубийства, назначила случаи, позволяющие человеку безупречно метить в свою жертву, обезоруженную, если ему выпадет выигрыш в этой безнравственной лотерее!.. Враг может вредить вам безотчетно, может ограбить вас, оторвать близкое вашему сердцу, подкосить у вас под ногами цветы надежды вашей, лишь бы все это делалось учтиво, с соблюдением приличий, с предательскою улыбкою света — и вы молчите, и он безопасен, и он проходит мимо вас с торжественным взором ненависти, а вы, снедая свое сердце, вы ждете часа и времени, чтоб иметь право отмстить ему. Вы велите стихнуть вашему негодованию, вы говорите: «погоди» кипящей вражде вашей. А! как вы добродетельны, как великодушны, как умеете вы прощать обиду!.. Но незнакомый нечаянно толкнул вас или занял без ведома ваше место; но друг,

в минуту забвения и запальчивости или обезумленный чашею веселья, оскорбил вас единым неосторожным словом, словом, отвергаемым его рассудком и сердцем, опровергаемым годами его преданности,— и вы бежите на бой с ним, и только кровь, только жизнь могут удовлетворить вашему самолюбию, вашей чести! Иногда вы сами виноваты, вы чувствуете это — совесть или привязанность вопиют в вас; от глубины души желали бы вы возвратить гибельное слово, выкупить мгновенный проступок; но предрассудок тут, но он велит, но свет смотрит на вас, готовый замарать вас своим презрением, своими насмешками... Станут сомневаться в вашей храбрости, в вашей чести — *в чести,*— и вы предпочитаете пятно крови пятну осуждения, вы сражаетесь, вы убиваете — вы довольны!.. Что за беда, если с вами останется угрызение совести, если раскаяние захватит вас в свои когти... Вы спасли, вы застраховали вашу *честь!..*

Стыжусь сказать — я не отставал от своих сверстников; не только я разделял их опасные мнения, но еще отличался между ними щекотливостью и надменностью. Раза два случилось мне проколоть руку, прострелить мундир приятелю, и скоро прослыл я героем в гостиных своих знакомых, скоро сбраталась со мною шайка друзей, усердно прославлявших меня, мои слова и поступки и даже мою прическу. Они подражали мне; я давал тон, был образцом ловкости, представлял в свете моих приверженцев, покровительствовал одним, поддерживал других — словом, меня так избаловал свет, успехи так вскружили мою голову, что я не мог уже иметь себе ни равного, ни подобного. Я окружил себя только теми, чье знакомство, по знатности или богатству их, льстило моему тщеславию. Отрасли стариннейших бояр России и члены лучших домов столицы стали *вседневными* моими *короткими.* Горе тогда было молодым людям, поступавшим в наш полк или являвшимся на сцене нашего круга! Они подвергались строжайшему разбору, и не раз, тихомолком, выживали мы новобранца или исключали из своего знакомства того, кто приходился нам не по плечу. Я навлек на себя много недоброхотов, но был любим своими, был отличен женщинами — могли ли касаться меня невыгодные отзывы посторонних? Напротив, я повторял себе, что истинное достоинство не может существовать без завистников.

Сам я, друзья, не таков был тогда, каким вы меня видите теперь! Молод, богат, беспечен, я не бегал от людей, не таил в уединении грызущих мучений, неизгладимых воспоминаний, но живо и весело предавался всем наслаждениям суеты и роскоши, всем удовольствиям избранных этого света, где сердце оставляют в стороне, чтобы жить одним воображением, чтобы вернее веселиться, не опасаясь ни страданий, ни страстей. Впрочем, и тут не обойдется без исключений, и тут, хотя редко, попадаются души своеобразные, которые не шутят ни жизнью, ни собою. Как знать, что мишура и цветы скрывают под своим наружным блеском?

Мне случилось пробыть несколько месяцев в своем имении. В это время определился к нам в полк приезжий из Москвы, который скоро сделался предметом ненависти всех моих приятелей. Новичок не принял ни доброжелательства, ни пренебрежения; он не искал ни в ком расположения и дружбы, ни у кого не просил знакомства и с первых дней своего прибытия оскорбил все самолюбия, возбудил все неудовольствия своим беспримерным поведением. Не только не делал он первых шагов к сближению с новыми товарищами, не только не сводил он с ними тесных связей, но казался избегающим их. Он не любил вольного общества молодежи; он не пил шампанского, не брал карт в руки, и все покушения *обратить* его или *вышколить* оставались безуспешны. Он с виду был робок и кроток, но на деле упрям и непоколебим. Мои товарищи жаловались наперерыв на недоступного пришельца, бранили его жестоко в своих письмах и вызывали меня испытать над ним всевластие моего красноречия и моего влияния.

Я возвратился — и нашел в Алексее Дольском совершенно противное, чего ожидал. С первого взгляда открылось мне, что его судили с пристрастием и что блистательные качества таились под его холодною оболочкою. Вместо ребенка, которого мне надлежало пересоздать по-нашему, я увидел человека самостоятельного, с умом и душою, который заранее предначертал себе путь и следовал по нем, не заботясь о чужой цели и чужой дороге. Я тотчас понял, что его не победишь ни насмешкой, ни лаской. Я угадал, что если он чуждался нас, то это было потому, что в его существе было многое противоречивое всем нам. Он попал не в свой мир; его настоящая сфера была выше, светлее, чище нашей.

Однако ж мое самолюбие было задето, и я не отдал игры, не попытавшись на нее. Я решился или выманить доверие Дольского и быть ему хорошим приятелем, или преследовать его булавочной войной и заставить его избавить моих товарищей от своего присутствия.

Началось тактикой обольщения. Отложив гордость до другого случая, я упредил Дольского посещением, осыпал его вежливостями. Это его удивило и, я мог заметить, даже польстило ему. Он отвечал учтивостью за учтивость, был благодарен мне, но — более ничего, он опять не выходил из пределов своей уклончивости. Мы видались часто, встречались с удовольствием, но наши отношения не становились ни искреннее, ни короче, и мой Дольский не сближался. С каждым днем чувствовал я себя все более и более увлеченным его благородными свойствами и милою его странностью. Разговор его вознаграждал меня своею живою занимательностью за вялую бессмысленность моих *вседневных*. Алексей был одарен блистательным умом, игривым воображением. Он был еще в первом цвете молодости, и речи его были столь же молоды, веселы и непринужденны, как он сам. Я не мог дать себе отчета в порывах, дотоле мне вовсе неизвестных, но понимал, что в душе моей что-то сильно говорило за Дольского и что я был готов полюбить его, как брата. Я стыдился своих новых впечатлений, издавна привыкнув не верить бескорыстной дружбе. Шумное товарищество с модными повесами заглушило во мне потребность задушевной привязанности, основанной на взаимном уважении, и мне было дивно, что во мне проснулась мысль о возможности связи по сердцу, истинной, дружеской связи. И то именно мне нравилось в Алексее, что я отгадывал в нем совершенно иные чувства, противоположный образ мыслей. Он еще ничего не испытал, но обо всем намечтался. Он верил и высокой, бесконечной дружбе, и самоотвержению, и добродетели без притязаний. Он верил еще пламеннее женщинам и любви святой, возвышенной. Он был с *нами,* но *не из нас*. Страсти его были новы, пламенны, сильны; он понимал свою душу и хотел сберечь ее чистою голубицею между коршунов честолюбия и среди воробьев легкомыслия, его окружавших.

И для того-то он убегал нас, уже избалованных детей света, и для того-то обвивался он тихим безмолвием своим, спасаясь благочестивыми воспоминаниями детства, чтобы не заразиться нашими заблуждениями.

Он сказал себе, дитя с горячим сердцем: «Не истощу ни одной мысли, не утрачу ни единого чувства напрасно — все, все к ногам единой!» — сказал и ненарушимо хранил собственный завет, и с гордым презрением смотрел издали на нас, бросающих на ветер лучшие мгновения молодости. Он должен был родиться поэтом. Он никогда не писал стихов, но я распознал в нем зародыш светлого дара, ему самому неизвестного; я слышал отголоски чудных гимнов в порывах его неопытных дум. Он был прекрасен, прекрасен не положительною красотою древних мраморов Антиноя или Аполлона Бельведерского, но прекрасен всеми идеальными прелестями, всеми духовными оттенками творений новейших художников. Его черты были тонки и нежны, светились умом и чувством, лицо его сияло выражением, и яркая живость составляла главную его прелесть. К тому же плавная приятность его приемов, изящность, точно женская, его вкуса и привычек — все в нем обнаруживало воспитание, полученное от женщины, все доказывало, что он долго был несменною мечтою, первою и любимою заботою женщины просвещенной и чувствительной.

Он возбуждал мое полное участие, мое удивление. Я смотрел на него, как на выселенца из лучшего края, мне неведомого, как на светлое видение, мимоходом залетевшее в омут житейской суетности. Я не мог себе представить, что его ожидала участь, равная участи обыкновенной, что он будет круговращаться теми же стезями — потанцует, поволочится, женится, получит чин, постареет... все это казалось мне неприличным для него, несовместимым ему. Я не мог себе вообразить Дольского иначе, как молодым, и по виду и по душе. Я наблюдал за ним и находил невыразимое удовольствие в этом наблюдении характера, столь нового для меня, создания вседоброго, всесчастливого. Сообщение с ним освежало мою душу, опаленную зноем и сухостью светского быта, или, лучше сказать, при нем начинал я чувствовать, что у меня есть душа, способная к иному образу жизни и помышлений.

Алексей не знал, не замечал моей перемены. Он не видел меня прежде, во всем сумасбродстве моей рассеянности, и потому полагал меня точно таким всегда, каким становился я для него. Он начал привыкать ко мне. Я дорожил его уважением, боялся испугать его рождающееся доверие и невольно доходил до лицемерия,

чтобы не потерять его дружбы. Мы сближались, и прежний заговор далек был от моей памяти, я уже не думал о том, что обещался подчинить его безусловно тому вихрю, в котором жил сам. Но другие за меня помнили, другие твердили мне слова мои, смеялись тщетности моих усилий, шутили надо мною, и, очнувшись от непривычного мне расположения, уязвленный колкостями прежних единомышленников, я не захотел придать себе *странности*, не хотел потерять выгод моего блестящего положения в свете, ослабить свое влияние над товарищами... Я повиновался самолюбию и внезапно удалился от Дольского. Настала зима. Водоворот света умчал меня во все свои волнения, и вскоре я потерял из виду и Алексея, и минутное остепенение моей головы.

Тогда на первых ступенях моды блистала красавица, за которою многие ходили с отверженным фимиамом и пылающим сердцем. Она сначала года три прожила, протанцевала во всех залах высшего круга, но оставалась незамеченною в толпе красот всякого разбора и всякого рода. Но однажды, на большом рауте, ей случилось явиться в каком-то новоизобретенном наряде, который был ей очень к лицу — она произвела впечатление; с той поры зависть женщин выказала ее вниманию мужчин. Один из тех молодых людей, которые успехами и притязаниями укрепили за собою право решать судьбу женщин, быть судьями их красоты, ума и приятностей, только что перед тем поссорился с знатною дамою, признанною царицею прекрасных и царствовавшею без соперниц в котильонной области. Ему вздумалось взбесить свой развенчанный кумир и поколебать ее владычество. Он обратился к созвездию, едва мерцавшему на небосклоне известности; на двух или трех вечерах являлся чичижбеем новой красавицы и объявил потом, что она очень *миленькое* существо. Этого приговора достаточно было, чтобы упрочить молву о красоте, нечаянно открытой, и все незанятые, все не определенные к месту принялись ухаживать за светлорусою Юлиею. Таким путем часто основываются славы большого света! Достоинства и красота, как не обретенные еще острова Океана, иногда долго остаются в незаметности; приходит наконец один, которому они бросаются в глаза или который делает из них орудие собственным видам; новый Колумб передает их имя молве — и стадо подражателей несет дань удивления

тем, на кого дотоле взор их упадал только ненароком или как милостыня. И вот чем началась слава женщины, которую я назвал Юлиею — не могу, не хочу, не смею сказать вам настоящего ее имени... Накануне потерянная в толпе, она вдруг увидела себя окруженною, обожаемою, превознесенною, и с этой минуты она осталась на первом плане вечно движимой картины света. Кто была она, эта Юлия? — спросите вы. Юлия была жена человека известного — не по личным заслугам, а по чину и богатству,— она благородно носила имя почетное, и если долго оставалась забытою от молвы, то не заключайте из этого, чтобы виною тому была ее непривлекательность. То правда, что она не была из сияющих, роскошных красот, которые тотчас овладевают вниманием, как должною данью, на которых взоры останавливаются невольно,— она не поражала ни правильностью в чертах, ни румяною свежестью цветущего лица; но кому однажды удавалось заглянуть пристально в ее голубые глаза, кто уловил, кто понял томную выразительность ее, тот уже не забывал ее никогда, даже в присутствии лучезарнейших светил прелести. Мне кажется, она не была рождена внушить огненную, мятежную страсть, но ее можно, ее должно было любить тихою, неизменною дружбою. Я думал так не о многих.

Но поклонники, преследовавшие Юлию, не спрашивали, какими свойствами ума и души была она достойна их всесожжений. Иные обожали в ней модную женщину, ту, которая возбуждала досаду в соперницах, которую окружали люди известные, ту, в чьей короткости можно быть замеченным, ту, на кого устремлено любопытство всей той части общества, которая живет и дышит заботою узнать: «что делает такой-то, что говорят и где бывают такие-то?» Другие искали в Юлии добычи, льстившей их самолюбию, беспорочности, которую можно было обесславить, имени доброго и знатного, к которому они могли прибить, как обвинительное клеймо, свое собственное имя, обвивающее тлетворным воспоминанием все, к чему оно коснется,— вечный, немываемый позор жертвы раздается в ушах таких людей песнью торжества. О, если бы женщины, беззащитные создания, знали замыслы, тайную причину искушений, им подготовленных,— как многие из них остались бы безукоризненными, как легко бы им стало сохранять ненарушимое спокойствие сердца!..

Не знаю, проницательность ли спасла Юлию, или нравственные правила были ей защитою, но она осталась холодна и недоступна всем. Конечно, как женщина, как все женщины, она должна была радоваться в тайне чувств своих, видя свои победы и успехи, но она не позволяла этой радости перелететь за пределы уборного столика или уединенного камина; она соблюдала строго наружность совершенного равнодушия; две зимы сряду злейшие языки и лорнеты тщетно старались подстеречь в ней хотя искру склонности или минуту слабости.

Не думайте, чтобы под моими хвалами таилась тень минувшего пристрастия; не думайте, чтобы я был в счету поклонников той, о которой говорю с таким уважением,— нет, друзья, заверяю вас честью, что никогда не влюблялся я в Юлию и потому, может быть, остаюсь теперь к ней справедливым. Но, бывши издавна охотником до соблазнительных эпизодов бальных зал, часто улучал я свободный час между ужином и собственным занятием, чтобы наблюдать за другими. Бывало, притворившись ревнивым или отчаянным, чтобы лучше быть приняту на завтра, я покидал мою двухдневную богиню, уходил в уголок, где меня полагали страдающим и несчастным, а сам от души забавлялся всем тем, что видел, слышал и замечал вокруг себя. И в такие минуты макиавеллизма и отдыха, долго следуя взорами за Юлией из любопытства, я имел время узнать ее такою, как описал вам. Прибавлю даже, я не записался в служение ей только потому, что она казалась мне выше преходящего развлечения, а я не хотел запутать, заковать себя страстью продолжительною и постоянною. Я всегда держался мнения, что подобные страсти приносят мало радости, много забот и затрудняют свободное существование человека, счастливого в женщинах. Для одной, к которой привяжешься, должно пожертвовать десятью, которые нравятся и забавляют. И потом, эти души *любящие* и *мечтательные* — с ними горе, когда дойдет до развязки! Польются слезы, восстанут пени — они преследуют, они ревнуют — нет! Бог с ними!.. То ли дело с вертушкой! — думал я,— принимает благосклонно, а расстанешься так мило и весело, как будто никогда и речи не бывало ни о чем, кроме вчерашнего дождя и завтрашнего гулянья! Скажу вам более: я имел такое жалкое понятие о женщинах вообще, что для чести их пола хотел остаться да-

леко от той, которую уважал. Я желал сохранить всегда приятное об ней воспоминание и потому боялся подвергнуть ее разочаровательному опыту любовных отношений. Я мог насчитать уже так много утраченных призраков, так много разрушенных заблуждений... Я так часто находил гусеницу, которую приходилось раздавить там, куда заманивала меня бабочка, ослепительная и радужная!

Таким образом, я был знаком с Юлиею, но издалека, когда заметил в ней, к изумлению, все признаки, все приметы рождающейся любви, но любви робкой, обуреваемой, невольной. Она страдала, она была беспокойна и рассеянна, взволнована и увлечена. Она не находила уже в себе той гордости, которою так долго украшалась, не имела привычной сноровки в приемах и поступи, в речах и взорах; она забывала самоуверенность хладнокровия. Я мог видеть, как она несколько месяцев истощала все силы свои в неравном бою рассудка против сердца, переходила медленно и постепенно чрез все периоды страсти, уступала, примирялась с новыми чувствами своими, наконец, отбросила сопротивление и покорилась судьбе, сердцу и любви. Она была любима — это не подлежало сомнению, это объясняли мне все ее действия, хотя напрасно искал я между нами счастливого разрушителя ее покоя. Никто из чад суеты, около нее вертевшихся, не был предметом даже помысла о предпочтении; ничье приближение ее не смущало, ничей взор не заставлял ее краснеть и трепетать, а это сбивало все мои догадки. Но для кого же стала она изобретать наряды, в которых господствовали часто и тайная мысль, и условное значение оттенков и цветов!.. Но для кого же противообычно приезжала она так рано и оставалась так поздно везде, где можно было встретиться и свидеться? Зачем выбирала она всегда место у дверей, у окна, там, где ее скорее можно было отыскать, где легче было к ней подойти? Зачем впадала она в тревожное раздумье, нетерпеливо слушала говорящих и в ту же минуту громко смеялась, быстро сыпала речами, иногда без связи, и притворным участием старалась скрыть от них свое отвращение, свою скуку? Она становилась искательнее, приветливее ко всем, ласково и свободно обращалась с теми, кого держала прежде в почтительном отдалении; она угождала, льстила самолюбию женщин, прослывших опасными своею зоркостью и сметливостью. Почтительностью и вниманием

задабривала она старух, предводительниц общественного мнения. Как будто хотела она умилостивить свет, как будто ей нужно было снисхождение, расточалась в наружных потворствах, истощала для толпы весь свой ум, всю свою любезность. Чувствуя, что ей с каждым днем обязанности общежития становились постылее и тягостнее, она тем строже и точнее их выполняла. Жертвуя собою, она хотела загладить перед светом свое невольное к нему презрение. Она метала ему под ноги свою жизнь внешнюю для того, чтобы он не мешал ей уходить в недосягаемую глубь души своей и жить в ней жизнию страсти, жизнию упоительною и сокровенною. Я первый, и я один разгадал ее глубоко схороненную тайну, и то не вполне, и еще долго не мог узнать я, к кому склонилось ее сердце. Незначащий случай благоприятствовал моему любопытству — я узнал любимого ею — в Алексее Дольском!

Алексей Дольский!.. Странное, но понятное сближение двух сердец, созданных друг другу весть подавать!.. И если я был удивлен, если меня поразило нечаянное открытие взаимности между Юлиею и Дольским, это потому только, что я не знал даже об их знакомстве, не заметил появления Дольского в мире гостиных и зал. Однако он был уже везде представлен и везде принят, и, казалось, он скоро и совершенно применился к этому миру. Мой мечтатель явился мне в новом виде: он был столько же развязен, ловок и мил в обществе женщин, сколько знавал я его диким и чуждающимся в нашем кругу. Он успел уже попасть в число избранных; его отличали, его любили за ум, за молодость, за красоту. Удачи придали ему смелость счастливцев, и он чувствовал себя на своем месте, чувствовал, что быстрое развитие блистательных дарований будет приносить ему успехи и удовольствие. Он был еще в полном восторге от чар света, во всем пылу неопытности, просящей наслаждений и ощущений у всего, что встречается на пути. Он предавался всем приманкам шума и забавы. Но между тем не им отдал он первые трепетания сердца — он видел в них только пышную оправу истинного счастия, и счастье это — он испил его в откровении любви к Юлии.

Увидев Дольского на паркетном поприще близ Юлии, я понял, что две участи совершились, что, нашедши однажды один другого, ни Юлия, ни он не могли разрозниться, не могли разойтись без чрезвычай-

ного перелома в судьбе и сердцах обоих. Они были предназначены один другому, всеми сходствами, всеми сочувствиями. Мне показалось чудным, что два существа, явившиеся мне, каждое с своей стороны, как воплощенное оправдание своего пола, сошлись на стезях жизни так же, как и в мечтах моих. Я задумался о тайнах предопределения и судьбы. А он — как счастлив был он, в каком раю, в каком очаровании забывался он, упоенный первыми тревогами, первыми восторгами любви, и любви взаимной, разделенной!.. Стократ блаженный, он тотчас нашел то, о чем мечтал, чего просил; он не пробил себе пути до желанной цели через повторяемые обманы и долгие неудачи, он не купил себе полных радостей мгновенными обнадеживаниями и частым отчаянием, которые почти всегда выпадают на долю пламенных мечтателей, искателей невозможного и чудесного в очерке обычайности, в быту существенности положительной, где мы, ясновидящие, довольствуемся чувствами и благополучием, для них слабыми и презренными. Судьба его была, как високосный год, вне порядка общего; он достиг, он пришел, не начинавши ни странствования, ни испытания. Первая женщина, встретившаяся ему, была именно та, которую он мог боготворить, согласно со всеми требованиями, со всеми причудами своей надменной и пылкой души, та, которая одна, быть может, одна из многих, одна из всех могла понять его вполне и теплым сердцем оценить его теплое сердце. С кокеткой, с легкомысленной он пропал бы совсем: он утратил бы невозвратную свежесть мечтаний, верований и все очарование, всю прелесть первоначальных и живых ощущений молодости, святой и непорочной. Другие измяли бы его сердце, а эта приняла его, как дар небесный! Другие истерзали бы его нрав, раздражительный и страстный, а эта берегла и голубила его, как мать бережет и голубит своего первенца. Другие разрушили бы воздушный мир его сновидений, его верований, а эта, утомленная существенностью, познавшая свет и его общество, эта упивалась с ним в его заоблачных созерцаниях и спасала его от холодящих уроков жизни и опытности.

Когда Юлия перестала внимать страшилищам воображения, с молодых лет напуганного преступлением и позором, когда она поняла возможность сочетать задушевные радости с собственным уважением и строгостию добродетели, она предалась влечению сердца со

всею стремительностию утопающего, находящего нечуемую половину избавления. Она не стала более терзать своих чувств; она уже не искала сил отвергнуться навеки от завиденного рая и возвратиться на землю, вкусив блага неба. Но позволив любить себя искренно, пламенно, всепреданно, но отдав всю душу свою, все помыслы и чувства, она осталась верна своему долгу, безукоризненно повиновалась совести и закону. Она не заглушила голоса страсти, но умела сладить его с голосом обязанностей, и любовь ее, сберегаемая в тиши и в тайне, как пламя святилища, ублажила их обоих и пребыла недоступною и непроницаемою тысячеокому свету.

Только такая страсть, возвышенная и нежная, признанная и тайная, страсть, полная увлечения и вместе строго подчиненная приличию, могла удовлетворить поэтического Дольского и познакомить его со всеми радостями земными, не отравляя их охладительною примесью сухой и вялой прозы, спокойного и бесцветного счастия. Любовь его была рыцарское служение красоте, уму и душе, и, поощряемый ею, он мог предпринять и выполнить много высокого, много благородного. Самая тайна, окружавшая любовь его, самая предусмотрительность осторожной Юлии придавали более цены, более отзыва его счастью. Продолжительное, бессменное благополучие утомительно. Оно обращается в привычку, идет только к святости домашней жизни, взаимному доверию супружества, но в сердечных отношениях между любовниками оно убийственнее разлуки, разочаровательнее измены. Горе, когда одна минута скуки вкрадется в часы свидания, когда эти свидания достаются дешево и проходят безмятежно — горе!.. Тогда близко, тогда неминуемо время, когда холод сменит скуку, когда горесть и равнодушие спросят отчета в прежнем блаженстве. И горе, стократ горе, когда страсть становится связью, когда союз стучит цепью!.. Можно любить женщину, когда она падает — должно презирать ее, если она упорствует в падении. Увлечение минутное украшает ее каким-то лучом от венца отверженного демона, но этот луч — мимолетное зарево!.. Спешите подивиться ему — он исчезнет, он потухнет — грешница ваша, как дух тьмы, все более, все глубже утонет во мраке и позоре. В исступлении страсти она жалка, но пленительна; отдыхая в своем пороке — она безобразна! Жребий спас Дольского от подобного зре-

лища. Ему было суждено найти женщину, близ которой он не должен был ожидать, что увидит изнанку своего счастья — вторую страницу листа любви.

Их участь занимала меня. Невольно чувствовал я себя привлеченным к наблюдению этого сочетания двух созданий, столь различествующих со всеми, роившимися около них. Мне любо было думать, что я, один я, разделяю их тайну; что я один свидетель между ними. Я считал себя лучшим, с тех пор как понял их. Как часто непризванный участник, неподозреваемый поверенный, издали смотрел я на них, среди волнения и шума многолюдных праздников! Как часто мой лорнет, руководимый взорами одного из них, терялся в ответном взоре другого! Как я забавлялся их смятением, когда они встречались, их досадою, когда их разделяли непроходимые волны толпы, и как ловил я все оттенки, все перевороты их сердечной повести...

И признаться ли?.. Мне, закоренелому скептику в любви, мне, вечному сообщнику мнений Мугаммеда и приговоров его, мне не раз случалось позавидовать восторженному и пылкому Алексею! Я видел его жизнь столь полною, столь прекрасною — его жребий был столь очарователен, что я прельстился им невольно. Я проклинал печальный дар здравого рассудка, не допустивший меня насладиться юными заблуждениями, проклинал прежние мои наблюдения, так рано лишившие меня возможности верить и любить. Я готов был променять мою мрачную опытность на одно мгновение беспечного благополучия Алексея. Я желал ослепнуть душою, забыться умом и заснуть неизведанным сном этой легковерной любви; я желал, чтобы сладкий голос женщины убаюкал мое неразлучное сомнение, чтобы ее обетные взоры зажглись для меня метеором и помрачили светильник докучливой истины... И мало-помалу досада овладевала мною, бесовское искушение западало мне в мысли и наконец змей зависти явственно шепнул мне — разрушить это чужое блаженство, дразнившее мои взоры, опалявшее мое воображение!..

Я не сказал еще вам, что был тщеславен до крайности; что, избалованный бесславными победами над кокетством и суетностью, я уверил себя, будто никакая женщина не противостанет моему завлечению. Это сознание нейдет теперь ко мне; оно делает меня смешным, но я давно убил в себе все самолюбие, все минувшие притязания и приношу их теперь на заклание,

чтобы искупить прежние ошибки — говорю о себе, как о давно усопшем...

Со всею самонадеянностью человека, уверенного в успехе, сблизился я с Юлиею, стал заниматься ею, смело и произвольно явился возле нее с кокетством обожателя. Принося ей мое поклонение, я должен был отстать от других *короткостей*, и я спешил это сделать, но с шумом и огласкою, чтобы с самого начала угодить ее самолюбию блестящею жертвою. Я испытал, что женщины охотно принимают такие жертвы и любят покоренного, заверяющего им торжество. К тому же те, которых я оставил для Юлии, были и саном и красотою лестными трофеями для ее торжества, и я предвидел, что их негодование скоро и громко донесет до ее слуха приятнозвучную весть о новой ее победе. Я не ошибся. Чрез неделю, ручаюсь, что Юлия не могла ступить, не слыша моего имени, жужжавшего на всех языках. Так гласно обнародовал я свои измены и новую страсть к ней. Потом я ей самой стал намекать об этой страсти и скоро дошел до полного признания.

Признание!.. Как стар, как изношен этот вековечный обычай, как он смешон и пересмеян и как все еще служит он коварству даже в наше время, когда все старое перевелось!.. Но, заметьте, истинная любовь не употребляет этого пошлого средства. Она открывается, она сообщается собственным, бесславным красноречием, красноречием прерывистого голоса и скрытного взора, красноречием непритворных, неподкупных примет ее. Прибегает к признанию только обдуманное искание, признается равнодушное волокитство, бессильное дать себя понять иначе. Повторю вам: как же это женщины верят еще признаниям?

И я *признался,* желая быстро нанести последний удар молодому сопернику. Я забыл, постарался забыть, что Юлия не из числа обыкновенных светских женщин. Я думал, по крайней мере, что она из соблюдения приличий поступит как водится в подобных случаях. Я надеялся, что меня не променяют на Алексея, что его отправят, как новичка, с доброю проповедью, а меня предпочтут, хоть для того, чтобы подразнить несколько приятельниц и показать свету первенство над ними. Но вместо того на первых словах Юлия остановила меня сухим и непреклонным отрицанием, скрывающимся под уничтожительным — «не понимаю», которое выражается и пренебрежительными устами, и зер-

кальною прозрачностью спокойного взора, и едва заметным движением гордых плеч,— «не понимаю», которое значит, что не удостоивают вас даже тратою на вас немного догадливости. Правда, есть другое «не понимаю» — обворожительное и бесценное, сопровождаемое улыбкою и слезою, вопросом и трепетом... О, спешите, спешите отвечать, когда услышите его! Знайте — это «не понимаю», оно значит: боюсь и желаю понять — убедите — успокойте! Я слишком часто слыхал его и не мог бы ошибиться в таком случае. Но я думал, что презрение Юлии есть утонченное кокетство; что она испытывает меня; что жалость о Дольском еще борется в ее мысли с искушениями самолюбия — я думал многое, все, исключая обидной истины. Тщетно ласкал я себя утешением и надеждой — грезы мои уступили очевидности; я должен был удостоверить себя, что я отринут безвозвратно.

Известно вам, что такое подобная неудача для надменного, не встречавшего дотоле ни единого преткновения на пути легких успехов и веселых приключений? Известно ли вам, как больно первое презрение тому, кого окружали, кого отыскивали приманки и благосклонность? Это такое сатанинское страдание, что оно вдруг затмевает все отрады прошедшего, все воспоминания самодовольствия. Это почти падение с престола — почти Ватерло́о, истребляющее целое поприще славы и счастья! И теперь еще не забыл я нестерпимой пытки этого вечера, хотя с тех пор много тяжкого горя, много истинных скорбей перебывало в моей душе.

Я не любил Юлию — видно, я создан с неполным сердцем! Но есть страсти, кроме любви, и те все кипели во мне, грозные, неукротимые. Душа моя была потрясена до основы — ее терзало оскорбленное самолюбие, ее волновала сокрушенная мечта, ее язвило жало шипящей зависти! Я приподнял униженную голову и поклялся отмстить этой Юлии, отмстить и ее Дольскому, одно имя которого обливало теперь отравой знойное пламя моей ярости, ему, кого возненавидел я всею враждою гордеца, ради его попранного ногами женщины.

Мне стоило одного слова, одного знака, чтобы открыть их согласие моим приверженцам и восстановить против Дольского всю прежнюю неприязнь их, мною самим усыпленную. Но я подумал и рассудил, что такая неосторожная выходка расскажет мою собственную

тайну, обнаружит данный урок моему высокомерию. Я знал лучшее средство наказать их, не разглашая презрения Юлии ко мне, и вскоре предначертал себе ход к двойной цели: решился мстить вместе и за себя, и за общее неудовольствие моих товарищей. Я воспользовался орудием, которое дано было мне коротким изучением положения и чувств Юлии. Я употребил самую неограниченную власть, которая только существует, власть глубокой ненависти, знающей все изгибы сердца своей жертвы, все недостатки брони, защищающей ее. При первом свидании с притворным равнодушием дал я почувствовать Юлии, что от проницательности моей не ушли ни любовь Дольского, ни ее взаимность. Ужас объял ее, бледность покрыла ее лицо; глаза ее потупились, она задрожала — я был доволен. Того-то я и хотел!

Если бы она, как другие, как те, кому уж не в новость такие смелые намеки, кто привык возбуждать и переносить злые догадки, издевчивые замечания,— если бы она, подобно им, заплатила мне за дерзость величественным видом и взором свысока, если бы она с спокойною усмешкою стала доказывать мне заблуждение мое в опровержениях, полных утвердительности, если бы она успела под личиною притворства задушить голос совести, если бы сердитые и гордые упреки посыпались из уст ее — мне пришлось бы тогда удалиться, закусив губу. Но она была неопытна в науке наглости, нова на стезях порока: она смутилась, испугалась — и я торжествовал. Я видел, что участь ее в моих руках!

Этот первый опыт удостоверил меня в выгодах моего положения; он показал мне, как легко будет мое мщение. С того дня, как привидение, как пугало, преследовал я всюду несчастную чету. Тотчас убедился я по виду Дольского, что ему было сообщено о моей догадке. Он дрожал за свою тайну, но еще более за Юлию, за эту Юлию, до него безукоризненную как ангел, беспечную как младенец в колыбели, которую его любовь могла лишить уважения света и домашнего спокойствия! Дольский намерен был приветливостью и ласкательством склонить меня к молчанию и снисхождению. Он ошибся. В свою очередь я показался холодным и оттолкнул его от себя. Сношения взаимных посещений давно уже не существовали между нами; теперь пресеклись простые сношения знакомства. Все внимание

мое было направлено на Юлию. Я действовал на нее и страхом и стыдом. Мой инквизиторствующий взор, как магнетизм, покорял мне ее волю, ее движения. Моя злобная улыбка, как наговор, изводила ее. Издали трепетала она, услышав вытверженный шум моей походки. О, ей дорога была ее женская слава, блестящая непорочною белизною, ей дороги были честное имя и всеобщее уважение, ей дорого было это подножие, куда ее вознесли добродетели; может быть, еще дороже были ей чарующая любовь Алексея и взаимное глубоко чувствуемое счастие, а она ведала, что от меня зависело разбить счастье ее вдребезги, очернить ее славу, сокрушить ее судьбу! Она видела, что для этого стоило мне только шепнуть одно имя на ухо товарищу, выронить одно слово на колени другой женщине, породить одно сомнение в воображении ее завистниц... Потому она боялась меня, бедная женщина, как ласточка боится бури, грозящей ее родимому гнезду, как горлица боится кружащегося над нею коршуна, а я, как буря, шумел ей бедою в уши, как коршун, обвивал ее пристальными, зловещими взорами...

Увижу ли я, что Дольский, долго выжидавший случая, наконец прокрался к ней через толпу, что они наслаждаются минутным разговором, сердечным откликом, перерывающим длинное молчание осторожности,— я тихо прохожу мимо их, не сводя очей с Юлии,— и тотчас судорожная дрожь перебивает слова на устах ее, и тотчас она уходит далее. Прийдет ли мне на мысль, что Алексею обещан редкий котильон,— я отправляюсь к Юлии с моим приглашением, и всегда несколько слов, хитро вплетенных в пустую форму приглашения, заставляют ее отвечать: «С удовольствием»,— и отказывать огорченному любовнику. В театре из партера я подстерегал приход Дольского к ней в ложу, наводил на них свой лорнет,— и Алексея отсылало прочь умоляющее и грустное движение головы, никому не приметное, исключая меня,— их неумолимого и вечного разлучителя. Я отыскал в числе ничтожностей мужа Юлии, свел с ним знакомство и часто и долго прогуливался с ним об руку по бальным залам, рассказывая ему всякие пошлости, с таким радушным видом дружелюбия, что нас скоро стали почитать друзьями неразлучными. А она, смотревшая на нас издали, старалась угадать по лицу мужа предмет нашего разговора. И как торжествовал я, как упивался я своим

всемогуществом над этим обожаемым кумиром общества, над гордейшею из гордых нашей знати! Не знаю, уступил ли бы я тогда мое фантастическое влияние над Юлиею за самую любовь ее? Что в любви, даже искренней, когда сердце в ней не нуждается и ее не просит? Но странность и таинственность моих отношений к Юлии приносили мне неизведанные, неприскучившие наслаждения, и, сверх того, я пользовался явным предпочтением моей мученицы. Она оказывала мне большое внимание и много доброжелательства, она ненавидела меня, но, принужденная лицемерить, бросила свою женскую гордость в пищу моему жестокому и беспощадному самолюбию; она покупала у меня ценою смирения каждый проблеск своего тревожного, неверного счастия. И чем далее заходила эта трехличная, безмолвная драма — драма без отзвука, без шума, тем более запутывала она всех нас в сети, все более и более стесняющиеся. Какие сильные страсти перегорали среди света, в глазах его! И он, слепой и равнодушный, он не понимал их, он не проникал в чудную тайну трех существований, так сцепленных враждою и любовью, что им разойтись можно было только как концам Гордиева узла, рассеченным разрушительным острием меча! Никто не отгадывал взаимности Юлии и Дольского, никто не подозревал, как дороги они были друг другу, а я молчал, молчал, зная и чувствуя, что они *мои,* исключительно мои, пока им есть что скрывать, беречь, пока толпа не указала на них с насмешливым участием. Скажите: придумаете ли вы месть крови и огня, месть беспощадную и неистовую, которая могла бы быть ужаснее и свирепее моей безмолвной, отрицательной мести?

Что было между тем с бедным Дольским? Он ревновал, он ревновал со всею болезненною стремительностью своего характера, со всем ожесточением первой страсти, взыскательной и боязливой. Я не крал у него счастья, но положил на него запрет и опалу. Он мучился обхождением Юлии со мною, он страдал за каждое слово, за каждое мгновение, похищенное у него моим коварством, но пребыл тверд в намерении своем — защитить до конца Юлию от моих подозрений и намеков. Они хотели меня разуверить, отыграться от меня. Но от глаз моих ничто не укрывалось, а Дольский был так пылок, так влюблен — ему ли было не изобличать себя стократно борьбою чувств своих! Я уверен был, что он

свято охранит имя Юлии от неприятной огласки, но я ожидал, что в порыве отчаяния он найдет или придумает случай вызвать меня на поединок, не упоминая об Юлии. Я уже высматривал вблизи роковое мгновение, которое умчит его за пределы долготерпения. Я чуял желанную развязку и радовался этому дикою радостью.

Но время шло, дни бежали, а развязка не наступала. Дольский обманул мои ожидания своим постоянством. Он страдал, выносил, молчал. Он уходил от моей ненависти, как некогда от моей дружбы. Непреклончивость не изменяла ему; ревность не вывлекла его из границ непостижимого самообладания.

Я начал думать, что малодушие виною этого страдания без гнева — я обвинил Дольского в отсутствии благородной храбрости и готов был подписать ему пятнающий приговор презрения. Случай оправдал его и обнаружил мне новую черту его нрава. Мы жили оба на одной улице, и в соседстве нашем вспыхнул однажды сильный пожар. В несколько секунд пламя обхватило огромный дом с яростью, не давшею срока приспеть на помощь. Когда изумленные жильцы бросились спасаться, внутренние лестницы уже занялись огнем. Каждый бежал, унося малую часть своего достояния — все вышло, все выползло, дети и старики, исключая одного больного, одержимого белою горячкою. Его никак не могли уговорить следовать за другими. Пытались было употребить силу, но жар горячки подкреплял его, не могли сладить с ним — он одолел своих избавителей. Смятение их возрастало с опасностью, а несчастный бессмысленным смехом встречал гибельное пламя и утешался необычайным светом. Его упрямство продолжалось, неминуемая гибель грозила — не было средств его вытащить; страх и чувство самосохранения победили — все разбежались, и больной остался на жертву мучительной смерти.

Сначала его видели у окна, смеющегося тем пронзительным хохотом безумия, который так болезненно отдается в ушах мыслящего. Странными кривляньями он дразнил объятую ужасом толпу; он снял повязки с головы своей и, весело кидая их на воздух, ловил обеими руками. Потом видно было, что жар и дым, проникнув в комнату, стали его беспокоить. Наконец живейшее страдание исказило его лицо, страдание безобразное, нестерпимое на вид, страдание твари, чувствующей

погибель, без точного об ней понятия. Он задыхался, стал плакать, кричать, ломать себе руки. Его жалостные вопли раздавались безответно: все сострадали, но никто не мог, не смел подать спасения. Тщетно родные несчастного вызывали избавителя, тщетно золотом старались внушить отважность корыстолюбивым или нуждающимся — никто не решился идти на явную смерть. Да притом рассуждали, что если и удастся дойти до него, то как спасти человека, который не только не поймет, что ему делать, но может еще внезапной блажью погубить самого пришедшего избавителя? Зрелище с каждым мгновением становилось раздирательнее. Вдруг Алексей Дольский, ехавший мимо в щегольской коляске, выскакивает из нее, рассекает толпу, быстро бежит к огненному дому, выхватывает лестницу у пожарных служителей — и при громких кликах удивления, похвалы, страха приставляет ее к стене и смело подымается по ней к окну больного, уже бесновавшегося от муки! Мы видели, как Дольский впрыгнул в комнату; все стояли в трепетном ожидании, но вдруг черный дым клубами вырвался из окна и заслонил всю часть здания густым покрывалом своих прибывающих потоков. Все сердца замерли; оглушительный треск всколебал воздух; все умы постигнули страшное, но ни один голос не сообщил своих мыслей; пол бедовой комнаты обрушился! Народ завопил единодушно слово сострадания, но сменил его тотчас своим восторженным «ура!»... Алексей, крепко держа в руках обеспамятевшего больного, показался на ступенях лестницы и стал спускаться, замедленный в своих движениях омертвелою ношею своею. Казалось, оба уже вне опасности, но вот — окно вслед за ними извергло глыбу огня, и их слабая подпора загорелась. Все замерло снова на кипящей улице; один Дольский не терял духа... «Держите!» — вскричал он повелительно предстоящим, и сотни рук приняли на простынях брошенного им безумного, между тем как сам спаситель смело и ловко спрыгнул с значительной высоты. Рукоплескания, слезы, громкие благословения народа встретили Дольского, а он, спокойный, беспечный, по-видимому, даже не подозревал ничего чрезвычайного в своем самоотвержении, ничего ужасного в опасностях, которым подвергался. Только лицо его сияло радостью ангела, только взоры его одушевлялись вдохновением бодрости и отваги.

Свидетель всего, я должен был убедиться, что ни

одно блистательное качество не оставило украсить моего соперника. Он разительно опровергнул мои подозрения, смыл с себя поклеп в малодушии и, доказав еще неизвестную мне доблесть, только более раздразнил мою ненависть. Мне не оставалось ни одного повода отказать ему в уважении, а, признавшись себе в неоспоримом его превосходстве надо мною, я еще пламеннее предался адскому удовольствию — язвить его в чувствительнейшую часть его сердца! Мое гонение обвело вокруг Дольского и Юлии заколдованный очерк, через который они не смели переступить, который я смыкал все теснее и теснее, по произволу моей прихоти. Преследовать их — стало моею жизнию и целью моего бытия в приторном однообразии светской толчеи.

Наступил великий пост — эта бесцветная чреда дней без значения в большом свете после полных и шумных часов сумасшедшей зимы. Сообщения стали реже, встречи знакомых затруднительнее. Вы знаете, что в эту пору все исчезают, все прячутся под защиту домашнего камина и, волею или неволею, привыкают вновь к его опустевшему, оставленному рубежу. Красавицы, утомленные продолжительностью балов и, может быть, волнением сердечных эпизодов, зевают, полнеют, расцветают новою красотою. Ничто столько не полезно для здоровья, как скука и сон. Такое лечение необходимо от времени до времени поэтам и женщинам. Скука в головах и сон в сердце истребляют печальные следы усталости физической и душевной, готовят женщине новые торжества, а поэту новые, свежие вдохновения. Одна, лежа по целым вечерам на мягкой софе, приобретает опять розовые оттенки свои, утраченные на балах. Другой, измучив мысль творческими бессонницами, а душу жаркими страстями, впадает в бесчувственную лень, убаюкивается на изголовье ее и, восставши снова, воспарит далее и выше смелым полетом обновленного духа. Но что делать в это время нам? Для нас великий пост самое плохое время в подсолнечной стране, и мы не знаем, как убить бесконечность этого времени. Зато как жадно ловится всякое событие, прерывающее тоску уединения! Как радуются самые строгие ханжи, когда неумолимые уставы общественных обязанностей приневоливают их оставить кое-когда домашнее затворничество и заплатить долг дружбе или учтивости!

Молодая хозяйка блестящего и гостеприимного

дома, утомленная покоем, затеяла для своих избранных увеселение в новом и совершенно постном вкусе. По воле ее, на даче у ней устроены были ледяные горы, и она пригласила нас на завтрак и катанье. Надлежало общему сбору быть в ее городском доме; каждому из мужчин привезти беговые санки и отправляться на дачу с одною из дам. На даче ожидали гостей горы, обед и потом концерт. В примечании к программе было сказано, что дамы во весь день не будут выбирать других кавалеров, но останутся на горах и за столом спутницами и соседками своих катальщиков. Вероятно, изобретательная хозяйка имела свои виды. В числе приглашенных были Дольский и Юлия. Все прихлынули в дом веселия, все съехались рано, а Юлия из первых, чрезвычайно милая, окутанная лебяжьим пухом и серебристыми блондами. Но тайное беспокойство туманило ее черты, и я прочитал в них отсутствие Алексея. Я присоседился к ней, выбрал для разговора самый распространительный предмет и рассыпал все свое красноречие. Она не слушала меня, но я этого ожидал. Ее ужимки укоряли мою докучливость, она отвечала невпопад, проворные пальцы с досадой мяли роскошный боа, глаза не расставались с дверью, и при каждом шорохе она вздрагивала трепетом ожидания и надежды. Хитро расспросил я, как провела она вчерашний день, предпоследний, и сообразил из ответов, что она двое суток не встречалась с Дольским. Следовательно, они не успели сговориться ехать вместе; следовательно, забота о расположении этого дня причиною ее тревог! Я не предложил себя в кавалеры; у меня была на это причина — мне хотелось их вдвое мучить...

Наконец, несколько шпор вместе зазвенело в дальних комнатах; слух любви тотчас узнал любимую походку из всех прочих. Юлия покраснела до ушей под своей шляпкой. Дольский вошел. Он был пасмурен, чопорно поклонился издали моей соседке и завел речь с другими женщинами, не смотря на Юлию. Я понял, что они в размолвке, встал и освободил Юлию от моей беседы. Дольский оставался при своей досаде, но она дрожала при одной мысли — погубить в ссоре день, который мог быть так красен в их сердечной летописи! Она старалась умолить, привлечь его. Полные просьбы, покорности и ласки ее голубые глаза не находили всегдашнего привета в безвзорных глазах Дольского. Мне почти хотелось пожалеть о ней — так

болезненна становилась вся осанка ее. Но она скорбела чинно, благопристойно, тихомолком; она ни на минуту не забывала, что ей надлежало безусловно покорить свои страдания убедительным правилам приличия; она понимала, что сердцу ее позволено разбиться в ноющей груди, но не изменить себе при свидетелях. Нельзя было не удивиться этой силе воли в столь слабом создании! Наконец она победила Дольского: сердитый холод слетел с просветлевшего чела; улыбка сказала красавице, что разлад забыт, и молодой человек, лавируя меж кресел и дам, пришел занять покинутое мною место.

Небосклон их воспламенился богатыми цветами встающего солнца радости, и мне пришлось быть зрителем их встречи, их примирения. Оно свершилось без объяснений, без полугнева, почти без слов. Одни лица говорили, одни глаза взаимно переводили задушевные мысли, между тем как уста, рабы приличия, бессвязно лепетали суетные речи учтивости. И вот он поклонился, говоря что-то вслух, и вот она отвечает едва приметным движением головки, и вот удовольствие все живее и живее разыгрывается в их взорах... Я понял приглашение, согласие, воздушные замки сердца, все обещания безоблачного дня...

Тут я приблизился и попросил Юлию сделать мне честь ехать со мною. Надобно было посмотреть на их смятение, их нерешимость... Она подумала и отвечала запинаясь, что дала слово другому. «В таком случае, сударыня, не осмелюсь пожелать вам веселого пути — желание было бы лишнее!» И, говоря это, я бросил взор на Дольского и сокрушил оробевшую Юлию усмешкою, в которой вылил все, что только было на сердце моем яда и сарказма. Юлия спохватилась: «Вы меня не поняли,— возразила она поспешно,— и помешали договорить, г-н Валевич,— я дала слово, но если вам угодно... чтобы иметь удовольствие... я могу сказать моему родственнику... чтобы он искал другой дамы!» Она ожидала, что я отступлюсь от своего приглашения. «Благодарю покорно,— отвечал я,— и надеюсь, что вы не забудете милостивого вашего обещания».

Слезы навернулись на длинных ресницах Юлии. Она просила Дольского позвать ее родственника, который верно и не подозревал, что его имя служило громовым отводом.

Она поехала со мною, но приговоренные к смерти

столь же охотно едут на казнь. Тоска нависла тучею над потухшею лазурью ее очей. Рассеяние отвлекало ее мысли. Они неслись вперед, они увивались вокруг быстрых санок, мчавших вихрем Дольского с другою спутницею... Я был неумолимо весел, шутил, любезничал, не давал Юлии задуматься, не давал ей засмотреться на длинный ряд саней, предшествовавших нашим. Сначала она страдала и покорялась, но вскоре потеряла все терпение. Женская досада возбудила, надоумила ее, вдохнула ей те неисчетные хитрости, которыми женщины так славно умеют прикрывать свои настоящие чувства. В порыве отчаянного гнева она решилась не дать торжествовать моей ненависти, решилась бороться со мною, играть в тонкость; она думала усыпить мой надзор, изобличить меня в ложных предположениях, и вдруг принялась всем остроумием своим оживлять наш разговор, стала мила, весела, развязна. Она принимала мои шутки, сама шутила, ласково и колко. Я понял ее и притворился, будто все принимаю за правду, будто не сомневаюсь в ее новой благосклонности. Я хотел убедить ее, что она кокетничала, хотел, чтобы она почитала себя виноватою предо мною и, завлеченный сам, предавался безотчетно удовольствию ее слушать. Она была изумительна в этот день, и более чем когда-нибудь понимал я, что ее любовь могла бы пересоздать меня и все бытие мое. Это чувство не располагало меня благоприятнее к Дольскому. Я вспоминал, что без него как отгадать, что могло бы случиться, если бы они никогда не свиделись, никогда не сошлись?

На горах Юлия сначала отказалась последовать общему примеру решимости дам. Они более приневолили ее, чем уговорили, скатиться по зеркальному льду. Раза два свез я ее благополучно с искусственной крутизны. Немного ободрившись, она согласилась на третье путешествие в легких салазках. Но лишь только мы стали спускаться, сильный порыв северного ветра расстроил эфирные букли Юлии. Освободив беленькую ручку из гласированной перчатки, Юлия поправляла свои волосы, нагнувши голову, когда пронзительные вопли со всех сторон заставили обоих нас вздрогнуть. Я увидел, что какой-то неосторожный бегом поднимался на гору прямо навстречу нам... Остановить стремление салазок было невозможно — я обмер от страха за бегущего, но быстрее молнии, одним скачком в сторону, он очутился на боковой дорожке и уже сидел на перилах, прежде

немного чести и совести — замолчите! Не порочьте имени ангела, не оскверняйте языка вашего ложью! Да, слышите ли, милостивый государь, ложью! Благодарите мою руку, что она еще повинуется рассудку, а не мщению! Берегу ее, а не вас. Завтра, чем свет, прошу вас требовать удовлетворения, должного вам за мои слова. Стреляться, резаться — что хотите — я на все согласен — только скорее, скорее и без шума!» Его пальцы так крепко, так судорожно сжались около моего локтя, что я готов был кричать от боли. Не успел я произнести: «Да!», как он уже выбежал, пропал, исчез. Бедовая перчатка лежала у меня на коленях — платок он унес. Его любовь среди неистового гнева напомнила мне, что должно спасти от клеветы всякое свидетельство против Юлии. Я оглянулся. Занятые своим веселым разговором, оглушенные безумным хохотом, собеседники наши не заметили ни волнения Дольского, ни его мгновенного разговора со мною, ни бегства его; они продолжали забавляться и уже забыли о моей хвастливой исповеди.

Я оставил их вскоре, уверяя, что мы условились с Дольским ехать вместе. Им некогда было разбирать правду моих слов. Я спешил к одному, не присутствовавшему тут приятелю, звать его в секунданты.

На другой день мы встретились. Я был еще под властью впечатлений прошлого дня, под властью неудачного покушения и тщетного совместничества, следовательно, был ожесточен и встревожен. Дольский, напротив, явился спокойный, решительный. Он изумил меня хладнокровием, с которым входил во все распоряжения, во все подробности. Он отвел меня в сторону: «Г-н Валевич! прежде знал я вас за благородного человека и надеюсь, что вы почувствуете, как недостойно, как низко было бы без нужды вмешать в наше дело имя женщины, которую мы оба, которую все обязаны уважать, почитать и ценить так, как она того заслуживает. Чем наша встреча ни кончится, об ней упоминать не следует и незачем. Дайте мне честное слово ваше, дайте мне его!» Я обещал. «Пойдемте же теперь!» — И он возвратился к свидетелям.

Нас поставили. Шаги отмерены. Оружие готово, курки взведены, выстрелы раздались — мы оба были ранены слегка. «Еще — мы ведь не шутим!» — сказал Дольский.

Снова зарядили — снова знак, снова выстрелы...

Чувствую пулю в руке и вижу — Дольский на земле, в крови.

В одно мгновение вся гнусность моего поступка, моего обмана, моего умышленного, постоянного преследования — весь ужас *убийства,* все предстало моей мысли. Досада, зависть, ненависть, самолюбие — все сгинуло, все рушилось, жгучий укор, жестокое раскаяние пронзили мою душу. Совесть воскресла, застонала — она ропщет и теперь, теперь, когда девять лет прошли над роковым событием...

Я вспомнил — зачем так поздно? — я вспомнил мои прежние, заглушенные чувства к моей жертве, вспомнил, как сердце мое открывалось для него,— его молодость, его душа, качества дарования, все восстало, вопия на убийцу, все, что небо вложило доброго в него и в меня, вооружилось на мою казнь, на мое вечное страдание!

Он еще дышал. Я подошел к нему. Слова раскаяния жгли уста мои. Он взял меня за руку... «Валевич! прощаю! прощаю все! Но, ради смерти, скажите: *то была клевета?* Я не сомневаюсь в ней, но вы должны отречься — я хочу слышать от вас — я купил теперь ее оправдание — скажите: она верна, она чиста!..» И глаза его жадно смотрели на мои взоры. «Чиста, как душа твоя!» — вскричал я, не помня себя. Он хотел кинуться ко мне на шею — и в объятиях моих испустил дух...»

Полковник остановился, закрыл лицо руками и отвернулся. Он плакал, как женщина. Несколько раз во время рассказа своего боролся он с собственными чувствами, чтобы продолжать рассказ, но при конце голос его был едва внятен и часто прерывался в тяжело дышащей груди. Когда он умолк, то не имел уже сил скрывать свои ощущения, и скорбь его вырвалась на свободу. Все слушатели хранили безмолвие. Пылкий Савинин, стыдившийся показать умиление, удерживая дыхание, думал удержать слезы живейшего участия и жалости. Несколько минут прошло. Кто-то хотел встать. Полковник протянул руку. «Постойте — я еще не кончил. Вы слышали развязку, но мне остается досказать вам последствия, чтобы вы могли постигнуть — легко ли моей душе»...

Он превозмог себя и продолжал: «Меня привезли домой без чувств. Мне вынули пулю из руки. Рана моя была не опасна, и скоро пришел я в память. Тотчас приехал свидетель Дольского и отдал мне письмо от него.

нежели я мог рассмотреть и узнать его. Все это совершилось в одно мгновение, менее чем в секунду. Помню только, что из груди Юлии вырвался страшный звук — не ропот, не крик — скорее стон, и этот стон назвал мне того, кому грозила смерть! Когда мы съехали, Дольский принимал поздравления за ловкость и присутствие духа, которыми он спас себя, а Юлия лежала без памяти возле меня. Ее окружили и унесли. Дамы приписали испуг раздражительности нервов, и никому в голову не пришло противоречить им другим заключением. Я нашел в салазках перчатку и платок, верно, выпавшие из руки, когда Юлия лишилась чувств. Она явилась через несколько времени, но была так слаба, так расстроена, что немедленно уехала домой с своим мужем. Как грустно кончился для нее день, которому мечты сулили быть таким благополучным.

После роскошного обеда и длинного концерта все общество разъехалось. Нас, молодых людей, пригласил к себе один общий товарищ, и мы целым роем отправились погреться у него. Дольский был с нами.

Нас было много; нам было привольно и весело. Вечер прошел в шумных разговорах и непринужденном пировании. Только двоим было не до разгулья. Дольский беспокоился о здоровье Юлии, а я негодовал на нее за участие к нему, на себя за впечатления, сохраненные от утра, на него за всех и за все. Общее брожение голов и языков усиливало мое неудовольствие. Я выжидал случая открыть ему простор. Как водится на братских сборищах молодежи, разговор обратился на женщин, и каждый, как тоже водится между благородными людьми, каждый стал исповедовать громко и подробно свои удачи прошлой недели, свои надежды для следующей. Как много имен, облеченных чистою непорочностью, выходит из таких бесед чернее грязи, в которой их попрали легкомыслие, неблагодарность и хвастовство этих флюгеров, которым женщины вверяются со всею неосторожностью любящих сердец! В этот раз я молчал. Давно посвятив себя на мстительное лазутничество, давно занятый чужими тайнами, я запустил свои собственные дела, и мне нечего было пересказать... Моя необычайная скромность изумила собеседников. Они приступили ко мне с вопросами, начали шутить, и — не знаю, какой демон внушил мне мысль: заодно спасти перед друзьями молву о моей непреодолимости и нанести последний удар предмету неугасимой враж-

дебности! Я вспомнил платок, вспомнил перчатку — и они мигом полетели на стол. «Вот вам и ответ и рассказ мой. Смотрите!» То и другое схватили жадно; обе вещи пошли переходить около стола из рук в руки. Перчатка первая пришла к Дольскому. Я наблюдал. Он готовился было отдать ее без замечания, как вдруг, казалось, поражен был невольным любопытством: ему бросился в глаза оттиск кольца, слишком известного, оставшийся на гибкой лайке... Он пристально осмотрел перчатку, поднес ее к лицу; я видел, как он узнал ее по запаху любимых духов Юлии, которыми перчатка напиталась на ее руке. Дольский вырвал платок у соседа, быстро отыскал метку, и все лицо его взволновалось, когда он прочитал знакомые буквы *J. I.*, вышитые по тонкому батисту и окруженные кабалистическим словом *абракадабра,* тоже вышитым крупными буквами... Юлия выбрала в символы это арабское слово, известное в летописях магии, как сильный талисман. Написанное кругообразно, оно не имеет ни начала, ни конца и потому означает *вечность.*

Бледный, как полотно, стиснув зубы, Дольский бросил на меня взор, который уничтожил бы меня своей выразительностью, если бы я не был укреплен ненавистью и завистью. «Итак, г-н Валевич, эти залоги говорят, что вас должно поздравить с новою победою?» — сказал он. Голос его был отголоском ужасной бури. «Да,— отвечал я с двусмысленной улыбкой,— но поздравляйте умеренно — победа не много хлопот мне стоила. Дама, подарившая меня этим на память, довольно нежна и так легкомысленна, что уступки ей не в диковинку. Но только, право, она миленькое и пламенное существо, и стоит осушить бокал в честь ее плутовских глазок!» Я выпил и предложил Дольскому выпить со мною. Он молчал. Он хотел отвратить всякое объяснение, предосудительное для Юлии. Я продолжал: «Знаете ли, что эта приятельница моя долго кокетничала, долго ловила меня? Она влюблена в меня по уши, но я был жесток. И как она мастерски притворяется! Как чинно морочит она добрых людей! Глядя на нее, никто не поверил бы, что она сущая вертушка — посудите сами — я ее назову».

Меня прервала чья-то рука, свинцом палящим упавшая мне на плечо. Дольский, весь трепещущий, с сверкающими глазами, уже возле меня. «Довольно,— шепнул он мне на ухо,— довольно. Если в вас есть еще хоть

Вот оно — с тех пор оно не покидало меня ни на мгновение! Возьми, Савинин, прочитай его,— я устал и не могу!» Савинин молча отказался отрицательным движением головы. Полковник передал письмо Горцеву, и тот прочитал его вслух.

«Жаль мне вас, Валевич, видит бог, от души жаль. Судьба готовит вам нестерпимое раскаяние. В вас есть душа, в вас трепещут чувства — и вы поступили вопреки себе самому, но видно так суждено, видно так определено.

Я вас прощаю — прощаю и здесь, и на будущую жизнь; прощаю всем сердцем и всеми помыслами...

Вот что я хотел сказать прежде всего, предвидя, что оно будет вам отрадно и дорого. Знайте, помните, повторяйте себе часто, что я вас *простил.* Эта мысль пусть будет вашею опорою, вашим утешением!

Валевич! открыть ли вам! Я знаю вас коротко, я оценил вас беспристрастно и видел, как вы различны от того, чем вы кажетесь, чем вы хотите себя показывать! Я мог бы вас любить, Валевич, вас одних из среды всех ваших. И потому, на краю гроба, хочу примириться с вами, быть вам известным до глубины моей души. Хочу, чтобы вы поняли меня наконец, чтобы вы забыли ваши невыгодные заключения обо мне, чтобы вы не чернили моей памяти теми подозрениями, которые так долго делали мне ад из моей жизни. Эти подозрения, все до одного, угадал я, переносил их, как жесточайшее испытание, мог, но не должен был их разрушать. Незаслуженное презрение — адская, сокрушительная тяжесть! Оно томило меня вживе — не возьму его с собою за пределы гроба, чтобы оно не разрушило гробницы надо мной... Гробницы, говорю я, потому что знаю, твердо знаю, что буду убит вами завтра. Для меня нет удачи или неудачи — мне уж назначен миг судьбы моей в игре на жизнь и смерть, нам предстоящей. Случай ничего не может для меня сделать. Рок заранее бросил кости — вы будете только слепым орудием его, Валевич, и потому, еще раз прошу, не упрекайте себя никогда в моей смерти. Мой жребий определил мне погибнуть. Почему же не подумать, не поверить обоим нам, что вам определено меня сразить? Я верю — а вы? Вы меня еще не понимаете, вам еще странен должен быть смысл моих речей; но чтобы сделаться понятным, мне должно начать издалека. Ныне в последний раз мне надобно чужое терпение — не откажите в вашем моему рассказу!

Прочитайте его, и вы можете потом сказать вашим товарищам и друзьям, что презираемый ими Дольский не был ни трусом, ни подлецом, каким многие его считали. Вы будете моим третьим, моим добросовестным свидетелем, а первые два — Бог и моя мать!

У меня есть мать, Валевич, мать, в которой моралист и христианин равно признают ту, кого они поставили бы идеальным примером всем другим матерям, мать, которой не отплатил бы я за любовь, пробыв целую вечность в благоговении у ног ее. Хотеть описать вам ее попечения без счета, ее неутомимую заботливость, ее самоотверженную любовь, значило бы начать с минуты моего рождения и продолжать до настоящей, приводя ежедневные, ежечасные примеры. Быть может, вы оцените ее, когда узнаете, какие жертвы могло приносить двадцатилетнее сердце, бившееся сильными страстями, полное кипучею кровью.

Оставшись сиротою в малолетстве, обвенчавшись с стариком, чтобы обеспечить себе кров, кусок хлеба и честное имя, она не знала ни радостей, ни взаимности даже дружбы — она никого не любила, кроме меня: конечно, потому, что небо хотело хоть единожды, почти чудом, сберечь в целости всегда расточаемое сокровище женского сердца, чтобы посмотреть, какая мать выйдет из этой женщины с необыкновенными чувствами, с душою, непочатою иной любовью. Другие познают нежность материнскую после испытанных сильных страстей, а можно ли сосредоточить сердце в чувстве спокойном и бескорыстном, когда оно уже перегорело в чувствах огненных и мятежных, в себялюбивом счастии страстной взаимности? Велите ли бурному водопаду задремать тихим озером? И потому, перелюбивши *многое* и *многих*, пылкие, чувствительные женщины редко бывают хорошими, нежными матерями. Их душа обеднела, их сердце излюбилось. Чадолюбива лишь та, которая приносит к семейственному очагу душу свежую и юную, сердце чистое и светлое. Правда, есть еще женщины, способные страстно, единственно и всею душою возлюбить своего младенца: это те, которые не были счастливы в других привязанностях, сочувствие которых было осмеяно, кому дружба изменила, кто в любви нашел одну блестящую ложь, одно краткое заблуждение, одно требование без ответа. Но в материнской, *последней* любви их есть отголосок отчаяния, есть тайная пеня и вечный страх. Прижимая младенца к груди, они гово-

рят: «Не обмани! все другое меня обмануло!» Нет, не так любила меня мать, не это могла говорить та, чье сердце миновало бури и пламя страстей, кому моя первая улыбка принесла первое волнение радости. Моя мать ведала только одно призвание в здешнем мире — зато как исполнила она его!

Я был четвертый ребенок у моих родителей; трое, прежде рожденных, не дождались окончания первого года своего, а потому и меня взрастили при неизменной боязни потерять. Отца не помню я вовсе. Он кончил век свой, когда я был еще у кормилицы, то есть когда мать моя еще кормила меня, ибо она сама исполнила первый долг матери и не уступила своих прав чужой. Впоследствии, когда я пришел в возраст и должен был получить образование, я не имел никакого учителя, кроме моей матери. Она приобрела все познания, все сведения, необходимые воспитателю, она предалась изучению всех наук, преподаваемых юношеству, и всегда накануне сама вытверживала урок, который объясняла мне на следующий день. До определения моего в университет она одна была мне наставником, была моим профессором. Ее женское сердце успело приучить ум ее к строгой, сухой отвлеченности высших знаний и науке. Она сделалась ученою по чадолюбию.

Когда я был на десятом году моем, у нас в доме случилось происшествие, в сущности малозначащее, но имевшее с той поры до нынешней неограниченное влияние на все дни моей жизни.

Мы жили обыкновенно в подмосковной и летом и зимою. Мать моя не ездила в Москву, не имея знакомства там, ни желания быть в свете, которого она никогда не видала, и посвятила совершенно всю свою молодость одному мне. Дыша свежим деревенским воздухом и лелеемый привольем деревенским, я был силен, резов и смел. Меня не стесняли робкие привычки и уставы, каким с колыбели подчиняют других детей. И потому начал я мыслить, вопрошать и помнить гораздо ранее обыкновенного. Мать не принуждала меня, не вырабатывала моего нрава: она только помогала ему развиваться, совершенствовала его кротким руководством своим. Я весь был ответом ее душе, ее сердцу.

Однажды на святках дряхлая нищая, шедшая большою дорогою, подошла к окну просить милостыни. Подаяния и гостеприимство были святы в нашем доме; ее приняли и наградили. Она рассказала слугам, что она

цыганка и, следовательно, ворожит мастерски. Обрадованные горничные поочередно прибегали к ее искусству, и каждая прикрашивала потом чудеса, рассказываемые предыдущею о старой колдунье. Все это слышал я только мельком, потому что меня никогда не пускали ни в девичью, ни в передние, и мне воспрещены были всякие разговоры с прислугой. На этот раз я ловил все их толки, был поражен новым явлением восточного лица и полудикого наряда цыганки.

Она мне казалась чем-то сверхъестественным, и я не без удовольствия узнал, что ей позволили переночевать у нас. Я услышал также, что вечером она должна совершить главное гаданье — смотреть в зеркало. Смотреть в зеркало — что это значит? — думал я, смотревший во все зеркала и не видавший ничего особенно ни в них, ни на них. Целый день был я занят решением этой загадки и всем тем, что было непонятно для меня в слухах о нашей гостье. Вечером, когда мать заготовляла наши уроки, я тайком ушел из гостиной и отправился в запретную девичью.

Мое детское воображение изумилось и взволновалось при входе туда: один вид комнаты, вовсе мне незнакомой, был достаточен для того, чтобы произвесть впечатление; но еще более удивился я всем волшебным запасам, которыми она была полна. Эти два зеркала, одно против другого, эти две свечи на столе, которые отражались в зеркалах до бесконечности, рисуя блестящие, магические перспективы свеч и рам, постепенно уменьшающихся, необрезные глыбы топленого воска и олова, разметанные по всем углам, и сверх всего цыганка с седыми, распущенными волосами, сидящая у стола,— все это обдало меня каким-то страхом, каким-то волнением, дотоле мне неизвестными, но не без сладости. Мысль о судьбе, о будущности неясно мелькнула в уме моем; впервые захотел я узнать, что могло быть после завтрашнего дня. «Погадай мне, цыганка,— я дам тебе вот это!» — и я показал серебряную пряжку, удерживающую на мне широкий пояс моего детского наряда. И теперь помню, как чудно засверкали впалые глаза старухи, как алчно сухие, черные руки протянулись к блестящему металлу. Она согласилась, села пред зеркалом, выслала всех вон, и мы остались вдвоем.

Цыганка вперила глаза в зеркало, приказывая мне молчать и не шевелиться.

Я стал за нею как вкопанный, сложа руки, удержи-

вая дыхание, испытывая в первый раз в жизни все муки неизвестности, все прелести запрещенного наслаждения.

Не знаю, долго ли продолжалось это положение; напряжение всех сил и всех чувств моих скоро лишило меня и тех и других. Я был уже как сонный, когда легкий шорох заставил меня встрепенуться. Матушка вошла с строгим лицом. Я понял опасность, близость упрека, который был мне больнее всех наказаний, и как будто присутствие ворожеи моей сообщило мне хитрость ее единоплеменцев, я преклонил колено, послал матушке умоляющий взор и показал на зеркало, прошептав: «Чудесно!» Матушка хотела увести меня, но в этот миг чутье женщины заговорило неодолимо: любопытство взяло верх над осторожностью и рассудком; она подошла, из-за плеча цыганки бросила взор в роковое зеркало... удивление изобразилось на лице ее — она осталась и смотрела... Вдруг двойной вопль раздался в комнате — и я увидел матушку на полу. Ее вынесли без чувств — я побежал за нею. Цыганку оставили одну, но когда потом вспомнили об ней, ее нигде не отыскали, и никто не мог сказать, куда она девалась.

Матушка опомнилась, но только для того, чтобы тотчас впасть в нервическую горячку, подвергшую ее продолжительной опасности. Меня хотели удалить, но молениями и слезами купил я себе право не покидать больной, и все дни ее недуга провел подле нее, сидя у ног ее на скамейке. Она беспрестанно бредила и все обо мне. «Отнимите пистолет у Алеши! Не пускайте Алешу на дуэль! Не давайте им убить Алеши!..» Вот что слышал я ежеминутно от матушки, во все время трехнедельного ее беспамятства.

Бог оставил ее мне, и, когда она выздоровела, никогда не отвечала она на частые вопросы мои о зеркале и цыганке, причине ее крика и ее обморока. Наш быт пошел прежним чередом, только мало-помалу, одна за другою, все военные игрушки, мои любимые, стали исчезать из детской; исчезло ружье, потом сабли, потом мой драгоценный кивер и наконец даже невинная ташка моя, так красиво вышитая золотом руками матушки! Ни жалобы, ни просьбы мои не выманили возобновления моего арсенала. Еще произошло несколько перемен в порядке моих уроков: меня меньше занимали математикою и старались внушить мне охоту к изучению иностранных языков и словесностей. Только позднее, гораз-

до позднее понял я все эти подробности материнской дальновидности.

Спустя несколько лет мы переехали в Москву: мне надлежало окончить мое воспитание. Я стал посещать лекции университета и потом поступил в студенты.

Когда упоминал я о будущей моей службе, матушка всегда говорила мне об иностранной коллегии, о министерствах, о камер-юнкерстве, а я перебивал речь ее расспросами о разных мундирах гвардии и просьбою о позволении мне посещать манеж и школы фехтования. У матушки на эти просьбы был один ответ. Она имела причины не желать, чтобы я был военным, и надеялась, что я не пойду ей наперекор. К тому же, она обыкновенно прерывала все подобные разговоры. А между тем задушевные мечты мои упорно блестели богатыми эполетами, приманчиво звенели гремящими шпорами, и часто во сне видел я себя на запретном поле шумной битвы, куда наяву меня не допускали. Наконец, последний экзамен мой приближался; следовало решить мою участь, а мы с матушкой все еще не были согласны. Прекословие пламенным желаниям моим так огорчило меня, что я наконец занемог и раздражение умственных сил, ежеминутно усиливаясь, ввергло меня в большую опасность. Не опишу вам отчаяния матушки, ее попечений, ее беспокойства — вам можно вообразить их. Врачи объявили ей страшный приговор: они грозили чахоткою, если скоро нельзя будет помочь сердечной горести моей, как они единогласно называли болезнь, меня угнетавшую. Матушка в ужасе осыпала меня вопросами, и я должен был признаться. Она была поражена, много плакала, много думала и сама открыла мне свою тайну. Она противилась моему призванию потому, что бедовое зеркало цыганки показало ей меня погибающим от пули, а вторичное гаданье обо мне предрекло мне смерть на поединке... Матушка, со всем благочестием своим, с редким образованием и светлым разумом, не могла отвергнуть суеверного страха, томившего ей душу с той поры, и она уверяла меня, что не раз мрачные предчувствия подтверждали ее загадочное видение.

Я употребил все способы разуверить, успокоить ее; она казалась уступчивее, но не была убеждена; дала наконец свое согласие, но взамен взяла с меня клятву — помните, Валевич, страшную клятву, что *никогда не буду я драться на поединке.* Сражение ее не пугало: она

верила, что Провидение не захочет отнять у нее единственной любви ее жизни там, где жребий может выбирать свои жертвы между тысячами; она боялась только этих кровавых лотерей, которыми наша кичливость искушает власть небесную. На кресте, надетом на меня при купели, я произнес матери торжественный обет, ею требуемый.

Выздоровление мое вскоре заплатило ей за жертву всех ее опасений; я возвратился к жизни, с сердцем налегке, с душою полною отваги и смелости и был вполне счастлив до самого дня моего отъезда. Но, прощаясь с бедною матерью, с этим единственным другом моего детства, я отдал искреннюю дань скорби и сожаления ей и всему, что оставлял за собою в родительском доме. Другие, уезжая на службу, переступают за черту тяжелого повиновения и продолжительного рабства, освобождаются от ига взыскательной семьи, рвутся на давно желанный простор, и кто не поймет, что слеза сыновней любви легко может уступить в их сердце первой улыбке самостоятельности, первому жадному вдыханию вольного воздуха? Мой удел не походил на долю прочих. Никогда не был я стеснен ни строгостью, ни себялюбием старших: в доме матери моей ни одна неприятность не пала на меня с ее участием; я шагнул за порог родного крова с неподдельною горестию, со слезами глубокого, живого чувства. Мир и радость родителям, которые заслужили благодарность и доверие своих детей! Они одни вправе ожидать от сына сожаления, когда он отрывает от их оседлой жизни свою кипучую молодую судьбу.

Напутные слова матери были благословением и мольбою — быть осторожным, беречь себя для нее. Узнает ли она, чего мне стоило соблюдение ее заповеди!

Золотые мечты мои о военной жизни скоро рассыпались перед тусклою существенностью. Валевич! это не укор, но я должен признаться, что *вы* и *товарищи ваши* наперерыв старались разочаровать меня. С первых дней моего искуса я узнал свои заблуждения, измерил падение своих игривых мечтаний. Я ожидал радушного собратства и теплых рукопожатий, а нашел ложное товарищество, с тайным недоброжелательством, с чинным равнодушием, под личиной светской развязности. Холодный разбор, которому подвергли меня с первой минуты знакомства, смутил и облил холодом мою пылкую

откровенность. Взоры, окинувшие меня со всех сторон, были так горды, так насмешливы, так наступательны, что я оробел пред ними, я, привыкший видеть себя предметом любви, внимания, одобрения своих домашних. Тщетно высматривал я привета в глазах кого-нибудь из вас. Я страдал в душе, поняв свое одиночество, но скоро понял еще более, понял, что мне необходимо было тщательно скрывать от вас подлинного *себя,* если не хочу стать посмешищем вашего злоречия. Усилие было велико, но я победил себя, заточил в недосягаемую глубь сердца все светлое, все приязненное и доверчивое моего нрава; я облекся корою недоступности, чтобы спасти *себя* от *вас* и не изменить самому себе под властью примера и завлекающих обычаев.

Я вам не нравился,— говорю *вам,* то есть всему обществу вашему. Не ищите язвительной личности в моих словах — я помирился с вами теперь чистосердечно. Я вам не нравился, и могло ли быть иначе? Воспитанный женщиною и напитавшийся около нее этой нежности, этой мягкости обращения, которые вменяются в недостаток мужчине, не видавший света, живший дотоле с матерью, с любимыми книгами и девственными мечтами, я был странен, неловок и дик на похмельных и шумных беседах ваших. В глазах ваших у меня был непростительный порок: я судил, чувствовал и мыслил своеобразно. И вы *осудили* меня в один голос, и я стал между вами отверженцем, париею, чем-то вроде тех опальных, которых в старину объявляли, наряду с птицами небесными, вольною целью для стрелка. Только вы сначала хотели не жизни моей, не чести, а самолюбия и покоя моего; вы меня оскорбляли не довольно явно, не так, чтобы я мог требовать мщения, но довольно ощутительно для того, чтобы возбудить во мне весь гнев непризнанного человека.

Итак, первый сон моей жизни изменил нетерпеливым ожиданиям, и ремесло оружия было для меня разочаровано. Но молодость упряма и настойчива; она не вдруг отвыкает от любимой думы, и, когда мне пришлось сказать *прости* веселой чреде моего звания, я перенес все надежды, все порывы на чреду строгих обязанностей, войны и славы; я утешился мыслью, что поле брани когда-нибудь откроется моей пламенной отваге; я посвятил честолюбию и удальству пристрастие, обманутое днями мира. Я сказал себе: *дойду!* — и теплая вера в себя самого обещала мне, что подвиги и храб-

рость изобличат несправедливость сослуживцев и водворят меня с честью в их рядах.

Я узнал вас, Валевич, и с первой минуты нашего знакомства вы внушили мне непонятное чувство. Теперь я называю его *предчувствием*, но тогда оно было безотчетно для моего рассудка. Не знаю, с какой целью, но вы обошлись со мной совсем не так, как другие, как друзья ваши, и мне приятна была ласковость вашего приема. Ум, образованность, приязненность, все в вас привлекало меня — я чувствовал желание сблизиться с вами, готовность просить дружбы у вашего сердца. Но в то же время что-то вдруг отталкивало меня от вас, и мне становилось душно и тоскливо при вас. Внутренний голос говорил мне: «Этот человек тебя погубит!»

Вскоре вы переменились ко мне. Это меня удивило столько же, сколько ваше недолгое доброжелательство, и я не понял ни того, ни другого. Но когда вместо прежней приветливости я встретил вашу холодную улыбку, эту улыбку, которая вмещала в себе бездну иронии и отдаления, мне стало легче и свободнее; я радовался, что был избавлен от признательности к вам; я был согласнее с самим собою с тех пор, как, не видя себя обязанным вас любить, я мог бояться вас, сколько мне угодно.

Между тем каждый день, каждый час моей необновленной жизни приносил мне испытание и искушение, подвергал меня или невыразимой пытке — подавлять оскорбленное самолюбие, или горькой крайности невольно нарушить святую клятву. Я не мог показаться среди товарищей, не подвергаясь неприятностям всякого рода. То на меня бросали взоры, за которые все сердце рвалось поплатиться мщением и обидой. То до ушей моих доходили речи, которые всю кровь мою зажигали во мне. И более всего язвила меня эта жалостная, насмешливая снисходительность, которую иные вздумали оказывать мне, как бессловесной, беззащитной жертве, видя мое удивительное незлобие. О боже! Если бы они могли разгадать это *мнимое незлобие*, если бы им можно было взвесить, какою тяжестью оно лежало на борющейся с собою душе! Если бы я мог сказать им мою мучительную тайну... Нет, нет! Эти люди легкомысленны, ветрены, безучастны, однако они не совсем испорчены; им могли быть понятны и чувство чести, и самопожертвование; они устыдились бы пытки, так жестоко совершаемой ими над человеком, скованным при-

мерным, исключительным жребием! И что я вытерпел, как я страдал, как изныла моя душа в этом ужасном бою с самим собою! С каким содроганием гнева хваталась иногда рука моя за нетерпеливую саблю! С каким воплем исступления слово смерти стократно прилетало на трепетный язык! Но образ матери становился между мною и врагами — я все переносил — я молчал! Ваши товарищи, вы сами, все презирали, все хулили меня, все почитали меня малодушным... Ад и смерть! Где же взял я силу и волю пережить эту мысль? В неиссякаемой благодарности к несравненной матери!

Да! для нее победил я себя и вас и пребыл тверд несчастливому обету. Это было первою моей жертвою — я убил свое самолюбие, позволил запятнать свою честь...

Я расстался с вашим обществом и бросился в тревоги света, чтобы рассеять убитый ум, чтобы освежить воображение, омраченное вседневными тучами. Я приказал себе быть глухим и слепым для нападений и преследователей, и вскоре новизна и разнообразие моего шумного быта заглушили во мне полковые воспоминания. Алчно пил я из позлащенной чаши пиров, пламенно наслаждался их блеском, их удовольствиями, их кипящим обаянием, и признаюсь, на краю гроба признаюсь: да! я благодарен свету, я любил свет, я был счастлив и доволен его угощением! Не мне было судить, обманчив ли прием толпы, изменчиво ли ее радушие; не мне доискиваться, что таится под ее праздничными розами, под ее сообщительным весельем! Мне достаточно было безотчетно наслаждаться. Потому прощаюсь я с светом как с приятелем, без клеветы, без укоризн; покидаю его не как взыскательный странник, всему бросивший свой надменный приговор, все видевший сквозь призму собственной хандры, но как очарованный гость, повторяющий на пороге радостные мотивы бальной музыки. Пусть черная фата отчаяния и бесцветный покров пресыщения служит подкладкою розовой одежде шумного света, его роскоши и пиров! Не под моей рукою распадется эта светлая одежда,— нет, она переживет меня долго, и хотя она непрочна, но я еще непрочнее ее, еще скорее увяну, истлею. Вскоре мое веселье сменилось счастием, моя суета обратилась в жизнь, и бессмысленный блеск роскошных освещений стал скуден и темен перед лучезарным явлением, пролившим в мою душу теплоту, сияние и чувство. Я узнал благо возвышеннее и дороже беспричинной светской

радости; я испытал волнение страсти и прелесть первых тревог любви — встретил, узнал ее... вы знаете *кого*, и вторично понял я, что, если небо хочет показать человеку все восторги своего рая, оно посылает ему женщину с любящим сердцем. Да, после беспредельной нежности моей матери, всякая привязанность женщины показалась бы мне слабою и недостаточною, если бы я не нашел именно той, которая любила с таким же самозабвением, но еще пламеннее, еще живее. Вам ли могу я передать всю повесть моей страсти; вам ли — неверующему ни в женщин, ни в любовь? Вам ли, слепорожденному, опишу я солнце небес и радугу Божию? Скажу вам только, что если избыток чувств не разорвал моего сердца, то это единственно потому, что судьба берегла меня, зная, что этому сердцу и так уж не долго биться жизнью!..

Мое счастие затмилось с того дня, когда вы его отгадали, с того часа, когда зловещий взор ваш сглазил его. Я встретил вас на пути моем как духа злобы, как гонителя, прикованного к стопам моим, и вашим бедовым влиянием на сдвойнившуюся участь нашу объяснилось мне то странное чувство, которое при первой встрече предостерегало меня от вас. Дайте сказать вам, что поведение ваше в отношении нас было недостойно благородного человека, и спросите потом у собственного правосудия, не подтвердит ли оно моего упрека. Если бы вы точно *любили* ее, любили ту, которую вы преследовали так упорно, я понял бы вас и, ревнуя, был бы должен уважать в вас чувство и выбор, общие нам обоим. Но как далеки были вы от святой страсти, когда без жалости и без совести играли спокойствием и гордостью достойнейшей из всех женщин! Сначала я не проникнул в мысли ваши, не отгадал вас,— я доставил вам наслаждение обнаружением пред вашею враждебною зоркостью всех страданий, всех мучений моей ревности... Несколько дней я почитал вас предпочитаемым, несколько дней удавалось вам терзать меня убийственными сомнениями. Теперь еще, в этот предсмертный час, при воспоминании об этих черных днях все сердце мое вздрагивает бешеным волнением. Минутная недоверчивость была единственною моей виною против нее. Сердце мое не помнит, чтобы я чем-нибудь другим оскорбил ее, и, благодаря нашей взаимной искренности, я не долго грешил своими недостойными подозрениями.

Но страдание не кончилось с сомнением. Вы умели

изобрести терзания другие, и я не стану пересказывать вам всего, что чувствовал я, когда из неудачного поклонника вдруг сделались вы обвинителем и судьбою отвергнувшей вас. Уверен, что вы умели читать в душе моей, что ни одна из досад моих не ушла от вашего внимания. Мне ясно было, к чему клонилось ваше намерение; я видел, что мое счастие вам кололо глаза, что вы хотели разрознить нас страхом, когда искания ваши остались без успеха, что главною целью вашею было — задеть мое сердце так больно, чтобы вырвать у меня слово мести и знак гнева. Вы помните мое немое терпение: помните, как я переносил все испытания, какими вашей прихоти угодно было томить меня? Да, вы часто должны были в душе вашей смеяться надо мною, над тем, что вам казалось недостойным малодушием! Беспрекословно я допускал вас язвить колкими наветами женщину, которую должен был бы защищать и оберегать, не щадя своей жизни. Я дозволил вам отнимать у меня все радости ее присутствия, похищать перед светом все знаки ее благосклонности,— и несчастная клятва моя не была нарушена!

Но судьбы не обойдешь! Не миновать ее, когда непреклонное предопределение вписало свой приговор в скрижалях рока. Она решила,— и как рвутся струны, слишком долго натягиваемые неискусною рукою, все усилия мои, вся власть моя над собою сокрушилась вчера перед словами вашими! Вы превозмогли. Последнее испытание истощило мои силы — буря вырвалась на простор из глубины кипящей души. Видеть позор, позор незаслуженный, угрожающий боготворимому предмету всех поклонений, всего благоговейного пристрастия своего, видеть женщину, для служения которой не находим довольно чистоты в сердце, довольно восторгов души в чистейших и восторженнейших порывах чувств, видеть ее униженною дерзкой клеветою бесстыдного хвастовства, гнусного злословия! — вот чего не мог я перенесть, вот что заставило меня забыть мою мать, и мое слово, и целый мир. Я видел, чье имя готово было сорваться с языка вашего, чье имя было бы предано неизгладимому запятнанию,— исступление одолело мною, мне едва осталось настолько присутствия духа, чтобы образумить вас, не изменив себе, и только одна эта мысль уцелела в моем помраченном рассудке. Я вспомнил, что защитить ее в этот миг было бы убить ее непременно... вы знаете остальное...

И теперь я не раскаиваюсь в моем вызове, не раскаиваюсь в нарушении клятвы, столь долго заветной, хотя знаю, как много слез буду я стоить несчастной матери... Меня успокаивает твердая уверенность, что ее страдание долго не продлится — она меня не переживет. Думаю, что безукоризненно исполнил я долг свой к первому другу моей жизни; мне оставался долг иной — и его надлежало исполнить. Я счастлив мыслью, что погибну за боготворимое существо. С невыразимою гордостью чувствую, что смертию моею выкуплю ее от поношения. Эти две женщины, мать и милая, разделяли между собою все помыслы, все чувства мои — их одних успел я узнать и любить в мире. Но как различно мог я доказать им мою любовь!.. Одна требовала сохранения моей жизни, а для спокойствия и чести другой смерть моя была необходима. Да! я убежден в этой печальной истине — *ей* без меня будет лучше, безопаснее. Живой я мог излишнею пылкостью подвергнуть ее величайшим огорчениям, мог расстроить навеки всю участь ее. Наша тайна рано или поздно должна была открыться, и диво даже, что до сих пор она сохранялась неприкосновенною. Возможно ли таинственно любить и быть любимым так страстно среди света, привыкшего требовать от каждого отчета в малейших и ничтожнейших его мнениях и поступках. И я, я мог бы привлечь сокрушительную грозу на ее возлюбленную невинную голову, мог сделаться виновником неисцелимых для нее скорбей, зрителем неисправимой гибели ее существования, домашнего и общественного, после которой она должна была бы видеть во мне уже предмет не блаженства, а злополучия своего... О! нет, нет! Стократ лучше умереть в утешительной вере, что я спасаю ее от людей и от себя, от вражды и любви,— умереть с мыслию, что я схороню в моем тесном гробу единственный укор ее чистой жизни! Усопший, я больше буду с нею, нежели теперь, воспоминание и поминовение обо мне не опасны, не грешны, и строгий долг не станет более между ею и мною... Валевич! вы не измените нам; вы не предадите судилищу злоречия и предрассудков нашу любовь, глубокую, истинную, задушевную! Вы поймете нас, вы будете верным и безмолвным наперсником моей могилы. Полагаюсь на вас, на честь и раскаяние ваше. Вы почитали себя вправе ненавидеть ту, которая вас отринула,— вы были в заблуждении; но как бы то ни было, моя тень примирит вас с нею, моя кровь изменит взаимные меж-

ду вами отношения. Она сделается предметом вашего сострадания, вашей жалости. Валевич, поручаю, завещеваю ее вам, *ее*, причину нашей распри,— *вам*, несчастному победителю! Вот вам *последняя* моя воля, залог мира между нами. Берегите ее, защитите ее от клеветы, если будет нужно; отдалите от нее все похожее на подозрение и чтобы никогда, нигде уста ваши не произносили ее и моего имени вместе!..

Обо мне не жалейте. Я кончаю свой минутный век,— покорный и спокойный. Моя судьба завидна. Немного пожил я, но много, но искренно *был любим*. Два сердца обязаны мне своим земным счастием, своей надеждой в мире лучшем,— две женщины соединили на мне, на *мне одном*, всю свою преданность, всю заботливость и нежность свою — я был душою двух возвышенных и великих душ.

Меня украдкою искушают мысли о жизни. Мне будто жаль ее, кажется... я узнал еще не все ее радости; но разум мой говорит противное, и я повторяю с ним: хорошо, хорошо, что все *теперь* для меня кончается! Как предузнать, что было бы *после!* Как угадать, что готовило мне будущее и чем *завтра* могло сменить *вчера!* Статься может, мое счастье было в том, что я не из долголетних? Лучше, лучше унести с собою сердце, полное очарования, света, теплоты, еще не отравленное ни обманом, ни утратою, ни разуверением. И к тому же, как сладко и утешительно думать, что не исчезну я из мира незамеченный, что не пропаду в немом забвении. Если меня не напутствуют прощания и благословения, то они потом отыщут мой прах, и тризны по мне будут правиться ежедневно в сокровенной тиши одного оставшегося на земле сердца. Никогда не был я себялюбцем, но ныне, в последний день моей жизни, я упиваюсь слезами, которые прольются в память мне.

Валевич, я сказал вам, что не жалею о жизни, но я не сказал, не мог сказать, что мне не жаль *ее*, что мне не больно ее оставить...

Пишу к ней. Хочу сам объявить ей нашу разлуку. От меня удар будет сноснее. Но я не скажу ни слова о несчастном платке, о перчатке. Зачем ей знать, что она была вмешана в нашу ссору! Вчера я унес с собою ложное свидетельство вашего коварного хвастовства; оно сожжено со всем, что могло быть найдено после меня. Все предосторожности приняты, чтобы я был последним следом ее привязанности, а мне не долго ждать

истребления. Я пыль и тень на ее жизни — сметите меня скорее! Из ее сердца меня ничто не исженит.

Валевич, вы единственный участник нашей тайны; вы силой вторглись в это наперсничество, и вы не откажетесь от долга, призванного вами на свою голову. Вручите, доставьте ей мои прощальные строки! Я уверен, что вы примете на себя эту *первую* и *единственную* услугу, о которой я вас прошу. Случай и средство вы найдете. Вы исполните все с осторожностью, чтобы ни одна живая душа, кроме ее и вас, не знала ничего. Но, ради бога, нельзя ли, чтобы *она* была уведомлена немедленно после события, прежде чем молва успеет разойтись по городу? Боюсь, чтобы внезапная весть не постигла ее при свидетелях, чтобы людское безжалостное болтанье равнодушных не было ей погребальным моим колоколом. Кто знает, до чего может довести ее отчаяние? Я, погибающий для того, чтобы упрочить ей безопасность и покой, я вправе хотеть, чтобы смерть моя не расстроила моих расчетов, а мне известно, как умеют толковать и бледность женщины, и малейший признак ее волнения.

Вам, Валевич, не стану говорить, как *она* выше всякого осуждения, выше всякого упрека. Вы сами в том уверены — вы следили нашу чистую взаимность, шаг за шагом и от одной ступени до другой. Вы знаете, что она меня любила непорочною любовью ангелов и что она отдала мне всю свою душу, но ни одного чувства, ни единого трепета более! Вы знаете, что нашу привязанность мы оба смело можем исповедать пред небом и что если я боюсь людей, то это потому только, что их испорченное воображение везде ищет соблазна и зла. Но перед вами мне нет нужды защищать ту, которую вы знаете не хуже меня...

Вот и утро. Мы скоро увидимся. Я встречу вас без вражды — будьте в том уверены».

Горцев возвратил письмо полковнику. Тот продолжал свой рассказ:

— В пакете, привезенном секундантом, была еще бумага, подписанная Дольским, в которой он объявлял, что сам причиною своей смерти по *неосторожности.* Он хотел спасти меня от всяких неприятностей, но я не имел ни желания, ни возможности скрывать истину. Бумага была изорвана, а я принужден оставить Петербург. Но я успел исполнить волю Алексея — выдумал сказку и уверил своих товарищей, что мы дрались

вследствие жаркого спора, случившегося в то время, когда мы вместе возвращались с веселого ужина. Никто не мог опровергнуть слов моих, ибо никто не знал, где и как был сделан вызов. Любопытство и злословие не занялись поединком, не сопутствуемым романом, и вскоре Дольский и я равно были забыты большим светом, куда ни тот, ни другой не возвратились.

— А Юлия? Что сталось с Юлией? — вскричали все, кто были в комнате.

— Так как и ее также давно забыли, то я мог рассказать эту быль, не нарушая обета, данного памяти Дольского; ибо назвал его возлюбленную вымышленным именем, и, конечно, никто из вас не отгадает ее действительного имени. Впрочем, теперь и она более не должна опасаться пересудов молвы.

— Как? Она умерла?..

— Нет! я недавно слышал об ней: она живет в своей деревне, воспитывает своих детей и ухаживает за подагриком мужем.

— Но как приняла она известие о смерти бедного Алексея?

— Как перенесла она свое горе? В чужой душе кто прочитает? Но я сужу по наружности. Вечером того бедового дня я еще был свободен, а поединок не разглашен,— я собрался с духом, чтобы отвезти ей письмо, уверяя, что хочу просить ее ходатайства за секундантов, зная обширные связи ее мужа по родству и знакомствам. Я застал ее с гостями в приемной, спокойную, приветливую, как всегда. Я просил разговора наедине. Она вышла со мною в свой кабинет, и там, когда я объяснился, когда вручил заветную посылку замогильного жильца, она смешалась, но только на минуту, и скоро пришла в себя, расспросила обо всех подробностях вызова, поединка, несчастной их развязке. Потом молча поклонилась и отпустила меня. С тех пор мы больше не встречались.

— Но вы верно что-нибудь об ней слыхали? Вы, конечно, знаете, как она вынесла свою потерю?..

— Она? — отвечал Валевич, пожимая плечами.— Она осталась, чем была прежде — знатною дамою в вихре моды; она не переставала принимать; в ее гостиной, как мне сказывали, она говорила о поединке и с участием обо мне. Она выезжала, танцевала, была прекрасна, как и прежде.

— Как! Возможно ли? Так она не любила Дольско-

го? Так он, бедный, был игрушкою кокетки? Так она и не потужила о нем? Не была в горячке? Не впала в чахотку? Не сошла с ума? Не сделалась ханжой?

— Нисколько. Но случай жестоко прервал блестящий ход ее жизни. На пятом или на шестом бале после смерти Алексея она, видно, слишком от души танцевала, оступилась: упала, вывихнула себе ногу и осталась хромою на весь свой век. Весь медицинский факультет лечил ее, но ничто не помогло. Это происшествие так ее огорчило, что она не захотела оставаться в свете и уехала в деревню.

— И поделом ей! Бездушная вертушка, она заслужила свою участь! Все эти кокетки таковы. Кажется, душу за тебя отдадут, а умри — так и слезинкой не помянут! Хороши!

— Ошибаетесь, господа, ей-богу, вы все ошибаетесь! — сказал, внезапно вставая, полковой доктор, дотоле безмолвствовавший во весь вечер. Человек в летах, с истинным познанием своей науки и прекрасною душою, он был всеми уважаем и любим, всегда хранил кроткую важность во всех своих приемах, думал много, говорил мало; его редкие слова имели вес и значение перед каждым, кто знал его.

В эту минуту обычная недвижность лица его исчезла, глаза оживились, черты показывали внутреннее волнение и душевный взрыв чувствительности. «Хотите ли, господа, я доскажу вам быль полковника, доскажу вам то, чего ни он и никто в мире, кроме меня, не знает? Полковник, я узнал ту, кого вы описали под вымышленным именем Юлии; я не мог не узнать ее, быв близким, ежечасным свидетелем этого периода ее жизни. Я был домашним врачом Юлии, лечил ее, когда все почитали ее хромою, и могу присягнуть, что ноги ее обе целы, что ни одна из них не была ни вывихнута, ни даже сколько-нибудь повреждена!

— Как? Но что же значит ее болезнь, ее отъезд?

— Значит то, что женщину, как гиероглиф, не скоро разгадаешь; что свет судит по наружности и что его, этого мудреца, легко обмануть! Юлия одарена душою твердою, волею сильною. Опыт научил ее обладать собою, скрывать себя под неприступными покровами общепринятого двуличия, и она сумела, смогла притвориться — вот и все! Она поняла, что малейший признак тревоги и грусти, малейшее отступление от привычек изменят ей, изобличат те чувства, которые так долго,

так тщательно она таила. В минуту ужаснейшего перелома ее судьбы она вспомнила, что есть *свет*, есть *общество* и их неумолимые толки. Она вспомнила, что ей должно беречь себя, свое имя, и сердце ее покорилось рассудку — скорбь уступила чистой гордости души возвышенной. Юлия победила себя, подавила в себе все сожаления, все терзания, назначила себе роль и выполнила ее, чего это ей ни стоило. Ее трауром была жестокая необходимость пышных нарядов; ее терновым венцом были цветы и алмазы, тяготившие ее голову, и вместо рыданий надгробных она принудила слух свой внимать аккордам бальной музыки. Она определила себе пытку, назначила ей срок, казнила себя, пока жизнь и смерть Дольского не погрузились в общий ток забвения, куда свет так скоро выбрасывает все то, что ему не нужно, все то, что перестает занимать его праздное любопытство. Тогда Юлия выбрала самый блистательный праздник, бал многолюдный и шумный, где весь город был свидетелем; она нарочно упала, прикинулась изуродованною, слегла в постель и несколько месяцев переносила муки леченья, обременительное участие и докучливость всеобщего сострадания. Меня не могла она обмануть и отчасти открылась мне, призналась, что ей нужен был предлог для вечного разрыва с большим светом. Я понял ее, помог ей в безгрешном обмане, произнес над нею приговор неизлечимости. И, сопровождаемая сожалениями толпы, она оставила навсегда прежнее свое поприще, но оставила его как торжествующая царица, под защитою имени блестящего, с незапятнанною памятью о ее красоте, уме и достоинстве. Она удалилась в деревню, куда я сам проводил ее. Там воспитывает она своих детей, ходит за устаревшим, хилым мужем, как вам уже сказал полковник,— там она живет жизнью души, жизнью таинственною, невысказанною. Я и теперь в переписке с нею. Она все та же...

В. Н. ОЛИН

СТРАННЫЙ БАЛ

В прошлом 182* году (я уже сказал, что так путешественник начал рассказ свой) — в прошлом 182* году, вечером, один отставной генерал, человек одинокий, сидел у себя дома. На дворе была глубокая осень, и время, помнится, приближалось уже к Михайловским заморозам. Скука мертвая, да и только! — Сидя на своем турецком диване, на котором лежали в головах три постельных подушки, и раскладывая уже несколько раз и на все манеры гранд-пассианс, генерал бросил наконец карты, зевнул, потянулся, поправил на голове колпак и взял книгу. Новая скука! Пробежать несколько страниц не долго и не трудно, и не в этом дело; но читать, когда читать не хочется, но глядеть в книгу, беспрестанно зевая и когда рябится в глазах не потому, чтобы хотелось спать, но потому что или книга скучна, или просто, как я уже сказал, читать не хочется,— какое ужасное положение для читающего! — Не знаю как вы, а я испытал это несколько раз и поэтому, признаюсь вам, я почти всегда с содроганием принимаюсь за всякую новую книгу.

Что делать? чем заняться? — Гранд-пассианс уже наскучил, книга не читается, лежать не лежится. Генерал, для рассеяния, спросил трубку; но и тут опять горе! Выкурив перед этим уже несколько трубок, он почувствовал от этой последней тошноту; позвонил в колокольчик, спросил стакан холодной воды, чтобы освежить желудок,— пить не хочется! Беда да и только! Одним словом, какое-то враждебное влияние, казалось, окружало его и над ним тяготело.

Прошедшись несколько раз взад и вперед по комнате, генерал снова позвонил в колокольчик.

— Иван! — сказал он вошедшему слуге,— выдь на двор и погляди, какова погода; да смотри, не ветрено ли? Все будет по крайней мере не так душно, как здесь,— продолжал он по уходе слуги и, снявши с головы колпак, повесил его на статуйку Медицийской Венеры, стоявшей у него на подзеркальном столике.

Слуга возвратился с ответом.

— Ну, так дай же мне поскорее одеться,— сказал генерал,— я хочу немного освежить себя воздухом. Мертвая скука!

Казалось, что какая-то таинственная сила невольно увлекала генерала на улицу.

Накинув на себя шинель и нахлобучив фуражку, генерал взял трость и пошел прогуляться. На дворе было уже часов около десяти.

Взявши дорогу, без цели и без намерения, по набережной Фонтанки и сделав несколько шагов, он стал дышать свободнее, освеженный воздухом. Ночь была тихая, но темная: порою выплывал из-за туч месяц, сребря фантастические края их или рассыпая перламутровый блеск по дымчатому их руну, и снова застилался тучами. Генерал шел, шел, шел, все прямо по набережной, и, наконец, поворотив на Чернышев мост к переулку, ведущему к Гостиному двору, пошел другою стороною Фонтанки, пробираясь уже домой. Время приближалось к двенадцати часам, стук экипажей уже изредка прерывал безмолвие ночи; свету в окнах большей части домов уже не было, пешеходы начали встречаться реже и реже, многие из фонарей уже догорали, и самые даже наши гостеприимные Фрины (прибавил, улыбнувшись, путешественник) молились уже дома перед лампадкою.

Ночь в столице поучительна для наблюдателя.

Вдруг, неожиданно, попадается генералу навстречу знакомец его, Вельский, молодой образованный человек. Он был закутан в широкий гишпанский плащ; на голове у него надета была шляпа также с широкими полями, подобная тем, какие носят в Англии квакеры, или, лучше сказать, она скорее походила бы на погребальную, если бы только тулья ее имела форму полусферическую, а не просто обыкновенную.

— Куда, любезнейший? — спросил генерал Вельского, подавая ему руку и остановившись с ним под фонарем на тротуаре набережной.

— В гости,— отвечал Вельский.— А вы, генерал, куда и откуда? Верно из гостей иль театра, или также в гости?

— Нет,— отвечал генерал,— просто прохаживался и возвращаюсь теперь домой.

— Но эти часы,— возразил, улыбнувшись, Вельский,— кажется не пора для прогулки без цели. Верно

какое-нибудь пленительное rendez-vous[1], генерал... впрочем, быть может, и весьма благоразумное... русый локон — прелестная, стройная ножка, как у подруги первого человека... или голубые глазки, озаренные каким-нибудь из блистающих теперь созвездий... Ха, ха, ха! Это, право, поэзия!.. Да и какая ж еще? — Романтическая, генерал!

— Ах ты повеса! Вечно шутки, да шутки!.. Совсем нет, любезнейший! ты ошибаешься: какая-то мертвая скука — хандра не хандра...

— Верно, сплин? — прервал Вельский.

— Не знаю.

— Далее, генерал?

— Выгнала меня из дому. Вот я и пошел прогуляться; и теперь, освежившись воздухом, чувствую, что мне стало гораздо лучше, однако ж еще не совсем.

— Долго ли вы гуляли?

— Да так, часов около двух.

— И вы не устали?

— Нимало.

— Прекрасно! И вы не хотите спать?

— Нисколько.

— Прекрасно. И вы говорите, что вам все еще скучно?

— Да.

— Прекрасно!

— Что за гиль ты городишь, любезнейший? Я право не понимаю, что ты хочешь этим сказать.

— Видите ли вы этот дом? — спросил Вельский и, вынув из-под плаща левую руку, на которой надета была белая лайковая перчатка — обыкновенная бальная принадлежность молодого человека, указывал на одно здание с прекрасным подъездом, у которого горели два кулибинских фонаря, или кенкета, отражая свет на мостовую.— Вот этот самый,— продолжал он,— который изнутри освещен так великолепно и мило?..

Генерал обернулся и в нескольких от себя шагах, в стороне, увидал в самом деле прекрасно освещенный дом, мимо которого, в своей задумчивости, прошел он без всякого внимания. У подъезда стояло несколько экипажей; в окнах третьего этажа горело множество свеч, и, если бы кто-нибудь в это время, с противуположной стороны набережной, взглянул на это здание,—

[1] свидание *(фр.)*.

глазам его представилась бы картина прелестная: дом, опрокинутый в воду, отражался в зеркальных зыбях ее с своим освещением, со всеми своими формами и даже с самым цветом стен своих: поэтому-то осенью блистательные иллюминации в Петербурге весьма живописны по набережным; иногда, по временам, раздавалась музыка, сквозь цельные стекла, с разноцветными гардинами, видны были горящие лампы, люстры и канделябры, картины в золотых рамах, бронза, вазы с цветами и проч.; в окнах мелькали иногда, как бы китайские тени, человеческие фигуры,— и вот прекрасный случай сказать с поэтом:

Перед померкшими домами
Вдоль сонной улицы рядами
Двойные фонари карет
Веселый изливают свет.
. . . .
. . . .
По цельным окнам тени ходят,
Мелькают профили голов
И дам и модных чудаков...
и проч., и проч., и проч.

— Прекрасно, прекрасно, генерал! — повторил Вельский, ударив дважды, как бы в утверждение истины слов своих, рукою в руку.

В это самое время снова раздался из дому звук бальной музыки.

— Но что же есть общего,— спросил генерал,— между этой вечеринкой и мною?

— Очень много,— отвечал Вельский,— более, чем между поэзией и музыкой, между желанием и эгоизмом, между идеалом и его отблеском, великим умом и безумием, деньгами и всем на свете,— несравненно более, наконец, чем между Гомером и экзаметром.

— Все это для меня тарабарская грамота, любезнейший! — отвечал генерал,— ровнехонько ничего не понимаю!

— В таком случае я объяснюсь понятнее,— сказал молодой человек, улыбнувшись; но в улыбке его было что-то необыкновенное, странное: одним словом, какое-то фантасмагорическое слияние горькой и грешной насмешки с обыкновенною игрою мускулов.— Вот в чем дело,— продолжал он,— я приглашен на этот бал, или, лучше сказать, на эту дружескую маскерадную вечеринку; хозяин мне хороший приятель; одним словом —

все семейство премилое: вам скучно, генерал,— и вот прекрасный случай рассеяться; пойдемте вместе на вечеринку: хозяин и хозяйка вам будут от души рады. Вы найдете там лучшее общество... даже, как я слышал, будут читать стихи... поэзия, разумеется, домашняя; но когда же дружба бывает слишком взыскательна? — Музыка, танцы...

— Но я не танцую, любезнейший! — сказал генерал.

— Бостон, вист...

— Я не играю в карты.

— Молодые девицы с их полувоздушными талиями, которые легко бы могли поколебать добродетель и самого старого анахорета и которых наши новейшие трубадуры, с их феодальными мандорами, верно уподобили бы очаровательным феям, танцующим при луне и чуть-чуть приклоняющим мураву легкими и стройными их ножками; одушевленная кинетозография, излияние сердца, остроты, шутки, игры, живые картины, дипломатика,— одним словом, есть тысяча средств приятно рассеяться на вечеринке, и особливо на такой, какова эта.

— Но я не знаком с хозяином, любезнейший!

— Зато я короткий приятель в доме,— отвечал молодой человек,— член одного семейства; и, как я уже сказал вам, хозяин и хозяйка — люди прекраснейшие — будут более чем рады, генерал, если вы их обяжете вашим посещением.

— Благодарю за честь, любезнейший! — отвечал генерал,— однако ж я лучше ворочусь домой и почитаю Библию: я остановился, кажется, на одиннадцатой главе Книги Бытия, и еще в первый раз в моей жизни. Ах! почтеннейший, рано или поздно, а все-таки надобно приняться за Библию.

Вельский захохотал почти во все горло . . . . .

— А который вам год, генерал?

— Да вот уж, брат, с прошлых заморозков стукнуло за половину пятого десятка.

— «Аще в силах — и восемьдесят» — сказано в этой же самой книге,— продолжал Вельский с насмешливою улыбкой.— Рано же вы, генерал, хотите отретироваться из-под знамен наслаждений жизни... Но не об этом дело; я знаю, что искушать пустынника есть только напрасный труд; впрочем, как бы то ни было, я неотступно зову вас на вечеринку. Вы встретите там несколько таких предметов, которые, ей-ей, будут в силах

вскипятить в вас стынущую от уединения кровь; и клянусь вам — всем, чем вы хотите,— что светленькие и черные глазки той красивой головки, которую вы там увидите, могут, не хуже гальванизма, привести в движение все нервы даже у самого мертвеца и — говорю по совести — должны решительно вскружить и вашу голову.

— Соблазнитель!..— воскликнул генерал, улыбнувшись в свою очередь.— Перестань, греховодник! — продолжал он,— хоть ты и резов на слово, но как бы то ни было, любезнейший, а я все-таки пойду домой, дочитаю одиннадцатую главу Книги Бытия и потом, оградясь крестным знамением, лягу спать,— и верно засну, с божиею помощью.

К великому удивлению генерала, разговаривавшего, как мы уже сказали, под фонарем с Вельским, он приметил, что этот последний сделал ему какую-то ужасную гримасу и что какой-то туман начал его скрывать от глаз его, сквозь который едва приметное одно только лицо Вельского светило как пламень пожара при застилающем его дыме. Генерал протер себе глаза, чихнул несколько раз, почувствовав под носом серный запах, и, между тем как мысленно приписывал он причину этой странности преследовавшей его скуке, Вельский снова представился глазам его в обыкновенном своем виде.

— Ахти, господи-Христе-Иисусе! — воскликнула изумленная Матрена Прохоровна, перекрестившись невольно.

— Ну, отец мой Сергей Сергеевич, что-то будет далее?

— Да, любопытно знать,— прибавил Савва Трофимович,— что окажется далее?

— Я не буду без нужды,— продолжал путешественник,— входить в подробности разговора Вельского с генералом. Скажу только, что неотразимое красноречие Вельского наконец восторжествовало и он убедил генерала пойти с ним на вечеринку.

Дорога была не долга: стоило только с тротуара набережной сделать несколько шагов через улицу.

Красивая и освещенная лестница, на последней площадке которой стоял гипсовый рогатый Сатир колоссальной формы, вела в третий этаж того дома, куда при-

шли генерал с Вельским. Войдя в переднюю, генерал с трудом перевел дух, почувствовав в груди сильную одышку.

Лакеи встали, и один из них, в галунах и красной ливрее, снял шинель с генерала и плащ с Вельского.

Генерал и Вельский вошли в залу, где мужчины, на нескольких столах, играли в карты — статские, военные, придворные. Восковые свечи на ломберных столах горели в серебряных шандалах и, отражаясь в хрустале зеркал, украшавших простенки, представляли какую-то мечтательную галерею других фантастических гостей, со всеми их телодвижениями, или, лучше сказать, одушевленную космораму существ оптических или идеальных. Вельский представил генерала хозяину, вошедшему в эту самую минуту из гостиной в залу, человеку уже более чем средних лет, почтенной наружности, с звездою на груди и с знаком отличия беспорочной службы на ленточке храбрых.— При сих словах Савва Трофимович, с видом самодовольства, посмотрел на третью петлю левой полы своего фрака, где на Владимирской ленточке рисовался золотой дубовый венок с четырьмя десятилетиями посредине.— «Я должен сказать вам,— продолжал путешественник,— что почтенный хозяин жаловался, однако ж, что его обочли годами по формуляру».

— Конечно, еще по новости и при самом начале,— сказал Савва Трофимович, чистя обшлагом свой знак отличия беспорочной службы.

— Без сомнения,— отвечал путешественник и продолжал далее.— После обыкновенных с обеих сторон учтивостей, извинений на счет туалета, нисколько не соответствовавшего бальной вечеринке, и благодарности за честь посещения, хозяин ввел генерала в гостиную, где сидело несколько разряженных женщин по последней парижской моде, и представил жене своей, молодой и прекрасной даме, одушевлявшей беседу своею любезностию.

— И верно говорил по-французски? — сказала Пелагея Саввишна.

— Какой вопрос, мой ангел! — прервала старшая ее сестрица.— Разумеется, по-французски, потому что в хороших обществах не говорят по-русски, да это и не в тоне. Не правда ли, Сергей Сергеевич, что верно ведь говорили по-французски?

— Без всякого сомнения,— отвечал путешествен-

ник,— вечеринка была одною из лучших и самая блистательная.

— Ах, вы мои зяблицы!..— воскликнула Матрена Прохоровна.— Ну, отец мой Сергей Сергеевич, хозяин с генералом вошли в гостиную...

— Да,— продолжал путешественник.—Тысячию любезных учтивостей прелестная наша хозяйка увила признательность свою генералу за то неожиданное удовольствие, которое доставлял он им своим знакомством. В самых блистательных цветах французских фраз благодарила она гостя, который, худо понимая по-французски или, лучше сказать, вовсе не понимая и, следственно, всегда охотнее объясняясь на языке отечественном, должен был, к сожалению, отвечать по-русски и складывал всю вину на Вельского...

— Quelle horreur! [1] — прошептала вполголоса Степанида Саввишна.

— Напротив, генерал,— отвечала хозяйка (продолжал путешественник),— Вельскому-то именно я и должна быть благодарна,— и бросила такую улыбку на молодого человека, от которой запрыгало бы и оледенелое сердце анахорета.— Наконец, генерал,— сказала она,— прошу вас быть без церемоний как дома: никогда не бывали вы на такой дружеской и единодушной вечеринке.

— Как нравится вам хозяйка, генерал? — спросил Вельский.

— Она очаровательна; что за глаза, какие розы в щеках, зубы как жемчуг; а улыбка, любезнейший!..

— О! да это поэзия, генерал!

— Поневоле будет поэзия, любезнейший, как поцелуешь такую нежную и пухленькую ручку...

— Завидую вашей участи,— отвечал Вельский с насмешливою улыбкой, которой, однако ж, собеседник его не заметил. И в самом деле, генерал стал веселее и разговорчивее.

— О! то ли еще вы увидите!..— сказал Вельский.— Но слышите ли вы пленительные звуки мазурки? Пойдемте взглянуть на маски, на танцы и посмотрим на воздушных прелестниц.

— Соблазнитель!..— прошептал генерал, погрозив ему пальцем.

Они вошли в залу.

---

[1] Какой ужас! *(фр.)*

Зала была блистательна и великолепна. Тысячи восковых свеч отражали блеск свой в кристалле зеркал и на паркете. Портреты в золотых рамах, все в рост, были так живы, что, как говорит один из великих наших поэтов, хотели, казалось, сойти со стен и принять участие в общем веселье; мраморные статуи ожидали только благоприятной минуты, чтобы спрыгнуть со своих пьедесталов. Одним словом, это был храм очарований. Прибавьте ко всему этому пестроту и ослепительный блеск костюмов, ароматы с кудрей красавиц и платков молодых франтов, музыку, живые гирлянды и букеты танцующих — и вам не трудно будет дорисовать картину.

— Клянусь блистательным усом Пророка! — воскликнул Вельский,— если бы я был Великим Султаном, в гаремах моих было бы столько Одалиск, сколько роз в садах моих; но все эти девицы и дамы были бы лучшим цветом моих Гинекеев: все они так прелестны!

Генерал, щурясь, пристально всех их рассматривал.

И в самом деле, вечеринка была блистательная!

Некоторые из дам и кавалеров были в костюмах и масках, другие без масок.— Посмотрите, как ласково этот голубой атласный корсет обнимает полувоздушную талию этой молодой андалузянки, с блестящими как жемчуг зубами; кажется, он весь прилип к ней, нет ни одной складки, ни одной негладкости: белая, пышная кисейная юбка, опущенная немного ниже колен, свободно и без ревности дает видеть ненасытным глазам стройную и прелестно округленную ножку, которую с жадностию обхватывает черный бархатный башмачок, почти весь открытый и с маленькою золотою пряжкою: не слышно, как она ступает; при каждом полете ее, голубая атласная подвязка блестит и мелькает, заставляя сердце упоенного любовника трепетать учащенным биением... О Урсула блаженная! разве не видите вы, как страстно он прижал ее к пламенеющей груди своей, прежде чем выпустить ее из своих объятий и передать другому кавалеру... между ими один только воздух. Но не грусти, молодой человек, ты не надолго с нею расстался!.. К каштановым волосам ее приколота роза.— Как пленительна и эта белокурая девушка в малиновом сарафане; как пристала к голубым глазам ее эта серебряная глазетовая повязка; белые руки ее обнажены по локоть, как милы эти красные сафьянные чоботцы; в косу ее вплетена алая лента; святые угодники! какой

пышный бант в этой русой красе девичьей!.. А ты, таинственная незнакомка,— кто ты, очаровательница? Какой пленительной белизны, какой сладострастной округлости твои обнаженные руки; как обольстителен этот золотой браслет на этом снегоподобном мраморе с голубыми жилками; мягкие и как шелк блестящие кудри твои, чародейка, рассыпанные по твоим плечам алебастровым, чернее потухшего угля; все формы ее прелесть и воздух; все движения — жизнь и гармония; нет слов — в звуках языка человеческого, нет красок на палитре Рафаэлевой, чтобы изобразить эту волшебницу: если бы я был Праксителем или Кановою, клянусь вам знаменитым прахом всех катакомб римских, я бы пошел на пытку и плаху, чтобы мне изваять только к ней статую!.. Силы небесные! свейте эту ревнивую маску с лица прелестницы!..

Какая блистательная смесь кадрилей и одеяний!.. Как мила эта пышная роза на груди этой молодой италианской садовницы; и как печален этот прелестный букет в руках этой старой ведьмы!..

А этот господин в красном французском кафтане с стразовыми пуговицами, из-под фалд которого, сзади, виден закорюченный хвостик; в напудренном парике с пуклями, который прорезывают два небольших и блестящих как отполированный агат загнутых рога; с дворянскою шпагою восемнадцатого столетия и с собачьей мордою?.. Клянусь вам, если бы это не была только маскерадная вечеринка, его бы можно было назвать самим Сатаною!..

Взгляните на эту молодую савоярскую крестьянку, роскошную как весна в своем цвете: она ласково сидит на коленях у своего мужа; левую руку свою, обвив ее около шеи своего друга, она положила ему на голову, подняв вверх два пальчика, прелестные, стройные, с блестящими и розовыми ногтями, обведенными по краям опалом или перламутром — большой и указательный: другою нежно держит она его за подбородок, приподняв ему немного голову, и говорит: «Посмотрите, как он любезен!» — Картина и группа прелестная!..

И генерал не знал, на которой из очаровательниц остановить ему глаза свои. Он чувствовал, что ему легче, веселее, игривее; что он смотрит на предметы, как они представлялись ему лет за пятнадцать, то есть ярчее, живее, цветистее; что кровь течет резвее по жилам его: столько-то справедливо, что есть звуки, формы и

фантазматы, которые имеют силу магическую, и что сердце никогда совершенно не стареет!

И вся станционная компания — и сам даже офицер внутренней стражи (за исключением доктора Генкера, который, с закрытыми уже глазами и в степенной неподвижности, опустил бесконечный и перпендикулярный нос свой в недопитый им еще стакан пунша),— и вся станционная компания, повторяю, была внимание и нетерпение.

— Я не буду описывать вам,— продолжал путешественник, нимало не заботясь о том, чтобы скорее удовлетворить любопытству своих слушателей,— я не буду описывать вам костюмов, кадрилей и масок; это бы значило употреблять во зло ваше терпение; скажу одним словом, что все они, более или менее, отличались вкусом и выбором; но были, однако ж, и маски странные, фантастические: например, тут ходила лошадиная нога, там ветряная мельница, размахивая своими крыльями; здесь летал безобразный нетопырь, там выступал скелет отвратительный: от всепожирающего разрушения уцелели одни только глаза, страшно вращавшиеся в их костяных орбитах; тут поражал зрение могильный вампир с окровавленною пастью, в истлевшем саване и с такими же волосами, готовыми разлететься пеплом при первом на них дуновении; там, вроде гнома, катилось что-то похожее на колесо без обода, и в ступицах коего, по обеим сторонам, пылали два страшные глаза, а вместо спиц торчали уродливые и тинистые руки; одним словом, противуположность была блистательная: жизнь, цветы и прелесть сливались с безобразием и гнусностию, и, обратно, безобразие и гнусность были смешаны с жизнию, цветами и очарованием.— И в самом деле, то была прелестная маскерадная вечеринка!

— А! — сказал Вельский,— вот к нам подходит та красивая головка с светленькими и черными глазками, о которой я говорил вам. Не правда ли, генерал, что она мила, очаровательна? Нет, кажется, ничего необыкновенного,— а вся прелесть! Глаза как брильянты!

Музыка заиграла Польской. Она с любезностию пригласила генерала на танец; и мог ли он отказать ей? Генерал вспомнил свои юные годы, шаркал, подавал руки с грациозностию и не забыл даже ни одной фигуры в своем полонезе. О! как оживляют сердце красота и молодость! Наконец все хлопнули в ладоши, и из степен-

ных, медленных тонов оркестр слился в живые и быстрые звуки вальса; и все закружились — и все кружились, кружились, кружились. Генералу казалось, что вихорь уносит его, что под ногами его исчез пол — он смотрит на свою даму... Творец небесный! У нее, как флюгер, вертится головка на плечах — и какая головка! Она хохочет, мчит, увлекает его, не выпускает из своих объятий, кружит как водоворот; он едва дышит, он готов уже упасть... но музыка стихла, и генерал, в ту же минуту, как будто бы не вальсировал, как будто бы вовсе не чувствовал усталости. Однако ж он отер пот, катившийся с него градом.

Подали чай, прохладительный; Вельский не оставлял почти ни на минуту генерала, который, несмотря на то, что никогда не был охотником до наблюдений, не мог, однако ж, не сделать ему одного замечания: «Я согласен,— сказал он,— что все эти девицы и дамы очень милы; но отчего, любезнейший, у некоторых из них козлиные ножки, у других копытцы, у третьих гусиные лапы?»

— Это шалость молодости, игра воображения,— одним словом, маскерадная утонченность,— отвечал Вельский.

— Проказницы! — сказал генерал,— ведь умели же ухитриться!

— Да и как! — прервал Вельский, указывая на некоторых из костюмированных мужчин,— вздумали, как вы видите, приставить рожки мужьям своим.

— Ну, это еще куда бы ни шло,— отвечал генерал,— копытцы-то, любезнейший, копытцы — даже и у этой красивой головки с брильянтовыми глазками,— хоть правду сказать, уж чересчур вертлявой.

Вельский, при всем желании своем, не мог удержаться от смеха.

Звук оркестра снова прервал разговор их. Хозяйка подала генералу руку, и он опять не мог отказаться, чтобы не принять участия в танцах. Французская кадриль развилась во всей своей прелести; когда же она обратилась наконец в вакхический тампет, то все зашумело, захлопало, запрыгало: оркестр гремит, шпоры бренчат, стук, хлопотня, топот — настоящая буря! Генерал прыгает, хлопает в ладоши, скачет как сумасшедший; из окон, с улицы, кивают ему какие-то безобразные рожи; в глазах у него все летит, все мчится... Глядь на стены: рамы пусты; смотрит: на пьедесталах нет

статуй. Иаков II прыгает с Анною Бретанскою, Генрих IV скачет с прабабушкою хозяйки, Людовик XIV поймал Семирамиду, Аполлон Бельведерский пляшет вприсядку с Царицею Савскою, фельдмаршал Миних ударил трепака с Венерою Медицийскою; стены трясутся, стеклы звенят, свечи чуть-чуть не гаснут, пол ходит ходнем... кутерьма да только — точь-в-точь дьявольский шабаш!.. Но оркестр снова замолк — и все пришло опять в прежний порядок.

Надобно было, признаюсь вам, всего влияния Вельского на ум генерала, чтобы успокоить его мысли. В молодости своей он бывал на балах и в маскерадах; но никогда еще не видал, чтобы оживали мертвые, чтобы плясали картины и статуи. Но красноречие Вельского изгладило из мыслей генерала всякое сомнение. Столько-то справедливо, что дар слова не вовсе же бесполезен.

— Вы согласитесь,— продолжал путешественник,— что танцы могут иногда наскучить и что разнообразие составляет прелесть жизни. Французская кадриль и вальс были заменены игрой в фанты. О! как прелестна эта игра в фанты! Молодая девушка, которая с открытыми глазами никогда бы не осмелилась прикоснуться к вам пальчиком, с повязкою на глазах, напротив, садится беспечно к вам на колени; поцелуи позволены; одним словом, это поэзия романтическая. Не отказавшись уже от танцев, от тампета вакхического, этого дифирамба Терпсихоры, мог ли генерал не принять участия и в самой игре в фанты? Труден обыкновенно только первый шаг. Наконец, когда в свою очередь вынулся фант генерала, хозяйка, королева игры, предложила ему спрыгнуть с комода. Дело, кажется, было не трудное: стоило только стать на стул, потом на комод — и сделать прыжок; но у генерала, как говорится, замирало сердце от страха. Три раза он уже готов был спрыгнуть, стоя на комоде, как бы какой-нибудь народный оратор на пивной бочке,— и снова три раза не мог он решиться. Все шутили, смеялись, никто не хотел верить, что он бывал в сражениях, что на приступах ему случалось обрываться с парапетов. «Ну! благослови господи!» — сказал наконец генерал — и перекрестился... Свечи, гости, зеркала, люстры, картины, статуи — все вдруг исчезло, и генерал очутился, один-одинехонек, ночью... где бы вы думали? — На лесах в четвертом этаже.

— С нами крестная сила! — воскликнула Матрена Прохоровна,— с нами крестная сила!.. Ну что, если бы он спрыгнул, мой родимой, с четвертого-то этажа на мостовую?

— Тогда бы он непременно убился до смерти,— отвечал полицмейстер,— и тело его, на первый случай, было бы взято в полицию.

— Дело важное, криминальное! — воскликнул Савва Трофимович.

— Позвольте заметить вам,— возразил офицер внутренней стражи, обращаясь к Сергею Сергеевичу и думая поймать его в злоупотреблении,— вы, кажется, сказали, что вечеринка была в третьем этаже.

— Э! помилуйте,— отвечал путешественник,— что значит для Сатаны подняться на этаж выше? — И офицер замолчал, убежденный неотразимым доказательством путешественника.

— И эта гистория действительно достоверная? — спросил Савва Трофимович.

— Не подверженная ни малейшему сомнению,— отвечал путешественник,— я слышал ее от самого генерала, который только что оправился от *белой горячки*.

Н. В. КУКОЛЬНИК

АНТОНИО

Величайшие счастливцы, по моему мнению, скрываются в неизвестности: их не заметит взор милостивца, минует почесть, забывает или, лучше, не помнит потомство. Ничтожество спасло их от благодарности, славы и истории и схоронило без монументов и похвальных слов. Поступки их не были подчинены самовольной контроли крикунов, составляющих, от *нечего делать*, общественное мнение, как журналисты составляют моды картинками повременных изданий.

Завидная участь! Но есть род людей странного порядка, не менее счастливый, по крайней мере в отношении к потомству: это люди с огромною посмертною славою и без истории. Они оставили великолепные памятники своих гениальных способностей, но ни одного предания о своей жизни. Одна невыгода: жизнь таких людей делается добычею поэтических сказаний, основанных большею частию на личном характере рассказчиков и одно другому противоречащих до того, что, например, Антонио Аллегри да Корреджио, по их словам, был и богат и беден, женат на двух женах и холост, имел многих детей и ни одного, родился и умер в разных годах, был и не был в Риме, и т. д.

Мало. Поэзия сочинила для него рост, лицо, глаза, характер, язык, нанесла ему множество обид и оскорблений и, наконец, уморила под тяжестию медных денег. Со смертию, казалось бы, все должно кончиться. Нет; поэзия преследовала детей, и вот рассказ, почти переписанный с итальянской рукописи XVI-го столетия, как доказательство.

Не доезжая до Модены, можно сказать за несколько шагов, на небольшом пригорке стоит еще и доныне некрасивая австерия с большою вывеской. Дождь уничтожил даже следы красок, и только внизу на полинялом поле с трудом можно разобрать MCCCCC(Д) XXIV. Несмотря на совершенное отсутствие изображений, хозяева австерии, один другому наследуя в продолжение четырех столетий, ни за какие благополучия

не хотят сменить медной доски, продолжают называть ее Золотым Рогом, часто упоминают о Богине Изобилия, а простолюдин, считая древность святынею, никогда не проходит мимо, не преклонив колена и не сотворив креста перед вывескою Золотого Рога.

Но, в 1573 году, и австерия, и вывеска были в весьма хорошем состоянии; Модена кипела жизнью; каждый день новые гости; посольства, обозы, пешеходы часто у австерии ожидали утра, многие любовались изображением «Богини Изобилия»; многие приходили в австерию нарочно для прекрасной вывески. Действительно, живопись не лишена была некоторых достоинств, носила характер новой школы, недавно распространившейся в Северной Италии, и считалась произведением самого Корреджио. И неудивительно, что вывеска с таким знаменитым именем привлекала толпу любопытных. Прошло не более сорока лет после смерти божественного Корреджио: в каждом трактире утверждали, что Корреджио был постоянным его посетителем; вывески с его именем умножались, как ручники и копии в монастырях итальянских; во всех местах, где были картины Аллегри, рассказывали анекдоты о великом мастере; противоречиям не было конца: в Париже он был богачом, в Модене нищим; в Корреджио домовитым, счастливым семьянином. В австерии Золотого Рога ни о чем более не говорили, как о знаменитом творце вывески.

Утро воскресного дня освещало шумную Модену; посетители в этот день не засиживались в австерии: они спешили в город, опасаясь опоздать к обедне. Хозяин, плечистый, высокий мужчина, отпустив всех гостей, лежал под навесом, пристроенным к австерии, откуда путешественники могли любоваться панорамою Модены и видом на озеро, которое, как в золотом ковше, колыхалось в высоких скалах. Изредка приподымался он поглядеть на дорогу и угадать в далекой пыли богатого всадника или поселянского мула; привычное ухо по походке узнавало бедного пешеходца, и Бартоло (хозяин) оставался недвижим. Вдруг он услыхал песню, которая заставила его содрогнуться, не по содержанию — в песне не было смысла,— но по странному голосу певца. И так близко! на небольшом лугу, перед самым навесом, где стояли скамьи и столики и распивалось дешевое вино. Какая-то злоба в голосе; дикость, грубость и вдруг тоска черная, неисходная в словах бессмыслен-

ных! Бартоло вскочил и с высокого навеса громовым голосом закричал: «Кто там?» Вместо ответа старик продолжал песню... На сердце Бартоло стало еще страшнее, когда он увидел за одним из столов старика лет около шестидесяти, без шляпы; на лысой голове торчало два-три клока желтых волос; весь лоб в крупных и мелких морщинах; уста неизменно хранили злобную улыбку; глаза серые, но блестящие, бегали в разные стороны, как будто вечно искали чего-то; одежды на нем почти не было; какие-то лохмотья покрывали туловище; босые ноги носили все признаки далеких или по крайней мере частых путешествий пешком и без обуви; нагие руки, прогорелые от солнца, были протянуты вдоль стола и так же неподвижны, как и весь старик; только бегающие глаза и уста, шевелившиеся от песни, свидетельствовали о жизни страшного посетителя. Бартоло несколько времени не мог произнести ни слова. Ему не в диковину были посетители разного рода: он видел на своем веку и разбойников, и военных грабителей, и нищих-мошенников, и полоумных, но такой страшный старик никогда и не снился Бартоло. Опомнясь несколько и тихо творя молитву, сошел Бартоло вниз, подвязал к поясу нож, схватил дубину и вышел на свой луг с повелительным видом, но со смутою в душе. Почти в то же мгновение в городе раздался в разных местах благовест; старик вскочил из-за стола, бросился на колени и начал громко читать молитву; в словах молитвы было почти столько же смыслу, как и в песне, но лицо и глаза выражали искренность. Бартоло сам невольно снял шляпу, преклонил по обычаю колено, обратился к городу и сотворил краткую молитву. Почти в одно время оба встали, взглянули друг на друга и безмолвствовали. Злобная улыбка не оставляла старика, глаза бегали.

— Что тебе нужно? — спросил наконец Бартоло.

Старик не отвечал, а приложил руку ко лбу, как будто стараясь припомнить, что ему нужно.

— Кто ты? откуда? зачем? — продолжал спрашивать Бартоло.

Старик расхохотался. «Кто я? — со смехом спросил он,— кто я? кто я?» И этот вопрос был повторен несколько раз, и с каждым разом старик становился мрачнее. «Не дай Бог вспомнить! Только животные не узнают детей своих... а впрочем, она не виновата; бесплодная самка ласковее римской матроны... Да кто же я?

пошли спросить в ближнюю деревню у сестры моей... Нас было двое... Может быть, она уже проснулась... Она все помнит... все расскажет... Нет! Напрасно, не посылай: она ничего не расскажет... Мы любили его...»

Во время этой речи злобная улыбка сменилась грустною; глаза перестали бегать; на лице разлилось тихое пламя; старик вдруг поумнел; взглянув на Бартоло и как будто припомнив первый вопрос, сказал тихо, почти шепотом: «Извини, хозяин! Мне ничего не нужно»,— и пошел по дороге медленно, с трудом передвигая дряхлые ноги.

Бартоло, несмотря на звание, в котором редко живет сострадание, был человек набожный. Не накормив отпустить нищего, по справедливости, считалось тогда грехом смертельным; разрешение такого греха дорого стоило прихожанам, и Бартоло поспешил удержать старика, усадил за стол, вынес белый хлеб, домашний сыр и стеклянный сосуд с туземным плохим вином. Старик молча пожирал пищу и запивал вином. Бартоло считал долг свой совершенно исполненным, вошел в австерию, запер ее изнутри и опять улегся под навесом.

Далеко на дороге поднималась пыль; песочные облака, приближаясь, делались больше и больше; ветер дул в спину всадникам, и Бартоло, несмотря на всю зоркость и опытность глаз, не мог угадать ни достоинства, ни числа путешественников. Уже у самой австерии, на повороте, пыль пошла в сторону, и счастливый Бартоло увидел до двадцати всадников в богатом костюме: некоторые были вооружены с ног до головы, другие вовсе без оружия и без бороды, иные только с поясными ножами. Безбородые тотчас забегали и засуетились; успели узнать имя хозяина, что у него есть, чего нет. Бартоло, со своей стороны, успел узнать, что едет граф ди Кастанеи из Пармы в Модену с поручениями и полномочиями от самого императора. Безбородые пажи поспешили овладеть всеми комнатами австерии; обшарив все углы, они выскочили из австерии и бросились на старика. Страшный вид его мог испугать графиню Розалию ди Кастанеи, в которую, между прочим, все пажи были влюблены до безумия. Один из них схватил уже старика за руку, но старший из прекрасной фамилии Константини, благовидный и статный юноша, маркиз Лука, остановил шалуна.

— Не троньте, синьор, бедного старика; он уйдет и сам.

— Когда кончу мой обед,— сквозь зубы сказал старик.

— Это невозможно! — воскликнул маркиз.— Графиня сейчас приедет. Возьми свое вино с собой и окончи его где-нибудь за кустом.

Старик молчал. Бартоло подошел к нему с гневным видом и сказал:

— Ступай, ступай с богом! Возьми с собою и стекло. Пригодится воды зачерпнуть на дороге.

— Хлеб с попреком хуже яду,— сказал старик, подымаясь.— Иду, потому что ты в своем доме хозяин. А жаль, что от доброго дела тебя могут отвлечь ливрейные мальчишки!..

— Ливрейные мальчишки! ливрейные мальчишки! — закричали пажи, и бедный старик был уже у ворот низкой ограды, отделявшей область австерии от дороги. В самое то время поезд графа появился у той же ограды; пажи бросились вперед, а старик, измученный их толчками, упал без чувств и загородил телом своим узкие ворота. Напрасно Бартоло старался оттащить его в сторону. Кастанеи, приметив последствия шалостей своих пажей, первый соскочил с коня, гневно взглянул на них и благородными руками помогал Бартоло. «Воды!» — закричал граф... Бартоло бросился в австерию; дамы и рыцари окружили старика и старались помочь графу. Скоро очнулся старик, и дамы, с криком, без оглядки, убежали в австерию от страшных глаз его. Припадок сумасшествия испугал даже графа. Старику казалось, что ангелы изгнали его из дома блаженства; потом ему казалось, что мачеха подкупила уличных мальчиков убить его, и он схватил огромное бревно, которого не поднял бы ни один из предстоявших рыцарей, и гонялся за пажами. После многих выходок безумия, он бросил бревно за ограду с необыкновенною силой, упал перед графом на колени и залился слезами. Кастанеи не препятствовал слезам и держал в руках своих горящую голову безумца. Когда он успокоился, граф, с помощью рыцарей, приподнял его, усадил на прежнюю скамейку и сел возле. Опять то же странное, грустное спокойствие воцарилось на лице старика; опять то же упрямое молчание. Рыцари в стороне расспрашивали, что случилось с ним; Бартоло рад был порассказать повесть, с прикрасами, выхваляя свою щедрость, но граф прервал его рассказ: «Хозяин! вина и чего-нибудь закусить страннику». Принесли. Старик посмотрел на

графа ласково, улыбнулся и начал во второй раз обедать. Желая восстановить общее спокойствие, граф приказал позвать пажей и просил за них у старика прощение.

— Дети, дети! — говорил старик.— Мы сами шалили,— и начал смеяться,— да не долго; нас умели унять.— И начал плакать.

Граф переменил разговор. «Что у вас, хозяин, слышно хорошего в Модене?»

Бартоло начал рассказывать все слухи, оставленные проезжими в его австерии; старик продолжал есть, не обращая ни малейшего внимания на его рассказ; но когда Бартоло коснулся вывески Золотого Рога, старик поставил кубок, взглянул на хозяина, на вывеску и затрепетал всем телом. Всеобщее внимание естественно обратилось на него. Он глядел на вывеску, протянул к ней коричневые руки; слезы лились из глаз, уста были открыты. После минутного молчания, он схватил за руку графа и на ухо сказал ему: «Не верьте! Эта вывеска моя, а отец мой поправил только левую руку и прошел драпировку на правом колене. Я не хочу, чтобы плохие произведения сына вредили заслуженной славе отца!»

Эти слова в высочайшей степени возбудили любопытство графа.

— Не хотите ли отдохнуть? — спросил он старика, который, казалось, дремал: так он погружен был в грустные размышления!

Старик как будто проснулся, встал, перекрестился, поклонился графу и хозяину.

— Да, пора отдохнуть. Авось приснится что-нибудь лучше моих воспоминаний!.. Прощайте! Благодарю!..

— Куда же? — спросил граф.

— Там, у ручья, я видел прекрасную рощу...

— Что вы? что вы? В ваши лета! Приближается зной: вы сгорите на открытом воздухе. Пойдемте лучше со мною.

Старик повиновался и через несколько минут спал на походном тюфяке графа сном праведника.

Когда старик проснулся, граф стоял над ним, облокотясь обеими руками на спинку высокого стула.

— Каково почивали?

— Сладко! — отвечал старик.— Сладко!

— А что снилось?

— Отец. Мы с ним помирились.

— Но он, я думаю, давно уже умер?

— Вчера!.. Я был на его погребении, назло мачехе. Я оттолкнул ее детей от дорогой могилы и собственными руками набросал землю на гроб Антонио Аллегри. Вся Корреджио плакала со мною. Священник от слез не мог читать молитв. Одна она не плакала: злоба в ней была сильнее печали!..

Старик закрыл лицо руками; мгновение,— он отер кулаком град слез; еще мгновение,— он стал весел, любовно смотрел на графа и опять заговорил:

— Я много помню! много! Зачем я это все помню?.. Мне было двенадцать лет; я возвращался из школы; меня встретила сестра моя, Вероника, со слезами на глазах. «Скорее, Лоренцо, скорее! — кричала она мне издали.— Маменька плачет». Маменька плачет! Это показалось мне так невероятным! Кроме улыбки и сладкой слезы во время молитвы, другого выражения никогда не видал я на прекрасном лице матери. Я бросился прямо к ней в спальню... О, ужас! она точно плакала. Я целовал ее руки, плакал сам и молил открыть причину слез. Она указала на грудь и проговорила только одно слово: «Болит!»

Старик встал и повторил слово «болит» таким пронзительным голосом, что даже сам граф невольно вздрогнул, а в дверях показалась бледная женская головка и опять спряталась.

— Не спина, не плечи,—кричал старик,—несут бремя жизни, но одна грудь, кладбище живых покойников, кровавых тайн. Не отпадают эти аспиды, пока не замучат жилицу сердца, пока не обратят в пустыню ее жилища!.. Четырнадцать тысяч пятьсот девяноста два раза я видел восхождение солнца с тех пор, как у моего сердца висит аспид. У меня был друг — сон, изменил; была подруга—сестра, умерла; все и всех мне заменил аспид; мы подружились; тайна стала моею жизнию... Славно! Это все одно, что деньги, что хлеб — средство существования... Не правда ли?

— Так. Но чем же была больна твоя мать?

— Тайною, кровавою тайной; страшнее тайны у женщин не бывает. Но я, ребенок, я ничего не понял. Я бросился к отцу, нашел его в мастерской: он писал Мадонну... «Маменька больна, маменька больна!» — кричал я еще издали.

— Знаю,— отвечал Антонио так равнодушно, что я, по невольному чувству, как вкопанный, остановился

посреди мастерской и не мог произнести ни слова...— Где ты шатаешься? Ступай работать, лентяй! — продолжал он сурово.— Вторая нечаянность! Обыкновенно Антонио встречал меня поцелуем и ласковым приветом. Смущенный, я не знал что говорить, что делать; сами собой губы мои лепетали: «Но маменька... маменька...»

— Пройдет, пройдет! Не в первый раз,— сказал Антонио и ушел, хлопнув дверью.

Скоро все пришло в прежний порядок; ввечеру мы с Вероникой шалили на лугу; маменька толковала с соседкою, сидя на земляной софе у дома; отец выделывал для нас из дерева какую-то хитрую игрушку; совершенно по-вчерашнему... и мы забыли и о прошедшем. Несколько дней спустя, поутру, ни свет ни заря, поднялся в доме шорох; первый проснулся я. Мимо меня мелькнула какая-то женщина в комнату, которая разделяла нашу спальню от мастерской Антонио; за нею и сам Антонио, совершенно одетый... Так рано! Я вскочил в комнату,— двери заперты... К матери,— она поспешно одевалась. На вопросы мои она довольно покойно сказала: «Пришла натурщица». И это меня почти успокоило.— «Но зачем так рано?» — «Видно дело к спеху».— «Но зачем папенька запер не мастерскую, а комнату с круглым столом?» — «Не знаю,— отвечала Мария, с приметным смущением.— Видно, так нужно. Иди, мой друг, спать. Напрасно ты встаешь так рано. Иди, иди, Лоренцо!» Взяв за руку, она отвела меня в спальню и заставила улечься. Пока я раздевался, она невольно поворачивала голову к дверям комнаты, прислушивалась к малейшему шороху и уходя коснулась тихонько замка роковой двери. Я не мог уснуть; опять встал и оделся; пошел к матери,— нигде нет; я нашел ее в саду под высоким, но открытым окном мастерской. Приметив меня, она приложила палец к устам, и я невольно замолчал; остановясь довольно далеко, я ничего не мог расслышать, но Мария выросла, стояла почти все время на цыпочках; выражение лица ее изображало любопытное внимание, и в то же время тысячи разнородных ощущений пробегали по лицу ее, как гонимые бурею облака проходят по лицу солнца. Вдруг Мария опрометью бросилась из сада, я за нею; в столовой мы остановились, и оба ждали кого-то; голова моя поворачивалась за движениями головы матери; изредка я погляды-

вал на нее: волнение груди было слишком приметно; у меня также стеснилось сердце... «Долго прощаются!» — проговорила она, задыхаясь... Двери отворились, и женщина, укутанная в покрывало, вошла в комнату; приметив нас, она вздрогнула и приостановилась. Потом с быстротою лани бросилась к стеклянным дверям, на крыльцо, а по лугу бежала уже бегом, как будто боясь погони. Антонио шел следом, но приметив, что мы в столовой, остановился. Мария, без слов и без слез, стояла перед ним; но лицо ее пылало, глаза бросали ужасные взоры; Антонио покраснел и также не мог выговорить ни слова; опомнясь и запинаясь, он спросил наконец: «Что это все значит?»

Мария начала смеяться; смех усиливался и наконец совершенно овладел ее дыханием; она хохотала беспрерывно, держась за грудь, и упала от смеху на пол; Антонио поспешил поднять ее, я тоже; но она была без чувств. Я начал кричать во все горло, что маменька умерла; Антонио приказывал мне молчать, несколько раз ударил,— ничто не помогало: я продолжал кричать, люди сбегаться; скоро столовая наполнилась домашними и посторонними людьми; Марию унесли в спальню; отец учтиво разогнал созванных мною гостей, а меня втащил в мастерскую и запер.

Поплакав, я несколько успокоился и обратил внимание на окружавшие меня предметы: мой треножник лежал в углу, на боку и с работой; на его месте стоял стул и подножки, а против него рабочий стол и стул Антонио; я поднял в столе доску, под ней нашел я портрет женщины; он только что был начат, но уже можно было видеть, что натурщица удивительно хороша собой, а по очерченному костюму, не поселянка. Услыхав шум шагов, я запер стол, бросился в кресла и притворился спящим. Вошел Антонио, уселся против меня на стуле и предался размышлениям. Изредка, с величайшею осторожностью, я открывал один глаз, закрытый пальцами, как решеткою, и глядел на Антонио. Вздохи теснились в груди его, борьба страсти явственно выражалась на печальном лице; шепотом иногда он говорил слова, которых смысла не упомню; вынул портрет, поглядел, спрятал, опять вынул, опять спрятал; а я, утомленный притворным сном, наконец предался действительному, и не знаю, чем окончилась беседа Антонио с самим собою.

Как дым, промелькнули с небольшим три года; прошедшее казалось сном,— глупым, темным, бессмысленным сном; Вероника была уже невестой; я порядочным живописцем; замечательно было только одно: это перемена домашнего обращения со всеми. Антонио потерял веселость и, простодушный в разговорах, сделался принужденным, сварливым, вспыльчивым; спорил из пустяков, из пустяков сердился; когда противоречили, он доходил до бешенства; когда умышленно уступали, обижался и уходил из дому. Мария уже более не улыбалась; печаль глубокой грусти сделала ее еще прекраснее, небеснее. Антонио не мог смотреть на нее: изредка беглый взгляд, как вор, бросался к ней и уходил без добычи, скрывался во глубине души,— и задумчивость осеняла печальное, но прекрасное лицо Антонио. Мое положение было ужасно! Сердца наши потеряли родственную симпатию. Я видел в нем только учителя, только знаменитого художника, мужа моей матери, но не отца. Я не искал его ласки; он намеком даже не требовал от меня сыновних чувств, но все-таки я любил его; недоставало объяснения: оно, может быть, возвратило бы мне отца, но именно от объяснения мы уклонялись оба; присутствие мое было для него тягостно, а я, как нарочно, будто опасаясь чего-то нового, страшного, старался быть всегда при нем, когда он был дома. Одна Вероника была счастлива, ничего не зная, потому что я, по просьбе матери, скрыл от нее странное событие, о котором и с матерью не говорил более ни слова. Сердце Корреджио, как я заметил, в семействе нашем принадлежало только одной Веронике. Как нежно он ласкал ее! как восхищался ее успехами в обществе, победами, толпою женихов, осаждавших дом наш! Но когда Вероника, не знаю почему, с большею нежностью ласкалась к матери, с детским прямодушием называя ее ангелом,— брови Антонио хмурились, и он, тихо, сквозь зубы ворча какую-то песню, уходил иногда в мастерскую, иногда даже из дому.

В таком состоянии застал нас однажды какой-то пармский художник, приехавший с приглашением переселиться в Парму. «Ни за что,— отвечал Корреджио,— я здесь родился, вырос: я и умру в моей Корреджио; а если угодно, я могу завтра же поехать в Парму, сделать что нужно и воротиться домой на покой. Там уже немало моих работ; я и так хотел их проведать, да вот не могу собраться...» И покраснел, как буд-

то стены мастерской знали причину его нерешительности. Художник согласился; переночевал у нас; на другой день, чуть свет, оба уехали; я просил отца взять меня с собою... «Посмотрим, посмотрим,— отвечал он,— если будет нужно, я пришлю за тобою». Но прошел месяц,— ни слова; другой,— то же молчание. Мы получали об нем известия от проезжих, знали, что он жив и здоров; не удивлялись; одна Вероника только не понимала, как он забыл ее, и решилась написать письмо. Нечего делать: я уселся за письменный стол моего отца; она продиктовала с полным простодушием свою жалобу; я написал. «Припиши, Лоренцо, что-нибудь от себя и от маменьки»,— сказала Вероника.— «От себя,— отвечал я,— нечего, а от маменьки...» Я не кончил, что хотел сказать, сложил письмо, обвязал шнурком, привесил печать и пошел в трактир, надеясь там встретить кого-нибудь едущего в Парму... На дороге меня остановили мулы: они медленно передвигались на пармской дороге. На двух мулах тащили домашнюю рухлядь, корзинки и коробки, на третьем сидела женщина и разговаривала с двумя всадниками.

— Я боюсь только бури,— говорила дама.

— О, будьте спокойны! — отвечал кавалер.— Небо должно покровительствовать своим любимцам...

— Поэзия! — сказала дама.— Если встретим бурю, поэзия нас не укроет.

— Так укроют австерии, которыми усыпана вся дорога до самой Пармы.

— Пармы!— невольно вскрикнул я, и дама и кавалер оглянулись.

Великий боже! это была — она!

И старик опять вскочил с тюфяка, на который было уселся; опять глаза запылали и забегали; вечный спутник его безумия, злобная улыбка, исковеркала уста, и голос стал страшно силен и звонок.

— Воспоминания,— почти кричал старик,— зеркала безмерные: они ловят предметы, события вопьются в ужасное стекло: где сила, которая вырвет их оттуда? Или вы не видите ее? О, как прекрасны, как обворожительны голубые глаза! Вы их видели на бессмертных картинах, а я, несчастный, на маске злобной фурии!.. И что ваши картины? — тлен, прах, карикатура, на-

смешка на природу!.. Небо в озере — обман! Небо в глазах женщины — обман!.. И я обманулся!

Это *она!* Первый подмалевок не оставлял сомнения, что это была *она.* Он писал с нее портрет; для того нужна была тайна: может быть, она хотела подарить его счастливому мужу, и Антонио стоил и доверенности и чести положить на полотно черты небесного лица. А наша глупая ревность все испортила; и она, невинный ангел, невольно бросила пламя раздора в счастливое семейство! Может ли злой умысел гнездиться под таким прекрасным челом?.. Я готов был упасть к ногам ее и просить прощения за все, за все! Какой-то стыд меня удерживал; я не пускал на глаза моих слез, а они толпились в груди, запылавшей новым и непонятным чувством... «Что ему надобно?» — спросила дама с приметным волнением.— «Что мне надобно?..» Я покраснел, сердце забилось сильнее; я не мог отвечать.— «Что тебе надобно?» — повторил с презрением кавалер. И я испытал еще одно новое чувство — ревность. Глаза мои бросили презрительный взгляд на гордеца и снова обратились к ней, и снова упали в землю.— «Я сын Антонио Аллегри»,— сказал я тихо, но внятно. Гляжу — она покраснела хуже моего. О, блаженство! Гордость обольстила меня, и я принял ее замешательство счастливым признаком в собственную пользу.

— Да,— повторил я с большею твердостью,— я сын Антонио Аллегри.

— Так что же? — спросила дама почти со страхом.

— Он в Парме, вы едете туда. Возьмите письмо от его дочери: нам не с кем послать.

— Вот сумасшедший! — закричал кавалер.— Что мы — рассыльные гонцы, что ли?

Дама была снисходительнее: стала веселее, смотрела на меня с видимым удовольствием, и тихо сказала кавалеру: «Перестаньте, синьор! Возьмите письмо». А потом, обратясь ко мне, с особенною лаской сказала: «С удовольствием исполню твою просьбу, а будешь любить меня?»

От этого странного, неожиданного вопроса божий мир перевернулся в глазах моих. Я медлил; дама с нежностью прибавила: «Что же, Лоренцо, будешь любить меня,— не теперь, а после, когда-нибудь, в свое время?..»

Она знает мое имя!..— смотрит на меня с нежностью!..— О, вечно, вечно! — закричал я. Дама протяну-

ла руку, я облил эту прелестную руку поцелуями и слезами.

— Прости! — сказала она тихо,— не забывай обещания!

Мулы тронулись, рука выскользнула из моих рук, и пыль нас разлучила.

Прибежав домой, счастливый ребенок, я предался воспоминаниям. На той же самой доске, где рисовал портрет ее Антонио, я начал карандашом припоминать черты прелестной женщины; недовольный, я хотел спрятать в стол мою неудачу и на свободе употребить все усилия к более успешному ее изображению. Подымаю доску... о, счастие!.. нахожу тот же подмалевок; работа недалеко подвинулась. В тот же день я снял копию; ночь не спал, а со светом я перевел ее на медную доску, приготовленную для отца, желая увековечить образ красоты истинно восхитительной. Я представил ее в виде богини изобилия с золотым рогом, из которого сыпались только цветы — эмблемы приятных надежд, любовных чувств и восторгов. Мне тогда был шестнадцатый год в исходе; с утра до ночи трудился я, и с небольшим в месяц картина была готова. Как теперь помню, я окончил ее к самому дню моего рождения. Матушка была в восхищении и от красоты моей богини, и от исполнения; она посылала ко всем знакомым и просила прийти полюбоваться успехами шестнадцатилетнего живописца. Между многими пришел и наш деревенский химик, отец Лука, единственный врач во всей Корреджио. Он поглядел на меня с изумлением.

— Где ты мог ее видеть? — спросил он, и я затрепетал.

— Во сне...— отвечал я робко.

— Странное сходство!

— С кем, отец Лука?

— С синьорою Анджеликой Валериани, которая приезжала к нам в Корреджио из Пармы, жила под этим именем более года в женском монастыре, и когда сестры заметили кое-что, чего и скрыть нельзя, просили ее оставить монастырь. По долгу, я посещал Анджелику, уговаривал ее переехать в дом обывательский: она долго не соглашалась: наконец, не более как с месяц тому, уехала в Парму с каким-то рыцарем...

Я трепетал всем телом, и к вечеру явился ко мне отец Лука, но уже не как поощритель и судья моего художества, а с банками и склянками. Горячка моя при-

писана была напряженному прилежанию. Усердие матери, более нежели познания отца Луки, скоро восстановило мое здоровье. В продолжение этого времени, Вероника получила от Антонио письмо, исполненное нежности и любви; матери — поклон и замечания насчет хозяйской бережливости, потому что за все огромные работы, которые он должен исполнить в Парме, он получит самую ничтожную сумму; мне — сухие наставления и неотходные попечения о матери.

Все обстоятельства смутно перемешались в голове моей, и с тех пор в жизни я не знал покоя; черная тоска оковала сердце; голова постоянно была как будто стянута горячим обручем; часто, без всякой причины, в душе моей вспыхивали странные, зверские желания, которых я через минуту не мог ни понять, ни определить. Когда я говорил, то оканчивал слезами; последние мои речи почти всегда были слезы. Между тем еще пролетели три-четыре месяца; деньги приближались к исходу; из Пармы ни слова! Веронике сыскался жених, по нашему очень хороший. На общем совете решили: идти мне в Парму и объясниться с отцом по всем статьям. Таким образом исполнялось и тайное мое желание: отыскать Анджелику, узнать, кто она, какие причины заставили ее требовать моей любви, кто сказал ей мое имя, и то и другое. О, много, много вопросов! Каждое мгновение мелькали новые; и рано утром, простясь с домашними, я отправился пешком в Парму.

Я пришел туда на рассвете. Город был наполнен папскими солдатами: они уже не спали, собираясь ко дворцу Висконти. Жители от шума военного также проснулись и спешили туда же; там ожидали папу, нового завоевателя и полного властителя Пармы. Невольно я увлекся за толпою и, по счастливому случаю, очутился у самой цепи папских стрелков, не пускавших народ на довольно обширную площадь перед дворцом Висконти. Я не мог опомниться от удивления: наша Корреджио вся поместилась бы, казалось мне, в этот огромный дворец; широкие окна, наполненные зрительницами в богатейшем наряде, казались мне въездами в пространные улицы; глядя на портал дворца, я считал Храм Петра Римского сказкою или по крайней мере незначительно больше пармского дворца. Паперть была покрыта толпою людей в богатейших костюмах, какие до того я видел только на картинках. Блеск золота, серебра и оружия ослеплял меня. Кардинальские слуги бегали

взад и вперед, и пока я не знал, кто они, считал их князьями, детьми Эсте, Висконти, Фарнезе, которых имена повторялись так часто и у нас, в Корреджио. Наконец колокольный звон и далекие крики возвестили прибытие святейшего отца; толпа заволновалась, но я не мог ничего видеть, и глаза мои невольно смотрели на паперть, где также произошло волнение; расчистилась улица от середины ступенек к главным дверям, и по красному сукну спустился со свитою кардинал-правитель. Гляжу и — не верю глазам своим! В богатом, шитом золотом кафтане, держа в руках шляпу, спускался в числе спутников кардинала и Антонио, отец мой. Не успел я увериться, во сне или наяву все это вижу, как появился ряд тяжелых всадников и закрыл паперть; проехал,— опять вижу отца, опять закрыло его огромное распятие с длинным рядом новых всадников, и так было несколько раз; наконец, появилась толпа ослепительного богатства витязей; вокруг меня все оглушительно загремело и пало на колени. Стрелок, видя, что я стою, пригнул меня, сказав: «Святейший отец!», и я распростерся. Когда я встал, на паперти последние уходили в широкие двери; из них один, остановясь на ступеньках, глядел в окна дворца; оттуда махнули ему платком, и он поспешил во дворец. Смотрю, приглядываюсь: это платок Анджелики, роскошно одетой; она продолжала смотреть на расходившийся народ; кто-то подошел к ней, и оба исчезли.

Господи! в один день и — столько ощущений! Обруч мой горел; черная тоска заговорила; мне стало страшно, тяжело! Стрелки разошлись, я бросился во дворец, но алебарды скрестились и грубое «нельзя!» образумило меня.— «Да здесь мой отец, Антонио Аллегри!» — «Ступай, ступай с богом! Знаем мы вас! С просьбой или с доносом. Не приказано. Ступай прочь!» — «Да я сын его...» — «Уходи же, а не то...» И алебарда поднялась над головою моей. Нечего делать! Я сошел, прислонился к платану и ждал, пока выйдет Антонио.

Через несколько секунд из дворца посыпались нарядные дамы и кавалеры.— Теперь я ее увижу,— подумал я,— пойду следом, и все объяснится.— Но, к моему огорчению, я видел каждого и каждую; Антонио и Анджелики я не видал. Двери дворца с визгом закрылись; алебардщики ушли в малые боковые двери, из которых по временам выходили кардинальские слуги и, стоя на паперти, тихо разговаривали; я решился подойти к ним,

объяснил кого мне нужно видеть, и к удивлению узнал, что Корреджио живет за городом, у сестры, и давно уже туда уехал, вместе с нею, на кардинальских лошадях.

— У какой сестры? — запинаясь, спросил я.

— У вдовы Анджелики Валериани...

Холодный пот пробежал по лицу моему, руки и ноги окостенели; я присел на ступеньках.

— Что с вами? — спросил кардинальский слуга.

— Ничего. Устал; я пришел пешком из Корреджио. Но скажите мне подробно, где живет Антонио?

Мне рассказали, и я с трудом потащился, сквозь слезы расспрашивая о дороге у проходящих. Обруч горел, черная тоска обливала сердце... Иду мимо собора. Испуганный его великолепием, я невольно остановился перед величественным зданием. Как будто ангел господень облегчил мою голову и влил каплю небесной сладости в горечь, наполнявшую мое сердце! Невольно переступил я порог соборный; омочил пальцы в святой воде и положил на себя знаменье св. креста... Еще стало легче. Увидав алтарь и распятие Спасителя нашего, я распростерся на холодном помосте и с молитвою, казалось, уходил двойной недуг мой. Возрожденный благодатию, я не хотел расстаться с храмом; уселся на первой скамье и обратил взоры мои на огромную фреску, изображавшую взятие на небо божией матери. Глаза мои разбежались. Еще новая благодать! Во мне проснулось чувство художника, совершенно оставившее меня со времени последней болезни; я не мог надивиться превосходному письму, сладости колорита, грации положения лиц. «Это Антонио,— невольно сказал я,— никто другой не может...» И в то же время я начал всматриваться в лик Мадонны; в чертах ее узнал я Анджелику и с ужасом бросился из храма. Все страдания мои возобновились; иду, расспрашиваю, бегу... Вот мост через Парму... вот садик... первые ворота... красный дом... приятный навес... стеклянная дверь... богато убранная комната... на скамьях разбросаны золотой кафтан и шляпа, те самые, в которых я видел его на паперти... Где же он?.. Отворяю другую дверь,— никого; третью,— великий боже! *Антонио; он сидит и пишет картину; остановясь на минуту, он обратился к Анджелике, и, с чувством глядя на ее ангельское лицо, взорами, казалось, спрашивал: хорошо ли? Она, положив чернокудрую головку на плечо Антонио, отвечала нежным поцелуем; оба не-*

вольно взглянули на плетеную колыбель: там лежал спящий младенец... Боже! то был...— И старик замолчал.

Читая легенду, мы невольно припомнили прелестную акварель К. П. Брюллова. Как похож сюжет его картины на последнюю сцену в рассказе несчастного Лоренцо! Но, может быть, наш художник желал изобразить невинное блаженство семьи молодого живописца; впрочем, по соображению, Корреджио тогда было тридцать семь лет,— лучший возраст, хотя только три года оставалось жить «божественному», как его называли. Женщина могла быть Анджеликой; по красоте и по возрасту, ей тогда было около двадцати лет, а ребенку несколько месяцев. Картинку К. П. Брюллова, сколько я припоминаю, называли «Семейство Корреджио», но, выслушав рассказ Лоренцо, я бы не хотел этого имени. Впрочем, Лоренцо — сумасшедший, а рассказчик, передавший его страдания, может быть, выдумал их сам, что весьма правдоподобно. Возвратимся к рассказу.

— Я не знал,— продолжал старик после минутного молчания,— что мне делать: идти ли вперед, или возвратиться в Корреджио? Мне уличать отца! И в чем? Влияние нравов Александра Борджия и Медичи отразилось уже и в Верхней Италии, и грех считался молодечеством. Я убил бы мать известием о страшном открытии, а люди смеялись бы,— не над ним, а над нами. В раздумье, я возвратился в первую комнату без шума, упал на скамью и горько плакал. Мимо меня прошла какая-то женщина, свидание приближалось, и Антонио не замедлил выйти — неосторожный! — вместе с Анджеликою, держась за руки...

— Лоренцо! — закричал он в испуге.

— Батюшка!.. — И я бросился на грудь его, заливаясь слезами. Он обнял меня горячо, но потом отвел мою голову и, с выражением непритворной тоски, спросил:

— Из любви ли, несчастный сын, или из мести преследуешь ты меня так хитро, так лукаво? — И, не ожидая ответа, продолжал: «Так знай же: она точно моя сестра, моя родная сестра, а твоя тетка!»

Недоверчивость, радость, сомнение, надежда — все это вдруг поднялось в душе моей.

— Горе тебе,— продолжал Антонио,— если в Корреджио кто-нибудь узнает, что она сестра моя! Это моя тайна. Пусть лучше подумают бог знает что, но наше родство может погубить нас всех.

Эти слова меня убедили. Я кричал от радости, бросился обнимать тетку, отца, опять тетку и лишился чувств в ее объятиях. Когда я очнулся, у скамьи, на которой лежал я, стояли и отец и тетка; на руках ее играл прелестный ребенок: ему было не более шести месяцев; Анджелика ласкала его, но Помпонио не понимал еще ничего; отец также беспрерывно ласкал его; к ним пристал и я. Антонио несколько раз говорил: «Помпонио, поцелуй братца!» — но братец отворачивался и тем в отце моем возбуждал приметную досаду. Между тем, совершенно успокоенный, счастливый, я объяснил отцу причину моего прихода... Первая статья: *дома нет денег,* была принята странным образом.

— А я писал,— говорил Антонио,— чтобы сохранять возможную бережливость... Монахи не платят... У меня денег ровно нет ничего...

При этих словах я невольно осмотрелся.

— Все что ты видишь,— продолжал он, заметив мое движение,— принадлежит сестре моей; по ее милости, у меня есть насущный кусок хлеба, и я могу работать для славы, ни в чем не нуждаясь... Ты не можешь понять, какою благодарностью обязан я Анджелике!.. О! без нее...— И он обнял сестру так нежно и с таким пламенным поцелуем, что она невольно покраснела. Вторая статья: *замужество Вероники.* На это не последовало согласия; хотя он знал жениха с отличной стороны, но из любви к сестре моей, ему жалко и расстаться с нею, или он имел другую причину: догадаться не было возможности. Третья статья: *немедленное возвращение мое в Корреджио*, была отвергнута единогласно и отцом, и Анджеликой, которая, в первый раз в семейном совете нашем, подала голос. Тем и кончилась наша беседа о делах; начали говорить о Парме и художестве. Отец изъявлял приметное удовольствие, слушая мои рассуждения; тетушка не сводила с меня глаз и восхищалась вслух моею рассудительностию.

Между тем подали к столу; мы вошли в богатую, хотя и небольшую залу, открытую на севере, без окон;

арки вели под навес, обставленный роскошнейшими цветами. Стол был уставлен серебряными блюдами со вкусными яствами, а в большом глиняном сосуде отстаивалось «Vino Santo», лучшее произведение пармской земли. Слуги все были одеты в кардинальскую ливрею; на двух мраморных подставках у стены стояли две мраморные же статуи: одна, в локоть величиною, изображала Вулкана, а другая, в полный человеческий рост, закутанную женщину. Мне показалось весьма странным, что такие запачканные, бурые фигуры могли служить украшением опрятной и прекрасно расположенной залы.

— Зачем вы не велите вычистить этих уродов? — сказал я с полным простодушием.

Отец улыбнулся и отвечал: «Эти два урода — дороже всех моих картин. Это антики...»

— Антики! — с благоговением произнес я и боязливо к ним приблизился. Отец был прав: две замарашки были истинно прекрасны.

— А вот третий антик,— сказал Антонио, указывая на вазу с вином,— но антик моего произведения; я сам вылепил и выжег его по рисункам, присланным мне из Рима. Завидую, крепко завидую покойному Рафаэлю. Сколько образцов было у него! На его глазах сколько открыто превосходных произведений древности; он видел, изучил флорентийские собрания; в термах Диоклетиана беседовал с искусством роскошных Римлян; на улицах Рима встречал колоссы, подаренные древностью на память потомкам... А какие заказы!.. И где? в Риме!.. Там ничего не пропадет; святость града Апостола Петра защитит его произведения от преждевременного разрушения... А я?.. Может быть, я победил Мантенью, Бегарелли, Маццуоли; но что же? Труды мои в таких городах, где не проходит дня без битвы и где хозяева меняются, как погода на Альпах! Того и гляди, что варвар Француз или варвар Немец обокрадет церкви, где висят мои произведения, и продаст их за полцены еретикам на посмеянье... Случалось, хотя и не со мной. Не жалуюсь; но зачем так безбожно льстить, ставить меня на одну доску с Рафаэлем, тогда как и в искусстве и в жизни мы так неравны счастием!

— Ежели антики служили образцами Рафаэлю, то тем более чести вам, что вы, без их помощи, умели поставить себя на первую ступень.

— Именно,— сказала Анджелика, глядя на меня с

такою улыбкой, от которой я мгновенно поглупел и смешался.

Антонио продолжал спорить, но без горячности, как в Корреджио. Заметно было из слов и выражения лица, что он считал себя соперником Рафаэля, но побежденным, и все преимущество противника приписывал возможности Санцио изучить антики. Мы встали. Меня уверили, что мне нужен отдых, и поместили в небольшой, но со вкусом убранной комнате. На коврах набросаны были подушки, и я заснул сном сладким. Проснулся. Уже было темно; но томный свет проливался по комнате из растворенных дверей; кто-то перестал петь; эхо струн арфы замирало в воздухе. Выхожу. В зале горят четыре вызолоченные лючерны; под навесом опять тихо заговорили струны; подхожу: Анджелика одна; арфа только что облокотилась на прекрасное плечо; пальцы медленно извлекали звуки. Луна, полная, блестящая, купалась в быстрой Парме. Сам не знаю, от чего на меня повеяло небом, и вдруг сделалось тяжело, как будто печальное предчувствие коснулось сердца.

Анджелика приметно обрадовалась моему приходу, засуетилась; но мне ничего не было нужно: я жаждал ее беседы глаз на глаз; я желал не верить нашему родству, гонял эту мысль из верной памяти; готов был плакать,— словом: *я любил!* Сидя возле нее, безумец, я не сводил глаз с очаровательной женщины. Разговор сделался скоро полон страсти, искренности, дружбы; намеки сыпались градом, но я толковал их в свою пользу, и каждый из них подавал только повод к новым уверениям, к новым клятвам; и когда я совершенно связал себя вечными обетами *любить одну Анджелику!* о! как искусно напомнила она ужасное родство и вместе требовала верности! «Взаимности, взаимности!» — почти закричал я.— «Тише,— сказала она.— Антонио возвратился». Жаркий поцелуй сгорел на устах моих, и Анджелика скрылась...

Антонио возвратился в веселом, более восторженном расположении духа; прославлял ум папы, вкус, познания. Святейший отец пригласил его в Рим; он дал слово, но когда окончит работы в Парме. Вечер промелькнул незаметно. Все трое были довольны, счастливы, простились и разошлись друзьями,— а проснулись?..

Меня разбудил Антонио. После обыкновенных приветствий, он сказал мне довольно ласково: «Послушай,

Лоренцо, я всю ночь думал об наших семейственных делах и много придумал, кажется, недурно. Как ты полагаешь: во-первых, обращение со мною святейшего отца сильно подействовало на моих монахов: они прислали мне довольно денег, чтобы обеспечить ваше существование на год, пока я кончу пармские работы, и дать приличное приданое Веронике; как ни жаль, а надобно же ее пристроить. Чем позже, тем хуже. Посылаю ей мое благословение. Ты все приготовь к свадьбе, а я, если бог позволит, приеду к вам разделить общую радость; но если папа и дела не отпустят, не откладывай: пост не за горами, а молодых людей зачем мучить?.. Так как времени мало, то я решил: ехать тебе сегодня же; до вечера я достану тебе от кардинала-правителя пропуск, который охранит тебя не только от военных шалунов, но и от самых разбойников. Мулы и слуга будут готовы перед закатом солнца. Одевайся, закуси, и, если хочешь, я велю оседлать лошадь; погляди на Парму, а я поспешу к отцу кардиналу...» И ушел.

Голова моя кружилась; я ничего не понимал. Вчера — все не так; сегодня — на все согласен, все обдумал, все предусмотрел. Меня радовало счастье сестры; но оставить Анджелику в самом начале нашей любви! Не повиноваться — значит изменить тайне, да и возможно ли?.. Исполнить его приказание,— умереть; где надежды увидеть снова Анджелику? Она не может вернуться в Корреджио; меня не пустят в Парму... В раздумье сидел я на подушках, облокотив голову на руки; на шее моей висело несколько миниатюрных медальонов — вот они! — с изображениями святых, и один руки самого Корреджио, с портретом матери. Тихо качались медальоны, и глаза невольно с ними встретились... Молитва и Мария представились моему сердцу с каким-то упреком. Я поцеловал образ матери, перекрестился и готов был идти на край света для ее спокойствия. «Антонио приедет в Корреджио, а я в Парму: пора и себя чем-нибудь прославить, и тогда...» Так мечтал я, и поспешил одеться, и еще раз наедине побеседовал с Анджеликой. Она давно меня ожидала за завтраком. Вид ее был расстроен, лицо бледно, на глазах признаки слез.

— Что это значит?

— Ах, Лоренцо! Я не знаю, что с ним сделалось! Он вдруг переменил все свои намерения... Боюсь, чтоб он...— Она поглядела под навес, где еще стояла арфа, и покраснела.— Признаться ли тебе, Лоренцо? он ненави-

дит Марию. Удивительно! Все в Корреджио не могли нахвалиться красотою и ангельским характером этой женщины; а он... «Я рад,— говорил он сегодня,— вырвать Веронику из этих рук. Жаль мне Лоренцо; но что скажут люди!..» Напрасно я умоляла хоть на три дня отправиться в Корреджио самому, устроить дела, сыграть свадьбу и возвратиться к работам,— и слышать не хочет! Напрасно я уговаривала его оставить тебя... Но я не могла,— продолжала она, потупив глаза,— настаивать...

— Милая Анджелика! — воскликнул я и хотел броситься к ее ногам. Она от испуга уронила оловянную тарелку, и вошла нянька с Помпонио. Разговор продолжался намеками, но надобно было Эдипа для их разгадки. Антонио возвратился с пропуском. Разговаривали о пустяках, отобедали; солнце упало; слуга подвел двух мулов, увязали мешки с деньгами, помолились перед небольшим распятием; отец благословил меня, дал нужные бумаги, поцеловал. Тетушка благословила и поцеловала в чело, и мы уехали.

Без случая мы доехали до Корреджио. В доме все обрадовались моему приезду, кроме матери. Грустно приняла она деньги; еще стала печальнее, когда услыхала, что Антонио едва ли будет на свадьбу; но когда я, связанный приказаниями отца и клятвами, данными Анджелике, лгал о житье-бытье Антонио в Парме, кротчайшая из женщин не выдержала и, без слез, но с выражением глубочайшей горести, сказала: «Перестань, Лоренцо! Зачем лгать? Я тебя не спрашивала об этом, не желая вводить в грех. Я все знаю». Я смутился и бормотал несвязные слова, но Мария с кротостью повторила: «Перестань! И я не без друзей, и у меня есть тайные братья». Эти слова навели на меня панический страх. Я не знал куда деваться. «Успокойся, Лоренцо. Ты добрый сын, и я скоро избавлю вас всех от необходимости притворяться». Слезы брызнули из глаз моих.

— Матушка! — закричал я.

— Молчи, Лоренцо! Я тебя ни о чем не спрашиваю. Умей любить доброе имя твоего отца!

Она ушла. Вероника и жених допытывались; я извернулся и обратил разговор на свадьбу.

Приготовления к брачному торжеству сделаны были с необыкновенною скоростью и ловкостью. Все было готово. Ждали только отца,— он не приезжал; наступил последний день,— он не приезжал, и Вероника обвенча-

лась с достойным Педро. Все были недовольны. Рано разбрелись с свадебного пира. Я едва довел матушку до дома: она приписывала слабость свою усталости от свадебных хлопот; вошла с моею помощью в столовую, остановилась почти на том же месте, где за несколько лет тому упала без чувств; выпрямилась: те же взоры, то же волнение груди; протянула руку и пальцем указала в пустой воздух.

— Что, матушка? — спросил я.

Ответа не было; голова ее уперлась в грудь... Марии не стало!..

Слезы, где вы? А сколько их было тогда! Проклятие теснилось в груди моей, но смел ли я произнесть его против Антонио? Кого не столкнут страсти с пути долга и добродетели? И что наша добродетель, если для чужой женщины можно погубить жену и детей?.. Необходимая честность! невольная верность! вы не добродетели,— вы растаете, непременно растаете от страстного поцелуя, если вас не сожжет блеск червонца!..

Чужие люди похоронили Марию,— я не мог. Отец Лука уведомил отца о ее кончине и моей болезни,— я не мог. Веронику обманули и увезли в Модену... Прошло семь дней после погребения Марии; я возвращался с ее могилы, усыпав ее свежими цветами, по обычаю. Подхожу: у нашего крыльца множество мулов; их развьючивают, снимают драгоценные ковры, из возов тащат ящики; шум, хлопотня.

— Это он,— подумал я и хотел уйти в храм божий и приготовиться к тяжелому свиданию; но знакомый голос раздался с крыльца и обманул меня в последний раз. «Лоренцо!» — «Анджелика!» И я уже плакал в ее объятиях.

— Лоренцо, друг мой, сын мой! ты лишился обожаемой матери, но я постараюсь *заменить* ее! Счастье моего *мужа* и ваше отныне...— Она не успела договорить, вдруг я понял все; в одно мгновение я сообразил всю мою жизнь, всему отыскал разгадку,— в одно мгновение! Обруч обвился вокруг головы моей: черная тоска проснулась в сердце в одно мгновение! — все это в одно мгновение!.. Слуга проносил в это время оружия отца моего; я схватил какой-то нож и бросился на Анджелику; она — в столовую, с визгом и криком. У страшного стола, у места смерти моей матери, Антонио остановил меня.

— Куда ты? — закричал он.

— Убить ее!

— Она твоя мать!

— Убийца моей матери!

— Проклятие, непокорный сын! — закричал он торжественно.

Нож выпал из рук моих. Я подошел к Антонио бодро, с каким-то шутовским величием; я чувствовал, как у меня странно забегали глаза, как уста искосила злобная улыбка; обруч затянул голову так, что мне казалось, будто все мозги мои переворачиваются, и я схожу с ума. Несмотря на все муки, я старался казаться спокойным и с гордостью произнес:

— Принимаю ваше проклятие, любезный родитель! Благодарю вас: вы обманули меня — и я впал в грех; вы прокляли меня — и спасли от смертоубийства. Я целовал ее, как любовницу; хотел убить, как неверную! Вот все, чем я заслужил ваше проклятие; но я принимаю его. Прощайте! о последствиях не беспокойтесь! Матушка, которую вы с вашею женой так искусно убили, приказала мне: *Умей любить доброе имя твоего отца.* Я исполню завет матери. Лоренцо Аллегри более не существует: живет нищий, в честь вашу, *Антонио;* и долго будет жить, и никогда не изменит Вашим тайнам. A Dio! [1]

— Ловите его! держите! — раздалось позади меня. Но двое дюжих слуг полетели от рук моих с крыльца. Я больше не оглядывался. Прожил многое множество лет; видел несколько тысяч городов, несколько раз умирал, воскресал, сражался, взял Рим, два раза был на родине: раз для погребения родителя, другой раз для погребения бедного брата Помпонио и двух его сестер; но никогда не изменил тайне — *нищий Антонио!..*

После краткого молчания, старик повернулся на тюфяке, и казалось, хотел заснуть. Вид его был совершенно покоен и доволен.

— Послушайте, Лоренцо,— сказал граф,— не хотите ли вспомнить старину и посмотреть на небольшое произведение руки Антонио Аллегри, вашего родителя. Оно со мною...

[1] Прощайте! *(ит.)*

Старик вскочил и закричал: «Что я слышал? Не обманывают ли уши мои?.. Так я вам сказал, кто я, кто мой родитель, его тайны?..»

— Успокойтесь, Лоренцо! — отвечал граф,— они останутся в тайне: я не изменю вам, Лоренцо!

— Боже мой, боже! — воскликнул старик, всплеснув руками, и бросился вон из комнаты. Не успел граф опомниться, как нищий Антонио бежал с пригорка на пригорок, размахивая руками. Напрасно Кастанеи приказал его ловить: пока слуги собрались, он уже был на высокой скале и бросился в озеро. Вода всплеснула высоким фонтаном и снова улеглась недвижным зеркалом.

В. Ф. ОДОЕВСКИЙ

ОРЛАХСКАЯ КРЕСТЬЯНКА

(Из цикла «Беснующиеся»)

> Я предвижу, что многие почтут слова мои за выдумку воображения; я уверяю, что здесь нет ничего выдуманного, но все действительно бывшее и виденное не во сне, а наяву.
>
> *Шведенборг*

— Скажите, отчего мы любим брильянты? — сказала молодая княгиня Рифейская, подходя к графу Валкирину, который, сидя в углу дивана, с каким-то особенным вниманием поочередно рассматривал окружающие его лица небольшого домашнего круга княгини.

— Княгиня,— отвечал он,— вопрос ваш гораздо труднее, нежели как вы думаете. Если отвечать вам на него так, как надобно, вы засмеетесь, как и всегда...

Все захохотали: — Ну, уж знаем, что будет!

— Так! Я еще не сказал ни слова, а вы уже все смеетесь,— хладнокровно заметил граф.— Что же будет, когда я скажу? За это не будет вам ответа,— прибавил он с улыбкою, но в которой было что-то грустное.

— Скажите, скажите,— проговорили все в один голос.

— Обещаю вам, что не буду смеяться,— прибавила молодая княгиня.

— Так слушайте ж. Уверяю вас, что ваш вопрос гораздо важнее, нежели как он кажется с первого раза. Да,— повторил граф вздохнувши,— этот вопрос очень далеко заходит.

— Не до потопа ли? — спросила молодая племянница княгини.

— Гораздо прежде,— отвечал чудак с величайшею важностью. Присутствующие закусили губы, чтоб удержаться от смеха. Граф был, по-видимому, в нерешимости и молчал.

— Ну, что же? — говорили дамы.

— Что? Поверите ли вы мне, когда я скажу вам, что наше пристрастие к этим светящимся камням есть воспоминание о чем-то давно, давно прошедшем? — Что было время, когда наше тело светилось ярче всех алмазов на свете?.. что эти грубые камни, так скудно рассыпанные по земле, напоминают нам о нашей прежней светлой одежде... напоминают невольно, ибо нам сделалось уже непонятно это светлое состояние!..

Все захохотали.

— Ах, как хорошо должно быть это платье,— сказала княгиня,— из цельного алмаза!.. Нельзя ли вам как-нибудь постараться достать этой материи! хоть на шляпку...

— Знаете ли, княгиня,— сказал граф важно, посмотрев на нее,— то, что́ вы теперь говорите, говорите не вы?

— Кто же, если не я?..

— Да кто-то другой... Вы, вы не стали бы смеяться над тем, что я теперь говорю; но кто-то другой заставляет вас смеяться. Ему это очень выгодно.

— Да кто же этот другой?

— Этого я не могу вам сказать...— После этих слов все как-то притихли.

В эту минуту встал со стула человек весьма пожилых лет, с холодною, почти безжизненною физиономией, с которым все обращались весьма почтительно, называя его Иваном Крестьяновичем. Граф заметил это движение, с большим любопытством обратил на него глаза и спросил у соседа: «Кто это?»

— Как! вы не знаете? это Иван Крестьянович Рындин, человек с большим весом... Прекраснейший человек, добрый, прямой такой.

Граф опустил голову и о чем-то крепко задумался.

Иван Крестьянович шел заглянуть в другую комнату, где раскладывался зеленый стол; проходя мимо хозяйки дома, он шепнул ей: «Что это за граф у вас? Я его никогда еще не видал».

— Он недавно здесь; он много путешествовал; я не знаю, где он не был: и в Турции, и в Египте, и в Индии...

— Ну, кажется, он немного ума навез из своего путешествия...

— Он немножко странен, но очень мил и забавен...

— Ведь вас, дам, не разберешь! — отвечал Иван Крестьянович с мужиковатостью, которую выдавал за

откровенность,— извините,— вы знаете, я человек откровенный... Ну, что тут забавного? Он просто, что по-русски говорится, несет дичь. Вот за чем нынче ездят по чужим землям — все вздор да пустошь... А что же наша партия? — продолжал Иван Крестьянович, обратясь к подходившему старику.

— Составлена, составлена, Иван Крестьянович; я шел за вами...

— Пойдемте-ка, пойдем на реванж.

Между тем за дамским столиком смеялись и толковали различным образом о том, кто может в человеке говорить вместо его самого.

— Я совершенно согласен с графом,— сказал барон Кейнезейт, молодой дипломат, на время возвратившийся из-за границы, который вслушивался в слова рассказчика с притворною доверенностью.— В проезд мой чрез Германию только и толков было, что об одной крестьянской девушке, в которой будто говорил человек, умерший лет за 400, и будто бы рассказывал такие подробности о том, что было за 400 лет, которые, казалось, не могли прийти в голову простой крестьянки.— Мои добрые немцы всему этому верили...

— А вы видели эту девушку? — спросил граф, мгновенно вышедши из задумчивости.

— Нет. Хотел видеть, но мне сказали, что родные ее никого к ней не впускают, что я нахожу очень благоразумным. Дело все в том, что в эту деревеньку ездило множество народа, и хоть никто ничего не видал, но деревенька, говорят, обогатилась от приезжающих.

— В этом вся и загадка! — заметили многие.

— Жаль, что вы не заехали в Орлах,— сказал граф.— Правда, когда бедная девушка занемогла, отец перестал пускать любопытных, которые своими расспросами только мучили больную. Об этой истории было много ложных рассказов; но в самом существе она не подлежит ни малейшему сомнению.

— Вы, верно, знаете эту историю в совершенстве, граф Валкирин? Расскажите ее, сделайте милость,— говорили дамы, улыбаясь.— Обещаю вам, что никто не будет смеяться,— прибавила княгиня, также насмешливо улыбаясь.

— Извольте,— сказал граф,— я никогда не отказываюсь от таких рассказов, когда меня просят, ибо,— заметил он, понизив голос,— в вас просит далекое внутреннее чувство, которое вам самим непонятно.

— Ну, еще, еще! — проговорила княгиня.— Однако ж счастье, что в нас говорят не одни черти. Но кто же еще?.. Я не поняла.

— Кто-то, княгиня, кто, несмотря на ваши насмешки, заставляет вас желать рассказа этой истории и возбуждает в вас любопытство... может быть, спасительное,— прибавил граф с таинственным видом, устремив на нее огненные глаза.

— Ах, как странно вы на меня смотрите! — сказала княгиня.

— О, не смейтесь, умоляю вас; прислушивайтесь к тем голосам, которые говорят внутри вас: вы услышите чудные звуки; вы скоро можете приобрести способность отличать один голос от другого, вы...

— Без предисловий,— заговорили все,— историю! историю!

Все придвинулись к столику, за которым сидел наш оратор. Его слушатели были: молодая графиня, княгиня, хозяйка дома, молодой дипломат, возвратившийся из чужих краев, какой-то деловой человек, с весьма важным видом дожидавшийся партии, молодая племянница княгини, только что вышедшая из пансиона и не потерявшая еще привычки слушать со вниманием и даже иногда удивляться. Наконец было несколько домашних лиц, которые в обществе и в жизни играют роль того, что наши старинные стихотворцы называли затычками, каковы слова: «лишь», «уж» и другие, нужные для наполнения стиха; без них нельзя, а все-таки они никуда не годятся.

Рассказчик начал:

— В Германии, в местечке Орлах, жил, а может быть, еще живет и поныне, крестьянин Громбах, лютеранин, человек очень честный и умный,— так что он даже был выбран в звание какого-то начальника в своей деревне. У Громбаха четверо детей; между ними двадцатилетняя дочь, по имени Энхен, образец немецкого трудолюбия и здоровья: плотная, краснощекая, свежая. Целые дни она на сенокосе или на молотьбе и одна отвечает за двух работников. Она никогда не была больна, не имела никаких детских болезней, никаких припадков и отроду не отведывала никакого лекарства. Школьное учение ей не давалось; она едва знала грамоте и имела даже род отвращения от книг.

— Должно признаться,— заметила графиня,— что ваша героиня вовсе не интересна.

— Я рассказываю истину без всяких прикрас. Все, что я вам буду рассказывать, мне передано почтенными людьми, которые были очевидными свидетелями всего происшествия.— Несколько лет тому назад Громбах купил себе новую корову...

— Не она ли будет настоящею героинею? — заметила насмешница.

— Почти,— отвечал рассказчик.— Но если вы будете меня перерывать, то мы никогда не дойдем до конца. Итак, Громбах купил себе новую корову; вдруг стали замечать, что когда ее привяжут на одном месте в хлеву, то утром она явится на другом месте, также привязанною. Никто не входил в этот хлев, кроме Громбаха и его дочери. В том же хлеву стояли еще три коровы...

Княгиня не могла удержаться: — Какие интересные подробности!.. C'est du George Sand tout pur!..[1]

Рассказчик, как бы не слушая этих слов, продолжал:

— Скоро домашние с удивлением заметили, что кто-то у коров плетет хвосты, да так плотно, как самый искусный мастер. Когда же расплетали хвосты, то они невидимою рукою опять заплетались, как только коров оставляли одних в хлеву. Эти проказы продолжались несколько недель раза по четыре и по пяти в день, и никогда нельзя было заметить, кто это делал.

— Ах, мои батюшки! — заметила Рунская, недавно приехавшая из Москвы,— вот до чего у вас в Петербурге дошли ученые; это у нас, в Москве, лишь кучера уверяют, что домовой у лошадей гривы сплетает; поленятся расчесать, да и на домового!

Рассказчик показал снова вид, будто бы он не слыхал этого замечания, и продолжал:

— Однажды Энхен доила коров, как вдруг,— извините за невежливость,— невидимая рука ударила бедную девушку так сильно, что чепчик слетел с ее головы. Бедная Энхен вскрикнула; на крик прибежал отец, но возле Энхен никого не было. Прошло несколько дней; в хлеву стала появляться то черная кошка с белою головою, то черная птица, похожая на ворона, и также с белою головою. Все домашние их видели, и однажды кошка бросилась на бедную девушку и больно ее укусила. Такие странные случаи продолжались

---

[1] Это прямо-таки Жорж Санд! *(фр.)*

целый год. Однажды, когда Энхен была с братом в хлеву, вдруг показался в углу огонь...

Деловой человек пожал плечами и вышел из комнаты, бормоча: «Что это за вздор! Будто нельзя найти разговора приличнее бабьих сказок». Место делового человека очистилось, и остальные слушатели плотнее сдвинулись вокруг рассказчика. Он продолжал: — Огонь стал пробивать под крышу. Закричали; позвали соседей, залили огонь; но тем не кончилось. В продолжение нескольких дней сряду пламя появлялось в разных частях дома, так, что наконец Громбах, приписывая эти пожары злому умыслу, должен был обратиться к полиции. Расставили вокруг дома караульных, но ничто не помогало; несмотря на денной и ночной присмотр, пламя вспыхивало само собою беспрестанно то в том, то в другом месте. Дошло до того, что Громбах с семейством решился выбраться из дома. Дом опустел, но по-прежнему продолжал загораться, несмотря на все предосторожности. Однажды, когда после пожара Энхен в половине седьмого утром пришла в хлев, вдруг в углу, как бы под стеною, явственно раздался младенческий крик. Надобно вам знать, что дом Громбаха построен был на остатке плотной старинной каменной стены, что очень часто встречается в Германии. Энхен позвала отца. Он осмотрел везде и вокруг хлева, но не нашел ничего. В тот же день, в половине восьмого, Энхен в темном углу хлева увидела женщину в сероватом платье, с черною пеленою на голове. Привидение тянулось к девушке и как бы удерживалось невидимою силою. Энхен испугалась, вскрикнула — на крик ее прибежал отец; привидение исчезло.

Бедная девушка, немного успокоившись, через несколько часов снова пошла в хлев кормить коров; смотрит: в том же углу та же женщина в сероватом платье с черною повязкою на голове. Снова то тянется она к Энхен, то исчезает в темноте — наконец перерывающимся голосом, как бы с необыкновенным усилием, привидение проговорило: «Сломать дом, сломать! — непременно сломать! А не то беда, сгорит — и беда вам всем — так хочет злой — я мешаю ему — но трудно — не могу — сломать — сломать — найдете... Обещай! Обещай!»

Испуганная Энхен все обещала — и привидение исчезло... Ночью, когда Энхен уже лежала в постели, серая женщина явилась снова. «Не бойся меня,— гово-

рила она,— не бойся, я тебе зла не сделаю, я тебя люблю, ты мне сестра; да, я также родом из Орлаха; и родилась с тобой в один день, только — 400 лет прежде тебя, и меня также звали Анной; мне очень тяжко, я связана с злым, ты можешь освободить меня от него — о! Сломать дом, сломать дом поскорее...»

С тех пор привидение так часто стало являться к бедной крестьянке, что Энхен привыкла к этому странному явлению и разговаривала с привидением как с обыкновенным человеком. Энхен часто спрашивала свою чудную сестру: отчего она страждет? Кто этот злой, о котором она так часто говорит? Как она с ним связана? Зачем надобно сломать дом? — Но на все вопросы привидение отвечало весьма неопределенно, вздыхало, грустило и вскоре потом исчезало.

Часто серая женщина, не дожидаясь вопроса Энхен, говорила: «Знаю, о чем ты хочешь спросить меня», и иногда отвечала на мысленный ее вопрос; иногда говорила: «Не спрашивай же меня об этом, я не могу тебе отвечать», и всякий раз привидение повторяло: «Сломать дом! сломать дом, не то беда... сил моих не достает. О, когда настанет минута моего освобождения!»

Часто также привидение предсказывало Энхен разные обстоятельства ее простой жизни, как, например, о приходе того или другого лица, и тому подобное; но [так] как привидение было видимо только одной Энхен, то отец ее, посоветовавшись с докторами, приписывал все рассказы своей дочери — болезни и не решался сломать дом свой. Между тем серая женщина не переставала по-прежнему являться к Энхен, по-прежнему тосковала и умоляла о том же.

— Так и всегда бывает,— заметил, улыбаясь, один из слушателей,— уж если явится привидение, то никогда двум вместе, а всегда кому-нибудь одному, которому и с руки рассказывать об нем что угодно.

— Дослушайте же далее,— отвечал хладнокровно рассказчик и продолжал:

— Настало время сенокоса. Однажды, когда Энхен с отцом пошла на луг, ей послышался голос соседского работника.— Слышите ли, батюшка, Франц кричит нам, чтоб мы погодили, что и он хочет с нами идти? Но отец ничего не слыхал. Немного спустя Энхен снова услышала, что тот же голос повторил те же слова и потом засмеялся злобным хохотом. Целый день мелькала перед нею то черная кошка, то черная собака, то взви-

валась над нею черная птица; но все это видела одна Энхен — отец ее не видал ничего.

На другой день, на том же сенокосе, невидимый голос сказал на ухо Энхен: «Посмотри-ка, что это за барыня идет к тебе», и злобно засмеялся. В отдалении перед нею мелькнул образ серой женщины. В самый полдень, когда работники разбрелись, перед Энхен явился, как она рассказывала, мужчина в черном платье, ходил с нею по лугу взад и вперед, приговаривая: «Зачем к тебе ходит эта барыня? Чего ей от тебя надобно? Пожалуйста, ты не слушайся ее и не отвечай ей; она тебя только сбивает с толка. Отвечай лучше мне: я тебе за то дам ключ от погреба под вашим домом; там еще есть бочек восемь доброго, старого вина...» Но в этом голосе было что-то столь странное, что Энхен не могла ему в ответ выговорить ни слова.

В следующие дни тот же человек снова появлялся. «Энхен,— говорил он,— не хочешь ли мне помочь собрать сено? Я тебе дам по талеру за копну; а если б ты знала, какие у меня талеры, звонкие, полновесные! Хочешь, что ли? Да отвечай же мне! Не отвечаешь? Ну, я вижу, ты такая же глупая, как та, которая к тебе ходит».

Иногда черный говорил ей: «Дай мне свою косу; я ее тебе наточу» и в самом деле брал косу, точил ее, и так исправно, что уже целый день не нужно было ее точить. То приставал к Энхен с обольщениями другого рода: «Хочешь,— говорил он,— я тебя проведу к той барыне, которая к тебе ходит? Мы славно повеселимся: там есть чего и поесть, и попить. Да что же ты не отвечаешь? За каждый твой ответ я тебя осыплю золотом — ведь я очень богат...»

Прилежно ухаживал черный за бедною девушкою: то переворачивал сено, то косил вместе с нею, то рассказывал разные разности, и добивался только одного — ответа; но Энхен по какому-то невольному чувству никогда ему не отвечала. Часто, чтоб выманить ее ответ, он являлся в виде работницы, звал Энхен к отцу, или в виде соседки, которая приходила будто бы наведаться о ее здоровье,— но странно, что черный человек никогда не мог совершенно изменить своего голоса, так что Энхен всегда его узнавала и по-прежнему оставляла без ответа. Однажды, вошедши с сестрою в хлев, она увидела на бревне мешочек, наполненный старинными серебряными деньгами, подняла его, ду-

мая, не потерял ли кто из домашних; но в доме не нашлось хозяина этим деньгам, и пропажи никакой не было. Сестра не знала, что делать с этой находкой, как вдруг возле Энхен очутился черный человек и проговорил с злобным хохотом: «Не бойся, Энхен, бери эти деньги,— они твои, я их взял у одного господина, который обманул другого на шесть карлинов. Да хоть поблагодари меня, Энхен; — это тебе за ту пощечину, которую я тебе дал в начале нашего знакомства, потому что ты мне очень нравишься...»

В ту же ночь явилась к Энхен серая женщина. «Ты хорошо делаешь, что не отвечаешь злому черному; не оставляй у себя и денег, а раздавай их бедным. Первый раз, когда ты будешь в Галле, поди по городу, пока тебя кто не кликнет. Тебе подарят денег, а ты на них купи добрую книгу и старайся читать ее, когда тебе будет грустно.— Да что же дом? Скоро ли его сломают? Скоро ли? Скоро ли?»

Энхен исполнила в точности данное ей приказание. Дома не ломали, но из денег черного человека отдали часть в штутгардтский сиротский дом, другую в галльский дом призрения бедных, остальную в орлахское училище. Однажды, будучи в городе, Энхен проходила по улице; какой-то купец позвал ее к себе в лавку и спросил, не она ли девушка из Орлаха, о которой рассказывают такие странные приключения, и подарил ей гульден, на который и купила она сказанную ей книгу.

С другой стороны, и черный не переставал посещать бедную Энхен под разными образами; он говорил ей: «Зачем ты пускаешь к себе эту барыню? Зачем говоришь с нею? Ведь она тебе денег не дает; я же тебе и деньги даю, а ты не хочешь отвечать мне?» К сим словам черный присоединял то насмешку, то обольщения, то угрозы: «Уж обману я тебя, уж будешь отвечать мне! Ну что тебе в твоей скучной жизни? Ну что радости целый век коров доить и сено косить,— отвечай мне только одно слово, и ты будешь богата, всем довольна, ничего не будешь делать; если же не получу от тебя ответа,— то не пеняй на меня,— увидишь, что будет!»

Эти странные явления несколько времени повторялись беспрерывно; то приходил черный, то от одного появления серой женщины исчезал и снова появлялся при ее уходе.

За сим в течение четырех или пяти дней привиде-

ния не являлись; но однажды Энхен, совсем здоровая и спокойная, сказала: — Вот опять идет серая женщина; она говорит, что мне готовятся еще бóльшие страдания от черного, но чтоб я с твердостью перенесла их, что она будет помогать мне. Не понимаю многого, что она говорит, а только повторяет, чтоб скорее сломали дом, что тогда ей будет легче. Ах! Послушайте ее, послушайте, что говорит она! Она говорит, что черный очень зол и мстителен, она его знает... Послушайтесь, исполните ее волю.

Отец Энхен все еще был в нерешимости. Однажды бедная девушка сидела на скамье и вязала чулок; вдруг побледнела и вскрикнула: — Черный, черный! Вот он! Он идет ко мне, он протягивает руки, он жмет мои плечи холодными пальцами, он грозит задушить меня,— вот он! вот он! — «Где? где?» — спрашивали окружающие.— Здесь! здесь! — отвечала Энхен, показывая на сердце; лицо ее подернулось страшными судорогами, глаза помутились, приняли какое-то зверское выражение, и в одно мгновение Энхен заговорила грубым мужским голосом.— Что вам надобно от меня? — вскричала она громко,— что вы пристаете ко мне? Думаете меня выгнать? Ничего не бывало! Я у вас не в гостях, я здесь начальник — я приор. Слушайтесь меня: здесь под домом... А! опять эта негодная женщина,— опять надоедает мне,— не пойду,— не выйду — ни за что...

Затем последовали ужаснейшие проклятия, которые, казалось, не могли и на ум войти бедной девушке.

Судороги усилились; Энхен упала без чувств; призвали доктора,— тщетно, никакие медицинские пособия не помогали. Через несколько минут она очнулась сама собою, и хоть была еще слаба, но чувствовала себя совершенно здоровою. Она не помнила ни слов, произнесенных ею во время припадка, ни вопросов, которые ей делали; но рассказывала только, что видела, как черный с ужасным видом приблизился к ней, как оперся на ее плечи холодными как лед руками и вскочил прямо в ее сердце. Она чувствовала, как терзало ее присутствие этого незваного гостя; хотела жаловаться, но не могла: черный вполне распоряжался ее мыслями и речами. Через несколько времени Энхен увидела свою знакомку в сером платье, увидела, как она также приблизилась и также вошла в правую сторону ее груди. Тут между обоими привидениями начался, по словам

Энхен, спор, которого она понять не могла, ибо они говорили на неизвестном ей языке, после чего она видела, как черный, проклиная все на свете, вышел из ее тела, слышала, как серая женщина повторяла: «Сломать дом! Сломать дом!» и наконец Энхен утверждала, что она как бы проснулась.

Такая сцена была не последняя; несколько раз Энхен рассказывала снова о появлении то черного, то серого привидения, снова чувствовала прикосновение холодных пальцев, снова заговаривала грубым мужским голосом и впадала в беспамятство.

Тысячи людей собирались смотреть на это дивное явление; присутствие некоторых людей раздражало черного, говорившего устами бедной крестьянки; других он принимал ласково; над иными он насмехался и рассказывал всю их жизнь с самого рождения, открывал такие тайные их действия, которые приводили в ужас слушателей, тем более что между любопытными находились люди, приехавшие издалека, о которых Энхен в своем обыкновенном состоянии не могла иметь никакого понятия.

Выходя из беспамятства, Энхен плакала горько и жаловалась, что у ней, верно, падучая болезнь. Отец был в совершенном отчаянии; лекарства не помогали, и он решился наконец исполнить странное приказание серой женщины: перевез больную на другую квартиру и приступил к сломке дома. Доктор присоветовал скрыть на время бедную девушку от любопытных, которые своими расспросами, казалось, еще увеличивали ее терзания.

В новом жилище припадки больной продолжались, но с меньшею силою. Замечали, что во время беспамятства лицо ее склонялось то на правую, то на левую сторону, принимало то зверское, то добродушное выражение и наконец совсем склонялось на правую сторону: — это был признак, что припадок оканчивался.

Однажды Энхен сказала: «Сегодня поутру, когда я лежала одна в постели, моя добрая знакомка явилась мне; но она уже была не в сером платье, но под белым длинным покрывалом, которое так сильно блистало, что я не могла смотреть на нее. Она, казалось, была очень весела; велела мне благодарить отца за то, что он исполняет ее просьбу, и потом прибавила: «Теперь я могу тебе рассказать многое. Четыреста лет тому, как мне было еще двадцать четыре года, черный уговорил

меня уйти из моего дома; он переодел меня в мужское платье и привел меня в свой дом, на самое то место, где теперь находится ваш дом. Я любила его! Когда родился наш первый ребенок, черный тотчас убил его, чтоб его крик не обнаружил нашей преступной тайны; труп был закладен в стену. О! Ужасна была для меня эта минута! Но любовь моя была еще во всем разгаре,— я все простила и снова бросилась в его объятия. Родился другой ребенок; он убил и его; это было слишком; я пришла в отчаяние; мои рыдания надоели жестокому,— он убил и меня! Труп мой также закладен в стене. Несколько лет еще он предавался всем возможным преступлениям и однажды, в минуту бешенства, сделался самоубийцею. С тех пор тень моя бродит за его тенью: мой прах и прах детей моих связывают нас неразрывными узами; ты одна можешь разорвать их, и теперь лишь наступило для того время. Вооружись твердостью, перенеси еще несколько страданий — они не продолжатся долго; этой ценою ты купишь мое избавление!»

Сказав это, белое привидение протянуло руку к девушке. Энхен, пораженная сим явлением, не осмелилась подать ему свою руку иначе, как обернув ее платком; когда рука привидения коснулась платка, платок затлелся, но без всякого дыма. Энхен показывала этот платок родным и знакомым: на нем явственно прогорелыми местами означались ладонь и пять пальцев.

Приступили к сломке дома. Энхен была спокойна и здорова, как вдруг вскричала с ужасом: «Опять, опять черный! Вот он подходит ко мне, послушайте, что говорит он; он бранит меня, он насмехается над *нею* (так называла она белое привидение), зачем она рассказала мне его тайны... О, страх! Он говорит, что опять войдет в меня и что хоть это будет в последний раз, но что он будет долго меня мучить». И Энхен замолкла, побледнела; лицо ее приняло зверское выражение, глаза плотно сомкнулись; когда силою поднимали ее веки, зрачка не было видно; пульс не переменялся, а между тем вся левая сторона была холодна как лед. В ту же минуту она заговорила голосом черного; жестоко он насмехался над всеми окружающими: «Ну, что? — говорил он устами Энхен,— вы узнали все мои проказы? Ну да, я был злодей, так что ж за беда? Что же мне делать? Отец мой был человек богатый; он немножко разбойничал по дорогам, а с ним и я, да еще

двое моих старших братьев. У нас был славный замок в Гейслингене, на час пути от Орлаха. Жили мы весело, и к этой веселой, разгульной жизни я очень привык; отец мой умер; старшему брату достался замок, а я пошел ни с чем. Не отвыкать же мне было от моей прежней жизни: вы бы то же сделали на моем месте, не правда ли? Я не забывал красавиц, и они меня не забывали; я их переодевал в мужское платье, и они преспокойно поживали со мной; да та была беда, что завелись у них дети: не нянчить же мне их было! На беду, между красавицами попадись вот и эта белая барыня, которая повадилась сюда ходить непрошеная; когда я избавил ее и себя от ребят, она и вздумала донести на меня через одного прислужника,— вот этого она не рассказывает. Нарядили суд; беда бы мне была, да и только, но хорошо, что я спохватился да отправил ее в то же укромное место, куда и ребят ее спровадил: искали, искали, ничего не нашли,— так дело и кончилось. Только после уж мне трудно было приводить к себе красавиц: за мною присматривали. Скучно мне показалось на свете жить, подумал: дерево срубят, оно так и лежит — и с человеком то же бывает; подумал, да и перерезал себе горло. Правда, вижу теперь, что не то: нет мне покоя ни на минуту, да зато и другим не даю покоя; брожу, брожу,— замечу, у кого дверь отворена, и вскочу в нее,— ведь нашему брату куда хорошо приютиться в человеке, и не холодно и не жарко; в ином так весело, что живешь в нем целую жизнь, да и знака не покажешь; живешь смирно целые годы — никто не заметит; умираете вы только скоро, негодные,— то и дело переменяй квартиру. Хотел было я приютиться в этой глупой девчонке, сам не знаю, как забрел к ней, да, вишь, нашла себе покровительницу... Только что сердят да выживают меня,— зато от меня и достается!»

С каждым из сих слов страдания бедной Энхен увеличивались; она металась во все стороны,— шесть человек присутствующих не могли держать ее; страшные судороги сводили ее члены; из уст ее вырывались то самые ужасные проклятия, то насмешки.

Между тем дом сламывался; под фундаментом его нашли своды совсем другой постройки, по-видимому, принадлежавшие весьма давнему времени. В этих сводах открылось место, которого известка явственно отличалась от находимой в других частях строения. Едва

ударили в это место киркою, как из него посыпались человеческие кости. В ту же самую минуту Энхен, находившаяся в другом доме и, разумеется, не могшая знать о случившемся во время сломки, вдруг пришла в себя, почувствовала себя совершенно здоровою, и с тех пор припадки ее не возвращались. Свидетелями этой сцены были несколько врачей и многие другие известные в Германии люди.

Вот вам моя история. Из нее вы, княгиня, можете вывести, в виде нравоучения, что бывают случаи, когда действительно говорим не мы, а кто-то другой говорит за нас...

Рассказчик умолк.— Было уже за полночь. Потому ли, что в эти часы воображение всякого человека бывает более или менее наклонно к чудесному, оттого ли, что граф говорил красноречиво — но насмешек не было, а все как-то невольно призадумались.

— Позвольте, однако же, заметить,— сказал Звенский, молодой племянник княгини, только что вышедший из университета и который слушал рассказчика с большим вниманием,— позвольте заметить, что это происшествие ничего не доказывает в пользу вашего мнения и что все, вами рассказанное, очень хорошо может быть объяснено известными законами природы. У бедной Энхен действительно была падучая болезнь; а известно, что в этой болезни после самого ужасного припадка человек чувствует себя совершенно здоровым и не помнит ничего, что с ним было. Рассказы Энхен, видимо, почерпнуты из немецких сказок, в которых белые и черные привидения играют большую роль; что же касается до того, что ее припадки прекратились в ту самую минуту, когда найдены были кости, то это не иное что, как случайность, которая могла быть и не быть.

— Так,— отвечал граф Валкирин,— но вот в чем дело, не только Энхен, но даже и терпеливые немецкие ученые не подозревали существования замка, о котором говорила Энхен. Ее слова расшевелили всех антиквариев; пошли толки в журналах, начали рыться в архивах и между кипами старых бумаг, в которые сотни лет никто не заглядывал, отыскали подлинное дело о следствии, произведенном за четыреста лет над злодеем, жившим, как видно было по документам, на са-

мом том месте, где потом был построен дом Громбаха, отца Энхен. Другие документы обозначали то место, где находился гейслингенский замок, которого развалины до сих пор могут видеть путешественники и которого существования также никто не подозревал до той минуты.

— Вы знаете,— отвечал молодой человек,— что во всех историях такого рода многое должно быть исследовано с большою тщательностью, как юридический процесс; но позвольте заметить и то, что все подобные происшествия перестают быть чудесными с тех пор, как нам стал известен магнетизм...

— Известен? — повторил граф с едва заметною, но горькою улыбкою.— Берегитесь, молодой человек, чтоб он в самом деле не сделался вам вполне известен!..— прибавил граф таким выразительным тоном, что молодой человек не нашелся, что отвечать, а только посмотрел на графа с удивлением и любопытством.

Разговор кончился, гости стали расходиться. На лестнице дипломат очень остроумно на ухо дамам подшучивал над рассказчиком, а сам думал про себя по-французски: «Право, недурное средство; этого молодца все слушали, а мне не удалось вымолвить ни слова; оставалось только глотать свой язык; а недурное средство — надобно испытать его! Необходимо прочесть что-нибудь об этих бреднях; Европа уж так сделалась известна всякому встречному и поперечному, так избита, что говорить о ней становится делом дурного тона. Нечего делать, надобно будет приняться за бесовщину, а потом... потом перещеголять этого молодца... Можно найти что-нибудь и пострашнее его рассказа...»

Сии размышления были прерваны криком швейцара, который провозглашал исковерканную фамилию нашего дипломата...

БЕРНЕТ

ЧЕРНЫЙ ГОСТЬ

I

Сильный стук в дверь прихожей заставил Ивана Ивановича Росникова болезненно вздрогнуть. Не мудрено: поздняя пора ночи, размышления в тиши и одиночестве, несколько чашек крепкого чая, опорожненные им одна за другою в продолжение вечера, чад от сигар, которых он превратил в дым и пепел целую дюжину,— повергли его в какое-то неестественное, напряженное, раздражительное состояние. Жилы на висках его бились, сердце мучительно трепетало, а воображение было настроено к восприятию чего-то неожиданного и странного.

Иван Иванович хотел было кликнуть своего слугу, чтоб приказать ему справиться о причине стука, но слуга его, Герасим, так громко храпел в кухне, что не подавал никакой надежды на возможность скорого пробуждения. Подумав немного, Росников решился идти в переднюю сам.

— Кто там? — спросил он нетвердым голосом, положив руку на железный крючок, замыкающий дверь. Ответа не было.

Он намеревался уже воротиться в свой кабинет, полагая, что ему почудился стук, как над самою его головою раздался такой пронзительный, настойчивый звон колокольчика, что Иван Иванович вздрогнул сильнее прежнего, торопливо сбросил крюк и отворил дверь в сени: прежде нежели успел он оглянуться, скользнуло оттуда, вместе с морозным ветром, что-то высокое и черное, шаркнуло по темной гостиной и скрылось в кабинете.

Захлопнув наскоро дверь, Иван Иванович бросился опрометью вслед за странным явлением. В кабинете, в облаках табачного дыма, на одном из кресел расположился уже капуцин в черной маске. Хотя бесчисленные складки плотного, блистающего атласа и висели на широких и сухих плечах его, словно кардинальская мантия на вешалке, но, говоря правду, прекрасный черный цвет его удивительно гармонировал с желтою шерстяною материею кресел, и вообще положение капуцина было так небрежно и грациозно, пер-

чатки его так удачно обнаруживали стройную, продолговатую руку, острый носик и клинообразная борода маски имели такое веселое, ироническое выражение, что на этого гостя нельзя было довольно налюбоваться.

— Что за мистификация? — спросил Иван Иванович, став перед капуцином.

— Никакой,— отвечал тот, подняв голову и устремив на хозяина живые, сверкающие глаза.— Сегодня маскарад, и я замаскирован.

— Но, милостивый государь,— возразил Росников сухо (голос гостя показался ему совершенно незнакомым): — здесь моя квартира, а не зала Дворянского Собрания.

— Я сейчас оттуда. Стечение публики необыкновенное. Очень весело. У выхода такая давка, что я не мог дождаться шубы и прибежал сюда вот в этом талареи, без шляпы. Хорошо, что ваша квартира почти подле; иначе я мог бы схватить простуду. Скажите, пожалуйста, отчего вы не в маскараде?

— Скажите мне лучше ваше имя,— произнес Иван Иванович прежним тоном.

— К чему это? Я ведь не пришел занимать у вас денег, свататься за вашу кузину или представляться вашей жене; да у вас и нет ничего подобного. Особенно потому, что вы холосты, приглашаю вас в маскарад и ручаюсь вам в занимательности нынешней ночи. Поспешим. Уже первый час в исходе. Время дорого: не издерживайте его на пустые вопросы.

— Помилуйте! — отвечал с досадою Росников,— если б я, против своих привычек, и имел хотя малейшее желание быть сегодня в маскараде, то пока окончу туалет...

— Маскарад кончится,— подхватил гость.— Поэтому и по многим другим причинам вы наденете домино и маску.

— У меня их нет,— возразил Иван Иванович, желая чем-нибудь отделаться,— а будить старого моего Герасима и посылать за ними из пустой прихоти, не соглашусь я ни за что в свете.

Он не договорил еще этих слов, как находчивый гость прыгнул, словно кошка, с кресел, вмиг сбросил с себя черную свою мантию и начал ее надевать на Ивана Ивановича.— Этот костюм сшит будто нарочно для вас,— лепетал он скороговоркою, застегивая крючки и завязывая ленты.

Ивана Ивановича особенно удивило то, что на безотвязном приглашателе в маскарад оказался другой капуцин, но уже фиолетового цвета.

— Я сегодня не брился,— начал опять Росников, все еще упорствуя, как бы остаться дома.— Я ни за что без маски не поеду.

В одно мгновение гость сорвал с себя маску и, очутясь в другой, ярко-огненного цвета, подал первую Росникову.

— Что за чудеса! — вскрикнул он,— на вас еще маска!

— У каждого из нас их несколько. Впрочем, мысль эта стара и вполне развита другими — не стоит распространяться. Лучше позвольте помочь вам.

Тут проворно приложил он к лицу Ивана Ивановича черную личину, дернул сзади шнурок, и она облепила его щеки так плотно, как знаменитая историческая *железная маска.*

— Но я, право, еще не решился, ехать мне или нет,— повторял в раздумьи Росников, дергая атласную свою бороду.

— Решитесь после, а теперь — в путь! — возразил веселый капуцин.— Позвольте вам предложить дружеский совет: действуйте в эту ночь как можно смелее и самостоятельнее, отложа на время поэтические мечты о добрых и злых гениях. Ваш средний рост, тонкий стан, данное вам при крещении имя составляют общую принадлежность многих в столице. Все это очень счастливая и забавная случайность. Вероятно, вам хорошо известна история о великом раввине?

— О каком раввине?

— О том, который был так мудр, что *на все вопросы давал только один ответ: гм!* Вы меня понимаете?

— Нисколько.

— Поймете после, а теперь зовите поскорее своего лакея, чтоб он запер за нами дверь.

Пробужденный несколько раз повторенным криком и стуком в стену кухни, старый Герасим чуть не умер от страха, при виде двух незнакомых господ в странном наряде, одного с черною, а другого с пунсовою рожею. Ивану Ивановичу удалось наконец кое-как растолковать ему, что это он и что тут бояться совершенно нечего. Тем не менее, робко и неприязненно поглядывал Герасим на гостя, подавая своему барину енотовую шубу, шляпу и калоши; а когда оба они престу-

пили порог — хлопнул он изо всей силы дверью и, повторяя: *наше место свято!* направился в кухню, где и заснул крепче прежнего.

— Ваш человек,— начал капуцин, быстро схватив Росникова под руку и гигантски шагая по занесенному снегом тротуару,— ваш человек принял меня... не знаю за кого... Вероятно, за того же неистощимого проказника, который любит загнать в чистое поле оставленную у ворот ухарскую тройку, между тем, как молодой купчик, хозяин лихих рысаков, жеманно приглашает горожанок прокатиться с ним; который любит утащить маленький башмачок, брошенный во время ворожбы за ворота, и отозваться именем постылого человека сентиментальной барышне на спрос: *как вас зовут?* который любит поужинать в холодной бане с красавицей, что в полночь ожидает там суженого, и после замахнуться на нее тупым ножом, или скорчить, из-за плеч вдовы, в тусклое зеркало, чудовищную, уморительную харю. Я не говорю уже о помеле, которое подставляет он всякий раз, когда льстивая старуха хочет поцеловать впотьмах бородатого своего мужа, или об углях, насыпаемых им в карман волостного писаря, взамен добытых лихоимством гривенников. Я согласен, что все это ведет за собою подчас странное недоразумение, смешную тревогу или забавную ссору, но зато уж никак не более. Словом, существенного бедствия от всего этого ожидать никак нельзя.

При этих словах вошли они в швейцарскую, где Иван Иванович едва мог упросить официанта, чтоб он принял от него шубу, калоши и шляпу на сохранение, потому что ни места, ни нумеров уже не было.

Поднимаясь по устланной коврами лестнице, Иван Иванович запутался в своем широком костюме и чуть было не упал; это заставило его сильно опереться на руку своего спутника.

— Касайтесь сегодня,— шепнул ему тот на ухо,— как можно легче до руки тех масок, с которыми будете ходить. Вы знаете причину этой предосторожности?

— Нимало.

— После узнаете.

Тут капуцин остановился, чтоб отдать билеты стоящему у входа швейцару, а Росников между тем вошел в залу.

II

Будто нарочно, гармонический оркестр Лядова приветствовал появление Ивана Ивановича оглушительным tutti своих инструментов, с которым сливались шарканье, говор, и хохот, и пищанье масок. Непроходимая их толпа, стеснившаяся у входа, в одно мгновение сжала его со всех сторон, как бы желая попробовать, крепки ли его члены; она двигала его за собою вправо и влево, вперед и назад до тех пор, пока не вышвырнула в спасительный промежуток двух колонн. Здесь Росников успел перевести дух и кинул беглый взгляд на то, что его окружало.

В удушливой, влажной от тысячи дыханий атмосфере носился вверху легкий, голубоватый, прозрачный дымок, в котором блистали, словно бесчисленные группы звездочек, яркие огни люстр; преломляясь в кристальных подвесках, поражали они странным образом зрение своим радужным, изменчивым светом.

Большая часть замаскированных, хотя и были они закутаны с головы до ног, держалась стен и с непонятным наслаждением жалась к углам и выходам, где менее света и более давки, между тем, как средина залы оставалась почти пустою. Поэтическое воображение Росникова тотчас заподозрило в этом роковые тайны, драматические сцены и страстные переговоры; но сколько ни напрягал он любопытствующего слуха, однако ж не успел уловить, даже в самых темных и сокровенных убежищах, ничего, кроме очень обыкновенной фразы: «я тебя знаю, прекрасная маска», или тому подобного, для чего, казалось бы, вовсе не было нужно прибегать к таинственности.

Несмотря на безжизненное однообразие и томительную пустоту разговора, сопровождающие дам кавалеры казались необыкновенно веселыми и совершенно увлеченными обаятельною прелестью маскарада; многие из них просто хохотали во все горло, предаваясь вполне счастливому, детскому самозабвению.

Как ни было великолепно и любопытно подобное зрелище, но Иван Иванович вскоре почувствовал нестерпимую скуку, которую даже и самый Лядов не мог разогнать очаровательными звуками своих мелодий. Облекая все черным цветом печального настроения своей души, не понимал он причины слышимого им со всех сторон нервического хохота и, в простоте сво-

его безыскусственного сердца, приписал его, наконец, излишнему расположению к щекотливости, которым страдали бедные молодые люди, толкаемые беспрестанно с обоих боков. Между ними уже отыскивал он глазами своего спутника в пунцовой личине, намереваясь дать ему порядочный нагоняй за то, что он притащил его в маскарад и отвлек тем от обычного сна, во время которого пригрезилось бы ему что-нибудь отраднее теперешних явлений. Тут заметил он черное креповое домино, которое, прислонясь к колонне, пристально на него смотрело.

С своей стороны Иван Иванович тоже уставил глаза на замаскированную незнакомку. Страшная бледность лица, резко просвечивающая сквозь нижнюю кружевную половинку маски, фосфорический блеск взглядов, исхудалый, но стройный стан, упрямое безмолвие и продолжительная неподвижность посреди общего говора и беготни придавали ей фантастический образ какого-то неземного видения. Росников оторопел и не двигался с места, будто околдованный.

Незнакомка, все еще не спуская с него глаз, медленно согнула опущенную к земле руку и подала ему букет камелий. Взволнованный до крайности, Иван Иванович приблизился и молча взял цветы.

Тогда левая рука незнакомки упала в сгиб его правой руки и они пошли в смежные комнаты, не говоря ни слова.

По временам загадочная маска судорожно вздрагивала и подавляла в груди чуть слышный вздох; по временам озиралась она с какою-то ненавистью и страхом на суетливую толпу. Иван Иванович не смел перевести дыхания, боясь, чтоб его призрачная спутница не улетела вверх или не провалилась сквозь землю. Вещее его сердце смутно отгадывало, что это поэтическое явление предстало пред ним только на одну минуту и никогда уже более не повторится, что эта сладостная тень, окруженная магнетическим блеском обманутой любви, сокрушенных надежд, неисцелимой скорби и безвыходного отчаяния, скоро совсем исчезнет, оставя в душе его одно грустное воспоминание, смешанное с сомнением в действительности того, что он теперь видит.

Переходя из комнаты в комнату, достигли они до отдаленного кабинета, куда немногие знали вход. Здесь, у ярко-блестящей стенной лампы, таинственная незнакомка вдруг оставила руку Ивана Ивановича и, став

перед ним лицом к лицу, спросила пронзающим сердце голосом:

— Жан, помнишь ли ты наше прошедшее?

От этих магических звуков, в которых так и дрожали слезы, так и отзывался горький вопль погибшей страсти, обдало Росникова пламенем.

— Прекрасная маска,— отвечал он восторженным тоном,— довольно слышать одно твое слово, чтоб не забыть тебя до могилы!

Как ни была удивительна эта фраза, но прелесть ее осталась совершенно потерянною для незнакомки, потому что она, при первых звуках голоса Ивана Ивановича, с ужасом отпрянула в сторону, бросилась, как стрела, вон из кабинета и исчезла в темном потоке масок.

— Вот тебе раз! — произнес с удивлением и горестью Росников.— Стало быть, эта загадочная дама приняла меня за кого-нибудь другого! Ведь в столице ровно столько же Жанов, сколько Иванов, а их не перечтешь и до рассвета! Прав глубокомысленный раввин, который отвечал на все вопросы одною многозначительною частицею: «гм!». Да и не чудак ли я, в самом деле? Какая женщина будет говорить со мною о прошедшем? Разве я не знаю, что у меня нет прошедшего?

III

— У меня нет прошедшего,— повторил он, более и более поддаваясь мрачному расположению своего духа,— изжив двадцать семь лет, не сохранил я ни одного драгоценного воспоминания, не имел ни одной минуты, которую бы пожелал воротить сегодня! Я вращаюсь среди людей пунша, преферанса, мелких интриг и площадных анекдотов! Я не помню ни одной радости, над которой бы сам после не смеялся...

Каждый заметит, что Иван Иванович в этом монологе преувеличивал тягость своего жребия; с другой стороны, надобно сказать правду, что круг его знакомых далеко был ниже того общества, на которое имел он право по своим знаниям, приличным манерам и очень замечательной наружности. Самые денежные его средства, состоящие в тысяче рублях серебром процентов с наследственного капитала, подстрекали в нем недовольство настоящим его положением. Другой бы, на его месте, всякий день благодарил бога за то, что дарована ему возможность удовлетворять первым жи-

тейским потребностям и маленькое ограждение от натиска фортуны, но Росников томился, как запертый в клетке. Блажь эта свойственна многим.

При всем избытке способностей, обогащенных основательным образованием, осуществлению его намерений постоянно препятствовал недостаток родства в столице; особенно же были для него гибельны врожденная застенчивость, слишком мягкий нрав и отсутствие практического смысла, когда этот смысл требовался в жизни.

Если тревожный ум Росникова волновался разными предположениями, то и сердце его, в свою очередь, не могло похвалиться спокойствием. С давнего времени жаждал он любви, но бедный молодой человек и в этом встретил неудачу, огорчение и тому подобные осечки. Ошибаются те, которые думают, что в делах такого рода можно обойтись без расчета, хитростей, сноровок, уловок и других мелких стратегем, чуждых и ненавистных благородной душе. После этого легко понять, отчего Иван Иванович не имел успеха там, где бы он должен иметь успех по праву любящего, готового на все пожертвования, сердца.

В эпоху первого своего дебюта в столице, проводил он вечера по воскресеньям у г-жи Кадарской, очень доброй старушки, которая ласкала Ивана Ивановича как сына своего старого знакомого и земляка. Кадарская жила в прекрасном собственном доме близ Большого Театра; все ее попечения и думы, все надежды и опасения сосредоточивались на сироте-внучке, только что вышедшей из пансиона и не успевшей еще явиться в свете. С первого раза Иван Иванович до безумия влюбился в шестнадцатилетнюю Аннунциату — так называл он Анну Петровну. Сначала дело шло как нельзя лучше. Они вместе занимались музыкой, читали стихи, рисовали цветы и головки. Но вот минуло Аннунциате семнадцать лет, и тогда все повернулось вверх дном. Бог знает откуда набежали блистательные молодые львы, один другого ловчее, остроумнее и смелее. Бедный Росников незаметно очутился сначала на втором плане, а потом передвинулся на последний. Не имея средств сопровождать предмет своего тайного обожания на все вечера, балы, концерты и спектакли, он нечувствительно отдалялся от Аннунциаты более и более, стал реже ездить к Кадарским, а когда убедился, что его отсутствия не замечают — прекратил и вовсе

свои посещения. Через несколько месяцев увидел он из газет, что Кадарские едут в Гельсингфорс; в час отплытия парохода прискакал он на Английскую Набережную, рассыпался в извинениях, уверяя, что продолжительная болезнь и занятия по службе сделали его невежливым пред знакомыми; по крайней мере теперь долгом он для себя почел пожелать им в день отъезда счастливого пути. Анна Петровна едва его узнала и поблагодарила вскользь за память о них.

Несмотря на это, провожая глазами пенящий воды пароход, Иван Иванович давал себе обещание бывать у Кадарских как можно чаще, если только они благополучно и в свое время воротятся в столицу. Как же страшно замерло в нем сердце, когда, спустя три месяца, один из его товарищей ошеломил его вестью, что Анна Петровна вышла в Гельсингфорсе замуж и сделала удивительную партию! Вмиг почувствовал он глубокое отвращение к жизни, смертельную ненависть к похитителю своего идеала. Потеряв смысл и сознание, он уже не слушал и не хотел знать, с испанским ли грандом, с русским ли князем или с немецким бароном сочеталась изменница; ему это было решительно все равно: он желал только одного, чтобы карающие волны поглотили преступных на возвратном пути. Однако ж ничего подобного не случилось. Молодые благополучно прибыли в Петербург и поселились в том же самом доме, где Росников увидел в первый раз незабвенную Аннунциату, а умерла менее всех виновная бабушка, вероятно с радости, что устроила, наконец, счастие своей внучки. И действительно, это супружество казалось целому свету самым счастливым. Муж — красавец, с значением в свете, богат и умен; жена — влюблена беспредельно в своего мужа.

С тех пор Иван Иванович сделался еще меланхоличнее прежнего и ровно три года не приближался к Большому Театру, боясь мучительных воспоминаний и встречи с Анной Петровной. Тем не менее, его нежное сердце сохранило в себе глубоко запавшее чувство. Только это чувство с годами переработалось, просветлело и преобразовалось. Брожение страсти, дикие порывы ревности и досады — улеглись и остыли; остался один самый тонкий аромат любви. В отрадные часы мечтаний представлялась ему Аннунциата точно такою, какою видел он ее в прежние счастливые дни: тот же высокий, едва развившийся стан; те же сафирные очи,

та же детская улыбка. Даже милый этот образ являлся ему в сновидении и однажды сказал шепотом: «Не грусти, я всегда с тобою».

Под наитием таких странных экзальтаций, Иван Иванович начал приписывать всякую возвышенную мысль, каждый великодушный подвиг свой влиянию своего идеала. Отсюда уже легко понять, отчего он называл Анну Петровну *добрым гением.*

IV

Что касается до *злого гения,* то им сделалась для Росникова Амелия Фрезиль, цветочница. Знакомый ему молодой человек, родственник Амелии, затащил его однажды к этой сопернице Флоры. Сначала Иван Иванович пошел просто от нечего делать, а потом захотел ближе узнать и подметить характер знаменитой модистки. Но прежде нежели успел он что-нибудь изучить, был он сам вполне изучен и проучен.

Мадам Фрезиль имела великолепный магазин. Редкое богатое семейство в столице не обращалось к ней с заказами; Иван же Иванович, наоборот, принимал от нее сам заказы: достать билет в ложу Михайловского Театра или в кресла итальянской оперы, добыть молодецкую тройку, чтоб ехать на загородный пикник, прислать карету для прогулки в Парголово и тому подобное. Здесь надобно заметить, что в случае неисправности Ивана Ивановича в исполнении таких лестных поручений беззаботная Француженка никогда не сердилась: она или обращалась с ними к другим молодым людям, или находила какое-нибудь иное развлечение, или оставалась дома и от всего сердца возилась с своими цветами и мастерицами.

Сам не зная как, Росников привык ее видеть почти каждый день. Ему нравилось ее бесцеремонное обращение, исполненное самых неожиданных, самых странных выходок, сквозь которые, однако ж, всегда проглядывали такт приличия и какая-то внешняя светская грациозность; ему полюбились ее звонкий смех, ее легкие остроты и неистощимые каламбуры, сменяемые вдруг куплетом водевиля, пропетого серебристым и верным голоском. Даже самая жажда общественных удовольствий и развлечений — ненасытная потребность пикников, маскарадов, спектаклей и балов — без всякой цели, с одним намерением устать, закружиться и

ошалеть в безумном вихре забавы,— даже и это нравилось Ивану Ивановичу, как противоположность его задумчивому и грустному характеру.

Часто, когда вертлявая парижанка собиралась на какой-нибудь танцевальный вечер, погруженный в мягкие кресла Росников присутствовал, с видом знатока и педанта, при окончательном ее туалете.— «Monsieur Jean,— говорила она, вдруг оставя зеркало,— посмотрите, какие у меня волосы!» Тут, вытащив из головы шпильки и гребенки, исчезала она до пояса в богатой россыпи кудрей.— «А вот моя рука! — продолжала она через несколько минут, поднося к самому его носу маленькую, благовонную, пухлую с ямочками кисть, которую Иван Иванович тут же целовал с медленною важностию.— Ну, а мое платье? Хорошо ли сделано мое платье?» — спрашивала она потом, поворачиваясь к Росникову спиною и представляя его взорам охваченную корсетом талию и розовые локотки обнаженных рук.

Амелия была говорлива и с тем вместе скрытна, откровенна и лукава, добра и расчетлива, вспыльчива как порох, но без малейшей желчи и злопамятства. Она терпеть не могла лжи, но также и не высказывала всей правды. Побуждаемая легким, веселым и неугомонным своим нравом, она находила удовольствие в беспрестанных сношениях с особами разных классов общества и не щадила стараний на услуги, очень редко увлекаясь в этом случае одними корыстными видами. Только к дамам, которые делали ей заказы, питала она какую-то скрытную ненависть. Оттого ли, что род ее ремесла совершенно зависел от их прихотливой, не всегда справедливой, оценки, или потому, что они часто обращались холодно и небрежно с артисткою (Амелия высоко ценила свое искусство и называла себя не иначе, как «артисткою»), но только злая француженка не пропускала случая подметить в них что-нибудь странное или смешное.

Само собою разумеется, что ее замечания Иван Иванович не оставлял без горячих возражений, которые в свою очередь Амелия опровергала новыми парадоксами. Это развивало спор, который нередко длился между ними до полуночи. Тогда Амелия подавала Ивану Ивановичу шляпу и, указывая пальцем на дверь, произносила скороговоркою:

— Мосье Росник, ступайте вон; я спать хочу.

Надобно сказать правду, что, несмотря на очень

невысокую степень образования цветочницы, Иван Иванович находил в откровенной беседе с мадам Фрезиль очень много веселых минут. Но под луною ничего нет постоянного, говорит допотопная пословица. С некоторых пор Амелия начала реже и реже принимать его. Только что просунет он голову в двери ее комнаты, как озабоченная чем-то парижанка стрелою бросится к нему навстречу и, отодвигая тихонько его назад, залепечет: «Время нет, время нет; ступайте, ступайте!» Однажды, часов в десять утра, увидел он у ее подъезда прекрасную маленькую карету. Любопытный Иван Иванович позвонил у дверей магазина. Вышла очень стройная, очень бледная мастерица.— «Мадам Фрезиль никак не может теперь принять вас,— сказала она томным голосом, делая разные медленные движения гибким и высоким своим станом,— у ней теперь одна очень знатная дама; у ней теперь заказов столько, что ужасти!»

Росников воротился домой в самом скверном расположении духа и дал себе слово, при первом же случае, иметь с Амелией подробное объяснение. Недели две был для него вход в магазин недоступен; наконец удалось-таки ему попасть в комнаты Фрезиль. Она очень внимательно занималась работою и очень дружелюбно сказала обычное приветствие: «Добрый день, мосье Жан!»

Но мосье Жан был на этот раз просто нелюбезный, озлобленный Иван Иванович. Не отвечая на учтивость, грубо кинул он шляпу на стол и шлепнулся в кресла без всякого приглашения со стороны хозяйки. Такое новое обращение удивило и оскорбило гордую парижанку; когда же Росников, устремив на нее резко-насмешливый взгляд, начал делать обидные намеки и высказывать обиняками, что ему кое-что известно о карете, тогда Амелия, кусая губы и перемогая кипящую в груди досаду, едва могла проговорить в ответ, что никто не имеет повода надсматривать за ее поступками, что она не дала Ивану Ивановичу никакого на это права, что он для нее скучный, пресный кавалер и что ей решительно все равно, знает ли он что-нибудь или ничего не знает. Это затронуло, как нельзя более, самолюбие Росникова и заставило его, в свой черед, произнести Амелии такую откровенную фразу, что вспыхнувшая француженка мгновенно сорвалась с места и швырнула в него букетом искусственных ландышей. Росников ушел из магазина, проклиная цветочницу и

самого себя за то, что искал знакомства и даже руки сумасбродной женщины.

Такое несчастное событие заставило Ивана Ивановича избегать улицы, где жила Амелия, точно так же, как удалялся он окрестностей Большого Театра. И точно так же воспоминание об Амелии стало его преследовать. Склонясь на одиночное изголовье своей постели, бедный молодой человек невольно видел пред собою особу француженки: ее свежие, подернутые смуглым румянцем щеки, вишневый, громко смеющийся ротик, низкий с легким янтарным отливом лоб и густые темные брови, под которыми сверкали живые, неспокойные глаза — это видение мало-помалу стало затмевать в воображении Ивана Ивановича образ Аннунциаты... по крайней мере, черты последней делались с каждым днем менее ясны и, наконец, слились в какой-то воздушный, холодный, строгий, мимо несущийся профиль.

Такую-то борьбу вели между собою в сердце Ивана Ивановича две женщины, из которых, в сущности, одна никогда о нем не думала, а другая, вероятно, через месяц совершенно его забыла!

V

— Добраться бы мне только до этого проклятого выхода на лестницу, а там уже меня никакими сокровищами опять сюда не заманят,— говорил сам себе Росников, лавируя и ускользая от масок, осаждавших его, как нарочно, со всех сторон, с непонятным ожесточением.

— Здравствуй! — пищала одна из черных проказниц,— как ты похудел! Как сплющился под башмаком милой твоей супруги!

— А эти цветы? — картавила другая, указывая пальцем на увядающие камелии, оставленные ему таинственной незнакомкой,— верно твоя жена бросила их на пол, а ты подобрал и носишь их у сердца?

— Откуда, в самом деле, взялись у тебя эти гадкие красные цветы? — зазвенел вдруг сердитый голос, и в то же время маленькое, резвое домино юркнуло к самому плечу Ивана Ивановича, мигом вырвало букет, растеребило его в лепестки и развеяло по сторонам.

Грабительская операция эта была произведена с таким изумительным проворством, что Иван Иванович, которому до смерти было жаль цветов, еще не успел

прийти в себя от досады, как уже маленькое домино, подпрыгнув на носки крошечных своих ножек, начало ему шептать в самое ухо: «В два часа я буду; непременно буду. Жди меня». Затем домино снова юркнуло в толпу и потерялось из вида.

— Какая вертлявая стрекоза! — произнес Иван Иванович.— Робок я, неловок и ненаходчив: не умею в мутной воде поймать рыбу! Что, если бы подвернулась еще какая-нибудь маска? Я бы уж теперь обошелся похитрее и порешительнее... Да нет, нет: запоздалое намерение; вот уже и выход на лестницу!

На лестнице происходила еще большая давка, нежели в зале. Черные домино и капуцины обставили, сверху донизу, все ступени, словно полк статуй из базальта. Надобно было дожидаться очереди, чтоб двинуться на вершок вперед. Между тем, оживленные свежим воздухом маски расточали, от нечего делать, последние любезности и остроты. Отовсюду слышались восторженные мольбы, прощальные вздохи и громкий смех неожиданно разоблаченной мистификации.

— Я буду преследовать тебя, маска, до тех пор, пока не узнаю твоего имени,— говорил статный мужчина с черными усами высокой, замаскированной даме, которую почтительно вел под руку. Даже неграциозные складки домино не могли отнять прелести у роскошного, вполне развитого ее стана.

— Ты не пойдешь за мною ни шагу далее,— отвечал ему повелительный, мелодический голос,— иначе я стану жалеть, что отдала тебе одному почти целый вечер.

— Но, прекрасная маска, скажи мне, по крайней мере, могу ли иметь надежду еще раз тебя увидеть?

(«Вот должна быть красавица!» — думал Росников и протеснился несколько вперед, чтобы рассмотреть лучше замаскированную.)

— Увидеть? — повторила невнимательно маска, медленно поднимая к глазам своим лорнет и наводя его на Ивана Ивановича,— увидеть?.. Мне кажется, мы никогда уже более не увидимся.

Проговорив эти роковые слова, она, к совершенному изумлению Росникова, без церемоний притянула его к себе за широкий рукав капуцина, потом освободила свою руку от руки мужчины с усами и задела ее за руку Ивана Ивановича.

— О, вы безжалостны! — сказал статный мужчи-

на.— В эту минуту я столько же ненавижу вашего кавалера, сколько ему завидую!

— А он, быть может, столько же ненавидит меня за то, что я увожу его из маскарада, сколько завидует вам в том, что вы можете опять туда вернуться и повторять другим ту же самую лесть, которую я от вас слышала.

— О, вы немилосердно насмешливы! Я хотел бы, по крайней мере, знать имя счастливого соперника, для которого так жестоко вы меня оставляете!

— Его имя — *Красная ленточка,*— отвечала маска и тут же выдернула из рукава удивленного Ивана Ивановича кусок пунцовой ленты, которого он прежде вовсе не замечал.

Решительным движением руки дала она прежнему кавалеру знак, чтоб он удалился. Скрепя сердце, должен был тот на этот раз повиноваться, раскланялся и пошел вверх по лестнице, а Иван Иванович начал бережно сводить замаскированную вниз, в швейцарскую, где толпа служителей давно ожидала господ своих.

— О, какая тоска, какая невыносимая скука! — произнесла замаскированная дама, склоняя к груди утомленную свою голову. Эти слова гармонировали с печальным настроением Ивана Ивановича, и он в ответ на них не мог не прижать тихонько своим локтем милой ручки, так доверчиво отданной в его распоряжение.

Быстро повернула к нему замаскированная дама голову и взглянула на него с таким холодным, презрительным изумлением, что Росников смешался совсем, вспомня тут же слова красторожего капуцина: «касайтесь как можно легче до руки тех дам, с которыми будете ходить в маскараде».

Маленькая эта катастрофа происходила уже на последних ступенях лестницы. Тотчас высокий лакей, растолкав менее рослых своих товарищей, выдвинулся вперед и осторожно подал замаскированной даме бархатный, на собольем меху, плащ и зеленую шаль. В то самое время как Иван Иванович, по долгу учтивого кавалера, помогал очаровательной незнакомке закутывать голову, почувствовал он, что лакей набросил также и на его плечи огромную шубу; он хотел сказать, что эти покрытые синим сукном медведи принадлежат вовсе не ему, но расторопный слуга так живо сунул ему в руки чужую шляпу и так проворно кинул-

ся вон из сеней, что Росников успел произнести только: гм!

— Карета Долевского готова! — крикнул жандарм у подъезда. Лакей отворил с улицы дверь и высунул оттуда свою голову в лунообразной шляпе; замаскированная дама двинулась на крыльцо; смущенный Иван Иванович, не зная куда ему девать чужую шляпу и шубу, последовал за нею.

С помощью лакея медленно взошла замаскированная дама по откинутой подножке в экипаж и села в противоположный угол; ревностный служитель тотчас схватил Ивана Ивановича под руку, приготовляясь тоже усадить его в карету; но Росников попятился назад, все еще поглощенный размышлением, как бы ловче возвратить навязанную ему шубу и шляпу.

— Садитесь же! — раздался из экипажа недовольный голосок,— вы сегодня просто непостижимы!

«Пожалуй! — весело подумал про себя Иван Иванович, произнося в то же время выразительное: гм! — Извольте, я сяду! — думал он: — только уже после чур на меня не пенять! Едва ли сыщется на свете чудак, который бы после таких настоятельных приглашений отказался от неожиданного счастия вам сопутствовать». Тут Росников в самом деле ввалился в карету: лакей мигом захлопнул дверцы, крикнул кучеру: «пошел домой!»,— и карета покатилась.

VI

«Вот приключение! — думал Росников, смеясь исподтишка в бороду своей маски и боязливо поглядывая на незнакомку, которая, не обращая на него никакого внимания, смотрела в противоположное стекло кареты.— Со мною происходит теперь самая маскарадная, самая романическая авантюра! Я не только очутился в чужой шляпе и шубе, но еще в чужой карете! А хороша должна быть эта Долевская! И к тому же, надобно полагать, страшная чудиха, затейница и озорница! Я ведь не так прост, чтоб все это приписывать одному случаю; случай-то всегда был против меня; разве только теперь... Нет, нет! Тут есть своего рода расчетец, намеренье какое-нибудь, какая-нибудь светская проделка, женская уловка, дамская хитрость...»

— Как мне жарко! — произнесла чуть слышно незнакомка и, откинув шаль, начала развязывать ленточки своей маски.

«Интересно, интересно, дьявольски интересно!» — бормотал про себя Иван Иванович, между тем как его сердце прыгало, словно заяц, от безмерного любопытства и нетерпения увидеть скорее лицо Долевской...

Маска свалилась — у Росникова потемнело в глазах, кровь замерла в жилах; он почти лишился чувств...

Между тем экипаж остановился у подъезда; лакей отворил дверцы и откинул подножку.

— Выходите же! — раздался опять недовольный голосок,— вы сегодня просто ни на что не похожи!

Уничтоженный Иван Иванович беспрекословно позволил лакею вытащить себя из кареты, машинально подал руку даме и побрел с нею по широким ступеням лестницы.

Удар в колокольчик вызвал всех служителей со свечами и без свечей; окруженные ими, Долевская и Росников вступили в переднюю; там первая оставила на руках лакея свой плащ, а Иван Иванович чужую шляпу и шубу.

Затем Долевская вошла в огромную залу; Иван Иванович бессознательно последовал за нею.

Долевская сбросила с себя домино... О, какою прелестною явилась она в своем голубом шелковом платье! как роскошно выказался ее высокий стан! как обнаружились ее круглые, атласистые плечи! какими розами алели ее снежные щеки, согретые и раздраженные долгим прикосновением маски!

Растерявшись еще более при виде таких несравненных прелестей, Иван Иванович собирался уже бежать, как Долевская, не обращая по-прежнему ни малейшего на него внимания, точно как будто вовсе не было его в зале, позвала служанку.

— Проводи меня, Верочка, в спальную,— сказала она,— я так устала, что едва держусь на ногах.

Когда Долевская и горничная вышли чрез боковые двери из залы, Иван Иванович бросил дикий взгляд на лакея, ожидавшего в передней, с разинутым ртом, приказаний. «Этот человек,— думал он,— принимает меня за своего барина, стало быть, Долевского нет дома. Чтоб избежать огласки, надобно мне отыскать другой выход и потихоньку юркнуть восвояси». С этою целью Иван Иванович пошел вдоль залы к противоположным дверям; служитель, в котором, по одутловатому лицу и пестрой жилетке, украшенной массивною цепочкою, не трудно было узнать камердинера, торопливо обогнал

его со свечою и начал отворять перед ним одну за другою двери в смежные комнаты. Следуя за ним, Росников попал сначала в богато убранную гостиную, после в столовую и, наконец, в круглый кабинет, обставленный широкими диванами в турецком вкусе.

Камердинер зажег стоявшую на столе бронзовую лампу, выдвинул боковой ящик из врезанного в стену шкафа и достал оттуда персидский халат, кашмировые туфли, пуховый шейный платок и шелковый, с радужными полосками по планшевому фону, колпак, подобный тем, какие носят неаполитанские рыбаки. Тщательно разложив все это на оттомане, спросил он Ивана Ивановича: «Угодно ли раздеваться?»

Росников не хотел до такой степени искушать судьбу; он сделал на этот вопрос отрицательный знак головою, показав притом повелительным жестом на дверь. Догадливый камердинер, отвесив низкий поклон и пожелав покойной ночи представителю Долевского, отправился опять тою же дорогою, которою пришел. Иван Иванович долго слушал, как стихали мало-помалу в отдалении тяжелые и мерные шаги его.

VII

Только теперь, когда все умолкло и засыпающий дом погрузился в совершенную тишину, только теперь отважился Росников дать исход неистовой буре потрясенных чувств своих.

«Аннунциата! — возопил он, размахнув трагически руками.— Аннунциата! Ты — Долевская! Великий боже, как не утратил я рассудка, убедясь в этой страшной истине! Как не одолела меня слепая ярость мщения при виде этих вечно памятных комнат, где назад тому четыре года был я желанным, милым гостем и где являюсь теперь робким и нечаянным пришлецом. Объясни же мне, непостижимая, каким образом очутился я подле тебя? Привела ли меня сюда странная воля жребия или твоя жестокая прихоть? Сочла ли ты меня в самом деле за твоего мужа или только, под видом ошибки, умышленно ввела в обитель роскоши бедного страдальца, желая показать ему весь блеск, всю неприкосновенность супружеского счастия, которым ты наслаждаешься? Ах, если все это заранее предначертано тобою — подумала ли ты, Аннунциата, как

безжалостно разбиваешь преданное тебе сердце, и без того уже сокрушенное горем?»

Увлеченный драматизмом своего положения и реторикою, Иван Иванович наговорил бы, конечно, гораздо более, если б легкий шорох в соседней комнате не заставил его вмиг прикусить язык и навострить уши. Через минуту дверь из библиотеки тихо отворилась; из нее вошла, или точнее сказать, вползла в кабинет, как кошка, босая девчонка лет четырнадцати, с огромною головою, широким носом, с хитрыми косыми глазами.

— Барыня давно почивают,— прошептала она, таинственно подкравшись к Росникову, и, бросив на мнимого барина лукавый, воровской взгляд, обличающий какое-то, обоюдное условие, выползла из кабинета.

Появление этой странной вестницы произвело в чувствах и мыслях Росникова невыразимую сумятицу, которую ближе всего можно сравнить, пользуясь старым уподоблением, с дикими и смешанными диссонансами настроиваемого оркестра. Но громче и явственнее всех звуков, раздавалась в душе его тема: «барыня почивает!» «Что за непостижимый церемониал в этом доме! — думал он.— Извещают мужа, что жена его спит! Зачем этот лукавый взгляд и насмешливая таинственность косой девчонки?.. Мне кажется, что Долевская и эта босая Ирида очень хорошо знают, что я не Долевский. Нет, нет! Это мне так показалось. Чтоб не вышло из моего настоящего положения какого-нибудь скандала, я должен уйти отсюда без всякого шума и не подав о себе ни малейшего подозрения прислуге... Я пойду к Аннунциате, расскажу ей, кто я, и тогда, с ее помощью, выберусь из этого дома до возвращения Долевского. Только маска и костюм теперь уже не кстати. Странствуя в них по комнатам, можно наткнуться на лакея или на служанку: пожалуй, они подумают, что господин их помешался, и поднимут тревогу. Лучше представиться тем, за кого они меня принимают».

Окончив эти размышления, Иван Иванович смело сорвал с себя личину и сунул ее в карман; потом надел сверх капуцина халат, напялил на носки сапогов туфли, завернул шею и бороду в платок и натянул на голову, до самого носа, неаполитанский колпак. В таком новом наряде вышел он тихонько из кабинета, оставя на столе непогашенную лампу и притворив за собою бережно дверь.

И вот, увлеченный судьбою, герой наш проходит опять комнаты одну за другою и вступает, весь дрожа от робости, в темную залу. Здесь долго прислушивается он, не долетит ли до его ушей какой-нибудь шорох или шепот, не раздадутся ли где-нибудь человеческие шаги — в целом доме царствует мертвая тишина. Это ободряет лазутчика, и он, задерживая дыхание, пускается в длинный коридор, в котором исчезла Аннунциата. После многих закоулок и извилин, руководимый впотьмах памятью и усиленным соображением, он наконец ощупывает дверь. Тут повертывает он ручку замка и, будто тень, проскользает в теплую, ароматическую комнату.

VIII

Слабый призрачный свет лампы, мерцающей в белой мраморной вазе, теплится, словно жертвенный огонь пред усыпленною богинею красоты. Озаренная трепетными лучами этого магического света, в пышных волнах батиста и кружев, почивает Аннунциата на роскошном ложе. Щеки ее, недавно еще пылавшие румянцем, покрыла теперь матовая бледность и какая-то грустная истома запечатлела уста и разлилась по челу красавицы.

При виде такой чистой, кроткой, беззащитной прелести, нечто подобное жалу совести кольнуло в сердце Ивана Ивановича. Вдруг почувствовал он всю неуместность своего поступка и ощутил неожиданную охоту бежать как можно скорее назад, чтоб предупредить развязку необдуманного своего предприятия. Но куда бежать? как скрыться из дома, не быв замеченным прислугой? Бедный Иван Иванович стоит посреди комнаты в совершенном отчаянии. Тень его падает на лицо Аннунциаты... Она вздохнула, сделала движение и пробудилась.

В один миг Росников повернулся, словно на шалпере, к ней спиною и заслонил собою свет лампы.

— А! — говорит красавица томным голосом, — это вы? Зачем вы так поздно в моей комнате?

Совершенно потерянный, Росников не отвечает ни слова и начинает поправлять светильню лампады.

— Что вы делаете с моею лампою? — продолжает Аннунциата, — зачем вы гасите огонь?

При этих словах Иван Иванович, не зная сам, для чего и каким образом, в самом деле потушил лампу.

— Ах! — вскрикивает красавица испуганным и вместе гневным голосом,— оставьте меня, подите сию же минуту отсюда.

Но, взволнованный до глубины души и не зная, что делать, Росников бросается на колени...

— Не приближайтесь ко мне,— кричит она.— Ваше присутствие наводит на меня ужас и внушает мне глубокое отвращение!

После такого приветствия и минутного безмолвия, в продолжение которого изумленный Росников успел кое-как собраться с мыслями, вырвались задушаемые, истерические рыдания из груди бедной женщины. «Нет! — говорит она, плача,— не обманут меня более твои предательские клятвы, не тронут меня твои коварные слезы и ласки! Я поняла тебя, Жан, я теперь совершенно постигла безбожное твое вероломство! Скажу тебе прямо: жестокая твоя холодность и ветреность, которая для меня давно уже перестала быть тайною, в тысячу раз для меня сноснее, нежели настоящее твое лицемерие! Теперь, теперь... О, как презрительно твое льстивое унижение! как много ошибаешься ты, если надеешься возвратить мою обманутую доверенность подобными мелочами!

И к чему эта смешная маска раскаяния? Этот неожиданный возврат нежности, к которой ты вовсе не способен? Разве между нами не все уже кончено? Разве ты не назначал сегодня свидания другой? Будь покоен, Жан: эта роковая тайна ляжет со мною в могилу. Свет, которому ты поклоняешься, не перестанет видеть в нас пример счастливого супружества; наш дом не утратит общественного уважения и сохранит доброе имя извне, чем ты более всего озабочен. Я горда, Жан, столько же, как ты; но я горда иначе: я так же старательно скрываю перед людьми твои недостатки, как ты суетно выказываешь перед ними мои хорошие качества!

Быть может, тебя привело опять к ногам моим опасение, чтоб покинутая жена не уступила, наконец, соблазнам, которые свет расставляет каждой чем-нибудь замечательной женщине... Я знаю, это опасение нестерпимо для твоего самолюбия, и если ты охладел для соперничества в любви, тем не менее возненавидел бы соперника по непреклонной твоей гордости; я знаю

это, Жан, но вместо того, чтоб подстрекать подобного рода ревность, раздувать ее пламень, скажу прямо, что тебе тут нечего бояться. Будь уверен, никакие обольщения, никакие преследования не заставят меня забыть произнесенной пред алтарем клятвы. И забытая тобою, я сохраню до могилы несокрушимую тебе верность и безропотную покорность моему тяжкому жребию!»

IX

«Недостойный человек! — повторял в глубоком раздумье Иван Иванович, поспешно выходя из комнаты, убедившись, что у него недостанет смелости объявить Долевской о себе и вывести ее из заблуждения...— Какую тайну открыл мне сегодня случай! О, как недальновиден, как опрометчив свет в своих суждениях!»

Измученный разнообразными ощущениями этой обильной происшествиями ночи, Росников не без удовольствия приближался к кабинету, намереваясь как можно скорее сбросить там с себя чужое платье и отправиться домой через переднюю, не боясь ничего, что бы с ним ни случилось, лишь бы как-нибудь выбраться из дома на улицу.

С этими мыслями отворил он дверь в кабинет, но только что переступил порог — вдруг раздались поспешные мужские шаги в кабинете. «Теперь я погиб!» — прошептал жалобно Иван Иванович и в бессознательном страхе прижался к стене, подле самой двери...

В этой истории всего страннее то, что мы, войдя вместе с Иваном Ивановичем Росниковым в дом Ивана Казимировича Долевского и достаточно ознакомясь с его кабинетом, не обратили никакого внимания на самого хозяина дома, даже не полюбопытствовали узнать, как и где проводит он нынешнюю ночь. Из вышеописанных обстоятельств мы только можем догадываться, что он приехал в маскарад вместе с женою и оставил свою шубу и шляпу, с плащом и шалью жены, на руках длинного лакея в сенях. Против обыкновения, Иван Казимирович был замаскирован. Однако ж он успел заранее предупредить, кого надобно, о красной ленточке, нарочно вдернутой в правый рукав его домино и долженствующей указать посвященным в тайны его затей, что под ним скрывается его особа. Только что

ввел он жену свою в залу, как она, будто угадывая тайные его желания, подала руку своему кузену. Очутясь таким образом на совершенной свободе, Долевский мигом юркнул в толпу и начал прилежно искать встречи с теми, с кем нужно было ему переговорить. Но как ни старался он заинтриговать, проходящие маски, в которых подозревал своих знакомок, отделывались от него двумя-тремя словами, чтоб доказать ему, что он ошибся.

— Терпение мое истощилось! — говорил про себя Долевский, поднимаясь на хоры.— Словно невидимый выходец из другого света, странствую я из одной комнаты в другую, бесплодно добиваясь возбудить чье-нибудь участие! Ужели маскарадный наряд до такой степени изменил мою фигуру? А условный знак? Мне кажется, пора бы наконец кому-нибудь обратить на него внимание!

При этих словах, он бросил взгляд на свой правый рукав и с удивлением заметил, что красная ленточка исчезла. «Нечего сказать,— продолжал он,— приятное открытие! Верно я как-нибудь выронил ленточку при входе в залу: мудрено ли после того, что меня никто здесь не узнает? Поздняя и бесполезная отгадка! Остается покориться своей участи и ехать домой. Но прежде надобно отыскать жену».

Вскоре заметил он внизу домино своей жены, которая ходила об руку с незнакомым ему мужчиною и о чем-то жарко говорила. Это не совсем ему понравилось. Нахмуря брови, поспешил он к лестнице, намереваясь сей же час сойти в залу и увезти жену домой.

— Стой, приятель! — раздался вдруг подле самого его уха резкий голос и в то же время капуцин, в маске огненного цвета, крепко схватил его за руку.

— Поди прочь,— отозвался Долевский с досадою, усиливаясь освободиться от незнакомца,— благодаря бога, у меня вовсе нет подобных тебе приятелей!

— Мяу, вау, бау,— запищал капуцин, дерзко заглядывая в глаза Долевскому,— старая, любезнейший, шутка! Хрипи, баси, картавь, переменяй свой голос сколько угодно, меня этим не обморочишь! Я за тобою уже давно наблюдаю. Я узнал тебя по твоей походке, которая сильно изобличает провинциального разгильдяя. Хочешь, скажу, зачем ты здесь?

— Рад слушать.

— Строишь куры вон этому домино, под которым, по твоему мнению, скрывается Долевская.

Как ни смешны были эти слова, но Долевскому неприятно было убедиться из них, что инкогнито его жены известно постороннему человеку.— Я не знаю никакой Долевской! — произнес он глухо.

— Полно, милый, болтать вздор! — возразил капуцин с фамильярною настойчивостью.— Уверяю тебя, что все эти эксцентрические проделки, в которые так наивно вдался ты ради Долевской, ровно ни к чему не служат и крепко отзываются провинцией, откуда ты приехал. Я знаю, тебе смертельно хочется поговорить теперь с ней; пожалуй, я бы мог помочь в этом смешной твоей неловкости, но будет ли от этого прок? Кроме дарования отпускать светские комплименты, которого, впрочем, решительно ты не имеешь, пред женщинами необходима интересная наружность, а ее, благодаря твоей уродливой маске и чудовищному домино, никак не можешь ты сегодня употребить в дело. Надменная Долевская срежет с первого раза молодые побеги твоих надежд, так что никогда уже им потом не дорасти до цвета. Лучше подождем случая, когда в полном блеске можешь ты выказать перед ней голубые свои глаза, русые кудри, свежие щеки и жемчужные зубы. Хочешь, я введу тебя в дом Долевского?

— Сделай одолжение! — отвечал Иван Казимирович, бросив испытующий взор на капуцина и стараясь узнать по голосу, кто бы это был?

— Там будем мы помогать друг другу, занимаясь, впрочем, каждый по своей части. Я стану играть и отвлеку тем Долевского от наблюдений за женою, а ты своим волокитством за нею развлечешь его внимание, чтоб он скорее проигрался.

— Придумано славно! — вскрикнул Долевский с злобным хохотом,— только мне кажется, что мы оба останемся в дураках!

— Тебе это кажется потому, что не знаешь некоторых обстоятельств, давно известных целому свету!

— Какие же это обстоятельства?

— Во-первых, неизлечимая страсть Долевского к игре. Несмотря на огромное свое состояние, часто просиживает он за картами целые ночи, и это самое было началом раздора между ним и его женою.

Долевский пришел в смущение, чувствуя справедливость этих слов и убедясь из них, что его супружеские отношения не тайна для других.— А во-вторых? — спросил он нетвердым голосом.

— Во-вторых, сумасбродная страсть Долевского к волокитству. Несмотря на то, что судьба послала ему прекрасную, милую и образованную подругу, он беспрестанно любезничает с другими.

— Далее,— прервал Долевский, краснея от стыда и злости под маскою.

— В-третьих, жалкие последствия таких поступков, то есть: титло лицемера в обществе, охлаждение жены, которая, скучая одиночеством, будет непременно иметь нынешнюю ночь, в два часа, свидание в своем доме с одним очень любезным молодым человеком, влюбленным в нее до крайности.

— Лжешь! — закричал Долевский в бешенстве,— теперь уже половина третьего, а Долевская не оставляла маскарада ни на минуту: вот она идет мимо пятой колонны, как ты и сам, дрянной клеветник, можешь видеть!

— О, провинция! О, простодушие! — возопил капуцин,— сойди-ка, любезный, вниз и побеседуй с той маской, которую так наивно принял ты за Долевскую; тогда узнаешь, я ли клеветник — ты ли глупец!

— Жди меня здесь,— отвечал Долевский,— я намерен поговорить с тобою не по-маскарадному.

— Буду ждать, пожалуй, до рассвета, чтоб только посмеяться вдоволь над твоим уморительным ослеплением!

Вне себя от досады, бросился Долевский с хор и побежал к тому месту, где видел Долевскую.— Пора нам домой! — произнес он сухо, поравнявшись с известным домино.

— Поедем, милый плутишка, поедем! — зашамкал из-под маски дряблый старушечий голос, заставивший Долевского отпрыгнуть в сторону от ужаса и изумления.— Я готова ехать,— продолжало домино, настигнув Долевского и устремив на него тусклые зеленые глаза.— Что же ты стоишь, словно окаменелый? Посмотри, какая у меня славная ручка! — Тут старуха сняла перчатку и поднесла к самому его носу желтую, иссохшую, морщинистую руку.— Видишь, какие у меня острые ноготки! — прибавила она злобно и насмешливо,— доберусь я, доберусь до твоего влюбчивого сердечка!

Опрометью пустился Долевский из залы, чтоб отвязаться от этого оборотня.

— Ожегся, осекся, укололся, срезался! — кричал ему вслед неумолимый капуцин, задыхаясь от хохота.

Смущенный и рассерженный как нельзя больше, Долевский торопливо пробежал всю анфиладу комнат, отыскивая свою жену, но нигде не мог ее встретить. «Неужели проклятый капуцин сказал правду?» — повторял он, спускаясь в сени большого подъезда, где надеялся найти своего лакея. После долгих и напрасных поисков, Долевский наконец убедился, что его жена, его экипаж, его лакей, его шуба и шляпа — исчезли. Терзаемый тысячью ревнивых предположений, решился он, во что бы ни стало, скакать скорее домой, чтоб там добраться до развязки таких необыкновенных приключений.

— Послушай, любезный,— говорил он полусонному хранителю плащей и калош,— одолжи мне какую-нибудь шинель и фуражку, или хоть ливрею и картуз, чтоб доехать до дома. Я Долевский. Мой человек и экипаж пропали без вести.

— С удовольствием,— отвечал тот, узнав знакомый ему голос.— Только ливреи-то наши немножко позатасканы... будет неладно. Вот у Петрушки новая ливрея, да на беду такая длинная, что вы в ней просто запутаетесь.

— Все равно, братец; я готов окутаться теперь в саван, лишь бы скорее отсюда уехать.

— Сохрани от этого господи!.. Если б вы пожаловали часом прежде, я мог бы представить вам любой плащ, или шубу: их была здесь целая пропасть; а теперь господа разъехались и все разобрали. Не приложу ума, как услужить вам! Позвольте-ка, однако ж, позвольте: кажется, там, на верхней полке, что-то лежит... Ну, слава богу! вот вам енотовая шуба, шляпа и калоши. Хоть они и больно ветхи...

— Ничего, братец, ничего,— говорил Долевский, торопясь облечься в оставленную Иваном Ивановичем Росниковым одежду,— я сей же час пришлю тебе обратно всю эту дрянь с моим человеком, а взамен ее возьми, пожалуйста, мой противный капуцин и маску, под которой я совсем задыхаюсь. Дарю их тебе за хлопоты; отныне я не намерен больше маскироваться! — Тут Долевский выбежал на улицу и, бросясь в сани первого попавшегося ему на глаза извозчика, помчался домой.

X

Он был очень изумлен, заметя, что дверь маленького подъезда, доступная только ему, была не заперта.— «Нет сомнения,— кричал он, вбегая в кабинет и бросая на пол шляпу, шубу и калоши Ивана Ивановича,— нет сомнения, во всем этом кроется какой-нибудь ужасный обман, давно известный целому свету!» Тут растворил он наотмашь двери залы и побежал к Анне Петровне.

А спасенный этим порывом Росников вышел на цыпочках из залы и, зацепясь ногою за неожиданно возвращенную ему одежду, поднял ее и мигом надел на себя; затем бросился опрометью из дома.

— Из всех чудес нынешней ночи,— бормотал он, стремительно выбегая на улицу,— явление моей шубы, шляпы и калош — самое необъяснимое чудо!

Долевский вошел к Анне Петровне, сгорая адскою жаждою стать наконец лицом к лицу с вероломною, насладиться ее испугом и напрасными мольбами. Но он был встречен вовсе не так, как ожидал. При его появлении лицо Анны Петровны выразило не боязнь и замешательство, а какое-то гневное изумление, смешанное с презрением. Расширив глаза, смотрела она на своего мужа, как смотрит неприступный судья на дерзкого и закоснелого преступника.

— Как смели вы войти сюда? — спросила она грозно.

С своей стороны Долевский, остолбенев от такого приема, тоже вперил удивленные очи в лицо жены.

— Я пришел,— отвечал он наконец зловещим, глухим голосом,— я пришел, сударыня, требовать отчета в ваших поступках.

— Вы? В моих поступках? Вы потеряли на это всякое право, и я не хочу вас более ни слушать, ни видеть.

— Нет, Анна,— вскрикнул Долевский,— не так скоро откажусь я от этого права, как ты полагаешь! Моя несчастная ветреность разве может оправдать твое холодное вероломство? Должна ли ты платить мне злом за зло? Разве для тебя легко смыть позор с нашего дома? Спроси об этом самых легкомысленных женщин: тебе скажут, что отныне он неизгладим и что этим я обязан одной тебе, тебе, которую я уважал более всего на свете, которую считал образцом чистоты

и благоразумия, которую любил нежно и почтительно, которой верил безусловно и без всякого опасения.

Волнение чувств захватило голос Долевского. Он замолчал, но колеблющаяся грудь, судорожно сжатые губы и бледность щек показывали, как истинно, как глубоко его огорчение. В самом деле, только теперь, когда он убедил себя в невозвратной утрате сердца Анны Петровны, только теперь он почувствовал, до какой степени любил ее. С ним случилось то же, что случается обыкновенно с ветрениками, которые понимают всю цену сокровища тогда только, когда его потеряют.

— Это превосходит всякое вероятие! — начала Анна Петровна тихим голосом.— Вы поступили как нельзя хуже и вы же меня обвиняете! Впрочем, я готова отвечать вам на все, чтоб видеть, как далеко простираются ваше лицемерие, ваша несправедливость. Извольте меня спрашивать.

— Прежде всего я желал бы знать, почему вы оставили маскарад и увезли с собою мою шляпу и шубу?

— Я оставила маскарад потому, что мне сделалось там смертельно скучно; шуба и шляпа ваши были у моего человека; их никто не увозил, и вам самому очень хорошо известно, что вы приехали домой в своей шубе и шляпе.

— В самом деле??? А хотите ли вы посмотреть, в каком наряде я действительно вернулся из маскарада?

— Меня это очень мало интересует; впрочем, пожалуй!

Долевский стремительно подал руку жене и повлек ее в кабинет:

— Вот в чем я приехал домой! — кричал он: — вот в чем...

Говоря это, он искал глазами на полу чужой шубы и шляпы, но они уже исчезли.

— Я ничего не вижу здесь, кроме ковра,— возразила жена,— ужели вы хотите меня уверить, что вы ехали со мною завернувшись в этот ковер? Но я сейчас обнаружу всю нелепость ваших странных, фантастических выдумок.

Тут Долевская позвонила.

— Принеси сюда,— сказала она вошедшему слуге,— ту шубу и шляпу, в которых барин приехал нынешнею ночью из маскарада.

Через минуту слуга исполнил ее приказание.

— Где ты взял это? — закричал Долевский,— сказывай, кто тебе отдал мою шубу и шляпу, которых искал я целый час у подъезда?

— Вы сами изволили отдать мне их в передней на руки, когда воротились из маскарада.

— Прочь с глаз моих, негодяй! — заревел Долевский.— Я теперь вижу, что целый дом против меня в заговоре; я теперь понимаю, что здесь все против меня вооружено и подкуплено! И кем же? Моею женою! Вот награда за мое ребяческое доверие!

— Жаль мне вас,— начала Анна Петровна,— никогда я не ожидала, чтоб вы могли унизиться до таких бесполезных и смешных изворотов! Прошу вас об одном: позвольте мне вас оставить...— Тут Долевская горько зарыдала.

— Да объясните же мне, наконец, эту загадку,— сказал Долевский.

— Вам очень хорошо известно, что вы приехали домой вместе со мною, в своей шубе и шляпе, вот в этой маске и в этом домино с красной ленточкой, тайну которой узнала я от служанки; вы очень хорошо помните, как нарушили мой сон, явясь неожиданно в моей спальне, как погасили мою лампаду...

Тут Долевский уже потерял совершенно рассудок. Бессмысленно глядел он на капуцин и маску, топал ногами, рвал на себе волосы, вопил, проклинал себя. Он заставил Долевскую несколько раз повторить рассказ о случившемся и, убедясь, наконец, что она говорит без обмана, впал в мучительное подозрение, что какой-нибудь злодей воспользовался его отсутствием и нарядился в его одежду. Он признавал в этом кару провидения за свои шалости, в которых громко и подробно теперь каялся.

— Прости меня, Анна,— повторял Долевский на другой день утром, целуя руки своей жены,— я всегда любил тебя, а теперь люблю более, нежели когда-нибудь; я хочу загладить свои прежние проступки: на этой же неделе оставим столицу, чтоб избежать толков и сплетней, которых я предвижу целую бездну; уедем на полгода в нашу подмосковную деревню, предав совершенному забвению всех капуцинов и других маскарадных оборотней. Докажем им, что они, намереваясь окончательно разрушить наше семейное счастье, утвердили его навеки.

И Долевские оставили Петербург.

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее издание знакомит читателя с образцами русской романтической прозы (1820—1840-е годы). Составитель стремился расширить представление об этом литературном периоде и, соответственно, избежать повторов сравнительно с другими доступными изданиями. Книга мыслится как дополнение к сборникам прозаиков-романтиков (сведения о них см. ниже) и новейшим антологиям: Русская романтическая повесть. М., 1980. Сост., вступ. ст. и примеч. В. И. Сахарова; Русская романтическая повесть (Первая треть XIX века). М., 1983. Сост., общ. ред., вступ. ст. и коммент. В. А. Грихина; Марьина роща. Московская романтическая повесть. М., 1984. Сост., вступ. ст. и примеч. Вл. Муравьева. По соображениям объема в книгу не вошли новеллы ряда писателей-романтиков, чьи произведения недавно переизданы и доступны читателю, см.: Н. А. Бестужев. Избранная проза. М., 1983. Сост., вступ. ст. и примеч. Я. Л. Левкович; О. М. Сомов. Были и небылицы. М., 1984. Сост., вступ. ст. и примеч. Н. Н. Петруниной; Н. Ф. Павлов. Сочинения. М., 1985. Сост., послесловие и примеч. Л. М. Крупчанова; Избранные сочинения кавалерист-девицы Н. А. Дуровой. М., 1983. Сост., вступ. ст. и примеч. Вл. Муравьева; Александр Вельтман. Повести и рассказы. М., 1979. Сост., подготовка текста, вступ. ст. и примеч. Ю. М. Акутина; М. С. Жукова. Вечера на Карповке. М., 1986. Сост. и послесловие Р. В. Иезуитовой. Не входят в книгу также неоднократно переиздававшиеся новеллы А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и М. Ю. Лермонтова.

Антоний Погорельский — постоянный псевдоним Алексея Алексеевича Перовского (1787—1836), литератора-дилетанта, приятеля В. А. Жуковского и А. С. Пушкина. «Лафертовская Маковница» впервые напечатана как самостоятельное произведение: Новости литературы, 1825, № 3. Новелла вошла в состав книги: Двойник, или Мои вечера в Малороссии. Соч. Антония Погорельского. 2 части. СПб., 1828. Новейшее изд.: Антоний Погорельский. Избранное. М., 1985. Сост., вступ. ст. и примеч. М. А. Турьян. Текст печатается по этому изданию.

Владимир Павлович Титов (1807—1891) — литератор-дилетант, близкий в 1820-х годах к кружку любомудров, автор нескольких не переиздававшихся повестей, позднее — дипломат и государственный деятель. «Уединенный домик на Васильевском» восходит к устному рассказу А. С. Пушкина, услышанному Титовым в салоне Е. А. Карамзиной (вероятно, в интервале: конец октября 1827 — октябрь 1828 г.) и опубликованному с согласия Пушкина: Северные цветы на 1829 год. СПб., 1828; подпись: Тит Космократов. Современники (исключая немногих) не знали о роли Пушкина в создании новеллы; об этом стало известно лишь в 1912 г. после публикации отрывка из письма Титова к А. В. Головину от 29 августа 1879 г., содержащего историю создания новеллы (см.: А. И. Дельвиг. Мои воспоминания. М., 1912, т. 1, с. 157). Современные исследователи по-разному оценивают соотношение «пушкинского» и «титовского» начал в «Уединенном домике на Васильевском»; в ряде исследований была установлена связь новеллы с давними замыслами Пушкина, мотивами, появившимися в его произведениях 1830-х годов, обстоятельствами его жизни в 1827—1828 гг. Текст печатается по изд.: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т. Л., 1979. Изд. 4-е, т. IX. Приложение.

Михаил Петрович Погодин (1800—1875) — историк, литератор, издатель журналов «Московский вестник» (1827—1830), «Московский наблюдатель» (1835—1837; совместно с рядом литераторов), «Москвитянин» (1841—1856). Во второй половине 1820-х годов был близок к Пушкину. Повесть «Адель» впервые напечатана: Московский вестник, 1830, ч. V, № XVII—XX; подпись: N. N.; вошла в изд.: Повести Михаила Погодина. М., 1832. В «Адели» присутствуют автобиографические мотивы, прототипом героини послужила княжна Александра Ивановна Трубецкая, домашним учителем которой был Погодин; в образе Дмитрия соединены черты самого Погодина и его рано умершего друга, лидера московских любомудров, поэта Дмитрия Владимировича Веневитинова (1805—1826), как и Погодин, влюбленного в Трубецкую. Повесть тесно связана с романтическим культом поэта-философа, возникшим после смерти Веневитинова усилиями его друзей. Текст печатается по новейшему изд.: М. П. Погодин. Повести. Драма. М., 1984. Сост., вступ. ст. и примеч. М. Н. Виролайнен.

Николай Александрович Мельгунов (1804—1867) — литературный и музыкальный критик, пропагандист русской литературы на Западе. Повесть «Кто же он?» впервые напечатана: Телескоп, 1831, ч. 3, № 10—12; вошла в книгу: Рассказы о бы-

лом и небывалом. М., 1834, 2 части (имени автора нет на титуле, но предисловие подписано: «Н. Мельгунов»). В обрисовке центрального героя — таинственного Вашиадана ощутимо воздействие популярного в Европе и России романа Ч.-Р. Метьюрина «Мельмот Скиталец» (1820). Текст печатается по указанному изд. (ч. I). Другие сочинения Мельгунова не переиздавались.

Евгений Абрамович Баратынский (1800—1844) — поэт. Единственное прозаическое сюжетное произведение Баратынского — новелла «Перстень» — написано в 1831 г. Впервые напечатана: Европеец, 1832, ч. I, № 2. Печатается по изд.: Е. А. Баратынский. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. М., 1951.

Александр Александрович Бестужев (Марлинский — постоянный псевдоним, в читательском сознании слившийся с фамилией) (1797—1837) — поэт, критик, прозаик, член Северного общества декабристов, активный участник восстания 14 декабря 1825 г. Романтическая проза Марлинского пользовалась огромной популярностью в самых широких читательских кругах. «Латник» впервые напечатан: Сын отечества и Северный архив, 1832, № 1—4; подпись: «А. М.», с пометой: «Дагестан, 1831». Печатается по новейшему изд.: А. А. Бестужев-Марлинский. Соч. в 2-х т. М., 1981, т. I. Сост., подготовка текста, вступ. ст. и коммент. В. И. Кулешова. Кроме этого изд. см.: А. А. Бестужев (Марлинский). Ночь на корабле. Повести и рассказы. М., 1988. Сост., подготовка текста, послесловие и примеч. А. Л. Осповата.

Николай Алексеевич Полевой (1796—1846) — критик, теоретик романтизма, прозаик, историк, издатель журнала «Московский телеграф» (1825—1834). Новелла «Блаженство безумия» впервые напечатана: Московский телеграф, 1833, т. 49; подпись: «Н. П.», посвящение: ***. С незначительными изменениями вошла в кн.: Мечты и жизнь. М., 1833. Четыре части. В повести ощутимо влияние Э. Т. А. Гофмана. Фамилия «ученого шарлатана» значима: Schreckensfeld (Шреккенфельд) — долина ужасов (нем.). Текст печатается по новейшему изд.: Николай Полевой. Избранные произведения и письма. Л., 1986. Сост., подготовка текста, вступ. ст. и примеч. А. А. Карпова.

Михаил Николаевич Загоскин (1789—1852) — писатель, широкой популярностью пользовались его исторические романы. Новелла «Концерт бесов» входит в цикл «Вечер на Хопре», впервые опубликованный: Библиотека для чтения, 1834, т. 3. Печа-

тается по новейшему изд.: М. Н. Загоскин. Соч. в 2-х т. М., 1987, т. 2. Сост., вступ. ст., подготовка текста и коммент. А. М. Пескова.

Евдокия Петровна Ростопчина (1811—1858) — поэтесса. Повесть «Поединок» впервые напечатана: Сын отечества и Северный архив, 1838, т. 2, апрель; подпись: «Ясновидящая». Наряду с повестью «Чины и деньги» вошла в вышедший под тем же псевдонимом сборник: Очерки большого света. СПб., 1839. В повести сказался интерес Ростопчиной к таинственным явлениям, сблизивший ее в конце 1830-х годов с М. Ю. Лермонтовым и В. Ф. Одоевским. Текст печатается по изд.: Сочинения графини Е. П. Ростопчиной. Т. 2. Проза. СПб., 1890. Другие произведения Ростопчиной см.: Е. П. Ростопчина. Талисман. Избранная лирика. Нелюдимка. Драма. Документы. Письма. Воспоминания. М., 1987. Подготовка текста, вступ. ст., сост. и примеч. В. Афанасьева. Повесть «Чины и деньги» вошла в указанную выше антологию «Марьина роща».

Валериан Николаевич Олин (ок. 1788—1840-е гг.) — второстепенный литератор 1810—30-х годов, автор стихов, драм, прозаических сочинений, издатель альманаха «Карманная книжка для любителей русской старины и словесности», газеты «Колокольчик» (1829—1831). Публикуемая повесть впервые напечатана: В. Олин. Странный бал, повесть из рассказов на станции, и восемь стихотворений. СПб., 1838. Цикл «Рассказы на станции» (СПб., 1839), в который вошли наряду со «Странным балом» новелла «Череп могильщика» (ч. I) и повесть «Пан Копытинский, или Новый Мельмос» (ч. II), видимо, остался незавершенным. Упоминаемые в «Странном бале» персонажи: офицер внутренней стражи, Савва Трофимович, Матрена Прохоровна и др. застигнуты непогодой на дорожной станции и коротают время за историями, первую из которых — «Странный бал» — рассказывает герой, именуемый путешественником. Текст печатается по изд. 1839 г. Другие прозаические произведения Олина не переиздавались. Стихотворения его см.: Поэты 1820—1830-х годов. Л., 1972, т. I. Подготовка текста, биографич. справка и коммент. В. П. Степанова.

Нестор Васильевич Кукольник (1809—1868) — плодовитый драматург, поэт, беллетрист, чьи произведения пользовались шумным успехом в 1830—40-х годов. Новелла «Антонио» — выражение типового представления о романтическом гении — впервые напечатана: Утренняя заря, альманах на 1840 год, изданный В. Владиславлевым. СПб., 1840. Вошла в изд.: Повести

и рассказы, соч. Нестора Кукольника. СПб., 1843, т. 2. Печатается по этому изданию. Проза и драматургия Кукольника после 1917 г. не переиздавались; его стихотворения см.: Поэты 1820—1830-х годов. Л., 1972, т. 2. Подготовка текстов, биографич. справка и коммент. В. С. Киселева-Сергенина.

Владимир Федорович Одоевский (1803—1869) — прозаик, философ, музыковед. Крупнейший представитель русского философского романтизма. Рассказ «Орлахская крестьянка» — попытка рационалистического истолкования таинственных явлений, глубоко занимавших Одоевского; впервые напечатан: Отечественные записки, 1842, № 1 (написан в 1838 г.). Текст печатается по новейшему изд.: В. Ф. Одоевский. Соч. в 2-х т. М., 1981, т. 2. Вступ. ст., сост. и коммент. В. И. Сахарова.

Бернет — постоянный псевдоним Алексея Кирилловича Жуковского (1810—1864), поэта, популярного в конце 1830-х — начале 1840-х годов. Повесть «Черный гость» впервые напечатана: Отечественные записки, 1850, № 1. Публикуется по этому изданию. Проза Бернета никогда не переиздавалась, стихи его см.: Поэты 1820—1830-х годов. Л., 1972, т. 2. Подготовка текстов, биографич. справка и коммент. В. С. Киселева-Сергенина.

А. Немзер

СОДЕРЖАНИЕ

А. Немзер. Тринадцать таинственных историй . . 3
Антоний Погорельский. Лафертовская Маковница 8
В. П. Титов. Уединенный домик на Васильевском 31
М. П. Погодин. Адель 54
Н. А. Мельгунов. Кто же он? 77
Е. А. Баратынский. Перстень 109
А. А. Бестужев (Марлинский). Латник 121
Н. А. Полевой. Блаженство безумия 167
М. Н. Загоскин. Концерт бесов 214
Е. П. Ростопчина. Поединок 229
В. Н. Олин. Странный бал 296
Н. В. Кукольник. Антонио 310
В. Ф. Одоевский. Орлахская крестьянка 335
Бернет. Черный гость 350
Примечания 379

КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ

Русская классическая литература

РУССКАЯ РОМАНТИЧЕСКАЯ НОВЕЛЛА

Редактор И. Парина
Художественный редактор А. Моисеев
Технический редактор Г. Моисеева
Корректор Н. Гришина

ИБ № 5424

Сдано в набор 06.05.88. Подписано в печать 24.10.88. Формат 84×108 1/32. Бумага Кн. журн. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,58. Уч.-изд. л. 21,06. Доп. тираж 150 000 экз. Изд. № I-3151. Заказ № 9—163. Цена 1 р. 70 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882. ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28.
Отпечатано в полиграфкомбинате ЦК ЛКСМ Украины «Молодь». 252119, Киев, 119. Пархоменко, 38—44.

1 р. 70 к.



Русская классическая литература

